

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

3

НОВОБЫИ МИР

1982

3



1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРТ — Евгения Славоросова, Надежда Кондакова, Евгения Гай, Мария Тарасова, Татьяна Николаева, Фарида Расулова, Валентина Сяждева, Ольга Кондратьева, Эльмира Блинова, Анна Колесникова, Нина Габриэлян, Людмила Олзоева, Татьяна Митрофанова, Лорина Дымова, Алла Тер-Акопян, Светлана Киопова, Наталья Стрижевская, Лидия Григорьева, Мария Арбатова, Наталья Зайцева, Корнелия Войткевич, Наталья Грачева, Елена Нестерова, Вера Киселева, стихи	3
М. РОЩИН — Шура и Просвирияк, маленькая повесть	15
ИЗ СТИХОВ ЭРВЕ БАЗЕНА. Перевод с французского М. Кудина	61
ВЛАДИМИР ДЮКОВ — Читала женщина стихи, стихотворение	64
ВИТАУТАС БУБНИС — Час судьбы, роман. Окончание. Перевел с литовского Виргилиус Чапайтис	65
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО — Размышляющая Америка	184
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
К. ДЕРЕВЯНКО — Военное счастье	199
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ТУРБИН — Тогда, теперь и потом. Над новыми страницами прозы	206
ТОЧКА ОТСЧЕТА: Валентин Берестов. Секундная стрелка истории; Владимир Огнев. Виктор Шкловский учит мыслить; В. Каверин. Старый друг	212

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

232

Иосиф Герасимов. Поиск своего пути.— **И. Грекова.** Счастливый дар ска-
зочника.— **Б. Рунин.** Смысается кино.— **Леонид Божин.** Осмысление тради-
ций.— **Уран Гуральник.** Грани критического анализа.— **О. Новикова,**
В. Новиков. Чистый звук

Политика и наука

250

Евг. Воеводин. Повесть о труде.— **В. Буров.** Что в действительности гово-
рил Мао Цзэдун.— **Дм. Биленкин.** Социальный ключ экологии.— **В. Морд-**
кович. Как делается физика.— **А. Беляк.** Философия «партии середины».

КОРОТКО О КНИГАХ: Евгений Осетров.— Вячеслав Куприянов.
От первого лица. Стихотворения. ♦ Светлана Соложенки-
на.— Майя Луговская. Кольцо. Стихи. ♦ В. Стрелецкий.— Ар-
сений Гулыга. Искусство истории. ♦ Дм. Молдавский.— О. Смо-
ла. Лирика Асеева. ♦ Юрий Давыдов.— А. Г. Тартаковский.
1812 год и русская мемуаристика (Опыт источниковедческого
изучения). ♦ Т. Мотылева.— С. Вайман. Бальзаковский пара-
докс. ♦ Н. Минаева.— Л. С. Пустильник. Жизнь и творчество
А. Н. Плещеева. ♦ Алексей Парин.— В. Красовская. Западно-
европейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середи-
ны XVIII века. В. Красовская. Западноевропейский балетный театр.
Очерки истории. Эпоха Новерра. ♦ Ю. Поляков.— Живое слово
науки. Очерки об ученых-лекторах. ♦ Валентин Ерашов.—
И. Донжов, С. Морозов. Из когорты несгибаемых. Очерк жизни и
деятельности С. Я. Аллилуева. ♦ Ю. Игрицкий.— И. Н. Арциба-
сов. За пределами законности (О преступлениях империализма против
мира и человечества)

263

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

МАРТ



ЕВГЕНИЯ СЛАВОРОСОВА

Работа

Сегодня ненастье, и ветер, и качка,
А море кидается пеной, как прачка,
И, выжав из тучи несвежей грозу,
Все бури полощет в лазурном тазу
По правилам всем чистоплотной науки.
И движутся волны, как сильные руки.
И синьку бросает и воду кропит —
Огромная стирка сегодня кипит.
Стихия в своей неустанной работе —
Как прачки со старых французских полотен,
Чей труд белым паром от взора закрыт,
И в пене парят Афродиты корыт.
Хоть руки грубы, да движения ловки,
А чайки трепещут бельем на веревке.
Как снег сумасшедший, всему вопреки
Возносятся к небу той пены клочки.
Не так ли я руки свои стираю —
Стираю белье или строчки стираю,
Порой от работы упорной слаба,
Стираю я пот с утомленного лба.
Чтоб валом девятым однажды подняться,
Я Золушкой буду к работе склоняться.
Стал солью морскою соленый мой пот.
Для Черного моря нет черных работ.
Как чудно работы веселой кипенье —
И радуги взрыв в ослепительной пене,
А волны песок в упоении трут,
И праздный несчастен и праздничен труд!
Но летние бури внезапны и кратки,
И мятое море разгладило складки,
И чист беспредельный простор бытия,
И дышит стихами тетрадка моя.

НАДЕЖДА КОНДАКОВА



Так вот я за что отвечаю
На этом высоком ветру:
За хату, стоявшую с краю,
За смерть, что красна на миру,
У нищей карельской березки,
Вдали от родимых раки...

За землю, в которой сиротски —
Без имени — дед мой лежит.
И вечность стоит за плечами,
А годы — бесменный конвой.
Так вот я за что отвечаю
На свете своей головой.

* * *

Мой родной город Оренбург стоит
на границе Европы и Азии.

Переходя из Азии в Европу,
Я мыслю так: есть у моей страны
И старины любимой страшный опыт,
И роковое чувство новизны.
Круша, давя, как виноград в давилъне,
Характер современников моих,
Век выжил сам и темной влагой вылил
В сосуд времен пьянящий русский стих.
И ты, уже отведавший однажды
Восточной дали с привкусом тоски,
Скорей умрешь от горечи и жажды,
Скорей лишишься пишущей руки,
Чем их предашь — соседку в телогрейке,
И мальчика казахского в слезах,
И старого узбека в тюбетейке,
И мужика в кирзовых сапогах.
Скорей умрешь от нежности дочерней
К родному веку, чем в вечерней мгле
Отринешь смысл старинного кочевья —
Вещественного счастья на земле.

* * *

Вот леденец с мороза сладкий.
Вот птиц и снега кутерьма.
Между разгадкой и загадкой
Почила русская зима.
Возьми коня, меня и сани,
А нет коня — так наугад

Пойдем, зачем — не знаем сами,
Туда, куда глаза глядят.
Мы дети стужи и простора
Суровой северной страны.
Не потому ли наши споры,
Как зимы русские длинные?

* * *

На сердце — тяжесть и бессилье:
Ни спать, ни думать, ни читать...
Какой размах, какие крылья
Нужны, чтоб сердце оторвать,
Чтобы поднять его над бездной,
От пыли солнца золотой,

Чтобы унизить бесполезной,
Почти тлетворной красотой.
Земное жалкое величие —
Подачка, пряник задарма...
О жизнь, в тебе есть что-то
птичье.

Особенно когда зима.

ЕВГЕНИЯ ГАЙ

Мартовский снег

Все понимают: эти шубы
Белейшей ваты на домах —
Лишь маскировка, род испуга.
Весна идет во весь размах!
А снег бушует. С ходу лепит
К плечам в полметра эполеты,
Приращивает каблук,
На ветки вешает платки,
Спешит в усердии нервозном

Продемонстрировать себя.
Но весь какой-то несерьезный,
Как ради моды седина.
И хоть изысканно уменье
И очевидно мастерство,
Та белизна не в праздник
зренью.
И почему-то жаль его.

МАРИНА ТАРАСОВА

Оркестр

В барабане под кожей пульсирует сердце,
на тяжелой трубе блещет позднее солнце.
Почему столько связано с этим оркестром,

почему духовым он зовется?
Что за дух вылетает из темных раструбов
и печально парит над скамейками парка,
даже пыльные липы обдув и растрогав,
не забыв молодых, уповая на старых?
Все-то вспомнится: паводок, в скатку шинели,
наплывающий марш у пустого крыльца,
пробужденная роща в свинцовой капели
и кларнет молодого скворца.
Вот пишу — и сжимает мне музыка горло
духовая, ни встать, ни вздохнуть.
Взять бы голос у звонкого медного горна,
а у жизни — духовную суть.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Мир

Пускай в мое стихотворенье птица
влетит спокойно, в воздухе повиснет,
расправив крылья, и — передохнет.
Пускай деревья, испугавшись ветра,
придут в него и разместятся в нем.
Пусть небо как стремление к совершенству
раскинется над ним и вольно дышит,
пусть дождь гуляет по гремящим крышам.
Пусть дети и их мир, открытий полный,
в стихах себя почувствуют привольно,
пусть счастья детства неизбывный отзвук
порадует родителей моих...
Пусть мир, такой красивый и огромный,
без войн, убийств, болезней, катастроф,
мир, отраженный в зеркале стихов,
покажется единственно возможным,
как вера, что добро в борьбе со злом
всегда одержит верх в конце концов.
Здесь не было ни слова про любовь,
но именно она для мира счастья хочет
и просит нас помочь
ей выжить каждой строчкой.

Март

Ждала я лета так, как подсудимый
решения процесса затяжного.
И вот сегодня чист и ясен воздух
и ветром сплетены уже тенета
для обещающей проклюнуться листвы.
Замаска снега, слякоти, тумана
истаяла. И обнажились нервы
дорог и зданий. Виден в небе вектор
полета легкого отзимовавших птиц.
Снег тает, тает, словно сон под утро.
И истончается, становится бесплотной
тоска о лете. Требуется весна порывов свежих.
Душе иные сети расставляет.
Плести их заставляет вместе с ней,
чтоб после биться в них,
как в жилах кровь при беге,
как сок древесный в панцире коры,
пред тем как первый лист зазеленеет.

ФАРИДА РАСУЛОВА

* * *

Суета отдаляется,
перевернут листок,
надо мною склоняется
мудрый Восток.
Будто книга листается —
слышу шелест страниц, —
где-то, где-то я видела
эти стрелы ресниц?
В этом городе жарком,
здесь, где зной добела,
моя старая бабка
молодая была.

Кто же мне напророчил
эту горечь в крови?
Неподвижные очи
тяжелы от любви.
Дарит грустную радость
мудрость ласковых рук.
Знаю, слушать не надо
двух веков перестук.
Тяжелеют ресницы,
и туманится взгляд,
а страницы чуть слышно
шелестят...

ВАЛЕНТИНА СЛЯДНЕВА

* * *

Снова месяц глядится знойно,
Снова взгляд мой, как птица,
пойман,
Снова время остановилось,
Это ж надо — такая милость!

Скоро выпь в камышах застонет,
Сердце первым морозцем тронет,
И под камнем вода плеснется,
Будто чья-то рука коснется...

А над озером ходят кони,
Жарко дышат в мои ладони,
Стелют кони по ветру гривы,
А осока острее бритвы.

Выйдет солнце в траве по пояс,
И умчит меня скорый поезд.
Только время остановилось,
Это ж надо — такая милость!

* * *

Красногрудый снегирь ошалел —
Как тюльпан на снегу заалел...
Белый иней осыпал плечо,

Полоснул меня взгляд горячо...
Только я ведь не знать не могу,
Что цветы не растут на снегу.

ОЛЬГА КОНДРАТЬЕВА

* * *

Люблю я каждое Лицо,
И что бы с ним судьба ни сделала,
Оно — зелененький листок
Всечеловеческого дерева.
Когда же грянет миг суровый
И листья заскользят с ветвей,

То штрих Лица, еще неровный,
И жестче станет и верней —
В нем отразится в полной мере
Все, что имели, чем живем...
Как мало думали о мире,
Как мало плакали о нем...

ЭЛЬМИРА БЛИНОВА

Летний дождь

Не идетя мне, а танцуется
в паре с тенью веселой моей.
Под ногами фыркают лужицы

на серьезных и взрослых людей.
Не живетя мне, а играется,
отражается в зеркалах.

Посмотрите, какая грация! —
называется: просто — ах!
Не смеется мне, а хохочется.

Оборачиваются вслед...
Этот день никогда не кончится.
Это лето в семнадцать лет...

* * *

Люблю, когда июльский вечер
ознобом обнимает плечи,
когда доверчиво навстречу
качнется ветерок в окно...
Люблю мгновение покоя
и понимание такое:
как будто нас всего лишь двое
на всей земле. И мы — одно...

Люблю вечерними часами
смотреть с закрытыми глазами
и прозревать, что станет с нами
через года... И я не сплю.
Люблю молчание и нежность,
когда я верю бесконечно,
что вечны мы, как этот вечер,
когда я так тебя люблю...

АННА КОЛЕСНИКОВА

* * *

Я поняла: мне больше не уснуть.
Вставал рассвет за шторами в просвете,
и электричка совершала путь.
Но я-то не о ней, не о рассвете...
Не важно, что сентябрь переменял
на москвичках привычные одежды,
что дождь, стуча по окнам, семенил...
Я знала, что сбываются надежды.
Не оттого, что дождь отмыл листву.
Не оттого, что сад грустил о лете...
Не доверяясь боле волшебству,
я знала: все сбывается на свете,
когда упорство и прилежный труд
не только об удаче помышляют.
Когда тебя вообще нигде не ждут,
но по одежке все же не встречают.
Когда вставал рассвет едва-едва
и проходила рядом электричка,
я лучшие готовила слова,
я выходила к вам на переключку!

Театр

Доверчиво прильнуло детство снова,
очарований приоткрыло дверь.
Как прежде, я поверить им готова.
Смогу ли погрузиться в них теперь?
Бывало, сердце в ожиданье счастья
сжималось и ждала душа чудес.
И ramпы свет подмигивал с участием,
когда в движенье приходил оркестр.
Я верила в реальность декораций,
не замечала пыль и ветхость их.
И занавес взлетал среди оваций.
Зал оживал на этот чудный миг.
Ужель душа с годами постарела?
Напрасно я прошу: «Как прежде, верь!»
Я опытной рукой открыть посмела
и вновь вошла в невидимую дверь.
И с простодушным детским упоеньем,

как будто раздвоилась я в себе,
 смотрю на сцену, словно в отдаленье
 участвую в священной ворожке.

НИНА ГАБРИЭЛЯН

Память

Память первая

Там, в памяти,— от солнца желтый двор
 И красный мяч, упавший под забор.
 Там девочки бегут через ручей,
 Там чей-то смех, а может быть, ничей.
 Там продают прозрачный виноград.
 И там никто еще не виноват.

Память вторая

Там, в памяти,— какой-то тусклый двор.
 И тянется, и тянется забор.
 Глухой поток речей, речей, речей.
 Чей это смех? Нет, кажется, ничей...
 Авоська. Очередь. Кухонный чад.
 И каждый перед всеми виноват.

Память третья

Там, в памяти,— больничная стена,
 И виден желтый дворик из окна:
 В нем девочки бегут через ручей,
 В нем чей-то смех, а может быть, ничей.
 На тумбочке — прозрачный виноград.
 Уже никто ни в чем не виноват.

* * *

Сколько в осени любви,
 Сколько нежности прощальной,
 Робкой нежности печальной,
 Сколько в осени любви.
 Сколько в осени тепла.

Тлеет солнце в желтых листьях.
 Сколько слов и сколько истин
 Догорает в желтых листьях...
 Что ж, так надо для тепла.

Полдень в Гегарде

Ваагн Давтяну.

Луч солнца перерезал речь ручья,
 И зноем высосан последний воздух,
 И горечь трав суха и горяча...
 Куст на скале — природы хрипый возглас.

Я в день такой, наверно, родилась,
 В такой же день, когда, хрипя от жажды,
 Хребтами гор природа ввысь рвалась
 И пить хотела, жить хотела жадно.

И потому всегда умела я
 Жить, как дышать, взахлеб, до боли в горле,
 Жить всей огромной жаждой бытия,
 Как эти криком вздыбленные горы.

ЛЮДМИЛА ОЛЗОЕВА

Звук

Загадочный звук проникает в глубины сознания,
 чтоб жизнь отзывалась негласным законам судьбы.
 Я помню, как радость сулило его нарастанье,
 и помню я голос той рушащей стены трубы.
 Стущается звук и становится низким, весомым.
 Свой отзвук имеет ручей, и тропинка, и медь.
 Приветствует жизнь своим шумом и гулом знакомым —
 стань откликом или глубоким молчаньем ответь.
 А звуки высокие можно поймать облаками,
 чтоб свергнуть на землю звенящую их синеву,
 чтоб музыку с неба ловить осторожно руками,
 чтоб тусклым цветочком она прорастала во рву.
 Лицо обращаю к недостижимым звездам —
 Лишь звук обнимает весь мир, невесомую тьму.
 И прежде чем слову, его откровениям поздним,
 лишь звуку поверю, навеки ему одному.

ТАТЬЯНА МИТРОФАНОВА

* * *

Памяти Я. Смелякова.

Стал декабрь смертельным, как мел,	А теперь на этом пути — Смерть.
На дорогах плачут авто. Тех стихов, что ты не успел, Больше не напишет никто.	Звезды всё летят по ночам. Мир все так же дерзок и слеп.
Мне к тебе хотелось прийти И в колодцы глаз посмотреть.	А твои туманы молчат, А твоя задумалась степь...

Тяга к земле

О нет, недаром роет грядки На дачных склонах род людской. Ему плевать, что все в порядке С укропом в лавке городской. Здесь что-то кровное струится Между душою и листвою:	Землей дышать, в земле возиться И слушать дух ее живой. И эта тяга несомненна, И не пройдет она вовек: То, что земля благословенна, Найтием чувствует человек...
---	---

ЛОРИНА ДЫМОВА

* * *

Ох, как нас учит жизнь! Но опыт наш невидим и никому до нас нет дела все равно. Я буду тихо жить. И я себя не выдам, что гайну бытия открыла я давно. Я буду делать вид, как будто я бессмертна. как будто не боюсь ни боли, ни беды.	Быть может, проскользну в толпе я незаметно и смоем дождь с лица познания следы. И, может быть, судьба, пройдя небрежно мимо, не остановит взгляд на мне и в этот раз. И я сумею быть счастливой и любимой еще хотя бы день, еще хотя бы час...
--	--

Без нас

Родились на свет и жили,
ели, пили и росли.
Отлюбили, отгужили,
отгорели и ушли.
Нам казалось — мир погаснет

вместе с нами в смертный час.
Ну а он еще прекрасней,
и безумней, и несчастней,
чем когда-то был при нас.

* * *

Человек тоскует о любви,
длящейся века, а не мгновенье,
и о том, чтоб были меж людьми
искренность, и правда, и доверье,
чтобы друг не предавал вовек,

чтобы отдал жизнь во имя
дружбы!..
О любви тоскует человек —
маленький, неверный,
равнодушный!..

АЛЛА ТЕР-АКОПЯН

* * *

Из хлопот, суеты и трухи
вдруг восстать, и вздохнуть,
и продлиться.
Небо дождиком пишет стихи
на блестящей листве шелковицы.

Неземной архитектор плодом
ветку лета венчает на славу...
Мы восстанем, вздохнем, а потом
через Время найдем переправу!

СВЕТЛАНА КНОПОВА**Телефонный звонок**

Я целый день жду, что ты позвонишь,
Ничем другим я не могу заняться,
Сегодня должен голос твой раздаться
И разорвать невыносимую тишь.
Я жду звонка в кромешной темноте,
До боли в голове, галлюцинаций.
Звонок мне начал слышаться, казаться
И ощущаться... В полудремоте
Настало утро. Хмурая погода —
Предвестница нерадостного дня.
И... вспомнила, что вот уже два года
Как нету телефона у меня.

* * *

В ночь белой сделалась земля.
Все замела, все занесла,
Так беззаботно весела,
Забавница зима.

На Сретенке вдоль мостовой
Поставила сугробов строй,
И по ушанке меховой
Приобрели дома.

Все скрыто нежной пеленой —
Деревья, люди, шар земной,

Кружит, хохочет над Москвой
Снежинок кутерьма.

Метельному я рада дню,
Я в нем надежно схороню
Под белой пленкой снежной
И память, и любовь мою
К тебе, которую гоню,
И все свои надежды.

Я их должна убить сама,
И да поможет мне зима!..

НАТАЛЬЯ СТРИЖЕВСКАЯ

Статуи в парке

Кислота леденцовая ливня,
 За щеку, тянуть дорогое мгновенье,
 Длеть его, длеть под холодной лавиной
 У белой скамьи.
 Пионеры неслышно в парке опять воздевают раструбы
 Гипсовых горнов к лиловому небу.
 Под лавой холодной
 На плечи и платье,
 К листьям ревнуя лоб и ладони,
 К струям зеленым бледные щеки;
 Ниц пред лицом муравьиная влага!
 Света разрыв продлевать бесконечно
 В парке безлюдном, в объятье сиротском,
 И алебастр
 В иссякающем ливне —
 Смутная даль под холодной лавиной.

ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

* * *

В каждой окрестности нуля содержится
 некоторый ненулевой идеал.

Из теоремы

Горьки воспоминания, прогорклые...
 А что мешало, никого не зля,
 блаженствовать на солнечном пригорке
 в божественных окрестностях нуля?
 Ни окрика худого, ни проклятья...
 Потворствуя тебе, благоволя,
 в неведенье и в невесомом платье
 гулять с тобой в окрестностях нуля.
 И потакать, не гневаясь нимало,
 всему, что скажешь, душу веселя.
 Любви ненулевые идеалы
 остались там, в окрестностях нуля,
 затем, чтобы, в уме перебирая
 подробности, прощение моля,
 я вспомнила: обетованной рай
 окрестности абстрактного нуля.

МАРИЯ АРБАТОВА

* * *

С порога моего ты канешь в Лету,
 В тот узенький ее рукав журчащий,
 Который лишь меня освобождает
 От неудач, побед и суеты,
 Которому однажды захлебнуться,
 Увы, в вселенской Лете вместе с нами
 И вместе с тем, из-за чего сейчас
 Должны мы друг от друга отказаться.
 Спешу, спешу! Вот — бог, а вот — порог.

Ты медлишь, ты беспомощно обводишь
 Глазами траурными стены этой комнаты,
 Вместившей все слова и все молчание,
 И пепел падает с дрожащей сигареты,
 Как голубя печальное перо.
 Прости меня. Оставь меня. Ты слышишь,
 Как город волны катит за окном?

НАТАЛЬЯ ЗАЙЦЕВА

* * *

Пейзаж меняется столичный За тем окном и тем окном. И в жизни нашей странной	Твой быт налажен и уютен. А я? Мне нечего терять. Сомненья прочь! Сама природа
личной	Своим капризам вопреки
Вдруг наступает перелом. И нас подкараулит скоро	Другое дарит время года Одним велением руки.
Непостоянный друг — февраль, И новый день, как новый город,	И позади на той равнине Уже растаяли снега.
Свой начинает календарь. И пусть другое скажут люди,	И путь, такой, казалось,
Мои друзья, подруги, мать.	длинный, Весной кончается всегда.

КОРНЕЛИЯ ВОЙТКЕВИЧ

Архангельское

Но даль возникла на пределе возможных зрению границ, деревья шли толпой, редели, ютили незаметных птиц, высотной лиственницы гривы стекали в сумерки — к чему невозмутимость перспективы открылась взгляду моему? Зачем плывут во тьму фигуры и белой лестницы распад и белокаменной скульптуры прямоугольный длится ряд, и для чего здесь вечер соткан как гобелен — длиною в век, как серый по цветным известкам	штриха затерянный пробег? Зачем здесь быть напоминаем и, уцелев в дыму времен, сиять ненужным изваяньем в цепи размеренных колонн? Подарок, праздник вдохновенный, пари вблизи и вдалеке виденьем легким и мгновенным, как дуновенье на виске! Тебя минуют суд и споры, в молчанье длящихся границ тобою оmyвает взоры собранье действующих лиц.
--	---

* * *

Над городом Суздаем — лета пора,
 Здесь яблоки в фартуке носит старуха.
 Запав петуха, перестук топора —
 Какие реликвии чистого звука!
 Над городом Суздаем — лета межа
 И в сумерках смертны улыбки рябины.
 Молоденький ястреб кружит не спеша,
 Охотясь впервые вдоль узкой долины.
 Над городом Суздаем — неба родник
 Течет по окраинам в рай захолустья,
 И видишь, как медленно путник приник
 К воде ледяной у прозрачного устья.

* * *

Не странно ли — с такою простотой
 Занять пространство на лугу зеленом,
 Влюбить в себя и сделаться влюбленным,
 Обнявшись с тихой далью и рекой.
 И, запрокинув в небо купола,
 Прослыть подарком маленькой округи,
 Прощать столетьям средь дождя и вьюги,
 Звенеть в потемках и не помнить зла.
 Быть крепостью, обителью и тем
 Без автора оставшимся твореньем,
 Той юной радостью и глаз отдохновеньем —
 Быть отроком у строящихся стен
 Державы дерзкой. И внезапно стать
 Первоначальным контуром твердыни,
 Вобрав в себя наитье этих линий
 И напряженной мысли благодать.

НАТАЛЬЯ ГРАЧЕВА

Зима

В прозрачных тучах темное стекло,
 И капли звезд, повисшие на раме,
 И комнаты уснувшее тепло,
 И лай собак за дальними дворами.
 Лишь тень окна, стремящаяся прочь,
 Крестом скользнет на белую дорогу.
 Быть может, здесь начало или ночь,
 Ведущие к забытому отрогу.
 Быть может, там сугробы глубоки
 И в дымке лес качается немного...

Какая это долгая дорога
 И как деревья эти высоки.

Дорога

И тянется дорога без конца,
 А по бокам уже погасли ели,
 Быть может, они просто не успели
 Коснуться веткой твоего лица.
 А запах хвои смешан с темнотою,
 И так глубок и дымчат этот лес,
 Что здесь и заострился край небес,
 Над полем провисавший пустотою.
 И ты идешь, трещит сухой сучок,
 В сыром кармане только горсть иголок,
 И ты не знаешь, отчего так долог
 Последний свет нечаянным лучом.

ЕЛЕНА НЕСТЕРОВА

Тропинка

Уже завод. Не только стройка.
 Иные планы и дела.
 Тропинка — жилочка истока —
 Теперь бетоном поросла.

Давно ль я шла походкой
 спешной
 Вослед за теми, что тогда,
 Зимой обветренной, бесснежной,

Одолевали холода?
 Пыхтел весьма обычный трактор,
 И шею гнул подъемный кран.
 По шатким доскам как по трапам
 Спускались люди в котлован.
 Бетонных ростверков колонны,
 Каркас гигантский. А затем —
 Полилса свет светло-зеленый,
 Особый свет высоких стен.

И становилась та тропинка
 Тропой, дорогой. А потом —
 Остатки липкого суглинка
 Вцепились намертво в бетон.
 И тропка первая пропала.
 Но знаю я: лежит она
 Под грузом камня и металла,
 Лежит из тысячи — одна.

ВЕРА КИСЕЛЕВА

* * *

Картины детства, что прошло не в неге,
 Мне кажутся сегодня ярким сном...
 ...Мы с мамой едем степью на телеге,
 Мешки, пшеницей полные, везем.

Она поет, и песня та сплетается
 Из горя, из разлуки и войны.
 И косы так беспомощно качаются
 Вдоль тонкой, как у девочки, спины.

Еще далеко нам до элеватора,
 Мир в зное затаился и затих,
 А у меня зажат в ладошке накрепко
 Мое богатство — кукурузный жмых.

И вдруг ухаб — излом дороги горбится,
 Мешки упали, пыль, как будто взрыв.
 Над головой спокойный ужас солнца,
 И колесо одно бежит с горы.

Оно так долго, весело бежало
 По склону и по полю, по стерне.
 Прижав меня к себе, стояла мама.
 Шел третий год войны и третий — мне.

* * *

Дарю тебе множество снега
 Из самого синего дня.
 И кони с размаху, с разбегу
 Тебя унесут от меня.

Забудутся беды и боли,
 Забудутся злые слова.
 Останутся — ветер и воля,
 Свобода! Полет! Синева!

Ночь

Собачий лай, созвездий стынь,
 Пространства ночи
 бесконечность.
 Переворачивает Вечность
 Песочные часы пустынь...



М. РОЦИН

★

ШУРА И ПРОСВИРНЯК

Маленькая повесть

1

— **М**еждугородняя, четвертый слушает!
— Два ноль шесть, возьмите Енакиево!
— Нет Катушкина, нет, я вам русским языком говорю! Кого еще в Новосибирске?
— Свердловск! Свердловск! Свердловск!.. Лиза, какого черта, пять минут вызываю!
— Разъединяю, разъединяю, довольно!
— Кого в проектно, у нас сто номеров в проектно, сами не кричите!.. Римма Павловна, поговорите с Магниткой, всю душу вымотал!..
— Междугородняя, первый слушает!
— Междугородняя, пятый слушает!
— Семь семнадцать, возьмите Свердловск, Голубова нет, Перчия на проводе, говорит!..

Десятый час утра, в министерстве начался рабочий день, междугородку разрывают на части. Вчерашние заказы, позавчерашние (которые не прошли из-за повреждений или загруженности на линиях), сегодняшние — сотни звонков. Стучат, влетая, как пули, в гнезда, штекеры — наконечники шнуров, — крутятся диски, пощелкивают ключи, на каждый сигнал коммутатор отзывается долгим зуммером, и десятки, сотни зуммеров вместе с голосами телефонисток образуют звуковой, музыкальный тон конторы связи.

Работают сразу пять телефонисток, и старшая, Римма Павловна, сидящая за отдельным столиком — она одна монотонно, ровно басит, — принимает заказы, записывает их и повторяет вслух. Остальные же на разные голоса, но на одной высокой звонкой ноте мечут свои отрывистые фразы, и впечатление такое, будто они не сидят на своих круглых вертящихся табуретках, а несутся верхом сломя голову.

Сегодня работают: Зоя (прозвище Кармен), Саша Капитанша, Нинка, Люся (прозвище Неваляшка) и Шура. И Римма Павловна само собой. Зоя, Саша, Шура — мастера, давно в конторе, Зоя и Саша еще с фронта пришли — вроде недавно, а уже лет семь проскочило. Нинка с Люсей — девчонки. А еще за коммутатором — высота его примерно в рост человека — на старинной банкетке красного дерева, бог весть как попавшей в этот подвал (на ней спят обычно попеременно ночные дежурные), полулежит с учебником физики Ванечка (прозвище Зяблик), телефонный монтер и студент-заочник, прячется от глаз начальства.

Телефонистки спешат, им каждая секунда дорога, а Ванечке к этому часу делать совсем нечего. Он приходит рано, в семь, за час-полтора успевает справиться с монтерской работой: проверить шнуры,

номеронабиратели, ключи, лампочки, трубки, наушники. Трубки и контакты положено протирать спиртом, но вместо спирта дают одеколон, и в диспетчерской всегда, а особенно сейчас, с утра, стоит приторный запах «Тройного». С казенным спиртом, как известно, вечно махинации, и, например, другой монтер, из АТС, старик Митрофаньч, в хвост и в гриву поносит начальника конторы Дмитрия Иваныча за этот спирт, поскольку Митрофаньчу, век работающему монтером и привыкшему к чистому продукту, приходится в последнее время пить вместо спирта одеколон, что, конечно, хуже. Но зато контора благоухает, и запах «Тройного» — это уже отличительный ее запах: спустишься в подвал, откроешь тяжелую, обитую черным дерматином дверь — и в нос сразу шибанет парикмахерской.

В узкий переулочек-колодец между махинами-зданиями двух министерств попал с небес лучик солнца, кажется первый после долгой октябрьской слякоти, и ближайшая к подвальному окошку телефонистка Саша Капитанша — Шура с этой стороны коммутатора первая от двери как войдешь, а Саша с той — выключила над собою рабочую лампу на раздвижном кронштейне. Только вспыхивают на ее стенде и гаснут красные, зеленые и белые огоньки лампочек под выпуклыми колпачками.

— Надо же, солнышко! — отмечает между прочим Капитанша, и все ее слышат, несмотря на общий шум. И даже кто-то отзывается улыбкой: мол, да, хорошо, и подсохло и вроде чуть подморозило, запахло зимой, хотя ни снежинки еще не упало. Кажется, у всех шести женщин сразу приличное сегодня настроение — удивительно! Или силы еще свежи с утра, в охотку работа и нервы не издерганы.

Ванечке делать нечего, он задремывает на кушетке над учебником, и путаются, сливаются с законом Ома юношеские Ванечкины грезы о его девушке Вале, о губах Нинки, которая взяла привычку утром, войдя в контору, в шутку целовать Ванечку в губы, обдавая его запахом пудры и надушенного мехового воротника. Длинная Нинка самая молодая в конторе, ближе всех к Ванечке по возрасту, но она и самая вольная, самая порченная, как считают остальные женщины, — таких молоденьких девчонок, чтобы папироска в пальцах, нога на ногу, матерщинка да пьяные глаза, прежде не бывало, это уж после войны появилось такое и что-то не убывает.

Задремывает Ванечка, но вот чей-то голос — Шуры! — выходит из общего тона: с кем это она схватилась?

— Да, мой номер четвертый, да, можете, жалуйтесь... Что?.. Да, мне известно, с кем я говорю, не пугайте, товарищ Артамонов...

Ого, оказывается, она с Артамоновым! Все опять слушают, все на миг умолкают, одна Нинка продолжает кричать разливисто и озорно: «Алё-лё-лё! Ленинград? Даю-у!..»

Телефонистки вполуха прислушиваются к тому, что говорит Шура, и по паузам угадывают, что говорят ей.

— Нет, — все тверже и неприятнее звучит голос Шуры, — и в течение часа не соединю, большая очередь... Что?.. А, ну извините, тем более теперь не соединю...

Артамонов из новых молодых начальников, начальник главка, это не шутка. Всем известно: если начальник главка сам ведет переговоры с телефонисткой, это уж бог знает что, полное нарушение субординации. А Артамонов особенно въедлив, рано приходит, до ночи сидит, выслушивается, надо думать, а народ из-за него страдай.

— Сейчас будет чепе, — говорит Шура Римме Павловне, которая уже и без того напряглась, и Шурин тонкогубый рот кривит усмешка, — Артамонов опять. На Урал, видишь, он завтра летит, так снимай все заказы, а у меня канал — вот загружен!

— Ну, ты тоже, мать моя! — Римма Павловна басит недовольно. — Уж с Артамоновым-то!

— Ну а что? — отвечает Шура. — Еще сразу хамить!..

В таких случаях телефонистки, конечно же, берут сторону товарищей, галдят, выливают ушат помоев на абонента, вспоминая, что вот и тогда-то и той-то он тоже то-то и то-то сказал. Но теперь никто отчего-то не выступает в поддержку: может быть, жаль хорошего настроения, которое теперь наверняка сломается; опять Шурины принципы, усмешка, опять день начинается со скандала. Теперь вот жди грозы. А на междугородку и так всех собак привыкли вешать. Никто во всей конторе не работает больше телефонисток, никто не мотает себе так нервы по двенадцать часов подряд, и никому столько не достается из-за каждого пустяка. Кто везет, того и погоняют. А уж если начать артамоновых уму-разуму учить или вежливости — себе дороже!..

Но работа не стоит: Шура, как и другие, тут же снова выходит на линию — заказов действительно слишком много.

— Я четвертый, как слышите? У меня шесть заказов до двенадцати часов. Пропустим? Давайте, девочки, давайте, горим!..

Голос у Шуры спокойный, будто ничего не произошло, и вслед за ней, наверстывая упущенные секунды, стучат штеккерами и выкрикивают номера остальные — вперед, вперед!

Но, разумеется, исподволь все теперь будут ждать и представлять себе, как кричит в эту минуту Артамонов на начальника конторы Дмитрия Иваныча, как Дмитрий Иваныч одной дрожащей рукой держит трубку у вмиг запыхавшего уха, а другой дрожащей рукой выламывает из коробки, из плотного ряда папирос твердую «казбечину», крутит, дерет большим пальцем колесико зажигалки. Или, нажав кнопку, вызвав секретаршу Полину, шипит ей, прикрыв ладонью трубку: «Четвертый! Это кто?.. Ко мне! И Пошенкина сей момент, где его там черти носят?» И вот сейчас, еще несколько секунд, Полина всунет свою кошачью намазанную вражескую рожу в дверь и иезуитским голоском скажет: «Четвертый это кто у вас? Латникова, что ли? Латникова! К Дмитрию Иванчу! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, Римма Павловна! Прямо все время неприятности, еще день не начали!..» И скроется, змея, прекрасная знающая и кто четвертый, и кто такая Латникова, и как передергивает диспетчерскую от ее «здрате» и особенно от ее «девочки». Мы тебе, лахудра, не девочки, это ты все девочку из себя строишь, старая ты задница, поглядела бы лучше на свою лысую башку!

Телефонистки ждут, они ко всему готовы, но работа ведет и уводит их с каждой минутой от случившегося все дальше.

Ванечка же, очнувшись и потеряв сразу сон, выбирается из-за коммутатора. На нем синий монтерский халат, а в вырезе белеет ворот толстого свитера — между прочим, свое прозвище Зяблик получил не из-за каких-либо мелкоптичьих нравственных черт, а исключительно от глагола «зябнуть» (хотя знающие птиц люди объяснят вам, что зяблик совсем не трусливая и ничтожная пичуга, а, напротив, своенравная, драчливая, дикая птица, еле поддающаяся жизни в неволе и громко и весело распеваящая свои весенние песни). Ванечка всегда подрагивает, поеживается, любимое его место — это место под вешалкой, где густо висят женские пальто, утопить в них спину и плечи или даже снять чье-либо, потешно укутаться, да еще платочком повязаться и так сидеть, читать, перекидываться шутками с телефонистками, но это, разумеется, лучше в вечернюю смену, когда начальство уже ушло. Впрочем, в ту пору, о которой идет наш рассказ, начальство уходило с работы поздно.

Зяблик выбирается из-за коммутатора и первым делом встречается взглядом с Шурой. Голову ее, ее прямые светлые волосы, стриженные ниже ушей и острыми мысиками выходящие на щеки прямо к углам рта, сверху охватывает дужка наушников. Некрасивое плоское лицо Шуры бесцветно и бескровно: бледные губы, светлые глаза, бровей

будто вовсе нет. Но оно притягивает к себе умным твердым недовольным выражением — прямота ее натуры выступает в этом странном лице, оно вызывающе не желает быть подкрашенным, искусственно подправленным, женственным, оно такое, какое оно есть, но еще и заявляет, что таким и будет. На Шуре обвисший свитер и меховая безрукавка, вечный ее наряд, цвета хаки юбка и обрезанные в размер ботинок или бот валенки, которые сама Шура называет коты. Ни колечек на ней, ни сережек, ни брошечек, как, например, на Зое Кармен, ничего: серое лицо, бесцветный свитер, выцветшая юбка.

Зяблик выбирается из-за коммутатора, потому что боится: вдруг явится сам Дмитрий Иванович, увидит его с книжкой, греха не оберешься. Но когда Зяблик встречается взглядом с Шурой, то тут же оказывается на стороне Шуры, смеется, одобрительно ей кивает, понимающе и поддерживающе. Ах эти милые мягкие молодые люди, похожие на девушек! Кажется, кто бы ни взял их за руку и куда бы ни повел, они пойдут, застенчиво потупив глазки и розовея милым овальным личиком. У Зяблика тоже миловидное лицо, светлые кудрявистые волосы, волной изгибающиеся над чистым лбом, голубые глаза, меняющие, как море, цвет свой по погоде: до темно-синего, до светло-серого. Зяблик юношески тонок, высок — вот сейчас он потянулся и достал учебником физики до низкого потолка диспетчерской. Есть в Ванечке приятность, обаяние, милота, он чист, опрятен, ему всего-то девятнадцать лет, но кажется, что еще меньше. Он начитан, он учится в Институте связи заочно на втором курсе, он даже ходил со своей Валечкой в консерваторию. «Интеллигентный монтер», — говорит старик Митрофаныч.

Шура к Ванечке относится ревниво. Ей кажется, что работа в конторе, безделье, кутанье в женское пальто и атмосфера невольного внимания многих женщин к молодому человеку — это баловство и порча. Сам Ванечка этого не понимает по молодости, и мать его, работающая здесь же, в министерстве, в столовой, довольная тем, что сын ее студент и с работой замечательно устроен, тоже понять не в состоянии, а паренек мил, но слаб. Шура даже как будто дружит с Ванечкой, но относится к нему как к ребенку и... ошибается, потому что Ванечка все-таки уже не ребенок и за его мягкостью, как и всегда бывает с мягкостью молодых милых людей, есть и своя воля, и своеволие, и неожиданные хотения, далеко-далеко уводящие милых молодых людей по извилям житейских дорог.

Взгляды Ванечки и Шуры мимолетны, Шуре некогда, как и другим телефонисткам, и Ванечка ведет глазом по диспетчерской, не зная, какой путь выбрать: то ли вовсе вон от греха, то ли скрыться в их с Пошенкиным каморке.

Диспетчерская — низкая, но довольно просторная комната, и из нее еще есть дверь, на которой написано «Начальник МТС» (то есть междугородной телефонной станции. Дмитрий Иванович — начальник всей конторы связи, а Пошенкин — начальник МТС). Дверь и ведет в каморку. Там место аппаратуры, всю стену занимает стенд коммутаторных реле, тех самых, что отзываются на сигналы телефонисток отсюда, из диспетчерской. В каморке инструменты, на полках навалено, на двухтумбовом столе Пошенкина тоже и на полу, везде. Впрочем, Пошенкина пока нет, скрываться в каморке неохота, но и деваться некуда. Ванечка медлит.

И тут в диспетчерскую входит, хромая, Просвирняк. Потряхивает длинными волосами, заправляет рукой галстук за борт пиджака. Все оборачиваются, глядя на него как на гонца, на вестника. Просвирняк даже чуть теряется под этими взглядами. Выражение его, как обычно, заискивающее и радостное, и все понимают, что он, видимо, и не знает ничего и в гонцы с дурной вестью не годится. Он всех живо приветствует (никто не слышит) и обращается к Зяблику.

— Вань! — говорит он. — Тебя Митрофаныч зовет. — А глаза его умоляют: возьми меня тоже. — С инструментом, сказал.

— Да? Ясно! — быстро и радостно отвечает Ванечка. Вот и дело, вот и повод уйти. И он взглядывает на Шуру, будто прося прощения: видишь, меня Митрофаныч срочно вызывает, но вы тут держитесь.

Ванечка идет в каморку за чемоданчиком. Просвирняк топчется без внимания, потом говорит умиленно в пространство:

— Погодка-то! Благодать!

Слова его повисают в воздухе, все заняты, и только Нинка, обернувшись, быстро, как на муху, севшую на плечо, фыркает на Просвирняка: мол, насчет погоды это ты верно, но лучше отвали, не до тебя.

Просвирняк мелко кивает, тушует, но тут выходит собранный, уже с иным выражением — важности исполняемого дела — Ванечка, и они удаляются. Просвирняк, хоть он лет на пятнадцать старше, почти-точно пропускает юношу впереди себя.

И в тот же миг раздается уже не бас, а полубас Риммы Павловны:

— Нет, его еще нет, Дмитрий Иванович... (Тут все рты захлопываются.) Ну да... но у нас... мы же не можем... поняла... — И Римма Павловна снимает с головы наушники, дышит тяжело и, ни на кого не глядя и ничего не говоря, начинает выбираться из-за своего столика, сотрясая и сдвигая его с места.

— Чего он, Римма Павловна? — спрашивает за всех Саша Капитанша.

— Чего, чего... черт! — чертыхается Римма Павловна на свой столик, двигаясь и дыша, как бегемот. Только она угнездилась, утепалась, обмоталась по бедрам шерстяным платком, все порасстегнула на толстом теле, расшнуровала — нате вам, иди! Она в уборную-то до вечера не ходит, а тут ползи к начальству, да и было бы из-за чего, все наперед известно.

Женщины напряглись, боятся что-либо сказать: всем ведь понятно, кто виноват.

— Давайте я пойду! — говорит спокойно Шура и берется за наушники, чтобы снять их.

— Сиди! — вроде бы грубо отвечает Римма Павловна и жестом показывает Саше Капитанше, чтобы та подключилась на ее телефоны и принимала пока заказы. — Разорался, будто убили его. — Подправляя и подтягивая на ходу свой многослойный, как капуста, туалет, Римма Павловна топает по диспетчерской, и половицы с облезшей краской и пятном солнца на них прогибаются под нею, словно сходни. — Этого еще паразита где черти носят! — Она делает жест в сторону каморки Пошенкина. — Бездельник на бездельнике и бездельником погоняет!..

2

Узкий, острый фасад здания со старинной башенкой и колоннами наверху выступает, как нос корабля, на простор широкой площади, а боковые крылья (все здание — как буква А), занимая по целому кварталу, выходят — одно в глухой переулок, перекрытый министерским гаражом, а другое на задворки старой московской улицы, изогнутой, будто самоварная труба, вечно забитой транспортом и народом, потому что она состыковывает самый уже почти центр с бывшими Хитровками, Котельниками, Таганками, Рогожками. Еще ходят здесь два трамвая: «двойка» и «27» — путь их начинается далеко, на шоссе Энтузиастов, за Измайловом.

Внутри гигантского А, во дворе, лепятся хозяйственные строения, мастерские, котельная — чего только нет! Даже общежитие охраны: здоровые молодые парни-вохровцы валяются на серых заправленных койках, чистят от безделья пистолеты, читают — некоторые учатся заочно, все на юридическом. Есть во дворе чахлый садик, задавленный тенью дома, бедный островок природы; будто в отместку за свое скорбное существование он пускает во все окна весной пух с длинно-

го тополя, а осенью разбрасывает по двору сухие листья, и ветер долго катает их по асфальту назло министерским дворникам.

В министерстве, как на корабле, все есть и все свое, автономия вплоть до мелких служб: дворники, повара, киномеханики, парикмахеры. Бытом огромного дома занимается АХО — административно-хозяйственный отдел. Его начальник, Бубышкин, — важная фигура, весь день носится на своей (то есть на казенной, конечно) машине, добывая всякую всячину: от клея и скрепок до земельных участков; надо учесть, что, кроме основного здания, в разных местах города и за городом существуют еще министерские филиалы, дома, гостиницы, дачи, дома отдыха и даже свое подсобное хозяйство, которое еще со времен военной голодухи производит собственные огурцы и свежую сметану.

Корабль внушительен и строг, автономия не просто существует, но поддерживается и поощряется, ибо все важно, все имеет значение, все должно подчиняться раз и навсегда заведенному порядку. Пусть, скажем, бумажка ерундовая, но коли она исходит от нас, она должна внушать трепет. Пусть будет на бланке, с подписями и печатями, даже если речь идет о разгрузке капусты для столовой. Все должно иметь вес и внушать почтение.

Стоит приблизиться — и сама махина дома заставит простого человека мысленно почесать в затылке. Черные зеркальные вывески со строгими золотыми буквами важно ударят в глаза при входе; тяжелый, на цепях карниз над подъездом чуть вдавит вам голову в плечи. В мрачноватом бюро пропусков с черными телефонами по стенам невидимая рука в военном рукаве протянет из глухого окошка долго выписываемый пропуск. А вот, например, в двенадцатом часу дня в чистый, всегда выметенный и обколотый от льда зимой переулок к другому, еще более внушительному подъезду подкатывают, как катера к крейсерскому трапу, сверкающие лаком, никелем и стеклом машины (черные немецкие «хорьки», в каких ездило тогда самое высокое начальство, и машины охраны), и откидываются наружи встречающим человеком дверцы — любой прохожий, заглянувший в этот миг в переулок с улицы, да и любой приникший к стеклу служащий, которому не надоедает каждый день наблюдать выезд министра, немедленно испытывают почтение и поймут, что за важное есть место этот дом!

А ранним зимним вечером, когда широко и ярко горят окна всех семи этажей, или когда в час окончания работы валит сразу из трех подъездов тысячный народ — те служащие, которым не надо оставаться на своих местах далеко за полночь, — в такие минуты дом выглядит особенно солидно и имеет даже свою величавую красоту.

Но люди есть люди, и как ни старайся, а вылезет, выпрется какая-нибудь ерундовина, что-нибудь мелкое и бытовое среди сверкающего порядка, вмиг нарушит весь вид.

Но и корабль есть корабль, его мелочью не возьмешь и не смутишь. Вперед! Так держать!

Чтобы поддерживать отношения с миром, не упустить ни одного сигнала извне, и чтобы не оставить втуне ни одного приказа, рожденного на каждом из семи этажей, флагман, помимо многоштатной экспедиции, ведающей входящей и исходящей документацией — она увозится и привозится мешками, — имеет еще и своих связистов. Связь — это нервы страны, любят говорить они о себе, это глаза и уши корабля и его язык сразу. Пусть они ютятся в подвале, за окнами, забранными тяжелой решеткой, пусть окна, или, вернее, только форточки, глядят в переулок, откуда синяя бензиновая гарь тяжелых лимузинов лезет в эти и без того душные помещения, — не беда. О них вообще мало кто знает. Они слышат и знают всех, на них же не обращают внимания, как мало обращает здоровый человек внимания на свои уши и голосовые связки. Связисты не в претензии, они знают свое место и делают свое дело, таков порядок.

...Выскочив из подвала, вся троица перебегает к главному министерскому подъезду — по свежему воздуху, по солнышку: старик Митрофаньч, Ваня и Просвирняк, припадающий на правую ногу. Проверять телефоны где-нибудь в отделах, где в комнате набито по десятку, а то и больше канцелярских столов, может бегать кто угодно и в одиночку, а в кабинеты министра, шести его заместителей, начальников главков отправляется уже непременно группа в два-три монтера и обязательно с кем-нибудь из конторских старших. Митрофаньч, как правило, обслуживает второй этаж, министра, и поскольку Ваня выглядит интеллигентно, любит брать его с собой. Митрофаньчу за пятьдесят, он кургузый, толстенький, смешной и смешливый. Он много меньше Вани ростом, голова плешивая, одет всегда бог знает в какую спецовку и штаны, и одеколонным ароматом от него разит, как от вечерней резеды. У него манера ни с того ни с сего зафыркать, залиться смехом, зажав живот короткими лапами, а потом уж, давась и утирая слезы, рассказать какую-нибудь историю, анекдотец — все больше насчет женщин.

Они выходили из подвала, и в дверях Митрофаньч вот так залился, захихикал, завохтал:

— Ленка-то, Ленка давеча, ну эта-то, подавальщица из столовой!.. Ну умора, пра слово! Она уже лет пятнадцать в наркомате-то, ее только ленивый не трогал, а она, видал!..

Хорошо, что они уже выходили, Зяблик дверь полуоткрыл, а то пошел бы Митрофаньч! Про ночные кабинеты, про кожаные диваны, про душевую с той стороны подвала, про автобазу, где чистые пустые машины стоят по ночам. Митрофаньч — это еще одна его особенность — никак не может привыкнуть, что наркоматы давным-давно переименовали, и все называет по-старому: «наркомат», «нарком», «командир» вместо «офицер», «краснофлотец», «подавальщица».

На вопрос Вани, можно ли Просвирняку пойти с ними, Митрофаньч беспечно ответил: «А чего ж! Позвоню только Сухорукову».

Лицо у Митрофаньча с утра красное, лысина тоже, одеколонный дух весело отлетает от него, он добрее доброго.

Просвирняк счастлив. Он заранее засуетился, не зная, как быть теперь, что взять с собой, не идти же с пустыми руками. Ванечка сунул ему в руку моток красного провода, и Просвирняк вцепился в него, словно в спасательный круг. Бывает, до жалости неловко глядеть на Витю. И откуда он такой взялся?

Просвирняка оформили по приказу Дмитрия Иваныча на междугородку вторым монтером, единица была. Но единицу приберегал для кого-то своего Пошенкин, а тут вдруг — нате вам! — является малый лет тридцати, в шляпе, в долгополом пальто: здрасте, будем помогать, кому делать нечего! Пошенкин крайне разобиделся, а сам Просвирняк, видя, что из-за него сыр-бор разгорелся, держался виновато. Тяжело было смотреть, как он тупевался перед Пошенкиным. Но в то же время не мог скрыть радости, что попал сюда, в контору, в такой важный дом, и старался каждому улыбнуться и угодить.

Вид у него для монтера действительно был странноват: эта шляпа, галстук, длинные, не по моде тех времен волосы. С ногой у него было неладно, он ее поволакивал, хромал. Халат ему долго не выдавали, он так и мелькал: в пиджачке, в галстуке. Правда, когда приглядишься, увидишь: зеленая шляпа его видала виды, раз навсегда завязанный узел галстука пообтерся до белизны о щетинистый кадык. Лицо у Просвирняка широкое, обращает на себя внимание сильно выпирающими надбровьями и впадинами под самыми глазами, отчего глаза, глубоко запав, дают лицу грубый, почти злодейский вид, и ему никак не идет угодническое или детски-радостное выражение. Да еще при этом лицо худое, несытое, кожа обтянула кости, так и кажется: Витя наголодался, натомился где-то, ночевал по вокзалам в своей шляпе, а теперь попал в теплое, чистое место и рад.

Телефонистки хоть и побушевали поначалу вместе с Пошенкиным, произдевались над вторым монтером, но скоро сжалились: бедный какой-то, хромой, хоть и видно, что не фронтовик, не из таких.

Ванечке и вовсе пришлось общаться с Витей больше других: знакомить его с работой, обучать. В технике Витя ничего, как выяснилось, не понимал, на учебе оказался туп, на что-то постоянно отвлекался и никак не мог запомнить, какой конец телефонной трубки называется микрофоном.

Они стали вместе ходить обедать («Богато кормюют», — отмечал Витя), Ваня рассказывал про контору, кто да что, с кем и как себя держать, это Витя слушал внимательно, переспрашивал и запоминал. Он был благодарен Зяблику и так старался угодить юноше, что сам бегал, хромя, приносил от стойки компоты.

Ваня узнал немного: Просвирняк в Москву приехал недавно, живет у дальних родственников за городом, в Панках, сорок минут на электричке, — говор у Просвирняка действительно был не московский, скорее южный, на мягкое «г». Работал он прежде на странных работах: например, учителем пения в детдоме или эвакуатором в городе Феодосии. «Кем?» — переспросил Зяблик. Оказалось, эвакуатор — это кто в санатории билеты на поезда достает отдыхающим.

Зяблику нравилось, что взрослый, бывалый парень, похожий на учителя черчения из той школы, где Зяблик раньше учился, общается с ним на равных, вернее даже заискивает перед ним, мальчишкой. Неплохо: все-таки молодой — дай бог, будет в конторе товарищ, не одни женщины.

И вот потому они уже вполне дружно выходят из подвала, поднимаются по ступенькам, перебегают без шапок и пальто к подъезду, и солнце лепит сверху, и морозцем пахнет — снега нет, но все подсохло, ждет зимы.

А затем они поднимаются втроем по строгой парадной лестнице, по бордовой дорожке, начищенные медные прутья, прижимающие дорожку к ступеням, блестят им в глаза. Здесь тихо, чисто, гулко, невольно хочется понизить голос (но не Митрофаньчу).

Благоухающий Митрофаньч со своим старым желтым деревянным ящиком с инструментами в руке быстро идет вперед, за ним Ваня с чемоданчиком, а Витя с мотком ненужного красного провода замешкался, задержался внизу, испугавшись и приветствуя, вернее не зная, как приветствовать, аккуратного солдата в синей фуражке, с пистолетом на поясе. Солдат откозырял, пропуская всех троих (ему уже позвонили), а Витя засуетился, подавая свой ненужный пропуск, испугался — он уже тогда заволновался, когда Митрофаньч еще только взялся за начищенную до желтизны медную ручку тяжелой двери, а солдатская фигура еще только замаячила за тройными зеркальными, играющими на солнце стеклами.

Теперь Витя, прихрамывая, одолевал лестницу, а Зяблик остановился, поджидая его. Поднялись. Направо — длинный коридор, в глубине его сияет солнцем единственное окно, на фоне окна — согнутая фигура уборщицы в ослепительном нимбе, и слышен шум пылесоса. Налево — короткий глухой коридор с очень мягким ковром, здесь нет окон, лишь горит желтый коридорный свет, как в корабельном трюме. Митрофаньч уже топает по ковру, им сюда, Ваня кивает Просвирняку: сюда, мол. Походка у Вити делается еще суетливее, шаг мельче, и оттого, что он хромяет, кажется, будто он беспрестанно кланяется на ходу: солдату, дверям, ступенькам.

Вот огромная, с высоченными окнами приемная. Потолки бесконечно высоки. Здесь монтеров встречает человек в кожаном пальто нараспашку, в сапогах и тоже в синей фуражке. Это Сухоруков из охраны, он отпер им кабинет. Зяблика и Митрофаньча Сухоруков знает, а Просвирняка видит впервые и откровенно подозрительно и недовольно оглядывает его робкую и странную фигуру с галстуком и

длинными волосами. Тяжелая, еще заспанная, хотя и выбритая уже до желтого глянца физиономия Сухорукова принимает суровое выражение.

Витя вовсе теряется, приклеенно следует за Ванечкой, суетливо заправляет на место вылезавший галстук, поклоны его так и сыплются. Но Сухорукова не проймешь.

Ваня быстро проверяет и без того отлично работающие аппараты помощника министра, а голос Митрофанюча уже доносится оттуда, где святая святых. Ваня пропускает Витю вперед, и они вступают в кабинет министра.

Просвирняк здесь в первый раз, на лбу и щеках его выступают красные пятна, он, похоже, ничего толком не видит вокруг, только ищет спасительные и знакомые телефоны. Спотыкается о ковер и до белизны в костяшках пальцев сжимает моток красного провода.

Митрофанюч и Ваня, напротив, никакого волнения не чувствуют, им здесь все знакомо. Митрофанюч даже напевает между делом: «Иза лесу, лесу темного привезли его огромного...» Кабинет министра по сравнению хотя бы с кабинетами его замов или даже с приемной, которую миновали монтеры, кажется небольшим; наверное, когда проходят заседания, коллегии, здесь бывает тесновато. Но, говорят, министр не любит больших помещений, у него и в квартире так — может быть, оттого, что сам он маленького роста. Но все-таки в кабинете четыре больших окна — сейчас шторы на двух задернуты и в кабинете сразу и солнце и полутьма, видно, как пляшут пылинки, передвигаясь из тьмы на свет, — и вообще места, конечно, немало. Стоит длинный полированный стол для заседаний, темный, старинный, но не на середине, а ближе к стене, к дверям, а вокруг двадцать два темных жестких полукресла.

Стол министра не примыкает к этому столу, а находится в стороне, ближе к окну, особнячком. Он тоже темного, не казенного вида и невелик и перед ним не огромные мягкие кресла, как бывает в иных кабинетах, а такие же твердые стулья с полукруглой низкой спинкой, как и у стола. И точно на таком же стуле сидит сам хозяин кабинета.

Стол министра чист, на нем лишь лампа, тоже простая, черная, изогнутая, эбонитовая (принятый всюду стереотип), да деревянный стакан с остро отточенными карандашами, да темный посредине бювар, вот и все.

Рядом на специальной подставке, у окна, под плексигласовым колпаком зеленеет модель тяжелого танка с длинной пушкой.

Вообще хотя в кабинет, видимо, не приходила еще уборщица, ничто не говорит о том, что несколько часов назад здесь кто-то находился, работал: ни пепельниц с окурками, ни стаканов с недопитым чаем, ни брошенных в корзину бумаг — чисто, холодно, строго. Таков и сам министр — маленького роста человек всегда в одном и том же черном пальто и шляпе, с большеносым армянским лицом, строгим, но болезненным, болезненно-одиноким. Несколько шагов от машины к подъезду он проходит обычно замкнуто и строго, но чуть нервно и чуть подавленно, как будто на него плохо действует вид слишком большого подъезда, слишком больших и к тому же сразу двух корабельных громад министерских зданий: его министерства да еще соседнего. Окружающая его тайна, его государственный пост, его деятельность должны внушать трепет и, вероятно, кому-то внушают, хотя бы ближайшим помощникам министра, но простой люд и особенно женщины, которых питают собственные наблюдения, трепета не испытывают, и, например, телефонистки конторы связи относятся к министру, к его фигуре (плюс разговоры о его плохом здоровье) с жалостливым состраданием: им так и чудится, что министр сидит у себя по ночам без чая и папирос, глядит в одну точку перед собою и думает мучительные думы.

Правда, Митрофанюч, напротив, утверждал другое. В кабинете

рядом с огромной картой Союза, задернутой занавеской, в стене, отделанной деревянной панелью, находилась еще незаметная маленькая дверь. Это была самая тайная дверь, и никто, как в замке Синей Бороды, не знал, что это за дверь и что за нею. Но Митрофаныч якобы знал и утверждал, что там у министра стоит раскладушка, чтобы вздремнуть в свободный часок, а также американский холодильник с водочкой и закуской на всякий случай. Но будь это хоть и правда, все равно тем более жалостливо выглядело: бедный министр, лежащий в каморке на раскладушке.

Когда вошли Витя с Зябликом, а за ними Сухоруков, Митрофаныч уже возился у еще одного небольшого — специально телефонного — столика, который находился совсем у окна, от министра по правую руку. Здесь стоял коммутатор и всего два телефона: белый и черный, оба без дисков — разве может занятой человек сам без конца крутить пальцем, набирая номера? Белый телефон — вертушка.

Коммутатор был плоский, компактный, черный — отличный сименсовский аппарат, лучше не бывает. Его устанавливал когда-то Пошенкин вместе с затюканным инженером Изей из АТС, и с тех пор чуть что — Леонид Степаныч сразу свой главный козырь: «А кто министру коммутатор наладил?»

Митрофаныч опускается на колени, открывает в деревянной стене деревянную же дверь, осматривает вмонтированные в стену розетки. Потом, подняв край тяжелого ковра, оглядывает пол: там, под паркетом, уложены провода. «Из-за лесу, лесу темного...»

Сухоруков задерживается у дверей, снимает фуражку — голова его оказывается тоже до глянца выбритой, как и лицо, и тоже костяного, желтого цвета. Просвирняк замешкался опять, замотался, словно его уличат сейчас, что пришел сюда без дела; Зяблик манит его к себе: надо же Вите в самом деле хоть чему-то учиться.

Сам Ваня пока стоя нажимает один клавиш на коммутаторе, другой — мягко загораются мелкие лампочки, прикрытые плоскими матовыми колпачками. Все лампочки горят, порядок, но Ване нужно сменить их все до единой. Это вот почему. Несколько лет назад, сразу после войны, пришел в контору некий инженер Рублев, офицер, фронтовик, вся грудь, рассказывали, в орденах. И вот этот фронтовой связист решил все в конторе изменить и переделать. Вот он-то, например, и говорил: если срок работы какого-то прибора или лампочки рассчитан на год, то лучше всего снять их и заменить новыми через одиннадцать с половиной месяцев. Не дожидаться, пока сами выйдут из строя. Тогда, мол, не будет аварий, ремонта, потери времени.

Стал Рублев так делать на практике, но контора заартачилась, заленилась, покатила на Рублева бочку: «А как экономия? Это к чему нас призывает товарищ Рублев? Списывать в утиль хорошие лампы? Разбазаривать средства? Да еще неизвестно, куда эти наши хорошие лампы потом пойдут! Может, налево?..» И хоть доказывал Рублев, что ремонт и простой стоят дороже, но его «разоблачили» и из конторы выгнали. А про его крамольные методы и вспоминать запретили. И никто не вспоминал, и по-прежнему на шнурах телефонистки работали до тех пор, пока шнуры не превращались в лохмотья и не становились совсем короткими от бесконечных обрезок. И без конца же ремонтировали реле, проводку, трубки и прочее. И лишь Митрофаныч тайно учил Зяблика, что инженер Рублев был прав. Конечно, везде всего не наменяешь, бедность кругом и всего нехватка, но там, где приборы должны всегда работать как часы, там, говорил Митрофаныч, на дерьме выгадывать нечего и надо делать по-рублевски. И вообще, мол, парень этот был с головой и не сожри его Дмитрий Иваныч со своей братией, в конторе давно бы машинки сами себя чинили да еще пол мели и сидели бы здесь вместо нас две-три автоматические чучелы.

Теперь, меняя лампочки, Ваня садится, чтобы было удобнее, в полукресло министра и видит, как Просвирняк вздрагивает и озира-

ется на Сухорукова: можно ли? Ване даже неловко за взрослого Витю: что он так боится всего?

— Ты сюда смотри, сюда! — говорит он Просвирияку. Ваня бросает лампочки в аккуратный кожаный мешочек, они еще пригодятся. Потом снова нажимает клавиш вызова, и в комнате тотчас раздается женский официальный голос:

— Междугородняя, четвертый слушает.

Это Шура.

Просвирияк опять вздрагивает, уж этого он не ожидал: что сюда так громко может вторгнуться посторонний и вольный звук. Сухоруков тоже поворачивает голову, не поворачивая корпуса, как кукла.

— Привет, Шур! — говорит Зяблик обрадованно. Он нарочно откинулся в кресле и только чуть развернулся к коммутатору, чтобы проверить, с какого расстояния лучше слышно. — Это мы тут орудуем. Как слышишь?

— А-а... — Голос Шуры сразу меняется. — А я-то удивилась: что это так рано? Вылизываете?

Митрофаныч, все еще стоя на коленях, тут же начинает квохтать, трясясь от смеха.

— Стараемся, — тут же пристраиваясь к тону Шуры, отвечает Ванечка, но вместе с тем чуть косится на Сухорукова. — А у тебя там как?

Это он проявляет участие насчет Артамонова, но Шура не успевает ответить — вступает, квохтая, Митрофаныч.

— Здоров, Сергеевна! — кричит он. — Это я! Как она, ничего? Чавой-то давно не видал тебя!

— Ничаво, — отвечает Шура в тон, — здоров, дед! Где вам видать, вы все вылизываете.

Митрофаныч совсем заходится от смеха, а Ванечка, убавляя и прибавляя громкость, спрашивает:

— А так, Шур?.. Шура, а вот так?..

Он еще продолжает выкручивать и вставлять новые лампочки в поднятую крышку коммутатора и показывает Просвирияку, чтобы тот следил, смотрел сюда, в густо забитое цветными проводами нутро аппарата, хотя ясно, что Просвирияк от волнения и страха ни бельмеса не понимает. И еще он хочет обезопасить Шуру от Сухорукова, чтобы она при нем лишнего не сморозила:

— Шур! Слышишь? Мы тут с Витей... Ну а чем кончилось-то?

— Да ну их к черту! — говорит Шура. — Пошенкина ищут, раздуты теперь до небес... Вы бы всюду так вылизывали, — опять меняет она тон, посылая свою фразу Митрофанычу, — мы бы горя не знали!

— От дает! — восторгается Митрофаныч.

А Сухоруков хмурится, а Просвирияк втягивает голову в плечи.

— Ладно, Шур, — опять перебивает Зяблик, — дай мне на минутку Свердловск, потом Украину.

— Ну ты тоже, нашел время! — Шура сердится. — Урал забит.

— Ну на секунду!..

Аппарат работает так хорошо, что слышно дыхание Шуры, голоса Зои, Нинки, Риммы Павловны, и, пока Шура вызывает Урал, Митрофаныч квохчет, обращаясь теперь прямо к Сухорукову:

— От девка! Пальца в рот не клади! Отрежет хоть кого! Из себя тощеватая только... Да ты ее знаешь, Шуру-то, Сухоруков?..

— Ладно, ковырайся поживей! — неожиданно грубо отвечает Сухоруков. — Некогда мне тут с вами ля-ля! Шуры, понимаешь, муры..

При этом Сухоруков бросает свою фуражку на подоконник. Бедняга Просвирияк от этого жеста, от звука стукнувшего по мрамору козырька даже бледнеет. Он так и не вышускает из рук красного провода.

— Всюду бы так-то вылизывали! — хохочет Митрофаныч. — Ну подцепит, а?

Тут снова раздается голос Шуры:

— Свердловск возьми, только быстро!

Ванечка закрывает коммутатор; Митрофаныч складывает свой чемоданчик, поднимается и отряхивает колени — будто его страшные рабочие штаны могли испачкаться о стерильный ковер. Ваня кивает ему: мол, еще минута — и все, заканчиваю.

— Свердловск? — Он чуть повышает голос. — Кто это? Ксения? Как слышите? От министра говорю.

Пробиваясь сквозь всю страну, отдаленно, сквозь шорохи и помехи, но все-таки чисто и четко доносится нежный девичий голос, чуть медленноватый для телефонистки:

— Это не Ксения, это Марина, здравствуйте. Ксения сменилась...

Зяблик Марину никогда не видел, но знает ее давно и по голосу она представляется ему тоненькой, тихой девушкой. Она ему нравится по голосу, и его тон, когда он с ней, бывает, разговаривает, тут же делается особенным, Марининым, если можно так сказать, потому что, скажем, со своей девушкой Валею Зяблик говорит иначе, да и с каждой другой по-своему.

— А, Марина! — говорит он. — Здравствуй, здравствуй! — Он не замечает, как откидывается в кресле и перестает обращать внимание на окружающих. — Ты по первому каналу? А по второму тоже возьми на всякий случай... Раз, два, три...

— Очень хорошо слышу, — отвечает Марина, — и по второму тоже...

— Да-да, ясно, Марина, спасибо.

— А у нас вчера метель была, — вдруг говорит Марина, — просто небывалая, трамваи не ходят, грузовик один перевернуло...

— Да? Как это?

— Ой, а сегодня! Солнышко и все такое белое, так сверкает! — Слышно, как Марина нежно смеется, и Зяблик невольно улыбается. — А у вас? — продолжает разговор Марина.

— Нет, у нас еще... — на улыбке начинает фразу Зяблик, но тут его перебивает Шура, которой нужен канал, и он сразу видит глядящих на него, развалившегося в кресле министра, Сухорукова, Митрофаныча и Просвирняка. Причем Митрофаныч еще посмеивается, а Витя глядит удивительно похоже на Сухорукова: чуть ли не с возмущением.

— ...у нас, Марина, — заканчивает Ваня, выпрямляясь, — спасибо, Марина, видишь, канал нужен...

— Хорошо, до свидания, — все так же нежно отвечает Марина, хотя понимает уже, что про метели и солнышко она начала невпопад.

— Спасибо за связь, Марина. — Зяблик в оправдание свое решил закончить процедуру проверки как полагается. — Не уходите с линии, сейчас проверим с Макеевкой. — Тем самым он еще дает понять Марине, что не он виноват. — Шура, Макеевку!

— Черт, навязался еще на мою голову! — отвечает Шура, опять потешая Митрофаныча, и кричит: — Макеевка! Макеевка! Как слышите?

Она подключает Макеевку, и они разговаривают вчетвером: Марина, Ваня, Шура и телефонистка из Макеевки с сильным украинским акцентом. Слышимость отличная. Шура вдруг тоже спрашивает о погоде, и весь строгий, торжественный, с печальной тенью от шторы кабинет министра вдруг заполняет живой крик макеевской телефонистки:

— Та ну, шоб ей сказиться, ужо тий погоди! Дожжит та дождит другу нидилю, нияк картоху с огорода не выкопаемо!

Просвирняк в полной растерянности, Сухоруков берет с подоконника фуражку и насаживает ее на голову, Митрофаныч, похохатывая, уже движется к двери, к двойному ее тамбуру. Зяблик тоже встает, закрывает чемоданчик, а женские голоса еще продолжают звучать,

шуметь, звенеть, пока один щелчок ключа не обрывает их живую музыку на полужае.

Все в порядке, прекрасно слышно, отличный селектор у министра, можно идти.

На обратном пути испуг Просвирняка проходит; упревший от впечатлений, от волнения, даже обессиленный, он сияет влажным от пота лицом, и глаза его горят счастьем: господи, где он был! куда допущен! какие горизонты открываются в жизни!.. Вот оно, все близко, руками можно потрогать, руками!..

3

На столе Пошенкина шасси распотрошенного приемника, старые динамики, репродукторы, пахнет в каморке паяльником, жженой пластмассой и канифолью, в перевернутой крышке от стеклянной консервной банки гора окурков «Беломора»: мелкая кустарная мастерская, да и только.

Впрочем, так оно почти и есть. Леонид Степаныч слывет специалистом по радиочасти. Пусть он без образования, но опыта у него хватает. Как-нибудь, с грехом пополам, но он починит вам, может и топорно, любую радиощтуковину, хоть нашу, хоть какую. И если кому-то в министерстве надо исправить приемник или телевизор (тогда занималась заря первых «Ленинградов» и «КВНов»), то никто, конечно, не обращается ни в какие ателье — да их и не было, — а идут на поклон к своим, местным техникам.

Таков был вообще издавна заведен порядок, не зря сохранялась министерская автономия: министерские слесари чинили по квартирам умывальники и унитазаы, маляры и плотники белили потолки, циклевали паркет, стекольщики вставляли стекла, и, бывало, Митю-электрика гоняли на чью-нибудь квартиру или дачу починить выключатель или присобачить в изголовье какой-либо Марье Ивановне трофейный ночничок, купленный в комиссионке.

А что касается радио, то с этим, конечно, в контору связи. Забарахлит у какого-нибудь заведомом приемник, скажет он своей секретарше: позвоните, мол, Зиночка, в АХО Бубышкину, а то у меня дома телефонкен не того. И Зиночка тут же позвонит Бубышкину или прямо в контору Дмитрию Иванычу: отправьте, дескать, своих хлопцев туда-то и туда-то; Дмитрий Иваныч рад стараться: чем выше просящий, тем больше нам, связистам, почета. Он тут же отдает приказ, а затем звонит Зиночке: мол, готово. А Зиночка вызывает машину своего шефа, и вот уже (не прошло и получаса) кто-либо из конторы, а чаще всего Леонид Степанович Пошенкин, глядишь, мчится в начальственной машине с чемоданчиком на коленях по городу и уже глядит с переднего сиденья на пеший люд с тем особым барственным выражением, с каким всегда глядят из автомобилей те, кто редко в автомобилях ездит.

Работы хватало и с каждым годом после войны все прибавлялось, в одиночку Пошенкин уже не справлялся и стал привлекать к этому делу то Зяблика, то бедного многодетного Изю. До конторы же, до своей главной работы, случалось, неделями не доходили руки. Да и что делать? Все сделано. С утра Леонид Степаныч прочтет (или не прочтет) сводки с периферийных отделений (где какие повреждения на линиях) и велит Зяблику передать сводки телефонисткам: «Доведите до сведения». А что доводить, когда сами же телефонистки эти сводки принимают и лучше других знают, где какие повреждения. Зяблик отнесет для порядка листочки Римме Павловне или просто бросит их в корзину, предварительно прочитав и изорвав (секретность!). Зяблик все-таки юн, романтичен, а от сводок с названиями дальних уральских, казахстанских, украинских мест — Енакиево, Днепродзержинск, Челябинск — веет заснеженными лесами, безбреж-

ными белыми полями с вереницей черных телеграфных столбов, занесенными узкоколейками, черными домнами. Леониду Степанычу такое даже в голову не приходит. Он прочтет, значит, покрутится, покалякает еще с телефонистками, сделает кому-нибудь походя выговор — он быстрый, маленький, резкий и очень гордый, просто Наполеон, — а там уж твори что хочешь. Из-за резкости характера Пошенкин всегда с кем-нибудь в ссоре, чаще всего, как теперь из-за Просвирняка, с самим Дмитрием Иванычем, и поэтому сидеть, как другие, по кабинетам ему не приходится. От него только и слышишь: все жулики, бездельники, выскочки, подхалимы, специалиста ни одного, кроме него да Изи, во всей конторе, все недотепы, ваньки деревенские, зачем их вообще только в город пускают! Дайте тому же Дмитрию идол Иванычу схему простенького реле — разберется он? Как свинья в апельсине! Только перед начальством подхалимничать да за кресло свое держаться! А чуть что — Пошенкин! Кто министру коммутатор ставил? Кто замминистру антенну через семь балконов тянул? То-то! К черту всех! И прошу не входить!..

Пошенкин запрется в каморке и паяет, паяет, чинит, Зяблик на подхвате, а потом вдруг бросит все, выдвинет средний ящик в тумбе стола, откинется и заснет в минуту, по-наполеоновски скрестивши руки на груди. Еще дым канифоли не рассеется, а он уже спит. Устает, бедолага. А проснется — опять надо ехать, бежать, чинить-паять, и так день за днем.

Зяблик и Просвирняк сидят в каморке, Ваня на специальном станочке перематывает обмотку трансформатора для приемника, рассказывает Вите свои министерские рассказы. Витя глядит, но больше слушает. День идет к полудню, Пошенкина все нет, змея Полина уже три раза звонила, спрашивала его. Но чувствовалось: напряжение спало, работа у телефонисток идет своим чередом, близится обед и уже кого-то, слышно, снаряжают в магазин за кефиром, колбасой и булками. Телефонистки, как правило, в столовую не ходят, только, пожалуй, Нинка да Шура, но это потому, что одна дома не готовит, не обедает (да и бывает ли дома?), а другая живет за городом. Сам Артамонов, должно быть, давно позабыл утренний конфликт, тем более что Урал ему все-таки через часок дали. И при всем при том всем ясно, что так не обойдется, не положено, чтобы так обходилось, и Дмитрий Иваныч втык междугородке все же сделает.

Витю Просвирняка не оставляло давешнее возбуждение, мечты и мысли одолевали его, он жадно слушал повествование Ванечки о привычках одного замминистра, о чудачествах другого, о крутом нраве третьего, о талантах четвертого. Его интересовали главные, самые главные люди.

— Эх, образования нет! — горюет Витя. — Нету! А без образования высоко не прыгнуть!

Ванечка внимательно глядит на него, изучает: мол, как высоко ты хочешь прыгнуть?

— Учись, — говорит он Вите, — здесь работа не бей лежачего, учиться вполне можно. Ты кем хочешь?

Лицо Просвирняка живо двигается, глаза ходят туда-сюда, буря чувств его переполняет, но он лишь отмахивается:

— Кем-кем! Где уж мне, поздно!.. — И опять перекатывает, перебирает внутри свои идеи и опять сам себе отвечает: — Нет! Где там! Не допрыгнуть.

— А я закончу, диплом получу, уеду куда-нибудь, — говорит Зяблик, — не век же здесь сидеть, правда?

— Здесь? — Просвирняк не понимает: чем же здесь плохо? — Тебе диплом светит, другое дело...

Так они беседуют, обмениваются честолюбивыми мечтами, как вдруг врывается Пошенкин. Маленький, в зимнем уже рыжем полупальто на меху, с меховыми белыми отворотами, в мохнатой

шапке, с набитой авоськой в одной руке, а другой прижимая к себе завернутый в газету ящик — скорее всего очередной приемник, — он пронесется через диспетчерскую, как всегда стараясь, чтобы телефонистки не успели рассмотреть, что он несет, и тут же вываливает все на стол, сбрасывает пальто, соскребывает нога об ногу галоши, хватается за телефон. Ваня успевает уступить ему его место, Просвирняк, поднявшись, прилепляется спиной к стене, сразу обретя в присутствии Пошенкина виноватое, полусогнутое положение. Раздевшись, только не сняв шапку, Пошенкин вовсе делается мелким щуплым мужичишкой с маленьким личиком, с красненьким носиком. Но как садится за стол, как облакачивается, как берется за телефон! Чингисхан да и только в мохнатой шапке, сей миг соскочивший с коня!

Накручивая диск, он властно, быстро спрашивает Зяблика без всякого «здравствуй»:

— Ну, чего делается?.. Черт, крошки во рту с утра не было!.. (Сразу намекает на столовую: не пойти ли?)

На Просвирняка даже не взглянул, Просвирняка для него не существует.

— Вроде все нормально, — отвечает Ваня.

— Мотаешь? — спрашивает его Пошенкин, кивая на сердечник трансформатора. — Мотай-мотай, завтра чтоб закончить. — Тут он дозванивается куда хотел и натужным начальственным голосом требует: — Товарища Миронера, Пошенкин говорит...

И он долго выясняет с товарищем Миронером, почему ему недоплатили — за какую-то, видимо, халтуру — девятнадцать рублей, а Ваня и Витя стоя слушают, не смея ни выйти, ни пошевелиться.

И тут дверь отворяет Полина, а за нею видна фигура Риммы Павловны.

— Здравствуйте, Леонид Степанович, — елебно поет Полина с порога, но Пошенкин, подняв руку, дает ей знак помолчать и еще басистее, еще сильнее насупив личико под шапкой, заявляет товарищу Миронеру, что требует немедленно выяснить, в чем дело.

— Вас к Дмитрию Иванычу, — коротко говорит, уже обидясь, Полина, когда Пошенкин кладет трубку. — Срочно.

— Какое срочно, — режет Пошенкин, — обед. Крошки во рту с утра не было.

— Вас уже три часа ищут.

— Чего? — Пошенкин грубит. — Только не надо. Я на объекте был. Полина дергает плечиком.

— Ладно, сейчас пообедаю, приду.

— Он срочно велел, — повторяет Полина.

— Все срочно, у меня тоже срочно. — Пошенкин встает, давая понять, что вопрос исчерпан.

Полина опять ведет плечом — мол, я предупредила, вам же хуже будет — и, повернувшись, едва не толкнув Римму Павловну, удаляется.

Едва Полина поворачивается, Пошенкин опять звонит, и Римма Павловна, ступив на порог, глубоко дыша, ожидает. Ваня и Просвирняк продолжает стоять у стены. Этот сухонький грибок в шапке умеет всех держать по струнке. Римма Павловна открыла было рот, но на нее он тоже двинул ладонь: мол, закройте. И тут же приказывает Ване, продолжая крутить диск:

— Давай в столовую, занимай очередь...

Ваня, однако, не кидается бегом, медлит, тоже желая объяснить, что здесь случилось и зачем зовет Дмитрий Иваныч. Впрочем, он знает Пошенкина: если уж тот заартачился, отступления не будет.

Еще тянутся нелепые мгновенья, пока Пошенкин крутит диск. Но вот в недрах конторы, еще неслышимый и невидимый, но ощущаемый всеми кожей, происходит некий взрыв. Волна пронизывает стены, где-то, пока далеко, хлопает первая дверь, что-то близится неотвратимое

и страшное, как шаровая молния. Даже Пошенкин ощутил опасность, и палец его задерживается в какой-то миг на диске.

В каморке есть еще одна дверь в коридор, но ее обычно держат запертой на ключ и на железную задвижку, чтобы никто посторонний не дергал, не заглядывал, не мешал паять-чинить. И пол под дверью из-за тесноты скоро обрастает коробками, банками, на самой двери на вбитых гвоздях висит одежда, халаты — именно туда Пошенкин повесил, войдя, свою полушубу. Ванечка стоит сейчас ближе всех к этой двери. И он первый слышит, как движется по коридору цунами, ревет ветер, как вихрь делает виток именно здесь, под дверью. И вот мощная рука трясет дверь за ручку с той стороны. И бьет в дверь кулаком так, что трясется каморка. И голос гудит снаружи:

— Пошенкин!

И еще чей-то голос мужской и голосок Полины. Ясно: Дмитрий Иваныч со свитой.

Римму Павловну как ветром сдувает, Ванечка кидается убирать из-под двери хлам, Просвирняк дрожит.

— Открой! Пошенкин! — гремит голос.

Ванечка кинулся убирать, но успел глянуть на своего начальника: как он? что прикажет? А Пошенкин, бросив телефон, делает Ване без суеты знак: мол, убирай, да не торопись, — и первым делом сгребает со стола разобраный приемник и сует все вниз, под стол. Ваня убирает, гремит, приговаривает: «Сейчас, сейчас». А Пошенкин без всякого для быстроты ловко пролезает под двухтумбовым столом, едва не сунувшись головой в живот Вите, — он успевает еще изобразить на лице, как ему неприятно присутствие этого Вити, но вместе с тем ладно, мол, плевать на него. И опять же на руках и гримасами показывает Ване, что ты, мол, открывай, а меня нет, я ушел, минуты две как ушел. Ваня понимает. Он уже гремит ключом в замке, задвижкой. Пошенкин еще обдергивает на себе пиджачок, приняв важный вид, и вмиг исчезает в дверях диспетчерской — там он может, не выходя в коридор, в секунду выскочить на улицу и через следующий подъезд войти в министерство снова. Мало того, он и шапку успел снять, не забылся, обнажив свою маленькую, потную, с прилипшими волосами голову. Бросил шапку на стул и исчез.

Просвирняк оторопел, Зяблик усмехнулся — он-то знает Пошенкина — и уже вполне спокойно открывает дверь. Открыл, но еще замешкался перед входящими, не дал им сразу вступить, еще что-то убирал с пола, а в дверь лезет пузом и красным, как ветчина, лицом Дмитрий Иваныч в синем костюме с жилеткой, а за ним еще начальник аккумуляторного цеха Трусов, первый подхалим, тоже толстый и кудрявый, и Полина, и маячит кто-то из монтеров, привлеченный шумом.

Дмитрий Иваныч кидает взгляд по каморке и — надо же! (тоже хорошо знает Пошенкина) — сразу дальше. Ванечку просто сносит на сторону пузом, стол сдвигает, стул с шапкой отшвыривает ногой. Тут ему на глаза попадает оторопелое лицо Вити.

— Ты — за мной! — ткнул он в него пальцем. И — дальше.

Разумеется, ворвавшись в каморку и не застав Пошенкина, Дмитрий Иваныч, будучи человеком простым, произносит еще кое-какие слова: мол, ну хорошо, Леонид Степаныч, ах вы так, Леонид Степаныч, ну погодите, Леонид Степаныч! И покидая каморку, влетев сокрушительно в диспетчерскую, чтобы лишь пройти через нее, ни на кого не обращая внимания, не здороваясь и ничего не объясняя, он продолжает повторять все свои приветствия в адрес Леонида Степаныча. Телефонистки аж рты раскрывают: буря!

За Дмитрием Иванычем катится толстый Трусов, а хитрая Полина, сообразив, бежит по коридору обратно, чтобы в конце перехватить Пошенкина. Но где там! Маленького Чингисханчика и след простыл!

Когда Зяблик оглядывается, в каморке уже пусто, обе двери стоят настежь, рыжая шапка и стул валяются на полу. Витя Просвирияк торопится, приволакивая ногу, через диспетчерскую вслед за Трусовым.

4

Ваня ехал в контору на трамвае, стоял в тамбуре, окна заиндевели, к ночи подморозило. Молодая кондукторша, высоко сидящая на кондукторском месте с кожаной сумкой на коленях, по-зимнему была закутана в платок и обута в валенки. Ваня наблюдал за ней: как она машинально объявляет остановки полупустому вагону, как дергает сигнальную веревку, как закрывает ударом кулака сверху двустворчатые деревянные двери, какие были тогда в старых трамваях. Он смотрел и горевал: он поссорился со своей девушкой Валей, а на носу праздник, они не договорились, как и где будут его отмечать. Ваня сердился, ему надоели Валины капризы.

Он бежал потом от остановки бегом к министерству, он уже на полчаса опаздывал (хотя ждал его один Просвирияк), и от легкого быстрого бега ему стало вроде полегче. По центру уже висели всюду плакаты, торчали развешанные дворниками флаги, мелькнула где-то горящая гирлянда лампочек. Как будет теперь с праздником? Но какой-то бес глубоко внутри радовался: ну и ладно, ну, может, и хорошо?

Каждый месяц (а перед праздниками само собой) полагалось проводить чистку и профилактический осмотр коммутатора — между прочим, тоже Рублевым был заведен порядок. Делалось это ночью, чтобы днем не мешать телефонисткам работать и чтобы они не мешали.

Просвирияк в своем длинном пальто, заложив за спину руки со шляпой, ходил по коридору, в диспетчерскую один зайти не решался.

— Чего ж ты? — суетливо бросил он на ходу Ване. — Айда, айда! На часах было без пяти двенадцать.

В полутемной, непривычно пустой и тихой диспетчерской сидела за коммутатором одна Шура, читала книгу. Плечи ее были укутаны коричневым платком, над головой горела лампа на кронштейне, на стенде светилось всего пять-шесть лампочек. Из-за коммутатора несло похрапыванье: там на диванчике, поджав ноги в теплых белых носках, укрывшись пальто, спала Зоя.

— Привет! — весело сказал Ваня Шуре. — С наступающим!.. «Три мушкетера»? — спросил он про толстую растрепанную книгу: известно было, что Шура читает только такие книги, а современные не любит.

— С наступающим! — сказал Просвирияк за спиной Вани.

Шура посмотрела на них не шевельнувшись, не изменив позы, не убрав закрывающую лицо остро подстриженную прядь, еле кивнула — на лице ее блуждало впечатление от прочитанного, и она опять погрузилась в книгу.

Ваня подмигнул Просвирияку: мол, не робей, — они прошли в каморку, разделись, закурили, и Ваня с ходу быстро стал объяснять, что нужно делать. Его настроение становилось легче и возбужденнее с каждой минутой, и подспудное чувство облегчения все усиливалось: не хочет Валя — не надо.

Начали работу. Она заключалась вот в чем: один монтер из диспетчерской посылает с коммутатора сигнал, а другой по этому сигналу (для быстроты) находит на стенде реле, снимает с него колпак-крышку и чистит контакты, попросту прокладывая между ними лист бумаги и нажимая на них. Контакты Ваня чистит сам, а Витю отрядил бегать в диспетчерскую и обратно.

Примерно через полчаса Ваня услышал — Шура что-то говорит Просвирияку, а затем послышался и голос Зои, бас ее и зевота.

— Чего там? — спросил Ваня.

— Все шутит,— сказал Витя недовольно о Шуре и даже голоса не понизил,— все, говорит, выкинуть давно пора, а не чистить... Ей бы в другом месте за такие слова...

— Не обращай, уж она у нас такая.

— Уж такая! Видно, какая...

— Тебе, что ли, что сказала?

— Мне? Нет.

Ваня работал быстро, ловко, но ему уже надоела работа, он вышел в диспетчерскую: любопытно было, что там гудит Зоя и чему смеется Шура. Зоя ходила в белых носках, потягивалась. Вокруг рта, пухлых и выпуклых со сна губ, расплзлась помада. Волосы висели черными прядями вдоль лица. От платья крепко пахло перегоревшими духами. Будто дома в своей спальне, она зевала, лениво тянулась, покряхтывала. Что-то бормотала, что понимала одна Шура и чему смеялась, приговаривая со смехом:

— Да ну ты к черту!

— Зяблик! — потянула Зоя к Ване руки.— Работяга ты наш! Дня им, бедным, не хватает, гля, Шур, горят на работе!

Ваня увильнул от ее объятий, показав свои измазанные пальцы, и ответил:

— Ты тоже, гляжу, заработалась.

— Видали! — Зоя посторонилась.— Молодой еще меня учить-то!.. Кончайте тарыхтеть-то, давайте чай пить. Шур, где чайник?

Чайник стоял под столиком Риммы Павловны, Зоя достала его, тут как раз вышел из каморки Просвирняк.

— Эй! — сказала ему Зоя.— Принеси-ка водички, чайку попьем, а то вы заработались у нас совсем.

Витя даже слегка испугался от такого прямого к нему и простецкого обращения; блеснув глазами, посмотрел на Ваню: мол, что это? в самом деле? и можно ли мне это? И когда Ваня кивнул, схватил чайник чуть не с восторгом и захромал, побежал в коридор, будто его за золотом послали.

— Чудной все-таки, не пойму я его,— сказала Зоя.

— И понимать нечего,— сказала Шура.

— Бросьте вы,— сказал Ваня,— нормальный человек.

— Может, его пригласим? — спросила Зоя Шуру.— Мужиков-то мало у нас.

— Еще чего! — сказала Шура.

Тут Ваню осенило: батюшки, междугородка-то тоже праздник отмечать собирается! Раньше из-за Вали он всегда отказывался — ему не хотелось, чтобы телефонистки ее видели да еще не дай бог узнали бы, какие у них отношения: в конторе всегда говорили про Ваню «дитя», «наш агнец невинный», «не надо при Зяблике», и Ване нравилось поддерживать такое мнение о себе. А по Валиному виду (Валя была толстая девушка с большими коровьими глазами) женщины живо бы все поняли, кто ему эта Валя и зачем. Сегодня же, видно, сам бог велел примкнуть к своим, тем более что ему не раз хотелось это сделать. Да еще и Витю можно приобщить, совсем хорошо.

— А вы где собираетесь? — спросил Ваня.

— Да у меня,— сказала Зоя.— С мужиков по тридцатке. А ты что? Неужели до нас снизойдешь?

Шура подняла голову, взглянула с интересом. Ваня загадочно улыбнулся.

— Вы его позовите, позовите,— сказал он про Просвирняка,— жалко же, и он, между прочим, из нашего же коллектива.

— Вот и приходи с ним,— сказала Зоя.

— И одному там делать нечего и другому,— сказала Шура, глядя на Ваню тем товарищески-строгим взглядом, каким глядела, когда они разговаривали вдвоем.— Да-да,— подтвердила она в ответ на удивленный Ванин взгляд.

— Нет-нет, это идея, я его позову! — сказала Зоя.

Шура махнула на нее рукой, но тут зазуммерил аппарат, Шура взяла со столика трубку, сунула штеккер в гнездо, «четвертый слушает» — вышла на разговор. Зоя и Ваня стали между собой перемигиваться, и когда вбежал Просвирняк с чайником, вопрос в общем был решен, оставалось только Просвирняка спросить. Но Ваня был уверен, что Витя согласится: в Москве у него никого нет, живет за городом как приживал у родственников, куда ему деваться? И Просвирняк, когда они ему об этом сказали, действительно расплылся от счастья: такого он не ожидал.

Потом вскипел чайник, Зоя с Шурой выложили свои бутерброды с маслом и колбасой, пряники и сахар, поставили стаканы в подстаканниках и накрыли чай на столике Риммы Павловны. Зоя отошла от сна и преобразилась: причесалась, заново намазала губы, сунула ноги хоть и в растоптанные туфли, но на каблучках. Витя тоже необычайно оживился, осмелел и, когда сели пить чай, стал рассказывать смешные истории. Одна Шура глядела иронически, стягивала на груди платок, качала ногой, нога на ногу, в обрезанном своем валенке. Шура вообще не умела смеяться, ей и не шло смеяться, она издавала один насмешливый звук «хы!», и выражение у нее все равно было такое, что вот, мол, я смеюсь здесь с вами, но вообще-то мне не до смеха. Ее смех напоминал начало плача.

Зоя заливалась, качаясь на стуле и чуть не падая, басыла, широко открывая рот. Ваня тоже хохотал, закрывая обеими ладонями лицо и подскакивая на табуретке. Просвирняк рассказывал, как он работал воспитателем в ремесленном училище в Днепропетровске, и как ремесленники продали однажды целую партию кальсон, привезенных из прачечной, и как им на утренней линейке велели каждому снимать брюки, чтобы узнать, кто в кальсонах, а кто нет. А они нарочно спустили штаны до земли и так стояли на холоде.

Настроение у Вани сделалось прямо-таки истерически-веселым. Он еще и за Витю радовался. Да и вообще что-то было в этом: сидеть в предпраздничную ночь в маленькой компании, не спать, смеяться: лампочки мигают уютно, как на елке, чайник электрический шумит на полу, всем весело и легко друг с другом.

Но потом понемногу разговор перешел на контору, на историю с Артамоновым, с Пошенкиным, и тут сразу все было испорчено. Кто, да что, да как! Просвирняк неожиданно, явно не со своих слов, сказал, что в конторе чего не жить, тому же Леониду Степанычу, — рай! Ничего совсем делать не надо, только деньги получай, в ведомости два раза расписывайся. Шура вдруг выдала Просвирняку:

— Ну а ты-то? Ты чего сюда пришел, скажи на милость? А тебе-то нравится, не стыдно здоровому мужику тоже не делать ни черта? Рванула Шура свою правду-матку, и совсем не по себе стало, каждому неловко и неуютно.

— Да ладно, Шур, — сказала Зоя.

— Выходит, и я бездельник? — спросил Ваня, желая защитить Витю.

Но Витя неожиданно не растерялся, а помрачнел, набычил свои надбровья, поставил твердо недопитый стакан на столик, поглядел на Шуру в упор.

— Я сюда устроиться полгода ждал, — сказал он негромко, — мне главное — в Москве прописаться. Для начала.

— Ну конечно! — Шура поглядела с торжеством. — Это и ясно! Ну-ну!

— «Ну-ну» не «ну-ну», — почти грубо ответил он, — а только вот она, — он похлопал по больной ноге, которая неловко была выставлена у него в сторону, — куда мне с ней?

— Да ладно вам! — опять сказала Зоя, тут же пожалев Витю. — Праздник не портьте!

— Сытый голодного не понимает,— сказал Витя,— вам, москвичам, конечно, чего не жить!..

— Да ладно приbedняться! — Шура не уступала и была жестка.— На таких еще воду можно возить. Подумаешь, я сама за городом живу, полчаса на электричке.

— Ну Шур, ну ладно, ты что?—сказал с укором Зяблик.

— Да ничего, мы привыкли,— сказал Просвирняк без улыбки.— Спасибо за хлеб-соль, пошли, Вань, работать.— Он встал, чуть нарочито подтягивая больную ногу.

— Значит, по тридцатке,— сказала Зоя как о деле решенном,— а то по бутылке возьмите, да и ладно.

Просвирняк ушел вперед в каморку. Шура сидела откинувшись, еще налив себе чаю и грея стаканом руки. Ваня укоризненно стал ей делать знаки: мол, зачем ты так? Шура скривилась и отвернулась: мол, что с вами, дураками, разговаривать?

— У тебя уже все плохие,— сказал Ваня.

— А то очень хорошие.

— Ладно, иди,— сказала Ване Зоя, чувствуя, что Шуру не оставить, и Ваня пошел следом за Просвирняком.

Идиллия разрушилась, все опять принялись за работу, только теперь Зоя осталась за коммутатором, а Шура легла на диванчик, но не спала, продолжала читать. Когда Ваня заходил за чем-нибудь за коммутатор, оба делали вид, что говорить не о чем.

Но постепенное настроение к Ване вернулось прежнее, и он даже стал напевать, работая. Ночь длилась долго, вынужденное бдение наполняло голову хмельным качанием, казалось, вчерашняя ссора с Валею была давным-давно. Валя и с ней связанное засыхало на глазах, как кожа.

В пять утра, когда пошли трамваи, Ваня собрался домой, уже совсем хотелось спать. Витя оставался: ему далеко ехать, а кроме того, его, оказывается, выделили от конторы делать бумажные цветы и флажки для демонстрации: в министерстве от каждого отдела кого-то выделяли для этого. Ваня наверняка бы открутился, но Просвирняку нравилось, он готов был стараться. Он и на демонстрацию собирался, несмотря на больную ногу: никогда ведь еще не был в Москве на демонстрации.

Ваня вышел в еще темный по-ночному переулочек и увидел, что асфальт припорошен первым пушистым снежком. Всюду чернели следы, раздавались голоса, в освещенный угловой подъезд дворники и вахтеры носили из грузовика с опущенным бортом охапками деревянные круглые палки: это и были палки для бумажных букетов и флажков. А с другого грузовика снимали огромные портреты членов правительства и ставили их на двух деревянных ногах у парадного. Этой операцией руководил сам Бубышкин — по переулочку слышался его голос, темнела высокая его фигура в ушанке. «Завтра все-таки праздник,— подумал Ваня,— все хорошо, надо у матери тридцатку просить да ехать к Зое. И Витю с собой, пусть гуляет, не человек он, что ли?..»

5

Зоя жила далеко, за Семеновской, в маленьком деревянном домике, еще своем, но разделенном с сестрами. В ее две небольшие комнаты с прихожей и кухней вел отдельный ход со двора. Комнаты старенькие, кособокие, с низкими оконцами, уставленными геранями, но чистенькие, с крашеными полами, тесно набитые старинными вещами: комодами, стульями, огромной кроватью с пятью подушками пирамидой. Всюду по стенам коврики, салфеточки, старинные фотографии в проволочных и деревянных рамках; на комод, покрытом вышитой кружевной дорожкой, тоже тесно от рамок, оклеенных ракушками, от стеклянных яиц, подушечек для иголок и трофейных

немецких гномиков. На низко висящей люстре звенели, переливаясь, стеклянные подвески — то и дело задевал кто-нибудь головой.

Странно, как этот старинный уют, чистота, низкие деревенские оконца не шли к бурной черномастной Зое Кармен, не зря она только и говорила: как бы сменить две свои комнаты на одну, но в центре, в современном доме, с телефоном. Как часто, привыкнув на работе к человеку и зная его, кажется, вполне, мы видим потом вдруг его мужа или жену или попадаем случайно в его дом — и открывается нечто совсем иное и человек предстает совсем в другом свете.

В первой, большой комнате, занимая ее целиком, был накрыт стол: торчали бутылки, краснел винегрет, пахло селедкой с луком, стояли на блюдечках, воздев жестяные крышки, банки с крабами и шпротами — каждый, кто входил, радостно восклицал: «Батюшки, какой стол!» В меньшей, дальней комнатке, спальне, шумели, набившись, женщины: поправляли прически, пудрились, надевали легкие туфли. Пришли почти все телефонистки, из обеих смен, кроме Риммы Павловны. Говорили, что звали Пошенкина и он вроде обещал, но не похоже, чтобы маленький Наполеончик стал встречать праздник и выпивать со своими подчиненными. Хотя гулять с начальством ему тоже не светило: ссора с Дмитрием Иванычем все углублялась.

Кроме своих, оказалась еще новая женщина, подруга Зои, тоненькая и беленькая Люся, увидев которую Зяблик, все-таки опечаленный одиночеством и образовавшейся без Вали пустотой, чуть оживился: она ему понравилась, эта Люся. Сам Ваня был очень хорош: ему шли и печаль, и светлая рубашка с галстуком, и темный пиджачок. Чистые его волосы есенинской волной украшали голову, прямо-таки летели.

Вообще-то насчет мужчин было негусто, так что приход Вани и Вити Просвиряка сильно оживил и взбудоражил женскую компанию. Кроме них, мужчины были такие: Зоин Паша (не муж, но просто Паша), весельчак и заводила; жених Саша Капитанши, долговязый капитан; муж Ольги Николаевны, самой пожилой телефонистки (ей всего сорок пять), плотный, большеголовый, в очках, — Ашотик, так она его называла. Паша был высок, здоров, занимал много места. Вокруг его продолговатой лысины клубились буйные, будто с другой головы кудри. Он уже снял пиджак, мелькал манжетами со сверкающими запонками, всех встречал, усаживал, хозяйски оглядывал стол и командовал Зоей, которая металась между столом и кухней. Оба они устроились в торце стола, когда все шумно и очень тесно уселись, и Паша первым кричал тосты, острил, обнимал Зою за плечи. Видеть этого простецкого Пашу рядом с горячкой Зоей тоже было странновато.

Молчаливого капитана все знали давно, знали, что слова от него и веселья не добиться, он как сел, так и будет сидеть и глядеть только на свою Сашуру. Но зато Сашура выступала за двоих: яркая, полная, грива соломенно-рыжая, в оранжевом, как солнце, шелковом разлетающемся платье, говорит громко, хохочет громко, бурно откидываясь от смеха на диван, размахивает голыми по локти и тоже рыжими, в веснушках руками, и рыжие золотые коронки блестят у нее во рту, а рыжие рукава летают над столом. Она пила стопку за стопкой и целовала в щеку капитана, так охватывая его за шею, что у того глаза лезли из орбит.

Ашотик в белом летнем костюме с орденскими планками на груди держался степенно, но с самого начала Ольга Николаевна стала шептать: «Ашотик, не пей, Ашотик, не пей!» — а Ашотик, не отвечая, сосредоточенно изучал бутылки, долго вчитывался в этикетки, поднимая очки на лоб, исследуя сахаристость, градусы и чей разлив, и потом говорил с акцентом: «Нэт, попробуэм» — и наливал полстопочки. И пробовал, дегустировал под безнадежное: «Ашотик! Прошу! Не пей!»

Просвирияк все в том же своем пиджачке и галстучке, с немывыми волосами, уставший, как он жаловался Ване в метро, где они встретились после демонстрации, поначалу робел и угодливо улыбался на все стороны. Но та же демонстрация, видно, ошарашила его, запавшие его глаза как бы хранили, сосредоточась, впечатление увиденного праздника. Посадили Витю между веселой, нарядной, с папирской меж пальцами Нинкой и толстенькой Люсей Неваляшкой. Люся сделала завивку к вечеру, нарисовала брови и губы, и ее простенькое, молодое и здоровое лицо словно бы оказалось в маске дурочки царевны. Но сама себе нравилась и чувствовала себя смело и взросло. Витя поначалу ел да помалкивал, Ваня его со своего места — он умудрился сесть возле новой Люси, хотя Нинка звала его к себе, — подбадривал, Витя в ответ кивал: мол, все нормально. Потом он выпил, зарумянился, женщины с двух сторон тормозили его, и Витя стал потешать их рассказами вполголоса, шутками, и Нинка так хохотала, что со всех сторон просили: «Чего, чего? Нам-то расскажите!»

Женщины были нарядны, возбуждены, с прическами, в платьях с подкладными, еще по военной моде, плечами, от них пахло духами и пудрой. Они давно привыкли веселиться без мужчин, так что сегодня по сравнению с иными временами мужчин оказалось даже и много, это поднимало дух. Один Паша, став за час совершенно душой общества, вызывал море восторга, легко произнося неприличные слова в своих дремучих анекдотах или делая такого же рода комплименты. Все быстро пьянели, кричали наперебой, схватывались насчет конторы, поливая то Пошенкина, то Дмитрия Ивановича, то паразитку Полину. «Голосуем! — кричал Паша, стуча ножом по графину. — Кто за то, чтобы про работу больше ни-ни? Пошла она, эта работа!» Все с восторгом и криком голосовали, но через минуту снова откуда-нибудь неслось: «А Полина?.. А на АТС?.. Как им — всё, как нам...»

Странно, но Шура не шумела вместе со всеми, была строга, и красива, и значительно пуще обычного. Вместо затертой юбки, которая плоско висела на ее тощих бедрах, и безрукавки ее облегалo черное узкое платье с круглым меховым воротничком под леопарда. Распущенные волосы схватывала у виска длинная перламутровая заколка, по узким губам прошла помада. Она сидела наискосок от Вани и с иронией взглядывала на него, на его ухаживания за новенькой Люсей, которая при ближайшем рассмотрении годилась в пару Паше или Просвирияку, но никак не Зяблику. Перепадало Шуриному взгляду и самой Люсе, когда Ваня со значением с ней чокался и с небрежным лихачеством опрокидывал рюмку, — тут Люся нарочно для Шуры грозилa Ване пальцем и говорила: «Не много ли вам будет, милый мальчик?» Ваня лишь усмехался гусарской усмешкой.

Вечеринка развивалась как положено. Понемногу все перемешивалось и передвигалось, Нинка первой своим заливым голоском завела: «Ой, Самара-городок, беспокойная я...» — И Витя Просвирияк тут же вдруг подхватил и начал дирижировать. Потом все вместе завели популярную в то время «Я иду не по нашей земле, просыпается хмурое утро...», но это вышло грустно, песню бросили не допев, завели другую. Потом золотая Капитанша первой вылетела танцевать, ее подхватил Паша, уже без галстучка и без запонок, с засученными рукавами, они пустились в вальс на пятачке в два метра, сбивая своей общей массой всех со своего пути.

Отодвинули и разобрали стол, который был слеплен под скатертью из двух столов, и все кто мог тоже пошли танцевать. Долговязый капитан пригласил Шуру, неуклюже топтался, будто нарочно задевая головой стекляшки на люстре. Но глядел только на свою Сашуру.

За столом остались Ашотик, Ольга Николаевна и Просвирияк. Ашотик продолжал говорить: «Нэт, попробуэм», но наливал теперь просто водку. Ольга Николаевна тянула свое жалобное: «Ашотик,

не пей!» — а Ашотик, с очками, поднятыми на лоб, чокаясь с Витей, отвечал: «А я нэ пю».

Ваня был нарасхват, танцевал то с Нинкой, то с Люсей Неваляшкой, но больше всего, конечно, с новой Люсей, которая неудержимо смеялась, показывая всем, как это ей забавно, что мальчик так прилип, но сама она здесь ни при чем, пусть все видят. Но танцуя она так прижалась к Ване один раз и другой всем телом от колен до плеч, что Ваня попросту обалдел и все стремился в танце повторить это па.

Удалой Паша вдруг выхватил Люсю из рук Вани, закружил ее, поднял, и всем открылись ее ножки чуть не до самого зада и кружевной край белых штанишек. Тут Ваня почувствовал себя совершенно протрезвевшим, подошел к Ашотику и Вите и сказал, копируя Ашотика: «Попробуэм?» — и выпил с ними большую стопку водки.

Потом был коронный номер Зои. Расколов и путив вразлет смоляные волосы ниже плеч, в красном платье, с черно-красными бусами, обвязавшись по бедрам шалью, она вышла в круг под звуки заветной испанской пластинки, изгибая нетонкий свой стан, тряся запястьями, словно на руках кастаньеты, и так вбивала каблук в пол, что домишко дрогнул и, кажется, еще перекоксился. Она страстно выкрикивала: «Хо! Хо-хо!» — а все, стоя вокруг, хлопали в такт в ладоши. Она шла все быстрее, быстрее, резко выставляя то плечо, то колено, и трещала пальцами, подняв руки над головой. Под конец она так распалилась, что вспрыгнула на табурет, отбила на нем последнюю дробь, трепеща туда-сюда поднятой юбкой, изогнулась в последний раз и под бешеные аплодисменты рухнула на подставленные руки Паши, который заметно покачнулся под тяжестью своей Кармен.

Затем, собравшись в спальне, стали играть в бутылочку, хоть и не очень взрослая это игра. Надо было крутить на полу пустую бутылку, и на кого, остановившись, укажет доньшко, тот целует того, на кого укажет горлышко. Все потешались над Зябликом, видя его ревность и желание поцеловать новую Люсю, но ему никак не выпадало. Всем выпадало, как нарочно, даже Ашотику, и она, смеясь, поглядывая на Ваню, подставляла свои губы — Ашотик, обняв Люсю, поднял на лоб очки, словно опять перед ним была этикетка.

Зяблик стал подыгрывать компании — что еще оставалось делать? — и уже нарочно играл отчаяние или лез останавливать ногой бутылку. Среди смеющихся вокруг лиц Зяблик видел и лицо Шуры, разгоряченного вином и весельем, — по нему блуждала знакомая усмешка, но глаза, как и все глаза, прикованно следили за бутылкой и было в них — неужели? — ожидание и тоже желание поцелуя.

С женской стороны больше всего везло новой Люсе, а с мужской Просвирияку. Это был уже не тот Просвирияк, что в начале вечера. После того как он сам и пел, и дирижировал, и потешал народ байками, он смело гоготал, и обнимался, и целовал, например, Неваляшку просто так, без всякой бутылочки. А уж в бутылочку ему выпало перецеловать всех. Он уходил к столу пропустить полрюмки, а лишь возвращался — доньшко как раз указывало на него. «О! — кричали все. — Ого-го! Опять Витя! Давай!» И Витя разошелся: обнимал крепко и целовал сильно, без шуток, так что капитан, например, когда Витя впился в его Сашу, даже руку протянул, чтобы остановить их. Все так и покатались со смеху. А Витя глядел королем.

И ему же выпало целовать Шуру. Та не хотела вставать с кровати, где сидела, и приняла свое неприступное выражение, но все закричали: «Нечестно! Нечестно!» — и Просвирияк, которому, видно, все одно уже было, кого целовать, в секунду сгреб Шуру в охапку, даже не поправив своих развалившихся волос. Они были одного примерно роста, но Просвирияк будто переломил Шуру в спине, сжал, захватил как клещами. Шура стала биться, упираться в Витю руками, но он

не выпускал ее, и все вокруг хлопали с одобрением и кричали: «Так! Давай!» А когда выпустил, так толкнула его, что он чуть не упал. Но что сделаешь — игра.

— Дурак! — сказала Шура, чтобы скрыть злость. — Больно ведь! — Она вытирала рот и трогала губы пальцами.

Но уже опять крутилась бутылочка, народ гадел, и о Шуре забыли.

— Ты домой-то едешь? — спросила Шура уже сильно захмелевшего Ваню, беспокоясь о нем, но между ними встала Зоя: мол, куда ему, пусть тут остается. Зяблик хотел сказать Шуре, как он ее любит и уважает, бросился за нею, но Шура пропала. Исчезла и Нинка, хотя им было по пути и они договаривались вместе ехать. Как будто, чудилось Зяблику, опять пели, погасив верхний свет, пили чай — у Зяблика все плыло перед глазами. Во дворе, на морозе, стоя в снегу, он целовался, кажется, наконец власть с новой Люсей, изо всех сил прижимая ее к себе, шаря руками, а она смеялась опять и шептала:

— С ума сошел, ты спроси Зою, сколько мне лет..

Кто уехал, кто остался, время шло к четверем. Неуемный Паша, теперь даже без рубахи, в одной майке, искал по дому заначку: сам куда-то спрятал с вечера бутылку портвейна и не мог найти. Витя спал, положив голову на стол, разметав свои махновские волосы, а прислонясь к нему, к его плечу, дремала Невалышка, у которой за вечер ничего не осталось от кудрей и помады. Зоя возилась с бедным Зябликом, его рвало во дворе, и он плакал от стыда и беспомощности. Ашотика Ольга Николаевна увезла, они долго пробирались через маленький двор, скользя и разезжаясь ногами по тропинкам. Зяблика умыли снегом и уложили в спальне на полу. Он не утихал, звал свою незнакомку, потом объяснял Зое про Валю: что он, мол, не виноват, он сейчас поедет к ней, найдет ее, все выяснит.

Новая Люся безмятежно спала, свернувшись калачиком, на высокой кровати поперек ее, в ногах у капитана и Капитанши, спавших в обнимку: из-под коричневого, в крупную клетку одеяла с одной стороны клубились рыжие кудри Капитанши, а с другой торчали толстые щиколотки и розово-рыжие пятки. А длинный капитан удивительно был скрыт целиком под одеялом. Лицо новенькой Люси во сне, без улыбки, открылось усталым и немолодым. Паша наконец нашел портвейн, с воплем радости разбудил Витю, и они опять выпили и стали говорить насчет того, где лучше жить: в Москве или, к примеру, в Актюбинске.

6

Полина отстучала на машинке и вывесила в коридоре приказ: «За грубое обращение с абонентами телефонистке Латниковой А. Ф. объявить выговор, начальнику МТС Пошенкину Л. С. за ослабление контроля за трудовой дисциплиной поставить на вид».

Отомстил все же Дмитрий Иванович! Такого и не ожидали. Перед праздником был приказ-поздравление, все получили премиальные, хоть и понемногу, и, казалось, случай с Артамоновым забылся. Но вот, оказывается, нет, праздники праздниками, а будни буднями.

Ваня и Шура шли из столовой по третьему этажу, только что пообедали. Шура купила кулек китайского арахиса, который продавали тогда на каждом шагу, и они давили в пальцах орехи, жевали. Зяблик галантно подставлял ладонь, чтобы Шура ссышала ему скорлупу, и, маневрируя между курильщиками, которые сбивались вокруг стоявших по углам белых фаянсовых плевательниц, выбрасывал в них скорлупки и возвращался к Шуре, вытирая ладонь о халат. Из-за орехов не разговаривали, а мычали, перебрасывались фразами и жевали опять.

В столовую и из столовой густо шел народ, этот коридор на третьем этаже, ведущий в столовую, был самым оживленным в ми-

нистерстве и, конечно, носил название Бродвей. Здесь тянулись с одной стороны частые окна (как в лоджии Рафаэля в Эрмитаже), давая много света, хоть окна и глядели во двор, но еще всегда горели высоко на потолке плафоны, а горящее среди дня электричество, которое мы призваны экономить, обязательно создает ощущение праздничной расточительности, этакое разлюли-разгула, бесконтрольности. И в самом деле, здесь курили и галдели, стоя группами возле этих самых больничных плевательниц, налитых водой, в которой мокли окурки, — взрывался даже смех, правда тут же испуганно обрываясь; здесь слонялись командированные, мотая портфелями, из которых вечно пахнет колбасой; здесь сновали — размяться, развлечься, показать себя — секретарши и молодые специалисты. Кстати, Шура в своей кацавейке и юбке, тоже молодая и высокая, между тем мало походила на этих молодых же, ее возраста женщин, которые то и дело попадались сейчас навстречу или резко их обгоняли. Это были, как правило, чистенькие, одинаково модные, накрашенные, причесанные женщины. Некого единого же стиля была их манера здороваться друг с другом, говорить, смеяться, шутить, спешить: стержнем этого стиля была непрменная оглядка на сторону в расчете на кого-то, демонстрация себя, своей новой кофточкой, прически или свеска? как я шучу? как спешу?.. Тон задавали секретарши больших начальников — эти были сдержаннее, строже, они соединялись в еще один, особый и высший клан чрезвычайно деловых, многознающих и многозначущих женщин, и их наряды, прически, моды и побрякушки отличало более высокое качество, и подавали они себя тоже соответствующим образом. Их мнение, или, точнее, один их взгляд, могло любую девицу поставить на место, возвысить или опустить, причем не в переносном, а порой и в буквальном смысле: возвысить до хорошего места и опустить до ничтожного.

Шурин наряд, Шурина пренебрежительная манера действовали на других женщин, как красная тряпка на быка, на нее оглядывались: кто такая, откуда? Те же, кто знал Шуру, старались проскочить мимо, делали вид, что не замечают, чтобы не связываться. Потому что даже ее «здрате» звучало так: ну чего здрасте? ну здрасте, здрасте, да чего хорошего-то? Ее вообще-то, конечно, спасало, что она не на виду здесь была, а сидела себе в подвале. Но вот, видно, и до подвала дошло, до выговора в приказе.

Разговор у них и шел об этом, и Ваня старался внушить Шуре, что выговор — это чепуха, обойдется. Как всегда, находясь возле Шуры, Ваня полностью был за нее и на ее стороне и даже глядел на происходящее ее глазами. Впрочем, сам он не очень-то верил, что все так просто.

— Дурачок! — говорила и Шура. — Они меня выжить решили, непонятно, что ли? У меня ж уже был выговор, это второй. Мешает им Шура! — Она едко усмехалась и встряхивала головой, откидывая волосы назад. — Мешает, мешает! Им Просвирняк нужен.

— Дался он тебе! — тут же автоматически сказал Ваня, защищая Витю.

— А вот увидишь, увидишь, — продолжала Шура.

В самом деле, что касается Вити, то он в последнее время прямо-таки расцветал. Вечеринка у Зои особенно ему помогла: он перестал робеть, шутил с телефонистками, Неваляшка не сводила с него глаз. С Пошенкиным у него, правда, не налаживалось. Да и мудрено: после приказа, после «поставить на вид» Леонид Степаныч вовсе окрысился на весь свет и, как Ваня догадывался, плел интригу против Дмитрия Иваныча. Он приезжал рано, чтобы все видели, пальто и шапку оставлял на вешалке в диспетчерской, тоже на виду, но с начала рабочего дня до самого обеда исчезал: то ли шустрил где-то по кабинетам, то ли просто спал, отыскав совсем укромное место. Разгова-

ривал со всеми резко, по-наполеоновски, дверь за собою захлопывал с треском. Когда к нему входили, да еще, не дай бог, Просвирняк, шипел: «Что надо?»

Поскольку в междугородке Вите делать было по-прежнему нечего и чтобы не попасть на язык телефонисткам и особенно Шуре, он исчезал тоже — в недрах конторы или на этажах. Обедали они все-таки с Ваней, но уже случалось, что Витя и опаздывал. «Ты где был?» — спрашивал Ваня ревниво. «Да там... это... зашел, понимаешь...» — крутил Витя, а лицо его горело возбуждением.

Уже видели его стоящим в коридоре с самим Щипковым, начальником АТС (автоматической телефонной станции для внутриминистерской связи), и даже выходящим из кабинета Дмитрия Иваныча. Где уж тут обедать с Ваней! И конечно, скажи Ваня сейчас об этих фактах Шуре, она просто бы засмеяла его: мол, я ж говорю!

Они уже подходили к большой лестнице в середине коридора, чтобы спускаться вниз. Здесь народ так и клубился — встречались и расходились, здоровались, прощались на бегу, стоя одной ногой на одной ступеньке, а другой на другой, и кто-то перевешивался через перила, и один у другого прикуривал, мешая на пути, и кто-то прицокивал на чьи-то ножки, и стоял вестибюльный гул от множества голов. Они уже заворачивали в самый водоворот, как вдруг Шура вытянула шею, глядя поверх голов в конце коридора — не туда, откуда они пришли, от столовой, а в сторону другой лестницы («Ну! Легко на помине!»), и Ваня, потянувшись тоже, нашел среди людей фигуру Просвирняка; он спешил, хромая следом за торопливо идущим пузом вперед Трусовым.

— Наш пострел везде поспел! — радовалась Шура. — Видал? С Трусом!.. Надо же!

Толстый и кудрявый Трусов пробивал толпу, как Петр Первый на известной картине Серова, где царь идет против ветра, а вельможная свита гнется за ним, ухватившись за шляпы, — так вот и Витя жался сейчас, спешил позади дурака Трусова, будто тот и вправду царь. В самом деле, это уж было чересчур. И куда это они?

— Куда это они? — вырвалось вслух у Вани. Он приостановился, и люди стали наталкиваться на него и обходить, недовольно взглядывая.

— Да уж они найдут! — Шура увидела, что Ваня замешкался и расстроился. И тут же будто отстранила его от себя, прищурила глаза, отпуская его к ним. — А ты спроси.

— Да ладно тебе! — грубо сказал Ваня; тут же сделал шаг вперед, воссоединив с Шурой и показывая ей это, хотя без Шуры он бы, конечно, остановился и спросил, куда они.

Впрочем, не успели они сойти на две-три ступеньки, как по коридору полетел крик Трусова — все головы оборачивали:

— Эй! Эй! Иван! Ваня!..

И еще через полминуты Ваня был уже выхвачен из толпы, отнят от Шуры. Трусов кричал ему, что опять в конторе ЧП, никого нет на месте, а Витя передавал Ване в руки его же, Ванин, чемоданчик, взятый Витей без спросу (вот это уже было неприятно), но якобы по приказу Трусова.

Оказалось, на совещании у Артамонова — все у того же Артамонова! — вышел из строя селектор, по которому шла связь с предприятиями Урала и Юга, а когда кинулись за помощью, в конторе не обнаружилось на месте ни одного монтера. И ни Пошенкина, ни Дмитрия Иваныча. Как узнал Ваня потом, Римма Павловна, топая в панике по конторе, нашла лишь в аккумуляторной в самом углу, у единственного окошка Трусова с Просвирняком, которые чистили на газете леща, а при приближении Риммы убрали, брякая крышкой, белый бидончик с пивом. Трусов, конечно, сказал, что его хата с краю, он в селекторах не понимает, до свидания, Римма Павловна, у нас сейчас обеденный

перерыв, но Римма, напуганная Артамоновым, вовремя вспомнила про свежий приказ, пригрозила. Да и Витя, суетясь, потянул Трусова: мол, надо, что уж теперь. И направились они, собственно, в столовую искать Митрофаныча или еще кого-нибудь из монтеров.

Шура на прощание только еще пощурив глаза, бросила в рот, чтобы не сказать чего, орешки и пошла вниз по лестнице еще более насмешливая и вызывающая.

Возле кабинета Артамонова в коридоре стояло не меньше десятка мужчин, все празднуя курили, в приемной тоже толклись и в самом кабинете, где густо, как в кинозале, стояли стулья, тоже сидели, стояли, как бывает в перерыве совещания, инженеры, начальники, референты. Кто-то, конечно, копался в селекторе; половинка окна была раскрыта, и в комнату туго шел морозный воздух; за главным столом сидел совсем на вид молодой, худощавый, тонколицый человек, крутил в руке за дужку очки и разговаривал по телефону — это и был Артамонов. Говорил он негромко, строго, интеллигентно. Вдруг рассмеялся. А увидев монтеров, стал манить их к себе, не прекращая телефонного разговора, тыкать рукой с очками в селектор.

Вот это были самые любимые Ванины минуты! Пока там Трусов с фальшиво-вежливым видом пустился с Артамоновым в объяснения, пока затерялся где-то вовсе ненужный сейчас Просвирняк, пока потянулись назад в кабинет все деловые, очень занятые люди, дело которых зависело теперь и от Вани тоже, он, Ваня, ловко и быстро раскрыл чемоданчик, отстранил любителей и болельщиков и стал развинчивать, разбирать, опробовать селектор, в минуту подключась по телефону к междугородке, все быстро и легко исследуя и ища поломку.

— Ну чё там, Зяблик? — спрашивал самодовольно взявший на себя руководство операцией и потому желавший теперь отличаться Трусов.

Ваня только морщился в ответ, показывая Трусову, чтобы не лез, знал свое место.

— Зяблик? — переспросил вдруг весело Артамонов. — Есть такой в немецких сказках знаменитый рыцарь Зяблик. Не читали? — Даже Артамонов словно бы хотел подольститься к Ване. Он сказал легко несколько слов по-немецки, уже обращаясь к ближайшим участникам совещания. — Лихой был, веселый рыцарь. Поликарп фон Кирлариса.

Он снова засмеялся, и вместе с ним подобостроенно засмеялся Трусов, так мотая кудрявой головой, будто он только вчера читал по-немецки про рыцаря Зяблика.

Ваня был строг, Ваня не отзывался на шутки, он один делал сейчас дело, налаживая связь, как фронтовой связист под пулями, с катушкой кабеля на спине, с автоматом в руках, зажав зубами два конца перебитого осколком провода. «Окно прикройте», — лишь попросил он коротко, и сразу несколько мужских рук потянулось выполнить его просьбу.

В селекторе просто сработался регулятор громкости — усилитель был переделан из старого приемника, — Ваня тут же узнал почерк Пошенкина: что-то закручено проволокой, что-то залеплено пластилином, там не запаяно, там недовернуто. Ерундовая поломка. Почти все опять собрались в кабинете, шел ровный гул разговора, но главное внимание уделялось Ване, хоть его и не понукали. И вот не прошло и пяти — семи минут — Ваня нажал селекторный ключ:

— Зоя, как меня слышишь?..

И уже не по телефону, а из селектора, из старой коробки, затянутой выгоревшим довоенным шелком, громко раздался густой и красивый голос Кармен:

— Слышу нормально. Кого дать?

И тут все зааплодировали. И первым Артамонов.

— Давай Свердловск, потом Макеевку, попробуем, — строго говорил Ваня, будто и не видя аплодирующих, он лишь скромно кивнул,

почти не обернувшись: мол, спасибо, но почести принимать рано, я еще не закончил. Но изнутри так и распирало от гордости.

— Ай да Зяблик! — веселился Артамонов. — Вот вам и Зяблик! С меня магарыч!.. Что там, Свердловск? — Он уже нацелился на селектор. — Карабутенко? Эгей! Иван Борисович!.. Свердловск!..

Зоя соединяла Артамонова с его абонентами, в далеком Свердловске плыли и прокашливались голоса, здесь тоже оживившийся народ приготовился продолжать совещание.

— Иван Борисыч, ты? — продолжал Артамонов. — Ну, попили чайку? Мы не виноваты, извините, техника... Попили? Ну давай продолжим, мы вам еще подольем горяченького. Слышите?..

Невидимый, но, судя по голосу, неторопливый и солидный Иван Борисыч отвечал невесело: «Слышу, слышу...»

И вот уже все пошло своим чередом, и в ту же секунду опять никому не нужны и не интересны стали монтеры. Отлепился от стены, суетливо заправляя на место галстук, Просвирняк — вся фигура и лицо его будто обвисли от тоскливого ожидания и ничегонеделанья. Ваня быстро складывал чемоданчик, Трусов подавал знаки: пошли. И тут Артамонов, прервав разговор по селектору, обратился к Трусову:

— Спасибо, молодцы! А вот юношу попрошу нам оставить. Как, Кирлариса? Вдруг опять что-нибудь, а? И впредь — мы обговорим это после поточнее — предлагаю обязательно на каждое такое большое совещание, которое мы ведем по селекторной связи, давать нам человека. Чтобы была гарантия.

— Лучше бы технику наладили, — сказал кто-то со стороны, — двадцатый век.

— Ну вот пока не наладят, пусть дежурят. А? — Артамонов говорил с Трусовым, а Ваню так и подмывало сказать: при чем, мол, здесь Трусов?

А Трусов, наглец, слушал и кивал с таким видом, будто именно он завтра же все это и решит. И Ване приказал:

— Да, ты оставайся, правильно требует товарищ Артамонов.

И они с Просвирняком — Витя впереди по стеночке, по стеночке, мимо густо насевшего народа — удалились, а Ваня, чуть пожал плечами, остался. Впрочем, ему нравился Артамонов и весь дух этого делового мужского собрания. Все стужья были заняты, он пристроился на низком подоконнике, от окна дуло, зато хорошо отсюда, с пятого этажа, просматривалось Зарядье, старые его проулки, закоулки, дворы, высокие голые липы, крыши, крыши. Свинцово лежала меж набережных ноябрьская Москва-река, дымил Могэс, знакомо выгибалось Замоскворечье. Стая голубей моталась, бело сверкая, на фоне серого дыма, резво бежали по набережной игрушечные машины.

Совещание пошло быстро и энергично, Артамонов наседал, как Ваня понял, на заводы с выполнением годового плана, а заводы отвечали, что у них того нет, сего нет. Ваня некоторое время послушал, потом отвлекся, пустился в свои мечты: как он вот так же когда-нибудь, молодой и властный, как Артамонов, будет держать в руках нити всей страны, всю связь, тогда уже будут телевизоры во всю стену, видеотелефоны, техника на грани фантастики. Жалко, Валя его не видела, когда он чинил селектор. И Шура. Да, Шура... Все-таки она слишком. Ну что ей дася несчастный Просвирняк? Научится он тоже потихоньку всему. Зря, конечно, Витя вяжется с Трусовым и ему подобными, но, с другой стороны, куда ему деваться? Мы сами его стталкиваем, насмешничаем, делом не занимаем. Надо воспитывать человека. Шуре хорошо, она классный специалист, кому бы она там ни мешала, никто ее не тронет — иначе кто работать будет? Вот и режет свою правду, не боится. А Витя кто? Никто. И придумается ему подлаживаться, каждому угождать, не говорить ни «да», ни «нет»: мол, наше дело маленькое, и пбумней головы есть. Шура еще только рот раскроет, а все уже замирают в опаске: что скажет? А уж что скажет

или как поступит Витя-бедняга, наперед ясно. Но зато у Шуры все больше врагов, а у Вити друзей... Каких друзей? Трусовых?.. Но ничего, проживем — увидим. Надо только делу учить, делу. Что там говорит товарищ Артамонов?..

— Ваши бездельники,— четко и зло говорил, наклонясь через ручку кресла к селектору, Артамонов уже с очками на носу,— ваши бездельники не тем страшны, что бездельничают, а тем, что безделье свое стараются выдать за дело, понимаете? И путают вам всю картину!..

7

— Я им покажу! — грозил каждый день Пощенкин.— Дай только Алексей Гурьич из Гэдэра придет! Они попляшут!

Алексей Гурьич Петров был замминистра, простецкий дядька (Ваня тут же вспомнил, как они, например, радиолу к нему ездили чинить), да вполне возможно, что и защитил бы Петров Пощенкина,— подумаешь, снять трубку и сказать тому же Бубышкину: «И что у тебя там, Вубышкин, в конторе связи? Оставь-ка этого маленького, как его?.. товарища Пощенкина... Ножонкина... да-да, Пощенкина, извини... оставьте в покое...» И все. И тут же утихли бы все бури и на другой день сидел бы себе Леонид Степаныч вместе со всеми у Дмитрия Иваныча.

А теперь? Крутится, нервничает, храбрится Наполеон, но интрига против главы конторы что-то не выходит. То Ваню пошлет на разведку — понести старые сводки: мол, в архив их сдать или нужны еще? То сам с гордым видом заскочит к Полине, бросит бумажки на стол («Отпечатайте на бланке! Срочно!»), а самого так и жжет, так и притягивает вид обитой бордовым дерматином двери Дмитрия Иваныча. А там, за дверью, еще, не дай бог, голоса, смех — это значит вся конторская элита собралась, шутки, побасенки, и, может, над ним же, Леонидом Степанычем, сейчас смеются. Или из филиалов кто приехал, украинцы или казахи, сидят, курят, заняли кожаный диван, Щипков, подрагивая ногой, верхом на валике, рассказы, анекдоты, подарки.

Дмитрий Иваныч в хорошем расположении духа сам любит порассказать, как он в молодости в Полтаве телеграфистом работал. Тогда только и слышишь: «А кавуны! Да где ж еще есть на свете такие кавуны!.. А вишня? Рубль, бывало, ведро!.. А вареники! А кавуны...»

А в конце рабочего дня, глядишь, и подымутся дружно в гости ли к кому, в шашлычную ли, и угощают, как правило, не москвичи гостей, а гости хозяев — бывает и эдакое московское хлебосольство.

И ведь Леонид Степаныч сам еще недавно сживал на кожаном диване, хоть и спешил всегда в отличие от всех, и тоже не последним звучал его голос, и, если скидывались на бутылку, от компании не отставал. Нет, жгло, жгло наполеоновское самолюбие, не было покоя, и ничего в ум не шло, и три распотрошенных приемника уже неделю громоздились на столе. Выдвигал Пощенкин свой средний ящик, лихо бросал на него ноги, сидел, как американец, крутил зажатую в пальцах папиросу, но уж не спал, разглагольствовал, вскидывался, нервничал. Ваня видел однажды: остановил как-то Пощенкин в коридоре Щипкова — тот первый друг Дмитрию Иванычу, сам начальник, да еще высокоий, вальяжный, вольный, глаза с поволокой (Митрофаныча надо послушать про похождения Щипкова!), — стоит Щипков, Пощенкина в упор не видит, папиросу языком во рту перекатывает, как жвачку, и скучно ему смертельно Пощенкина слушать. (Щипков мастер выпить да гульнуть, его АТС без него хоть год будет работать, и в отличие от прочих Щипков даже не притворяется работающим: когда хочет слоняется по этажам, балагурит с секретаршами, пропадает целыми днями на казенных машинах по городу, а то и за городом. Говорят, он еще и охотник. Всегда он здоров, широк, смел, то в новом пиджаке, то в новых бурках, и пахнет от него шашлыком, водкой, свежим воздухом.)

Как слон и москья, стояли друг против друга Пощенкин со Щип-

ковым, и жаль было глядеть на бедного Наполеонишку. Особенно когда отправился себе Щипков дальше, походя похлопав Пошенкина по плечу: мол, о'кей, Леня, времени нет,— и остался Пошенкин стоять как сплеванный.

Томился Леонид Степаныч, ждал и уже не шваркал дверью, а держал ее открытой — ту, что в коридор: вдруг кто заглянет. И диспетчерскую теперь тоже насквозь не проскакивал, тая от телефонисток коробки да авоськи,— нет, останавливался, пускался в разговоры.

Пригрет был и Витя. Ваня сказал, что Просвирняк у Дмитрия Иваныча бывает (Пошенкин это и сам знал) и вроде собирается уйти от них в аккумуляторный цех или на АТС.

— Да черт с ним, кому он нужен! — закричал поначалу Пошенкин.— Пусть у них баклуши бьет!

Но, однако, когда Витя заглянул, Пошенкин задержал его; вдруг решил взяться за работу: схватился за паяльник, Ваню позвал, рукава засучил, давай, ребята! Набросился на старые телефонные аппараты, сваленные в углу, вытягивал из кучи, как курицу за лапы, и, как курицу же, принимался потрошить.

Просвирняк, ничего не понимая, сам попав, как кур во щи, тем не менее старался, тоже гнул, суетился, завесив лицо волосами, хватал невпопад то кусачки, то плоскогубцы, путая одно с другим, ожегся паяльником. Зато когда зазвонил телефон, а у Пошенкина и Вани руки оказались заняты, Просвирняк по знаку Пошенкина так проворно снял замызганную, лентой перемотанную пять раз трубку, так адъютантски-гибко подал ее, что маленький фельдмаршал чуть не запыхтел от важности и удовольствия.

Дело, впрочем, велось к простому. Когда сели перекурить, Леонид Степаныч спросил Витю:

— Ты б хоть сказал наконец, кем начальству-то приходишься? А то так, понимаешь, и не ведаем.— И к Ване: — А, Вань?

Леонид Степаныч вроде бы насмешничал, но вполне был мягок, и Витя прямо-таки таял от такого обращения.

— Я-то? — Он глядел ясно и преданно и готов был откреститься от Дмитрия Иваныча в секунду.— Да сказки это все! Никем! Дядька мой в Полтаве завхозом в Доме пионеров работал, а Дом пионеров рядышком с почтой был, вот они по молодости-то...

— Вон что!

— Ну конечно!

— Понятно. Кавуны.

— Кавуны, кавуны! — обрадовался Витя.

Вот она, оказывается, как отзывалась, Полтава!..

Но все-таки выходило, что не без протекции Витю устроили, дядька полтавский, значит, помог. «Помог, помог маленько»,— соглашался Витя, улыбаясь счастливой улыбкой, и от полноты чувств стал рассказывать про хитрого полтавского дядьку: тот, мол, такой ловчила, до сих пор помнят, как он в войну у румына за полкабана мотоцикла выменял и в землю закопал,— ох не промах был дядька!

На что уж рассчитывал Леонид Степаныч, непонятно: что Витя сейчас же побежит к Дмитрию Иванычу, слово за него скажет? Вряд ли. И вся выгода от этого вышла опять же Вите: вот и с Пошенкиным он контакт наладил, как хорошо!

Но настал день, встрепенулся Пошенкин, расправил крылья — Петров приехал! На прием к нему, конечно, не побежишь, по телефону тоже звонить не станешь, тут как-то ловко надо, тем более что слухи, волны шли по министерству: то ли Петров с министром не поладил, то ли министр Петрову что-то сказал — никто ничего толком не знал, но что-то шелестело: Петров, Петров. Что Петров, чего Петров, но Петрова, не Тютюкина склоняют — Петрова!

Ваня вспоминал, как они ехали летом к Петрову. Тот сам их захватил после работы в свою машину: мол, дочка плачет, радиолоа сло-

малась; Петров сидел впереди в просторном «ЗИСе», а Ваня с Пошенкиным сзади, боясь развалиться на располагающих к разваливанию сиденьях, торчали торчком, валясь назад при движении с места.

Тогда уже прошла мода носить, как в войну, мундиры, но Петров, генерал по званию, еще носил, и твердый ворот подпирал складки его малиновой шеи. Подобно Митрофану, генерал простецки, грубо и весело шутил насчет женщин.

— Уж вы-то там небось с телефонисточками своими! Знаем!..

Леонид Степаныч в таком же залихватском, на себя непохожем тоне отвечал:

— А у меня, Алексей Гурьич, своя баба имеется, зачем! У меня своя ничего!

— Своя! Свою бабу беречь надо!

Все дружно гоготали, даже шофер. Ваня смущался.

Когда поднимались в лифте, генерал подпихнул Ваню пузом — и его в покое не оставил:

— А ты чего примолк? Ишь, глазки опустил! Тоже небось немало девок перепортил, а?..

Их провели тогда в большую, всю в коврах комнату с открытой балконной дверью: они стали копать в огромной трофейной радиоле, а через комнату на балкон и обратно все время кто-нибудь ходил: сама генеральша, высокая, с круглым мучным лицом, старая ведьма-домработница или дочка, тоже длинная и круглолицая, — ясно было, они затем ходили, чтобы монтеры чего не слямзили. Пошенкин так и кипел от этого недоверия, наполеоновская душа его оскорблена была, он швырял, ронял инструменты, не туда припаивал проводки.

Ваня думал: «дочка плачет» — девочка, а тут вертела задом лет шестнадцати тетя, крутилась перед глазами, и он представил себе, что генерал скажет, когда эту девку испортят, а ждать, видно, недолго осталось.

Они возились часа два, радиолу выкидывать пора было, а не чинить, о чем Пошенкин и сказал потом хозяину.

— Ну-ну, — сказал тот, — прокидаемся, чини-чини...

Дома Петров выглядел устало, сонно (или пообедал?), переоделся в пижамные штаны и старый китель без пуговиц и погон; надел очки, читал на балконе газету и задремал, вздрагивая от звуков, вылетающих из радиолы.

Потом генерал пропал в недрах большой квартиры, дочка сама принимала работу, прыгала и кружилась, вихрем поднимая юбку школьного платья, под звук фокстрота — «исполняет оркестр под управлением Эдди Рознера»!

Старая ведьма повела монтеров на кухню, где уже красовались на краю стола две налитые стопки водки (а бутылки не видно было) и лежали на тарелке цветком ровно четыре бутерброда с колбасой. Ведьма прямо-таки заглядывала им в рот, когда они выпили, бурчала недовольно. Поэтому Пошенкин взял лишь один бутерброд, нервно разорвал, разломил пополам грязными пальцами, чтобы только заесть, и, двинув бровью, приказал молча не трогать больше ничего, уходить вон. И они ушли под звуки джаза, и у лифта Пошенкин яростно плюнул на чистый кафельный пол.

Потом они еще два ездили туда и проклинали все на свете, потому что вертлявая дочка теперь их винила, когда радиола ломалась: что ж вы, починить как следует не можете!..

Ваня дорого бы дал, чтобы не ездить туда, и надо же! — так случилось, что не поехал. От Петрова действительно позвонили — радиола, мол, опять не работает. Пошенкин мигом собрался, «ЗИС» уже стоял в переулке, а Ваня в это время ушел в АХО получать в кладовой тряпки для протирки, бланки и нитки, — всякую мелочь, которую непременно выписывали (пусть она и копейки стоит): не самим же покупать.

Он все получил, покалякал с кладовщицей, шел не торопясь по первому цокольному этажу, кипу белых бязевых тряпок, фабричных обрезков, еще пахнущих машиной, керосином, нес узлом за спиной, остальное в левой руке в сумке из клеенки. А Пошенкин, оказывается, в это время звонил по всем телефонам, искал Ваню: срочно к Петрову, скорей, там-то мы все ему и скажем! там-то мы и выйдем в реванш!.. Но не отыскал. А Ваня шел длинным, без окон коридором, устал и там, где коридор делает поворот и где как раз глядят на улицу два высоких красивых окна, остановился отдохнуть, сбросил узел с тряпками на подоконник. И взглянул на улицу. И увидел — батюшки! — в «ЗИС» садятся Пошенкин и Просвирняк! Вернее, один уже сел спереди, с чемоданчиком на коленях, дверцу на себя тянет, а другой, спотыкаясь, отбивая поклоны, мотая нелепо полами длинного пальто, пригнул голову в шляпе, чтобы лезть в машину. Ваня даже засмеялся про себя, глазам не веря: настолько неправдоподобно было. Но нет, это они, вот прямо перед ним, чуть ниже его. И «ЗИС» Петрова. И шляпа Витина. И осанка пошенкинская. С ума сойти!

Хлопнула беззвучно — рамы в окнах двойные, стекла толстые, старинные, щели свежей рыжей замазкой зашпаклеваны, звуков не слышно, — хлопнула одна дверца, за ней вторая, Витина большая нога последней с тротуара исчезла, выстрелила машина синим дымом и пошла. Ваня прикованно глядел на красные стоп-сигналы, опираясь грудью на мешок с тряпками. Как же это?

И хотя потом Пошенкин ему все объяснил: мол, Ваня сам виноват, не нашли, — но уже никогда не могло исчезнуть из глаз видение, как не он с Пошенкиным, а Витя Просвирняк садится в «ЗИС» замминистра и мчится чинить-паять. Пусть и не хотелось, пусть и к лучшему, что так, но все-таки как же это?

К сожалению, будто в наказание или потому, что уж полоса у Пошенкина такая шла, Петрова застать не удалось: три часа тянул Леонид Степаныч с радиолой, всю наизнанку вывернул, но хозяин допоздна не возвращался домой, и, судя по поведению домашних, что-то там действительно закипало, чувствовались и в доме напряжение и тяжесть.

— Ну как ваша вчерашняя поездочка? — спросил Ваня ехидно.

Пошенкин тут же взвился, озлился, плюнул:

— Чертовы ведьмы!.. А этот тоже! Хорош! Уж не может из Гэдэра новую машину привезти!

Было ясно, что дело не выгорело. И Пошенкин опять не находил себе места.

Но зато Витя был счастлив. Как-никак ездил с Пошенкиным, помогал, а главное, вон где опять очутился, на каких высотах!

— Ну квартирка! — говорил он и закатывал глаза. — Вот квартирка! Ну и квартирка!..

Можно было ожидать, что, наладив отношения с Пошенкиным, Витя теперь прилипнет к камерке, возьмется смелее за дело, за учение. Но нет, у него уже образовались иные интересные места, куда его влекло. А что касается ученья, реле и отверток, то к этому он вовсе остыл. Между прочим, из всех приборов, с которыми Ваня его знакомил, больше всего заинтересовала Витю обыкновенная контрольная трубка. У каждого монтера есть такая трубка: трубка без телефона, со свободными контактами, чтобы можно было присоединить к аппарату, проверить слышимость или подключить к любому номеру на стенде. Можно проверить, но можно и услышать разговор, если он идет в это время.

И раз и другой бывали случаи: Ваня заставлял Просвирняка за этим делом. Ерунда, со всяким случается: подключился нечаянно и послушал немного. С полгода назад, когда еще душа в душу жили Леонид Степаныч с Дмитрием Ивановичем, и не такое делали. Однажды, услышав, как Дмитрий Иванович виртуозно песочит одного на-

чальника филиала, Пошенкин прибежал в каморку, подключился к номеру Дмитрия Иваныча и на только что отремонтированный магнитофон, который оказался у них на столе (магнитофоны тоже еще нечасто встречались), записал всю речь Дмитрия Иваныча. Но это делалось в открытую, при свидетелях, ради шутки. Потом самого же Дмитрия Иваныча и пригласили себя послушать и ржали все дружно, все мужское население конторы, повторяя перлы начальства. Это была вещь нормальная.

Но вот когда Ваня увидел за этим делом Витю, ему это не понравилось: слишком много интереса было в Витином лице. Сидит, прижав трубку к уху плечом, на корточках, больная нога неловко выставлена и на лице веселое оживление.

— Ты что это, Виктор?

— Тихо, погоди! — Микрофон зажат ладонью.

— Да ты что, спятил? Ты это брось, не полагайся!

— Тихо! — Тем не менее Витя тут же отключился, сунул трубку в карман, галстук на место заправил. — Ну сейчас Бубышкин завгару вливал!

— Ты что, с ума сошел? — Ваня смотрел на Витю во все глаза. — Ты это брось! У нас за это знаешь что! Заметят — сразу вылетешь!

— Да ну, чего ты? Я нечаянно попал, что я, не понимаю?..

— Не нечаянно, а брось!

— Да все слушают, на АТС у Щипкова, думаешь, не слушают?

— Учти.

— Да ладно. — Просвирняк вдруг убрал улыбку с лица. — Ты само не треплись, лучше будет.

Вот какие ноты появились в голосе у Просвирняка. Растеряешься.

Что же касается ученья и помощи, то однажды, когда Зяблик и Витя чинили номеронабиратель, вернее Ваня чинил, а Витя смотрел, да и то смотрел лишь так, поверху, Витя на Ванино: «Смотри сюда, смотри, понял?» — отвечал тоже с неожиданной и твердой интонацией: «Да на хрен мне смотреть! Не пойму я в жисть эту механику!» И с тем швырнул отвертку и ушел. И тут опять, не первый раз в жизни, Зяблик ощутил, что ему, Зяблику, еще далеко до мира взрослых, что Просвирняк, побыв Ване товарищем совсем недолго, уходит от него в этот мир, уплывает — и не ухватишь. Конечно, им легче говорить и понимать друг друга, чего уж! Да и странно, в самом деле, чтобы такого вида человек, как Витя, в своей шляпе, бегал бы здесь на побегушках монтером, слушался Зяблика и дружил с ним, смешно. Надо подготовиться, что он уйдет, передвинется повыше. И получается, что Шура права. Но, с другой стороны, куда ему двигаться, ведь он не знает и не умеет ничего. Но не зря же он шустрит, старается, развивает бурную деятельность, это же ясно. Вот и Пошенкин ему уже не страшен.

А сам Леонид Степаныч опять сидит разглагольствует, выдвинув ящик стола и вытянув на него ножонки, курит, высоко вода рукой с папироской в воздухе: мол, я, я! я министру коммутатор, я замминистру антенну! больше никто ничего не смыслит, да тому же Дмитрию Иванычу схему реле — он как свинья в апельсине!..

Просвирняк смеется, трясет волосами, поддакивает, слушает маленького императора с таким выражением, будто тот и в самом деле всему голова. Ваня войдет, постоит и выходит: неловко.

И теперь уже не Ваню, а Просвирняка посылал Пошенкин на разведку к Дмитрию Иванычу. Глядишь, хромает Витя бегом то со сводками в руках, то еще с чем, а в кабинет к Дмитрию Иванычу входит запросто, только ослабит улыбку в сторону Полины, а она, не отрываясь от печатания на машинке, скосит глаз и кивнет как своему, не останавливая даже для вопроса зачем и почему. А Витя, просунув сначала голову и согнувшись, заглянет — и скользь туда! Даже дверь ему пошире отворять не надо: в какую щель заглядывает,

в такую и весь пройдет, как в детстве сквозь забор протискиваются: если голова прошла, то и сам пройдешь.

От имени Пошенкина, с его распоряжениями стал он залетать и в диспетчерскую: «Риммочка Павловна, вот это, Риммочка Павловна, вот то... Леонид Степаныч сказал, Леонид Степаныч велел...» И вот однажды утром, заступая на дежурство, Римма Павловна вдруг принялась кричать на Люсю (все телефонистки уже были на местах, а Люся, отдежурив, уходила, покрывала голову зимним белым платком):

— Это кто ж тебе разрешил, зачем ты эти заказы трогала? Сколько вам говорить, чтоб не самовольничали!

— Чего? Чего? Где? — Люся обиженно хлопала глазами, подаваясь к Римме Павловне, которая размахивала узкими листочками. — Это мне Виктор Прокофьевич еще с вечера велел...

— Кто?

— Ну Виктор... Прокофьевич... — Люся в момент увяла под обратившимися на нее со всех сторон взглядами. — Ну этот...

Все поняли, она могла не продолжать. Римма Павловна поражено обвела диспетчерскую взглядом, чуть руками не развела:

— Нет, вы слышали?! Да кто он такой, твой Виктор, видали вы, Прокофьевич! Что он смыслит! Без мыла влезет везде!

— Он сказал — Леонид Степаныч велел, я думала...

— Да что ты думала! Все к черту перепутали мне!.. Виктор Прокофьевич! Слышали? Пусть только явится, я ему скажу! В заказы еще будет лезть!.. Виктор! Прокофьевич!.. Обработал дуру!

Все наконец захихикали, Люся, надув губы, отвернулась и потом, затаив наконец на шее платок, выскочила в дверь. Римма Павловна, на разные лады повторяя «Виктор Прокофьевич», еще покипела несколько минут. Шура, как ни странно, ничего не сказала, только усмехалась кривой усмешкой.

И прошло не меньше часа или того больше — все работали, забыв утренний эпизод, — как явился из коридорных своих плаваний Просвирняк. Веселый, оживленный, он словно бы спешил по важному делу, но не мог пройти мимо, чтобы не завернуть, не поздороваться, не поприветствовать всех.

— Здоровеньки булы, дивчиноньки! — смело разлетелся он с порога. — Ух, кипит работка! Дела идут, контора пишет!

Пиджак на Вите был все тот же, но рубашка уже новая и галстук, и хоть галстук опять свивался трубочкой от постоянного запихивания за борт пиджака, но выглядел еще свежо. Волосы у Вити уже не были так длинны и грязны, как прежде, а вполне нормально, лишь чуть длинновато, подстрижены в министерской парикмахерской, запах которой он и распространял вокруг. И еще на ногах поблескивали новые ботинки, толстые и крепкие, как раз для зимы.

Все как бы чуть приостановились и поглядели, ожидая, на Римму Павловну: как она сейчас его?.. Но Римме Павловне понадобилось срочно что-то писать в кипе заказов, она энергично водила ручкой, насупив брови, бормоча и пыхтя, будто и не видела Просвирняка.

— Что новенького, Риммочка Павловна? — обратился Витя уже прямо к ней.

И тут только Римма Павловна, почти краснея под взглядом телефонисток, хмуро (но не более) сказала:

— А то новенького, что зачем ты, Виктор, в заказы-то вмешиваешься? Кто Люсе-то велел?

— Что-что? — Просвирняк обеспокоился. — Заказы? Какие?.. А, вчера-то? Так это сам Дмитрий Иваныч велел. Уж вечером, Римма Павловна. Я тут задержался, вас не было, никого не было, а Дмитрий Иваныч... Между прочим, как их? Пустили? А то он спросит...

— А Люся сказала — Леонид Степаныч...

— И Леонид Степаныч в курсе, а как же! Я разве сам буду, вы что!

— Ну а зачем Дмитрий Иваныч опять в междугородку вмешивается? Прямо не знаю!.. Вы только мне говорите в другой раз.

— Ну, Риммочка Павловна! О чем речь! — Просвирняк расплылся в улыбку. — Ну разве я не знаю, кто у нас тут самый главный человек?

И тут не выдержала больше, вмешалась Шура. Повернулась на вертящемся стуле, состроила сладкую физиономию:

— Ну что вы, Виктор Прокофьевич! Самый главный человек у нас теперь вы! Скоро, девочки, — вот попомните мои слова — мы у Виктора Прокофьевича будем спрашиваться в уборную сходить...

Просвирняк дрогнул от слов «Виктор Прокофьевич», напрягся, но тут же рассмеялся деланно:

— Шура скажет всегда! Мы простые монтеры...

— Ой, Виктор Прокофьевич! Ну зачем? Ну какой вы монтер! Вы же, как известно, простого ключа починить не можете.

Кто-то прыснул, Нинка рассмеялась залиvisto.

— Ну ладно, ладно. — Это Римма Павловна примирительно забасила. — Работать давайте.

— Простого ключа починить не можете, — продолжала Шура, обращаясь теперь к подругам, — а бегать распоряжения давать — тут как тут, пожалуйста!.. Какой же монтер! — Она повернулась снова к стенду, подключая на ходу и выключая своих абонентов (как и другие) и надвинула опять наушники. — Спрашиваться, спрашиваться будем!.. Да, четвертый слушает, говорите, соединила!.. «Можно, Виктор Прокофьевич? Разрешите, Виктор Прокофьевич?..»

Просвирняк продолжал улыбаться, но уже через силу. Он затоптался на месте, нелепо суча больной ногой. Хотел что-то сказать, но уже никто на него не смотрел, перед ним были одни спины, все работали, и даже Римма Павловна, бывшая всех ближе, уткнулась в заказы. Витя покраснел, надбровья его выступили вперед, глаза запали. Он хмыкнул, хрюкнул и затопал прочь. Дверь еще не закрылась за ним, а телефонистки стали смеяться.

Шура довольно и победоносно оглядывала поле боя. Но она и не подозревала, как близка была к истине.

8

Опальное сидение замучило Пошенкина, и в конце концов нашел он себе дело. Всегда, если особенно много набиралось халтуры, Пошенкин загружал Ваню или брал его с собой. Перепадали и деньжата. Года полтора назад, когда пошла мода на коммутаторы и селекторы и Пошенкина то и дело приглашали их устанавливать, денег выходило даже и немало. Правда, работали тяжело, почти всегда ночами. В центре Москвы, в старинных узких переулках, в подворьях, в проходных дворах, в слепившихся, как торты, зданиях размещались всегда, еще с приказных, наверное, времен, учреждения: сотни, если не тысячи министерств, управлений, трестов, главков, отделов, советов, президиумов, кафедр, касс, союзов, отделений, филиалов, бухгалтерий, контор, издательств, складов, курсов. От вывесок и названий рябило в глазах. Каждый подъезд до того был залеплен вывесками всех мастей, что еле отыщешь нужную. А войдешь внутрь, под гулкие своды, на старинные лестницы, там опять вывески, указатели — поразишься: неужели столько организаций помещается в одном подъезде?.. Из всех дверей трещат машинки, входят и выходят люди, в каждом окне видны столы, столы, столы и склоненные над ними мужчины и женщины в нарукавниках, с арифмометрами, с папками, скрепками, чертежами, стаканами в подстаканниках, с электрочайниками. А еще — шкафы, шкафы, шкафы с папками. А еще — плакаты, порт-

реты, диаграммы, стенгазеты. А теснота такая, что сами служащие еле пробираются между столами. Молоденькие курьерши в пальто внаброску выбегают на улицу, отыскивая свою машину среди скопища прилепившихся к тротуару и даже въехавших, занявших боком полтротуара из-за тесноты машин. И конечно, повсюду разрываются телефоны.

Они приходили сюда по ночам, когда это царство пустело, вымирало и вид бесконечных комнат с тесно стоящими столами, без людей, под светом уличных фонарей из голых окон был дик и фантастичен: для чего же эти здания, если никто здесь не спит по ночам?.. Их вели, вели и приводили в какой-нибудь неожиданно просторный после общей тесноты кабинет с белыми гофрированными шторами, с мягким ковром. Они волокли с собой инструменты, приборы, новый или отремонтированный, отлаженный и даже выкрашенный селектор. Накануне Пошенкин обо всем договаривался с хозяином кабинета или его хозяйственниками, и обычно бывал уже готов новенький, еще липнувший лаком телефонный столик. Ваня и Леонид Степаныч раздевались, бросая свою одежку по мягким креслам, включали паяльник, располагались как хотели. Задача заключалась в том, чтобы отсоединить и убрать пять-шесть заполнявших стол телефонов и вместо них подключить один коммутатор. И на это уходила иногда целиком вся ночь, а то и две, если что-то не ладилось. Хорошо было идти потом по пустому городу, в черноте зимнего утра, когда о том, что настало утро, говорят только выползающие из парков пустые трамваи; в голове играет музыка бессонницы, глаза сами закрываются, горят сожженные паяльником и канифолью кончики пальцев; обещанная тридцатка, а то, глядишь, и две так и парят в голове — три, три!.. Зачет не сдан, пропущен, но Ваня вечерник, простится. Зато новенький аппарат стоит на своем месте, работает, и сегодня утром его хозяин, как он ни строг и важен, будет, как мальчишка, целый день нажимать кнопки и рычажки, радоваться и забавляться игрушкой, и набегут из всех кабинетов замы и помы тоже восторгаться и завидовать. Среди дня гордо придет Пошенкин, уверенно спросит: «Ну как?» — и будет обласкан, охлопан милостиво по плечам, и некий улыбающийся человек прямо в кабинет принесет ведомость, в которой Пошенкин поставит всем на удивление свою разлетающуюся кометой наполеоновскую подпись, и человек передаст ему конвертик с деньгами. Три десятки, четыре, пять! Вдруг отвалит?.. Идет Зяблик и мечтает, сколько отдаст матери, сколько себе оставит, что купит. Тогда еще была Валя — идешь с ней в кино, хрустишь деньгой, берешь в буфете пива и шоколаду. Да, неплохие были времена.

И вдруг пожалуйста — снова нашел Пошенкин дельце. Недели за две до Нового года Леонид Степаныч позвал Ваню и сказал: есть, мол, халтура, можно заработать. «Как в том году», — сказал Пошенкин, и Ваня сразу вспомнил: тогда делали елочные гирлянды. Сначала в подарок от Дмитрия Иваныча кому-то из начальства два комплекта, потом еще двадцать два, которые Пошенкин сбывал тут же в министерстве и на стороне. И изрядно, между прочим, Ваню обжулил, врал, за какую цену продал. А лампочки и провод, кстати, Ваня выписывал на свое имя якобы для ремонта коммутатора, и красил лампочки, что было особенно трудно, тоже он.

— Ну? — сказал Пошенкин все с той же папиросой в руке и все так же праздно вытянув ноги на выдвинутый из стола ящик. — Помнишь? Давай как тогда?

— Вы Витю своего позовите, — сказал Ваня, — он же теперь у вас...

— Да ладно тебе, Витю! Тут быстро надо, времени всего ничего, а народ интересуется...

Ваню мучила не нынешняя обида на Витю, а прошлая, из-за денег, и Пошенкин, кажется, угадал это.

— Сейчас больше заработаем, они дороже теперь пойдут, понял? Ну?

Ваня еще покочевряжился немного, пока Пошенкин не сказал твердо, сколько даст с каждой гирлянды, и согласился. И к концу дня, оформив заявки, уже получал в АХО мотки провода, лампочки, паяльное олово.

На следующий вечер после работы, соблюдая осторожность, они заперлись в каморке — и понеслось! Их подпольное производство сразу вдохнуло в Пошенкина жизнь. Он ловко паял, быстро наставлял один к другому куски провода, присоединяя встык лампочки. Рукава засучены, лысина в поту, дым клубится, папироса в зубах и напеваает: «Ой, Самара-городок, беспокойная я...» Ваня тут же стрижет, паяет тоже, подсчитывает вольтаж, приспособивая к особо пышным гирляндам небольшие трансформаторы. Пришлось по всей конторе искать штепсельные вилки, на складе вдруг не оказалось.

Они увлеклись, они сидели опять чуть ли не всю ночь, а потом, потеряв бдительность, стали работать и днем. Никто не знал, чем они заняты, двери были заперты и одна и другая — открывали только по стуку или по телефонному звонку. Да и кому было ходить, отношения с конторой пока так и не наладились.

От Вити, конечно, спрятаться не удалось. Леонид Степаныч предложил и ему помогать и подзаработать. Витя радостно закивал, согласился, но как дошло до дела — не приведи бог! Зяблик успевал сделать десять лампочек, а Витя пыхтел над одной. Ему самому было неловко, и после обеда (когда они работали днем) он совсем не пришел, а вечером тоже не остался: забежал, помялся, сказал, что в кино надо, совсем забыл. Пошенкин только рукой махнул: «Ладно, нам больше достанется».

Так провкаливали они четыре дня, вошли в азарт, все кипело, в дыму и поту они делали свое такое черное и такое светлое дело: готовые гирлянды сияли по стенам, трещали коммутаторные реле, неслись песни из репродуктора, которым подпевал Пошенкин, — работа!. Был конец дня, без десяти шесть, когда вдруг та дверь, что в коридор (Ваня сам запирает ее, он точно помнил), вдруг распахнулась настежь рывком, кто-то сказал: «Нет, открыто...» — и, они даже не успели переменить позы, в каморку, сгибаясь в дверях, вошли разом Дмитрий Иванович, Щипков, Трусов, Митрофаныч, и еще, и еще кто-то, и по тому, как они тесно и быстро входили, было ясно: они давно выжидали под дверью.

Потом, десять раз перебирая с Леонидом Степанычем эту историю, они никак не могли понять одного: как дверь оказалась открыта? И как они в с е оказались под нею? Пусть даже делали обход, искали место для расширения АТС (как потом говорили) — но отчего вдруг ворвались? Кто открыл? Пошенкин поносил Ваню, Ваня уверял, что сам запирает.

Как бы там ни было, история кончилась плохо, особенно для Пошенкина. Еще бы, только что получить на вид, быть в ссоре с начальством — и снова так погореть! В первый момент Леонид Степаныч еще умудрился стать в позу, заявить: прошу, мол, не мешать, я выполняю срочный заказ для министра, все согласовано. Но Дмитрий Иванович и Щипков этой туфте не поверили, им-то все ясно было с первого взгляда.

— А ну, где накладные? — шумел Дмитрий Иванович. — А ну, кто получал материал? Ты? — И его палец уперся в Зяблика.

И пошло и пошло!

— Это, значит, я ничего не понимаю? — кричал Дмитрий Иванович уже в недрах конторы. — Это я как свинья в апельсине? (Батюшки, ведь эти слова только при Ване и Вите говорились, больше никого не было!) Я ему покажу свинью в апельсине, калымщику! Он будет нас позо-

рить, наш коллектив! Развинтились! Автономную какую себе республику устроили, выдали! По струнке будут ходить!..

Да, пошло так пошло! Подняли накладные, ужаснулись количеству взятого со склада материала; по конторе тотчас все разнеслось и поползло дальше по этажам: «Слыхали, в нашей конторе связи? Елочные украшения, говорят, делали для всей Москвы!» Пошенкин взял бюллетень, Ваню таскали к Дмитрию Ивановичу, пытали-допытывали; междугородку будто дегтем обмазали, стыд и срам. Зачем-то нужно было Дмитрию Ивановичу не спустить дело на тормозах, не прикрыть, а раздуть.

— Это чтобы нас в кулак зажать,— сказала Шура,— теперь держись, МТС!

Рассказывали, будто Дмитрий Иванович сам позвонил Пошенкину домой, сказал, что если тот не хочет идти под суд, пусть едет месяца на два куда-нибудь подальше, в сибирский или уральский филиал, а то и совсем уходит. Пока, мол, жив. И пока гирлянды эти не забудутся.

Речь все время шла о Пошенкине, Ваня был в стороне, вроде свидетеля или малолетка, вовлеченного в дурное дело. А ответ надо было держать вместе с Пошенкиным, он чувствовал. Хотя, с другой стороны, не переть же было на рожон?..

Что-то варилось, происходило в недрах конторы: не показывался почти в диспетчерской Просвирняк, вызывали то Римму Павловну, то Капитаншу, и обе, вернувшись, не поднимали глаз, ничего не рассказывали. А Просвирняк, как оказалось, был там, у Дмитрия Ивановича, сидел на валике кожаного дивана.

Один день шел колесом, второй, что-то решалось, зрело, Пошенкину, видно, приходила крышка. На третий день Ваню вызвали в отдел кадров.

Инспектор Ниточкина Марья Сергеевна — Ваня ее хорошо знал, не раз телефоны здесь проверял, новые аппараты недавно ставили, старые меняли,— инспектор Ниточкина, еще молодая, с накрашенными губами и сверкающими сережками в ушах, попросила Ваню все рассказать, и Ваня уже в пятый, наверное, раз, потупясь, рассказывал: как делали, что, и это, мол, для своих, а еще для кого, он не знает; провода взяли столько-то, да, верно, лампочек столько-то, правильно; насчет продажи ему лично ничего не известно, денег никаких он не видел.

— А как вообще Пошенкин? — спрашивала Ниточкина, ложась грудью на стол и близко глядя на Ваню черными-пречерными глазами.

Они сидели в тесной второй комнатке отдела кадров, заставленной высокими и узкими, чуть не до потолка шкапами с наглухо закрытыми, а кое-где и запечатанными сургучом дверцами. На окне было зелено от цветов, тесно от цветочных горшков, и на столе у Ниточкиной прямо перед Ваней стоял горшочек с веселыми, растопыренными в стороны полосатыми листиками. Пока они разговаривали, на столе у Ниточкиной несколько раз звонил телефон, но трубку она не брала, а только поднимала и опускала снова. Будто оказывала уважение Ване: мол, видишь, ни с кем не хочу говорить, только тебя слушаю.

Это Ваню подкупало, и вообще Марья Сергеевна была симпатичная, улыбалась яркими губами, серьги ее сверкали, глаза блестящие, и говорила она, спрашивала с участием:

— Ну как он вообще? Работы-то ведь у вас не так чтобы очень?.. А как он с вами, с коллективом?.. Вот у вас Латникова такая есть — что про нее можешь сказать?..

Ваня отвечал честно: так, мол, и так. Что знал, то и отвечал.

Но вдруг насторожился. Марья Сергеевна открывала стол, вынула

простую ученическую тетрадку с желтой обложкой, ловко вырвала из ее середины двойной лист — даже не запнулась на скрепках, не порвала бумагу, — протянула и сказала:

— На, напиши.

— Что?

— Ну что рассказывал. Про Пошенкина, про всю эту историю.

— Зачем?

— Ну как, ты же рассказывал, разговор — одно, а написать — другое. На, на, пиши, чего ты боишься?

Ваня медлил, но вынужден был взять листок. **Что-то** тут было не так. **Что-то** ему не нравилось.

— Иди-ка сюда, вот, иди на мое место. — Она встала и быстро, взяв Ваню под локоть, усадила его на свой, с теплой подушечкой стул. И ручку дала. Тоже свою, теплую. — Давай-давай, быстренько. Можно с ошибками, отметку ставить не буду.

Она шутила, но Ване было не смешно, хоть он и улыбался податливо.

— Ну а что писать? — Он поглядел на Марью Сергеевну прямо: мол, что вам **надо-то**?

— Ну как ты не понимаешь, — сказала она, — история ведь неприятная, на всех пятно. Надо отмыться. Надо выяснить, кто виноват, так? Ты виноват? Пиши. Не виноват? Докажи.

— Писать-то зачем, не понимаю, — упирался Ваня, сам не зная почему. Ему зябко стало, неудобно.

— Понимаешь, — вдруг сказала Марья Сергеевна суховаато, так, что отступить уже нельзя было. — Не маленький. — И отошла к окну.

Ваня наконец увидел, что лист лежит перед ним белый, как снег, в линейчку, отливая глянец. Что писать, как? Он в самом деле не соображал. Прошла, должно быть, минута или больше.

Марья Сергеевна напевала у окна, трогала цветы. Потом подошла к Ване со спины, будто учительница в классе над учеником, застывшим с контрольной:

— Ну?

Он невольно сжался, оглянулся жалобно.

— Да ты что, ей-богу! Такой порядок, все пишут. — Она потеснила его в сторону, выдвинула верхний ящик своего стола (там мелькнули красная расческа, помада, круглое зеркальце и начатая пачка чая), вынула серую папку с завязками, а оттуда — пожалуйста! — кипу точно таких же, в линейчку, тетрадных листков, только измусоленных, исписанных разными почерками. Она потрясла ими у Вани перед носом:

— Видал? Пиши давай, а то скоро обед... И не говори никому. Пиши: такого-то декабря сего года... И про Латникову не забудь.

И Ваня, даже обрадовавшись подсказке, стал писать: «18 декабря сего года я был вызван своим непосредственным начальником Пошенкиным Леонидом Степановичем, который предложил мне...» — и так далее.

Потом ему не хотелось идти в контору, он слонялся по этажам, сидел у матери в столовой. А когда вернулся, не поднимал глаз и никому ничего не рассказывал.

А 28 декабря, под самый Новый год, Полина вывесила на стенку приказ: «Тов. Пошенкина Л. С. освободить от занимаемой должности начальника МТС по собственному желанию. И. о. начальника МТС с 1 января назначить тов. Просвирняка В. П.».

Всех как обухом ударило. Одна Шура почти ликующе выкрикивала:

— А я говорила! Я что говорила? Я предупреждала!

И она смеялась своим диким, квохчущим смехом, похожим на начало плача.

Так наступал **Новый год**.

- Междугородняя, четвертый слушает!
- Два ноль шесть, возьмите Енакиево!
- Свердловск! Свердловск!
- Говорите, соединяю!

Утро, начало дня, междугородку, как всегда, разрывают на части. Знакомые города, знакомые номера, фамилии абонентов. Стучат штекеры, крутятся диски, зуммерит коммутатор. Басит Римма Павловна, спешат телефонистки. Все как обычно и вроде ничего не переменилось. И одеколоном пахнет, и луч солнца, теперь уже февральского, заглянул в подвал и греет половицу — солнце на лето, зима на мороз.

И Ваня Зяблик так же сидит на кушеточке, учит физику, поеживается от озноба. Разве что учебник его спрятан в корку «Справочника монтера», а на полу у ног разложен чемоданчик с инструментами — в любую минуту можно опуститься на колени за коммутатором и изобразить трудовой процесс.

Все по-прежнему, только настроение, например, у того же Вани препоганое, делать ничего не хочется, опротивели ключи, реле, трубки, все одно и то же. И появилась у него усмешечка, какой раньше не замечалось. «Все зола», — любит он теперь повторять, схватив это выражение у Нинки, которая, как всегда, если не больше, налетает при встрече на Ваню и целует его при всех в губы. Скрыться Ване теперь некуда. Начальник МТС Просвирняк Виктор Прокофьевич превратил каморку в маленький кабинет. Исчезли со стола приборы, шасси приемников, грязные тряпки и паяльники, шкаф вместе со всем хламом вынесли в коридор. Стол покрыт зеленой плотной бумагой, на нем стоит эбонитовая изогнутая лампа, стакан с отточенными карандашами, чернеет цифрами перекидной календарь. Телефон. Папка для сводок. В каморке чисто, даже уютно, перед столом появилось низковатое, коричневой кожи, явно трофейного происхождения облезлое кресло. А на стене плакат «Мир, труд, май!», пониже — зеркало, в которое обязательно глядится Виктор Прокофьевич, когда входит в каморку и когда выходит.

Ване при всей его любви к аккуратности прибранный вид каморки неприятен. И находится в ней тяжело. Будто здесь убили кого-то и потом все чисто вымыли. А ведь поначалу Витя ничего не трогал, упаси бог! Он вообще делал вид, что страшно удивлен своим назначением, сам над ним посмеивался, пожимал плечами. В каморку входил бочком, на стул Пошенкина не садился. Распоряжений никаких не давал: «Что вы, Риммочка Павловна! Вы сами все лучше меня знаете!» Но вот зашел однажды Дмитрий Иванович, оглядел междугородку, справился, как дела, и потом, после его визита, Витя, словно извиняясь, сообщил: «Начальство велело марафет навести, генеральную уборку. Давай, Вань, займемся...» Так и шкаф со всем хламом Пошенкина оказался в коридоре. Леонид Степаныч все обещает прийти забрать вещички, но что-то не идет.

Потом появился первый Витин приказ — насчет дисциплины: запрет отлучаться в рабочее время, спать, вязать, читать и так далее. И он опять пожимал плечами, разводил руками: «Начальство требует». Но, однако, сам с утра до вечера находился теперь на месте. Раз — и вошел, раз — вышел, опять вошел. И уже не посидишь, не полежишь на кушеточке, не помчишься вдруг за булочками и колбасой или в галантерею на углу, неудобно. «Давайте не будем, девочки, начальство и так нами недовольно...» Начальство, начальство! Чего только не делается от имени начальства!..

С прибавкой зарплаты Витя купил новый серый костюм, хоть и недорогой, но импортный — пиджак в талию, широкие брюки, — а вместо своей вокзальной шляпы белую заячью шапку. Чуть округлевшее и розовое с холода лицо его глядит из-под шапки с энергией и

скрытым восторгом. Он вроде бы меньше хромает, меньше отбивает поклоны. Нельзя сказать, что у него вид всего достигшего человека, нет, он движется, он целеустремлен, и с одного взгляда ясно, что у него все впереди.

И телефонистки и Ваня слышат, когда он входит и выходит, — смолкает смех, обрывается разговор. Ваня напрягается, он ждет, что Витя должен и с ним что-то сделать, сказать, тоже давно назрело.

Между прочим, вскоре после назначения Просвирияка ушла из конторы Люся Неваляшка. То была счастливая, оживленная, то вдруг погасла, похудела, заболела. То она провожала Витю сияющими взглядами, краснела, хотя сам Витя никак не выделял ее среди других (на людях, во всяком случае). А то вдруг плакала, глядела тупо и испуганно. Поговаривали, что она делала аборт. Шура с Зоей ездили к ней домой навещать, но даже им Неваляшка ни в чем не призналась. А когда выписалась, подала заявление об уходе и перевелась на телеграф. На ее место взяли ученицей толстенную девчонку Наташку после восьмого класса, эта старается изо всех сил, как сядет, так может и просидеть весь день на месте вроде Риммы Павловны. Но с веселой Неваляшкой ее не сравнить.

Ване слышно, как опять схватилась с кем-то Шура.

— Что я, нарочно, что ли? — кричит она. — Два канала сегодня на повреждении, вам понятно?.. Сами не морочьте!.. Ну и вы не грубите!

У Шуры тоже нервишки сдают в последнее время: все ей не так, каждая мелочь выводит из себя. Чуть тронь — она тут же бросается в бой, стреляя сразу из всех пушек.

— Шура! Шура! — останавливает ее Римма Павловна.

— Да пошли они все к черту! Нател! Сами с ними говорите!..

Шура так перебрасывает штеккер из гнезда в гнездо, что коммутатор содрогается. Слышно, как в разговор с абонентом вступает Римма Павловна. И вдруг резко понижает голос — открылась дверь, видимо появился Просвирияк.

Эх, тут разве чего выучишь!..

В самом деле пришел Витя. Он заглядывает за коммутатор, качает головой, глядя на учебник, потом кивает: найди, мол, ко мне. Вид у Вити сегодня строгий, озабоченный, под мышкой папка с бумагами. Ваня выбирается из-за коммутатора, проходит мимо Шуры, ждет от нее взгляда или слова. Но Шура погружена в работу, со злостью переключает номера.

Просвирияк начинает сразу, еще только усаживаясь за стол, поглядев в зеркало, спиной к Ване:

— Слушай, я ведь тебе говорил, что ты нарываешься-то? Мне же не жалко, читай себе, но если кто зайдет? Чего ты здесь-то не сидишь? Вот кресло... (Врет! Ему не нравится, когда Ваня здесь сидит. Да и Ваня не может теперь здесь — как ему объяснишь?) Да и порядок нарушаешь, понимаешь? Бабы же наши суки, сами же приходят ко мне и жалуются: одним можно, а другим нельзя! (Врет! Никто из них сроду такого не скажет!) Разлагающе действуешь, понимаешь?..

Ваня стоит и слушает, потупившись. На Просвирияка глаза не поднимаются. Вот лампа, вот календарь. Вот пальцы Вити барабанят по столу. «А, все зола!» — думает Ваня и говорит:

— Ты сам приказал: дежурному монтеру не отлучаться никуда.

— Правильно. Ну и что?

— А что мне делать-то?

— Здрате! Найди себе работу. Мало дел?.. Не в читальне же! Мне же шею-то мылят, не тебе...

Он все хочет доказать, что он ни при чем — начальство!

— Да что они, не видели, что я читаю? Я всегда здесь...

— Не знаю! — рубит Просвирияк. — Не знаю, что всегда, а сейчас... — Он морщится, делает вид, что еще вспомнил нечто неприят-

ное.— И вот что, я все позабываю... Ты бы меня при всех-то... не называл... ну... понимаешь?..

Ваня сразу понял: это он не хочет, чтобы его по имени и на «ты». Ну Витя! Вон чего захотел! Быстро! А потом захочешь, чтобы тех, кто тебя на «ты», кто тебя поначалу видел, вовсе не осталось рядом,— так, что ли? Таких, как Наташка новенькая, подберешь? Чтобы вполне легко произносили «Виктор Прокофьевич», других слов не знали?

— Ну понимаешь? — говорит Витя и смотрит прямо, на секунду подняв глаза.

Ваня видит этот требовательный, без сомнений взгляд: Витя вроде бы просит, не так ли? Но это не просьба, это приказ: на «ты» его больше не называть. Ваня пожимает плечами, держится независимо: мол, пожалуйста, если тебе надо. Но и сам знает, что так отныне и будет. Ему зябко.

Тут звонит телефон. Витя берет трубку — кстати, аппарат здесь теперь самый новенький, модерн,— и лицо его изображает сначала изумление, потом недоверие, потом радость. Но вот он хмурится, делает Ване знак, чтобы вышел, да побыстрее. Ваня вразвалочку поворачивается, не торопится — зола! И успеваешь услышать:

— Все-таки получил свое! Правильно! Так тебе, Артамоша!..

Ваня почему-то уверен, что Просвирияк говорит со Щипковым, с которым он теперь сдружился,— не с Трусовым (через этого он уже переступил), не с Дмитрием Ивановичем (которого они со Щипковым, кажется, тоже стали подкапывать), а именно со Щипковым. И тот сообщает Вите им обоим понятную и приятную новость про Артамонова. Артамоша — не иначе как он. Им приятную, а для Артамонова, надо думать, плохую. Ай да Витя! Уже и судьба таких людей, как Артамонов, занимает его.

Больше услышать ничего не удастся. Ваня выходит в диспетчерскую и стоит некоторое время среди комнаты, ежась и думая: что делать, куда податься? Делать нечего и отлучаться не смей. Нет, это не пойдет. Зола. Пора рвать когти из нашей милой конторы. Так и учиться не дадут с новыми-то порядками.

Надо бы рассказать Шуре, потешить ее: мол, Витя требует теперь его на «вы» называть. Но у Шуры такое злое лицо — подступаться неохота.

Ваня садится под вешалку на нижнюю доску, на любимое свое место. Но теперь он сидит так, будто присел ботинок зашнуровать, и даже распускает шнурок, выставив ногу. За вешалкой висит беленький репродуктор. Ваня включает радио погромче, чтобы ему одному было слышно, и удачно попадает: на детскую передачу. Вот так и сидеть здесь теперь со шнурком, пока не прогонят. Глупо, да что поделаешь?

Но сидит он недолго. Не проходит и пяти минут, как из каморки вылетает Просвирияк. Галстук за борт пиджака заправляет, поклоны бьет, волнуется. И сразу к Шуре:

— Что же ты делаешь опять, а?.. Римма Павловна, вы в курсе?.. Почему Орлову не дали?.. Нет, хватит!

Все замирают на мгновение, ничего не понимают: кто это? на кого это? Шура разгибается и садится прямо на своем табурете удивленная. А Просвирияк — надо же! — почти перед ее носом трясет пальцем, бледный от собственной смелости, и повторяет:

— Да, хватит! Понимаешь, хватит!..

Шуре стыдно, краска выступает на ее щеки: дожила, Просвирияк кричит на нее. Ваня Зяблик тоже холодеет от неожиданности и не верит, что может такое быть: он и за Витю переживает, как тот отважился, и за Шуру, за ее почти позор. Он стоит у Вити за спиной, успев выключить радио.

— Минуточку,— вдруг говорит Шура насмешливо и нараспев: молодец, она, кажется, сумела собраться.— Полегче, полегче на поворотах!

Но и Просвирняк закусил удила: взяв первое препятствие, дальше пошел смелее.

— Хватит, говорю! И шуточек тоже! Бросать пора шуточки! Вы что, не знаете, кто такой Орлов? (Это ко всем обращение.) А на тебя если еще хоть одна жалоба!.. Если еще...

— Минуточку! — повторяет Шура. — Кто Орлов-то, мы знаем! — Она тоже разворачивается ко всем. — А вот кто ты такой, а? — Шура пытается засмеяться своим неестественным смехом, но и у нее не получается и другие не смеются. — Посмотрите на него, каков!..

— Хватит! — с новой, без крика силой повторяет Просвирняк, наступая на Шуру. Надбровья его багровеют, рука так и скребет по галстуку. Кажется, он сейчас затопает или даже даст Шуре по башке. Нет, сдерживается. — А ну!.. А ну зайди... Зайдите ко мне!

Шура смеется: хы, хы, гм!..

— Я говорю: зайдите!

— Куда, Виктор Прокофьевич? Извините, у меня каналы!

На ее стенде за это время действительно замигало пять-шесть новых огоньков-вызовов, и Шура, поправив наушники, нажимает ключ:

— Да-да, на линии, извините, беру!.. Два четырнадцать, возьмите сорок восьмой! «Днепросталь»! Соединяю!..

Она пожимает плечами, издеваясь: мол, рада бы, Виктор Прокофьевич, да дел много.

Но Витя взбеленился:

— Я сказал!.. Я вам!.. Так?.. Ну вот!.. Я отстраняю вас от работы! — выпаливает он, может быть, неожиданно и для себя самого. — Да!.. Отстраняю!.. Римма Павловна! Я отстраняю ее от работы!..

Римма Павловна, тоже в наушниках, ужав голову в толстые плечи, изо всех сил пищет, ничего не видит, ничего не слышит.

И тут Шура делает брезгливый жест рукой, будто отбрасывая от себя Витю: мол, ступай, дурак, надоел.

Кажется, Вите провалиться бы на месте, но нет, он вдруг изо всех сил бьет кулачищем по столу возле Шуры и ревет, уже не на шутку пугая всех:

— Отстраняю!

Ошеломление. Пауза. Шура испуганно отклоняется.

Просвирняк, сжав рот, крутанувшись на месте, выходит вон, еще ударив изо всей силы и дверью, — он идет не в каморку, а наружу, не иначе как к Дмитрию Ивановичу. Круто. Не к добру.

Все начинают лихорадочно работать. Стараются не глядеть на Шуру. После такого удара они чувствуют себя не телефонистками, не служащими конторы связи, а просто женщинами, беззащитными и хрупкими. А Зяблик превращается в тонкого мальчика, студентика с девичьим личиком. Всем стыдно друг друга, боязно.

Шура сидит потрясенная, волосы ее висят вдоль щек как неживые. Ухмылка плавает на ее губах, но обмануть никого не может: Шура тоже из героини местного значения превращается в бледную, некрасивую, нелепую женщину, которая, может быть, никому здесь и не нужна. Она снимает наушники и, опершись локтем о столик, зажимает лоб над глазами рукой.

Зяблик делает шаг к ней, шаг участия; Зоя Кармен, ее соседка по коммутатору, тоже протягивает руку, дотрагивается до Шуры: мол, плюнь. Шура не реагирует.

И в это время Римма Павловна, пыхтя в своих наушниках, басит:

— Так, еще новость. Слышите? Артамонова сняли.

Все понимают, что вторится сейчас там, в глубине конторы, в кабинете Дмитрия Ивановича. Обстановка накалена, всего можно ждать. Да и Шуру знают тоже: сейчас и она способна на все. Теперь телефонистки оборачиваются к Римме Павловне: неужели? вот так новость! Месяца два говорили, что снимают Петрова, а Артамонова прочат на его место, а тут нате вам, все наоборот. Даже не верится.

— Артамонова? — говорит за всех Зяблик. Вон, значит, о чем шла речь у Вити со Щипковым! Чему же они радовались? Неужели Петров для них лучше? С той встречи на совещании Артамонов стал для Вани чем-то вроде идеала. — Шура, ты слышишь? Артамонова.

Ваня еще желает и отвлечь Шуру этой новостью, вывести ее из ее состояния. И Шура понимающе усмехается, будто ей тоже что-то открылось насчет Артамонова, которого она не жалует.

В этот момент дверь открывается, в нее всовывается недовольная рожа Полины, ее перекрашенные, торчком в разные стороны редкие волосы.

— Латникова! — Голосом, не терпящим возражений: — К Дмитри Иванычу! Срочно!

И скрывается. Мол, это не обсуждается.

Все вновь глядят на Шуру (а работа между тем идет: наконечники стучат, и голоса разливаются, и вспыхивают и гаснут лампочки): что она? может, не ходить бы лучше?

Но Шура распрямляется, растет на своем табурете, разводит в стороны плечи.

— Ну ладно! — говорит она. — Так — так так!

Она сошвыривает с ног коты и нашаривает ногами туфли. Спрыгивает с табурета и твердо становится на каблуки. Вертит ногой, поправляя не вошедшую на место пятку.

— Ладно! Сейчас я им покажу!

Она еще снимает кацавейку и оббивает ладонью, поплевав, юбку.

— Я им все скажу! — Она кивает Зое, чтобы та взяла ее каналы на себя. — Надоели они со своим бл...!

Она встряхивает головой, поправляя распавшиеся волосы, и перекалывает заколку над ухом. Она собирается как в разведку, как солдат в бой или водолаз под воду, и все глядят на нее как на уходящего бойца.

— Брось, Шур, не заводись, — говорит вслух Зоя.

Но Шурино лицо, делаясь все озареннее и свободнее, отвечает: нет! хватит!

Другие гомонят тоже: «Шура, брось!.. Александра!.. Не выдумывай!..»

Но Шура крутит головой и улыбается почти с радостью: нет, милые мои, нет! И ясно, что ее уже не остановить.

10

Они встретились с Шурой случайно летом, у Курского вокзала. Был конец рабочего дня, начало седьмого, народ валом валит из метро, из автобусов, летняя толпа наполняла пригородные перроны — где тут кого увидишь! — а они вдруг встретились носом к носу, Шура в сереньком льняном платье, в авоське батон, а Зяблик в тенниске: сама рубашка голубая, а воротник и рукавчики белые. Под мышкой книжка, Тургенев.

— Ваня!..

— Шура!..

Загорелый и тоненький Зяблик глядел юно и весело, а Шура, когда прошло первое оживление встречи, показалась Ване усталой, лицо серое. За те несколько месяцев, что они не виделись, она, прямо сказать, не похорошела.

— Я в метро теперь работаю на связи, в подземке, чего ты хочешь, — объяснила она Зяблику, когда он справился насчет здоровья. — И в отпуске год не была. Да я никогда не беру, вспомни, я ж и без того вроде на даче... Слушай, поедем ко мне, хочешь? У нас сейчас клубника. Есть некому. Поехали, я тебя клубничкой накормлю.

Ваня прикинул: вечер был свободный, а у Шуры он никогда, между прочим, не бывал и не представлял себе, как она живет. Он ви-

дел: ей на самом деле охота, чтобы он поехал. Видно, скучновато живет. Да и интересно: вспомнить, разузнать обо всех, где кто. А если судить по-старому, то и почетно: сама Шура в гости зовет.

— А, поехали!..

Чудно немного ни с того ни с сего к ней ехать. Но ведь в юности только так и бывает: «Айда?» — «Айда!»

И они поехали.

Электричка была битком, сесть негде, в проходах тоже плотно стояли. Все багажные из металлических прутьев полки забиты, крюки у окон увешаны толстобокими сумками. Душно, еще солнце печет, вагон мотает. Их с Шурой разнесло толпой, между ними оказалось три человека, не поговорить. Они только поглядывали друг на друга, улыбались, уже вспоминая одно и то же. Какой-то толстячок в рубашке-сеточке, с чемоданчиком пер через вагон, всех расталкивая, протискивался — там пролезал, где, кажется, и нельзя. Тут Шура не выдержала, крикнула Ване:

— Как Просвирняк!

Ваня закивал в ответ, засмеялся. Пассажиры оглядели их, связав вместе, и опять отвернулись, трясясь в такт ходко бегущему поезду.

Потом они шли по дачному поселку, еще вблизи от железной дороги, но уже дачной длинной улицей, аллеей, под старыми тополями. Неужели Шура ходит здесь изо дня в день всю свою жизнь? Да, так она говорила.

За тополями вдоль аллеи стояли красивые дачи за разномастными заборами, но Шура вела Ваню все дальше и дальше. Потом дачи кончились, начался небольшой поселок. Тут расположились барачного типа двухэтажные дома, очень старые, густо заселенные, но не безобразные и грязные, какими бывают обычно такие дома, а, наоборот, симпатичные: за долгие годы они обросли палисадниками, огородами, деревьями. Пристроенные терраски заплело диким виноградом и вьюном. За домами тянулись клубничные грядки, действительно красные от ягод, зеленели огороды. За огородами стоял чистый березовый лес.

Шурина квартира, две комнатки и терраса, находилась на втором этаже, туда надо было подниматься по деревянной крутой лестнице. Она громко скрипела, на нее падало солнце, и чистые ступени желто светились. В комнатках тоже сияла чистота, стояла металлическая кровать с блестящими шарами и голубыми бантами. На старом буфете блесст самовар, на выцветших обоях висели выцветшие фотографические портреты в деревянных рамочках. Вот уж непохоже на Шуру Шура живет!

Появились старички, Шурины дед и бабка (оказывается, она с ними всю жизнь прожила, без родителей), тоже чистенькие и приятные, белоголовые, совсем старые. На Шуру глядели с обожанием, на Ваню с лаской. Опять же совсем непохожие на Шуру люди.

Здесь террасу тоже заплело вьюном так густо, что открывалось лишь одно окно; Ваня сел на подоконник, глядел на недалекий красивый лес. Шура переодевалась, торопясь засветло накормить Ваню клубничкой прямо с грядки. А еще раньше пообедать. Переоделась она в кофточку с рукавами и в старую, знакомую Ване защитную юбку.

От этой юбки и пошли они опять вспоминать контору — уже говорили о ней, пока шли от станции, и, собирая клубнику, тоже говорили. Вокруг в бараках на неогороженном пространстве дворов, на грядках, на огородах набиралось все больше после работы людей, дети гомонили со всех сторон, в сараюшки хозяйки загоняли кур и гусей, с детьми бегали собаки, выгибались на карнизах кошки — все кипело и жило кругом. Народ с интересом поглядывал на незнакомого Ваню, здоровался с Шурой, и Ваня заметил, что Шура понемногу словно бы утихает и лицо ее разглаживается от усталости.

Шура хоть и ушла давно, а конторские новости знала. А Зяблик совсем не знал: мать его перевелась из министерской столовой в другую, заходить туда стало не к кому. Сам он уволился еще в марте. Шура рассказывала, что в конторе почти все по-старому, только Зоя перевелась на другую работу да Капитанша вышла наконец замуж за своего капитана и уехала с ним на Дальний Восток. Просвирняк так и укрепился на междугородке, даже в местком теперь, а Пошенкин исчез. Дмитрий Иванович еще на месте, но упорно говорят, что его скоро сменит Щипков.

— Да ну их! — Шура махнула в конце концов рукой. — Противно.

Они прошли березовым лесом до самого шоссе и по нему уже почти в темноте возвращались обратно. Ваня хотел сразу идти на станцию, но Шура не отпускала его, и Зяблик, как всегда, поддался чужому уговору.

Пришлось ему оставаться ночевать. Спал он на террасе на жестком топчане, который, как Ваня понял, был Шуриной постелью. Он заснул быстро, потом проснулся — то ли от шорохов природы, то ли от непривычной деревенской тишины. И подумал: зачем Шура его звала, почему? Неужели так и живет с этими божьими одуванчиками и больше нет у нее никого? Ваня прислушивался, ему казалось — кто-то ходит. Но нет, все спали, только на первом этаже заорал было грудной ребенок, которому тут же заткнули рот соской. Ваня невольно вспоминал опять контору, Митрофаньча, весь их важный дом, похожий на корабль. Шура не ужилась там, а Просвирняк ужился. Вот черт, он забыл спросить, а что же с Артамоновым. Что с ним-то стало? Не забыть бы утром. А с другой стороны, какое Ване дело до Артамонова, до всего этого? Он работал теперь в одном большом научном институте, тоже на АТС, и уже закидывал удочки, чтобы остаться потом, после института, там инженером. Бог с ним, с прошлым, с прозвищем Зяблик, даже с Шурой. Все это минуло, не вернется. Зола.

С тем Зяблик и уснул.

А утром поднялись рано — и Ване и Шуре надо было на работу. Раннее солнце уже пылало, ветра не было, густые плети вьюна лежали плотно, и утренним лучам никак было не пробиться сквозь них.

Шура вышла легкая и свежая, во вчерашнем платье, но, видимо, выстиранном и выглаженном. Она весело подгоняла Ваню, приносила ему пахнущее воздухом полотенце. Опять появились и тихо двигались ласковые белые старики с добрыми утренними улыбками. В рабочем доме тоже все вставали, ходили, делали зарядку, гремело радио, а вдали уже неслись, шумели электрички.

Опять сидели за столом, пили, уже торопясь, чай, и не из самовара, а из чайника. Пчелы одна за другой влетали с деловым жужжаньем в солнечное окно и садились на край чашки со свежим клубничным вареньем. Они изо всех сил трудились, снуга лапками, хоботками, крылышками, тычась в варенье, и на глазах набухали, ухватив даровой взятки. Потом поднимались тяжело, как чересчур нагруженные самолеты, и неспешно вылетали назад в окно. Никто их не гнал, не боялся, не бегал с полотенцем, махая на все стороны. Старик еще взял ложку и помазал края побольше, чтобы пчелам было легче пить, чтобы не лезли в гушину и не топили. Лицо у деда и для пчел было ласковое.

Зяблик побаивался пчел, но держался, как все. Разок только вдруг поперхнулся, когда пчела задела его прямо по носу. И все трое с одинаковыми лицами, Шура и старики, глядели на него: что с ним? Готовы были тут же помочь.

Потом вдали сказали по радио точное время, Ваня с Шурой подхватились, побежали на станцию, уехали, распрощались на той же «Курской»: «Заходи, звони!» — и больше не встретились никогда.

ИЗ СТИХОВ ЭРВЕ БАЗЕНА

Перевод с французского М. Кудинова

Имя Эрве Базена, крупнейшего прозаика современной Франции, президента Гонкуровской Академии и лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», хорошо известно в нашей стране: его романы и повести широко издавались у нас и пользуются заслуженным признанием у советского читателя. Но Эрве Базен не только романист — он автор трех стихотворных сборников, в которых слышится голос сильного и оригинального поэта.

В публикуемой ниже подборке представлены его стихи, ранее не переводившиеся на русский язык.

ДЕРЕВЕНСКАЯ СВАДЬБА

Зады и спины зевак,
Носы крючковторства,
Мальчишек проворство,
Притворство завистников,
Радость собак,—
И свадьба судачит
(А как же иначе?),
Судачит и этак и так.

Все это стадо христово
Снова и снова
Ведет пересуды о том,
Что только невеста,
Как всем здесь известно,
Владеет добром,
Но одним пустяком
Увы, не владеет, и если уж
честно:
С любимым проходимцем якшалась
тайком.

А вот и сама молодая,
Скрывая
Разбухшую плоть под белым
нарядом
И бодро шагая
С отцом своим рядом,
Идет с невиннейшим взглядом
Навстречу новым уладам.

Выставив грудь вперед,
За нею жених-простофиля идет,
Которого в церковь ведет
Мамаша его, что на тощее тело
Платье мышинного цвета надела
И очень довольна...
Морщинистый рот

Кривится улыбкою хитрой:
ведь вот
Как славно сладилось дело!

Идет, тяжело ступая,
Почтенный зажиточный люд,
Чья грубость и ругань тупая
Хлебов нарушают уют,
Где, в жидкой грязи утопая
И верный доход предвещая,
Коровы сено жуют.

Идут детишки (без шума и драк),
И дядя Арсен, и дядюшка Жак,
И тетка в юбке, что зло косится
На тетку в штанах, и солдат-
весельчак,
Который в толк не возьмет никак,
Когда наконец он сможет
напиться;

Идут вереницей в нарядах
девицы —
В зеленых, розовых, красных,
как мак,
И следом за ними мужской
молодняк,
Не склонный вздыхать и
томиться.

Процессия эта шагает
Под крики «ура» и мычанье
коров,
Среди навоза, тележек, стогов,
К церквушке, чей шпиль осеняет
Три сотни окрашенных в известь
домов.

МОГИЛЬНЫЕ КАМНИ

За кладбищенскою оградой
Ветер памяти слаб и тих.
Для покойников много ли надо?
Только камень, доставшийся им от живых.

Здесь, когда не хоронят, безлюдье:
Никого, кроме трех-четырех стариков,
Забывающих о простуде
Ради старых надгробий, лишенных цветов и венков.

Потому что давно,
Уже очень давно
Похоронены те, кто лежит в этом месте забытом.
Где родились? Как смерть повстречали? Что было дано
Испытать им при жизни? И не все ли равно
Тем, кто спит под базальтом, под мрамором и под гранитом?

Нет у них ни забот, ни хлопот,
На груди они праздные руки скрестили...
Это древний закон: что живет и цветет,
Отвергает отцветших деревьев бессилье.

Пусть же стрекот кузнечиков,
Звяканье лейки с водой,
Скрип тележки,
Цветок на забытом надгробье
Мертвым честь воздают,
Ибо тот, кто сегодня живой,—
Их наследник,
А в будущем их же подобье.

Пусть, живя на земле,
Он умершим верность хранит
До того, как душа его,
Слившись навек с небесами,
Вместе с птицами в синий простор не взлетит,
Не прольется вместе с дождем
На базальт, на мрамор, гранит,
Омывая могильные камни слезами.

ПРИЗРАЧНЫЙ ПОЕЗД

Выдыхая свой лейтмотив
В ритме пульса моей тревоги,
Мчит неистовый локомотив
По трансбесконечной дороге.

Это наш, это мой, это твой
Поезд дымный, грохочущий, шальный
И смиряющий гнев свой порой
Там, где ждут его радости шпалы.
Все спелось в единый клубок —
Пар, железо, плоть человека
И неведом отмеренный срок,
Неизвестны грядущие встречи.

Эй, послушайте, контролер:
Здесь я сажу глотаю тоже!
Он в глаза мне глядит в упор,
Как близнец, на меня похожий.
Говорит он: «Наш паровоз
Движим топливом мысли и
бденья;
Надо все, что с собою принес,
Бросить в топку без сожаленья.
А потом со вчерашним днем
Послезавтрашний день сольется,
И ты встретишь в вагоне своем
То, что нами смертью зовется.

ВЛАДИМИР ДЮКОВ

★

ЧИТАЛА ЖЕНЩИНА СТИХИ

Читала женщина стихи...
А море билось и металось,
Все заглушить ее старалось...
Читала женщина стихи.
Горстями крошечных жемчужин
Она слова бросала вниз,
И понял шторм, что он не нужен,
Покорно волны улеглись.
Читала женщина стихи...
Она их морю подарила,
И в них была такая сила.
Читала женщина стихи,
А где-то рядом темный камень
Лизала сонная волна,
И, подперевшись локотками,
Стихи те слушала луна.
И только им она внимала,
Утратив светлый разум свой,
И в удивлении качала
Большую лунной головой,
Ну как ей было не забытья,
Ну как ей было не разбитья,
Той зачарованной луне?
И до утра ее частицы
Строками плыли по волне.
Итак, стихии вопреки
Читала женщина стихи.

ВИТАУТАС БУБНИС

★

ЧАС СУДЬБЫ*

Роман

Глава четвертая

— **Д**ети, домой! Не полдничать мать зовет, понял Каролис и, воткнув вилы рядом с недометанной копной сена, смахнул рукавом со лба пот да шершавые листочки травы.

— Саулюс! — повернулся к речке, но на берегу было пусто, и он перепугался не на шутку. — Саулюкас!..

Пробежался по берегу, беспокойно озираясь, позвал опять.

— Я тут! — раздалось откуда-то сверху.

Каролис, успокоившись, не мог разглядеть братика. Хрустнувшая ветка ольхи выдала его.

— Вот попробуй упади, разбейся... Живо на землю!

Ребенок раскачивался на вершине ольхи.

— Знаешь, Каролис... Отсюда все по-другому, когда смотришь.

— Мама зовет.

— Каролис, почему в речке вода голубая? А когда в нее заходишь, совсем не голубая?

— Да слезай ты на землю...

— Ты когда-нибудь сидел на верхушке дерева?

— Сидел... Да поживей, мама домой зовет.

— Каролис, а почему лес такой?.. Лучше ты ко мне заберись, сам посмотришь.

— Саулюс, ей-богу, я тебе всыплю. И мама добавит, если не послушаешься.

Ребенок медленно спускался с дерева, очень уж ему не хотелось оставлять мир, который внезапно засверкал перед глазами новыми красками. Шлепнувшись на берег Швянтупе, огляделся и пожаловался:

— Тут совсем не так!

Каролис схватил руку ребенка, крепко сжал в потной ладони. Глубоко оскорбленный Саулюс семенил за ним, то и дело оборачиваясь.

— Я знаю, Каролис, ты точно никогда не был на дереве!

Эти слова пятилетнего Саулюса не заставили Каролиса замедлить шаг. Нет, не полдничать мама зовет, снова подумал он. Ворота были открыты настезь, но пес во дворе не лаял. Спокойствие июньского вечера окутало и дружно зазеленевшее поле яровых. Где может быть Людвикас, мелькнула мысль, и что придется сказать матери, если спросит. Тот буркнул ему, швырнув грабли: «Я в деревню побежал». «Еще рано, Людвикас». — «Ты думаешь, только вечером девчонки

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

ждут?» — «Послушай, Людвис, ты бы лучше...» — «Деревенские девчонки ласковые. И не говори, что сам этого не знаешь». — «Все-таки, Людвис...» Каролису как старшему брату хотелось удержать Людвикаса, ведь не пристало образованному связываться с деревенскими девчонками; что люди подумают, что мать? Людвикас не первый раз вот так куда-то убегает, и все с шуточками да прибауточками.

— Людвикас где?

— Мне руку больно, — жалуется Саулюс. — Я все просил и просил, чтоб не сжимал так, а он не слышит.

Но и мать не слышит Саулюса, она ждет ответа Каролиса, смотрит на него в упор, пытаясь угадать, не стоворились ли братья.

— Скоро должен вернуться. Приятель на каникулы приехал.

— Работу бросил и ушел болтать с приятелем?

— Мы уже догребаем.

— А кто на гумно свезет?

Каролис только теперь видит возле гумна запряженных в телегу лошадей. Лошади неразнузданные, щиплют лужайку двора, позванивают удилами. Утром отец отгравился на них на базар. Но где же сам отец?

Поймав взгляд Каролиса, мать говорит:

— Подойди поближе и полюбуйся.

Она идет первой, Каролис за ней.

— Вот, — говорит мать, презрительно кивнув на возок.

На охапке увядшего клевера (утром Каролис накосил целую охапку росистых стеблей и бросил в возок) лежит отец — Казимерас Йотаута. Деревянная нога упирается в доску днища, ладони аккуратно подложены под щеку, лицо прикрыто шапкой от назойливых мух. Спит безмятежно, даже похрапывает.

— Стыд и срам! — говорит мать, но Каролису беззаботный сон отца кажется прекрасным, и он улыбается.

— Срам! — Голос матери суров, и Каролис понимает: надо будить.

Он трогает отца за плечо. Казимерас Йотаута ворчит во сне, потом продирает один глаз, опять зажмуривается, затем приподнимает простоволосую седую голову, тускло смотрит на жену Матильду и на сына Каролиса, смотрит на себя, на свою деревянную ногу и наконец, все поняв, угрюмо садится.

— А мне-то снилось, что танцую... музыка играет. И ноги обе целехоньки...

Слова отца звучат издевкой, и мать зло обрывает их:

— Такого позора этот дом еще не видал! Хорошо, что папаша Габрелюс не видит.

Она напоминает про папашу Габрелюса, который девять лет назад ушел из дому и как в воду канул. Поначалу мать нередко о нем заговаривала, обвиняя себя и Казимераса в том, что позволили уйти, не удержали. И тайком вздыхала: добрался ли свекор до своих краев, кого нашел там да как его родня встретила, почему от него весточки нету... «Съездил бы ты, Казимерас, — обмолвилась как-то, — проведаль бы — всю Европу исколесил, а сколько Литвы-то, хотя где эта Вардува, один бог знает, но люди скажут да покажут». Придется уж как-нибудь, пообещал тот. Но прошел год, другой, родился Саулюс... И с того часа в доме никто вслух не произнес имя Габрелюса. Поэтому сейчас это напоминание пронзает всех, даже мать пугается своих слов и замолкает. Но горечь все равно раздирает грудь.

— Жалко, Людвикаса нету. Я хотела и Каролису и Людвикасу показать, что с человеком водка делает. На седьмом десятке едет через всю деревню на телеге, будто связанный теленок. Лошади сами домой везут. Как бобыля или батрака — пьяного!

Отец находит шапку, стряхнув соломинки, надевает ее и перебрашивает через грядку сперва здоровую ногу, а потом смешно выставляет вверх деревяшку.

— Чтоб ты знала... Да ты, мать, ничегошеньки не знаешь... — Отец сердито бормочет, напрягается, опираясь руками, но задница тяжела, не поднять ее на грядку, а сын Каролис чего-то медлит, смотрит будто на цирк за пятьдесят центов — нравится ему, смешно. — Ты бы послушала, мать, о чем хозяева на базаре толкуют, когда приходится задарма пшеницу отдавать да бекон. Ах, мать, тебе-то что, а нам жизнь петлю на шею надевает.

— Помоги ему слезть, — говорит мать Каролису.

— Не надо! — оскорбленно отвечает отец, изо всех сил отталкивается, сползает с грядки, но не удерживается на ногах и шлепается на лужайку. Каролис бросается поднимать его, но отец отталкивает руку, садится, вытянув ноги, и мотает головой.

— Я самую малость выпил. Нету жизни, петля вот-вот затянется — и каюк. Не придется и на ветке висеть, в кровати тебя придушат.

Мать поворачивается к избе, поджимает губы; они белеют, вваливаются, остается лишь глубокая морщина — живая и суровая.

— Кончай, — наконец говорит она изменившимся голосом. — Хватит народ смешить. Что люди говорить станут? Казимерас Йотаута пьяный! Может, уже в самом Пренае повалился на телегу. Или кто-нибудь притащил, бросил, будто мешок с мякиной, на телегу да хлестнул лошадей?

— Мать, ах чтоб ты...

— Говорю, кончай! Тебя заботит весь приход, заботит твоя страшная Европа. А меня заботит дом и доброе имя моей семьи. И с этого дня — слышишь? — все здесь будет так, как я захочу и как я скажу. Ты не думай, что я тебе пьяному все это говорю, завтра повторю слово в слово. И по-другому, запомни, не будет. Каролис, веди отца в избу и уложи.

Вроде ни в чем не изменилась жизнь. Была страда — все вставали с солнцем, ложились в потемках, работали, не разгибая спины, лишь за столом присаживались. Отец понуро работал. Остановится, потрет кулаком лоб, махнет рукой и опять машет косой или бредет за лошадьми. Видно, так близко принял к сердцу слова матери, что даже в поле и со скотиной и сыновьями говорил вполголоса да с оглядкой. А когда Каролис однажды спросил, будут ли приглашать и этой осенью паровую молотилку для ржи, отец плечами пожал: как мать скажет. Жалко было отца, сникшего и униженного, вдруг постаревшего, а совсем уже оторопь взяла Каролиса, когда в один прекрасный вечер увидел его над Швянтупе на холмике, там, где отец когда-то похоронил «ногу», принесенную с фронта. Неизвестно, о чем думал отец, отчего сутулился; сидел в одиночестве долго — опустилось солнце, над лугами поднялся туман. Каролис подозвал мать к воротам и показал:

— Отец там.

— Каждому свой крест, — сказала та и, повернувшись, ушла.

Мать хлопотала возле дома, потому что работам и впрямь не было конца. Огороды полоть, каждый день накосить да посеять целые охапки ботвы, накормить свиней, кур, гусей, подоить коров и процедить молоко, вовремя приготовить еду для мужчин, которые с поля возвращаются голоднее зверя. А когда чужого человека приходится нанимать, еще живее поворачивайся. На рожь мать не пошла. Пробежалась по деревне, в одну, потом в другую лачугу заглянула — и утром пришли три женщины. Косы отбиты с вечера, висят за амбаром. Поскорее за стол да поскорее в поле. Мать пообещала женщинам подороже платить за день и завтраком покормить (стоит ли скупиться, когда рожь уродилась на славу), чтоб только побыстрее уложить ее под крышу, чтоб только дожди не заладили да не сбили колосья.

— За такие деньги и я бы пошел поденничать, — недовольно ворчал отец. — Где это видано — за день полмешка ржи. Да еще в год-то кризиса!

— День дню не ровня. Все зависит от косарей, должен бы знать,— по-хозяйски наставляла мать.

Мужчины махали косами, сгибаясь. Два-три шага — сноп да сноп. Только Людвикас частил, прямой, будто палку проглотил, семенил маленькими шажками, казалось, вышел прогуляться по краю поля. Отец злился, но не говорил ни слова, потом стал оправдывать его — ведь непривычный к крестьянским работам, и то благо, что помогает, образованные редко встают в один ряд с простыми на косьбе.

Когда после ужина наемные женщины ушли (мать им еще дала по сушеному сыру), а отец устало присел на крыльцо, рядом устроился и Людвикас.

— Сегодня будем отбивать косы? — спросил.

— Рук не подниму.

С ржаного поля не веял ветерок, но двор так и дышал запахом свежего хлеба, пьянящим и усыпляющим. В траве стрекотали кузнечики, прямо перед носом зудели комары. На крыше гумна застучал клювом аист, прощаясь с длинным летним днем.

Из хлева вышла мать, закрыла двустворчатую дверь, в железные скобы продела тяжелый замок. Сухо лязгнуло железо. У конуры заскулил пес, лошади застучали копытами о загородку. И двор, и постройки, и поля утопали во тьме.

— Амбар заперт? — спросила мать, накрывая крышкой колодец.

— Я запер,— отозвался отец.

— Закрой ворота и пошли спать.

Людвикас, прислонившись плечом к столбику крыльца, глядел на эти поздние будни так, словно ничего не видел и не слышал. Даже шаги и голос матери казались далекими, приплывшими с другого конца деревни.

— Нелегко тебе, понимаю,— наконец заговорил отец, не поворачивая головы.— Но хозяйству твоя помощь очень нужна.

— Ты думаешь, отец, что главная тяжесть — косою махать или вилами навоз поддевать? — Спина Людвикаса оторвалась от столбика, он пересел поближе, так близко, что почувствовал тепло и пот отцовского тела.— Работа у человека всегда будет. Даже когда достаточно будет машин, чтобы косить, молотить да сеять... Главная тяжесть — это не пот. И не растянутые мышцы.

— Много работать и не сводить концы с концами — это ты хочешь сказать, знаю.

— Уже ближе к истине.

— Это и вся истина, сын! Ты же сам видишь, как мы живем. Как работаем и что имеем. Думаешь, мне легко или матери? А Каролис сызмальства в этом ярме. Двадцать пять лет ему стукнуло, а светлого дня не видел. Будто ломовая лошадь. Что мои родители нажили, то имеем. Ну, избу новую да гумно попросторнее построили, пять гектаров земли прикупили. А для чего все это? Для нашей же старости да для вас, детей. Вот какие карты я раскрыл.

— А ты хотел, отец, чтобы у тебя был туз? Чтобы мог других бить?

— Не шути. Помнишь ведь, как тебя учиться пускали. Знаю: мало я тебе помогал. И не по скупости. Спасибо директору гимназии ксендзу Мартикусу, он тебя поддержал, делал послабления.

Людвикас обеими руками провел по волосам, сплел пальцы на затылке и запрокинул лицо к темному небу; не в редкие звезды глядел и вслушивался не в ночную тишину.

— Зря думаешь, отец, что я должен благодарить ксендза Мартикуса.

— Я тогда не заплатил за учебу, а он мог тебя исключить из гимназии.

— Исключил он не одного. А я был счастливчиком. Стиснув зубы, я весной и осенью работал в его питомнике. Он научил меня при-

вивать деревья, обрезать ветки. Ты кончишь две мои школы, поговаривал он, не пожалеешь, что научился этому. Работа в саду, говорил он, оберегает человека от дурных помыслов; от безделья ты сейчас бы неизвестно что думал, может даже греховные книги читал; под сенью деревьев человек свят. Иисус Христос молился в оливковом саду... Он говорил так, что иногда хотелось схватить его руку, поцеловать и поблагодарить за то, что позволяет работать в своем питомнике. Потом я увидел, как он продает эти деревца — по пять, семь или десять литов за саженец. Позвякивают литы в кармане его засаленной сутаны, а он говорит людям о благословенном божьем садочке, потому что каждый саженец из его рук — как из рук господних. И ты купил, отец, купил и посадил.

— Две яблоньки-дички, а груши по сей день не плодоносят,— говорит отец и спохватывается: — Когда такое множество саженцев, каждый может ошибиться.

— Святая ошибка.

— Не издевайся, сын, и не суди. В жизни столько боли и кривды, что не знаешь, кого винить да осуждать.

— Было время, когда ты думал по-другому.

— Ты о чем?

— Не мне напоминать. Сам ведь рассказывал, как вы шли против царя.

— О, тогда! — оживился отец, откинулся, глубоко вдохнул чистый воздух.— Подвернулся бы под руку какой-нибудь жандарм, зашиб бы вальком насмерть — так кровь кипела.

Людвикас молчит. Он не прерывает отца. Пускай вспоминает былое: и сельского учителя, которого увезли жандармы, и своего старшего брата Миколаса, которого жандармы застрелили, и своего отца Габрелюса, которого жандармы истязали...

— Ты-то не знаешь, как страшен царский гнет.

— Не только царский дым глаза ест. На базаре за мешок пшеницы что тебе сегодня дают? Беконных свиней ты привез сдавать — не приняли, выбраковали. Почему? А за спичечный коробок сколько с тебя город сдирает? Почему же оно так, отец? Чужаков-то нету, свои у власти.

Отец сжимает руки, лежащие на коленях. Труден для него этот вопрос, не умеет он ответить. Об этом и сам не раз уже думал. Почему все так? Газеты пишут — год кризиса, во всем мире свирепствует кризис, и люди страдают, особенно крестьяне, потому что никому не нужны зерно и мясо.

— Во всей Европе крестьяне стонут,— наконец отвечает он.

— В России земля и фабрики принадлежат народу,— говорит Людвикас негромко и торопливо, как будто горячий ветерок проносится над самым ухом отца.

— Что ты сказал? — Отец съезживается, сидит, ошарашенный этими словами.— Повтори, сынок, что ты сказал,— просит отец.

Людвикас встает с крыльца — невысокий, щуплый, в белой полотняной сорочке, его голова опущена.

— Мне слышалось...

— Наверно, слышалось, отец.

Встает и отец — с трудом, уцепившись рукой за угол амбара. Скрипит его деревяшка, из груди вырывается вздох.

— Пойдем лучше спать. Сколько летней ночи-то.

Стоят рядом, почти касаясь плечами, смотрят в разные стороны, словно собираясь еще что-то сказать и не решаясь. Наконец отец первым шаркает деревяшкой.

Когда дверь избы закрывается, Людвикас подходит к воротам, вспоминает, что мать велела их закрыть, облакачивается на острые штакетины и устремляет взгляд в ночь, дышащую грозной и смутной тишиной.

С каждым днем поля все больше обнажались. У многих изб Лепалотаса словно горы выросли стога яровых. Молотилка Лаукайтиса, не дожидаясь морозов, вступила в дело — тарахтел движок, сменивший паровой котел, — заглатывая ржаные снопы и осыпая работающих пылью и соломой. Людвикас без приглашения ходил ко всем на толоку. Отец сердился — будто дома работы не хватает. Идут последние дни августа, скоро опять уедет в свою школу. Хоть бы устроился где-нибудь поближе, мог бы приезжать по субботам, а теперь до каникул не жди. А как нужна его помощь!

Отец и Каролис свозили овес и метали под липами стог. Конечно, немало соломы и зерна пропадет — дождь и полевки помогут, — но что делать, если гумно набито битком; когда прирезали эти пять гектаров, тесно стало и на гумне и в хлеву; мать первой сказала, что пора заняться постройками — к гумну прирубить сеновал, а к хлеву пристроить свинарник. Мать теперь всем распоряжается, властно приказывает, что да как делать, и отец не обижается на нее.

После обеда на телеге-сноповозке поехали в поле. Напросился и Саулюс. Отец не хотел брать мальчонку, чтобы не путался под ногами да не ушибся ненароком, но Каролис переубедил: пускай наберет малины в кустах и вернется. Телега тарахтит по проселку, отец с вожжами в руке сидит на одной грядке, Каролис на другой, а Саулюс подскакивает на днище, обеими ручонками уцепившись за дребезжащие досочки. Пухлые щечки ребенка колышутся, будто студень, зубы отбивают дробь, но он счастлив — хорошо ехать, хороший брат, что взял.

Когда телега, прогромыхав по мостику через Швянтупе и мягко прокатившись по лугу, сворачивает на жнивье, отец придерживает лошадей, Каролис берет Саулюса под мышки, переносит через грядку и опускает наземь.

— Еще ногу на жнивье уколешь, хватит, — говорит Каролис. — Вон там, за ольхами, я видал, малина краснеет.

Отец подхлестывает лошадей, лязгают оси телеги. Саулюс стоит на лужке, смотрит на удаляющегося доброго брата.

— Каролис, я тут подожду, ты меня заберешь, когда поедешь домой! — кричит Саулюс.

Каролис не оборачивается; выскакивает из катящейся телеги с вилами в руках, поддевает желтый суслон овса, подбрасывает легко, играючи.

Начали грузить второй ряд снопов, когда отец с телеги увидел троих мужчин. Они бежали по берегу реки пригнувшись, без пиджаков, в клетчатых фуражках. Каролис, бросив взгляд на отца, повернулся к ним и оперся на вилы.

— Кто бы это мог быть? — тревожно сказал отец.

Мужчины заметили их, собрались в кучу. Самый маленький, крижистый замахал руками и первым зашагал через скошенное поле овса. За ним последовали остальные.

— Чего стоишь, Каролис, подавай.

Каролис не мог выдрать вилы, вонзившиеся в землю; уже видны потные лица, низенький явно знаком ему.

— Каролис...

Каролис смел в кучу рассыпавшиеся стебли, вонзил в ворох вилы, но не поднял его — руки подсек и впрямь знакомый голос:

— Овес возите, а что на свете творится — вам наплевать!

Это батрак Винклера, вспомнил Каролис, немца Винклера из соседней деревни Гинюнай. На вечеринках тот отбивал каблуками, приседал и так крутил толстомясую девку, что юбка у той поднималась до пупа. А выйдя во двор, лез к Каролису: чего, мол, в чужую деревню заявился наших девок отбивать? Мигом соплями умоешься! Каролис совал руку в карман штанов, где на всякий случай был припрятан шкворень — ученый был, — но с батраком не связывался, на

оскорбления не отвечал, и тот отходил. Он самый! — признал его Каролис и крепко сжал обеими руками черенок вила.

Батрак Винклера подошел к лошадям, похлопал кобылу по загривку. Неподдалеку остановились и двое других: один — пожилой, усталый, изможденный человечек в штанах, подвязанных веревочкой, и другой — детина с багровой шеей, по-бычьи понуривший голову.

— Так вы ничего не знаете? — спросил батрак Винклера.

— А что мы должны знать? — переспросил отец.

Батрак Винклера рассмеялся, поправил клетчатую фуражку, посмотрел на своих дружков, стоящих рядом, но те молчали.

— Ничего не знают, а! А если красный петух на крышу гумна взлетит, что тогда? — блеснули крепкие зубы батрака. — Может, и малая беда — зерно-то подешевело, а? — И сурово приказал: — Слезай-ка на землю, старик!

Казимерас Йотаута огляделся, ничего не понимая, подумал — если что, дешево не возьмут: сползу наземь и мигом отцеплю валец.

— В чем дело, спрашиваю? — сердился отец.

Каролис понял, что надумал отец, и, словно предупреждая непрошенных гостей, поднял вилы. Видно, и те смекнули, что не к добру идет разговор. Пожилой человечек шагнул вперед, раскинул руки и опять опустил.

— Не узнаешь меня, Йотаута? Солому я у тебя весной брал. Хорошую дал и за спасибо.

— Мало ли погорельцев за соломой приезжает... Вроде и видел тебя...

— Некогда болтовню разводить! — огрызнулся батрак Винклера. — Все на шоссе подались, слышите? Все хозяева. Пробил час, чтоб свети счеты с полицией.

— Точно, Йотаута, — подхватил пожилой, подтягивая до того рваные штаны, что только заплатка на заплатке да в заплатке дыра. — Нельзя больше терпеть. Там мужики, может, уже сшиблись.

Руки Каролиса опустились.

Казимерас Йотаута соскользнул с телеги.

— Могли бы сразу по-человечески, а то накинулись, будто...

— Кидай овес из телеги! — приказал батрак Винклера.

— Точно, Йотаута, мог бы нас подвезти. Ведь помнишь меня. Из Даржининкая я, Гельтис, — разводил руками пожилой.

Воспоминание о деревне Даржининкай до боли задевает Казимераса Йотауту, но он не подает виду и не спрашивает, как там Густас. Казимерасу ведь наплевать на Густаса. Старый Густас, брат Моники Балнаносене, давным-давно в земле; его сын там, к Казимерасу в пивнушке как-то приставал... Да пропади он пропадом, лучше не думать про него. И все-таки весной, когда Гельтис сказал, что он погорелец из Даржининкая, Казимерас обмолвился: «Не там ли хутор такого Густаса?» «Говорить неохота...» — Гельтис сжал губы, вспыхнувшие злостью глаза опустил в землю. «Сосед?» «В его кармане сажу». «Моя фамилия Йотаута, — назвал Казимерас, глядя на горемыку, как бы намекая: вернувшись, расскажи, у кого был. — Мне соломы для человека не жалко».

— Это наше общее дело, Йотаута! — заговорил детина с бычьей шеей. — Если не поддержим, неизвестно, чем все кончится.

Йотаута посмотрел на Каролиса, на потных мужиков, окинул взглядом дышащие осенью поля и изменившимся, даже помолодевшим голосом сказал:

— Выкидываем овес!

— Выкидываем! — Каролис вонзил вилы в овес, нагруженный уже повыше грядок. — Винклер тоже там? — спросил через плечо батрака; его не так заботило, где Винклер, сколько хотел показать, что узнал.

— Его сын там.

— Ого! — удивился Каролис.

Сноповозка мигом опустела, и мужчины прыгнули на нее через грядки. Вожжи взял Каролис.

— Мать не предупредили, — вспомнил отец, испугался, но за тархтенъем колес вряд ли кто услышал его слова.

Каролис подгонял лошадей, хлестал кнутом. На краю луга торчал Саулюс. Побежал за ними, наверно просился на телегу, но кусты по берегу Швянтупе вскоре скрыли его из виду.

— Прямо жми, прямо на шоссе, — ерзал батрак Винклера, достал из-за пазухи пистолет, повертел в руках, опять спрятал.

«Вот гад, — выругался мысленно Йотаута, сидящий на охапке несбмолоченного овса. — Неужто и у тех двоих есть? А может, этот только попугать хочет? Разбойничает по ночам, что ему. И смеет же показывать».

Йотауте батрак не понравился. Ехали бы они с базара, сразу сказал бы: «Полезай с телеги!» И пистолета бы не побоялся. А теперь вот сиди с ним рядышком, плечо к плечу, потому что одна у них дорога. Как на фронте когда-то. Хотя не совсем так, тогда Казимерас не знал, за что идет, почему стреляет в германца или австрияка. Они-то перед ним ничем не провинились. А сегодня Йотауте не пришлось долго объяснять ни с кем он, ни против кого. С крестьянами — и все! — против этого чудища семиглавого, против кризиса, который высидел город. Вот оно как! Наверное, так думает и его сын Каролис. И эти мужики, с которыми вместе трясется на телеге.

Телега свернула на проселок, бегущий через Жидгире. Обвисшие ветки орешника задевали за плечи, мужчины втянули головы в плечи, чтобы не выкололо глаза.

— Не хлещи так, лошадей загонишь, — сказал отец Каролису.

— Уже видно! У клена, в ложбинке... — заговорил батрак Винклера.

Он соскочил с телеги и побежал, потому что колеса вязли в топком лугу и лошади еле тащили. Выскочили и остальные двое.

— Ты не сердись, Йотаута, что помешали, — извинился Гельтис из Даржининкая. — Я не ахти какой хозяин — пять гектаров, а детей-то семеро. Если все дружно потребуем, чтоб было лучше, как думаешь — будет?

И, не дождавшись ответа Йотауты, зашлепал босиком, придерживая спадающие штаны.

Загнанные, взмокшие лошади едва дышали.

— Отведи лошадей в кусты, — приказал отец, и Каролис свернул в редкий березняк.

Возле шоссе толпились люди, слышны были крики, женский плач, визг резвившихся детей. Поначалу все это Казимерасу Йотауте напомнило базар или храмовой праздник, но вскоре, вмешавшись в толпу, он уловил отдельные слова, и от волнения сжалось горло. Увидел и знакомых из Лепалотаса и окрестных деревень. Все озирались, вытянув шеи, чего-то ждали, а на шоссе рядом с поваленными поперек двумя ольшинами, срубленными здесь же, на краю канавы, стояло пятеро мужчин: сойдутся в кучу, посоветуются и снова уставятся на дорогу, пустую, исчезающую за пригорком.

Каролис держался рядом с отцом, вытягивал шею, привстав на цыпочки, глядел через головы мужчин в сторону шоссе, в самую гущу толпы. Стиснув локоть отца, прошептал:

— Мне кажется, Людвикас там.

— Людвикас? — испугался Казимерас Йотаута; здоровой ногой привстал на луговую кочку, соскользнув, махнул рукой. — Чтоб только беды не накликать.

— Мужики! — пронесся над толпой скрипучий голос Банислаускаса из Лепалотаса. — Братья! Соседи! Давайте держаться дружно, потому что всех одно горе жмет. Господа жрут наше добро. А что ос-

тается нам, крестьянам? Крохи, объедки. Задарма им отдавай зерно, бекон, гусей, молоко, а за шины на четыре колеса сотню выкладывай. Разве такой порядок должен быть, я вас спрашиваю?

— Правду говорит человек.

— Не дадим ничего! Пускай с голоду подыхают.

— Правильно, пускай подыхают, может, посочувствуют тогда деревенским. Говори, Банислаускас!

— Ха, когда это богатый бедному почувствовал?!

— Не путай, все одинаково страдаем.

— Одни сала нажравшись, другие небеленной похлебки нахлебавшись...

Мужики кричали наперебой, топтались, собирались кучками. Живая толпа катилась, лохматилась, колыхалась.

Банислаускас распахнул пиджак из серой домотканины, отбросив длинные полы, заложив руки за спину, запрокинул голову.

— Братья, землепашцы! Я знаю, что говорю. Вот мы дорогу переродили и будем стоять на страже. Завтра в Каунасе ярмарка. Наши крестьяне на нее не поедут. И никого на ярмарку не пропустим. Помнят нас, пускай хоть булыжник грызут, но сыров наших и масла им не видать.

— Чистая правда!

— Правда! — подхватил и Казимерас Йотаута. Закричав, присел, будто пытается спрятаться за чужие спины.

— Какого черта мы тут, в поле, собрались? — выскочил на дорогу батрак Винклера. — С кем нам тут драться? Между собой? А те, что нас грабят, в городе! Они-то дешево платят. Поэтому, говорю, не стоит ли им на глотку наступить?

Многие растерялись, приумолкли, не зная, соглашаться с батраком или нет. И в это время на цыпочки привстал сын Винклера Отто. Рослый, прямой, плечистый, в коричневой рубашке, заправленной в зеленые брюки с блестящей медной пряжкой.

— Этот человек навел нас на прямой путь. Я спрашиваю: кто у вас скупает продукты и платит одни центы? Кто с вас шкуру сдирает за железо, за цемент, за удобрения? Кто? Скажу прямо, если вам еще не ясно: евреи! Евреи установили такие цены, и пока у них в руках торговля, добра не жди.

— Чистая правда! — крикнул поддакивающий всем мужчина и, словно захлебнувшись, замолк.

Слова молодого Винклера еще больше сбили с толку толпу.

— Не слушайте его! Это провокация!

— Людвикас! Это Людвикас, — прошептал Казимерас Йотаута, не почувствовавший никакого страха, только гордость: его сын заговорил! да еще в такую минуту!

— Господин Винклер хочет перессорить нас, науськать друг на друга!

Наконец-то Йотаута разглядел Людвикаса. Тот стоял перед толпой совсем недалеко от Отто Винклера.

— Еврейский прихвостень! — привстал на цыпочки Отто Винклер.

Людвикас повернулся к Отто, подобрался, но все равно издали казался щуплым пареньком.

— Фашист!

Прокатилось по толпе слово, брошенное будто плевком. Этого слова почти никто в деревне не слышал, но все поняли — так зовут человека, хуже которого и быть не может.

Людвикас стоял словно вкопанный, а к нему медленно приближался Отто Винклер. Вслед за ним, засунув руки в карманы штанов, крался батрак в клетчатой фуражке набекрень. Казимерас Йотаута все хорошо видел и все понял.

— Фашист! — что есть мочи прокричал он и стал торопливо пробираться сквозь толпу. — Люди, разве позволим пруссаку?..

— Отойди, пруссак! — рывкнул с другой стороны Каролис, и отцу стало легче, он знал, что не один идет на помощь.

Еще трое мужчин подошли со стороны и встали перед Отто Винклером. Тот неторопливо закатал рукава коричневой рубашки выше локтей, подбоченился, расставил ноги.

— Едут! — крикнула женщина.

— Полиция!

— Держитесь, ребята!

По шоссе со стороны Каунаса катил черный автомобиль.

Отто Винклер взял из канавы никелированный велосипед, отвел в сторонку.

Руки Казимераса Йотауты опустились, он тяжело дышал и, кажется, слышал, как вся толпа глубоко дышит вместе с ним.

Автомобиль остановился шагах в двадцати перед завалом, из него выскочили полицейские. Последним появился мужчина в светлом костюме. Рассыпавшись на всю ширину шоссе, они неторопливо приближались к поваленным ольшинам.

Казалось, толпа превратилась в поле камней — никто не шелонулся, не сказал ни слова, только удушливый жар шел от распаренных тел.

Полицейские остановились, сжимая в руках резиновые дубинки. Вперед вышел, видно, старший и стал медленно стягивать с правой руки белую перчатку. Его губы подрагивали.

— Ну! — рывком положил голую руку на кобуру пистолета, пристегнутого к желтому ремню.

— Господи, что теперь будет-то! — застонала женщина в толпе.

— Ну! — повторил старший полицейский и спросил сквозь зубы: — Что сие означает, хотел бы я знать?

Мужчина, один из тех, которые хотели заступиться за Людвикаса, скинул взглядом толпу и повернулся к полицейским.

— Здесь собрались жители окрестных деревень. Нужда их пригнала. — Мужчина говорил спокойно, словно не полицейские стояли перед ним. — У всех у нас одна беда, и мы требуем, чтобы были уменьшены земельные налоги. А если нет — платить не станем. Требуем поднять цены...

— Кончатся! — Полицейский выдернул пистолет. — А я вам приказываю разойтись! А ну разойдись!

Толпа колыхнулась, зашумела.

— Мужики, не бойтесь, ничего они нам не сделают.

— Банислаускас, ты говори, пускай послушают.

— Откормленные, зажавшиеся, вы только посмотрите на этих боровов!

— Кровопийцы! Пиявки!

И мужчины и женщины кричали, подбадривая друг друга. Казимерас Йотаута поискал взглядом Банислаускаса, который так складно выступал.

— Банислаускас, чего молчишь, валяй! — крикнул, увидев его, но Банислаускас, словно его по голове ударили, присел и исчез среди женщин.

— Мужики, вы не одни! — прозвенел голос Людвикаса. — Вся Сувалькия двинулась, вся Дзукия бурлит. Требуйте!

— Разойдись! — снова крикнул старший полицейский и махнул рукой другим, стоящим у него за спиной.

— Иисусе, бьют!

— Не дадим! У нас тоже руки есть.

Полицейские быстрым шагом приближались к гуще, лупили дубинками кого только могли достать. Кто-то пустил камень, попал самому высокому из них в плечо.

— Дать сволочам! Чтоб копыта откинули.

— Бьют! Кровопийцы, пиявки, живоглоты!

Толпа рассеивалась, редела. Отступали и оба Йотауты, но отец тревожился за Людвикаса: как бы не угодил в лапы полицейских. Молодой, горячий, много ли надо? Он увидел Гельтиса из Даржининкая, которого привез сюда на телеге. Тот с камнем в руке метался, словно желая удержать разбегающихся.

— Кровопийцы, пиявки! — лепетал Гельтис, видно не раз выкрикивавший эти слова. — Вы — хозяева, убегаете, вам все равно, а что мне? С молотка пустят, векселя у Густаса. Так и так погибать. Не удирайте, мужики! Неужто позволим...

Гельтис вырвался вперед, где двое полицейских дубасили парня, прикрывшего руками голову.

— Кровопийцы! — Гельтис замахнулся камнем, швырнул.

Грянул пистолетный выстрел. Гельтис зашатался, схватился руками за грудь.

— Стреляют! Насмерть застрелили, Иисусе!

Люди удирали по полю, взяв в руки деревянные башмаки; приподняв подошлы, уносились с визгом женщины.

Снова прогремел выстрел.

— Где Людвикас? — запыхавшись, тревожился Казимерас Йотаута, ковыляя по берегу речки. — Что теперь будет-то? Вот так прямо в человека?

Каролис только поторапливал:

— Давай быстрее, отец.

— Чтоб только все обошлось. Этот Гельтис из Даржининкая.. Может, помирает человек, а мы бросили.. Семеро ребят..

— Давай руку, отец. Побыстрее.

Среди желтеющих березок, напуганные выстрелами, стригли ушами лошади.

Холмик на могиле Гельтиса из Даржининкая осел и зарос травой, Банислаускас из Лепалотаса, не пожалев своей горницы, открыл молочный пункт, а газеты пылко призывали: «В Вильнюс, в наш Вильнюс, в город любимый...»

Во двор Людвикас вошел не один.

Мужчины, только что поднявшись из-за стола, отдыхали в тени избы, поглядывая в мрачнейшее небо. С пустым ведром выбежала мать.

— Моя Эгле, мама.

Ведро звякнуло о землю.

— Отец, это Эгле.

Жалобно скрипнула деревяшка.

— Каролис..

Каролис подошел к стройной, белокурой растерянной девчонке, первый подал руку, улыбнулся.

— Ты писал, но чтоб была такая.. не подумал.

Эгле еще гуще покраснела, затуманились ее голубые глаза.

Мать нечаянно задела ногой ведро, и оно опять звякнуло.

— Уже поженились? — спросила властно, уставившись на девчонку. И удивилась — будто кукла в окне магазина. Как глянет из-под длинных ресниц (таких длинных черных ресниц мать в жизни не видела) — ну точно святая дева Мария с алтаря пренайского костела... «Прости меня, господи, вот сравнила-то...»

Людвикас мягко улыбнулся:

— Нет, нет, мама. Я хотел только познакомиться.

— А-а,— пропела мать, вроде и отошла немножко, вытерла руки о передник. — В дом пожалуйте.

— Заходите,— спохватился и отец.

В избе все уселись вокруг стола, но не успели словом-другим переброситься, как мать напомнила:

— Не воскресенье, мужчины. Гости не на один день приехали, успеете наговориться.

— Мы ненадолго, мама,— ответил Людвикас.

Мать посмотрела на сына, которого так давно не видела. Куда это торопится, ведь не горит, словно выговорила ему.

— Ничего,— сказала вслух и теперь посмотрела на Казимераса Йотауту и сына Каролиса.— Сколько там клевера-то, но если вдруг дождь...

— И мы с Эгле поможем.

— Сидите, сперва покушать надо.

Мать вроде бы оттаяла, но в каждом ее слове и взгляде все еще сквозило недоверие к Эгле, этой незваной гостье, какой-то городской девке, которая вскружила Людвикасу голову и собиралась (это видно!) сломать его жизнь. Пока еще не поздно... да, пока не поздно, она полтукует с ними.

Отец с Каролисом ушли запрягать лошадей и не слышали, о чем разговаривали в избе. Саулюс, прибежав на клеверище, сказал:

— А тетя плачет.

— Какая тетя? — не понял Каролис.

— Людвикаса,— уточнил Саулюс и добавил: — Она некрасивая, когда плачет.

Но после полудня, когда мужчины вернулись с поля, Эгле казалась такой же, как утром,— хрупкой и веселой. Говорила мало, больше улыбалась, ловила каждое движение Людвикаса, каждое его слово.

Прошлое мужчины не трогали. У отца, конечно, по сей день ноет сердце, что так вышло в тот год — власти запретили Людвикасу учить детей. Потратился ведь, пока сына в гимназию пускал, а теперь не может порадоваться. Он не осуждал Людвикаса — не его вина, не из-за пьянства или разврата эта беда.

— Что в Каунасе слышать? — наконец спросил отец, долго приглядывавшийся к жене, Эгле и Людвикасу и так и не понявший, из-за чего не ладили.

— Да разное. И то и се,— туманно ответил Людвикас.

— А ты-то как?

— С грехом пополам. Работаю, перебиваюсь. Жить можно.

— Мог бы почаще приезжать, не на краю света живем.

— Было бы время...

— Мы тоже иногда на базар приезжаем, зашли бы, но куда — не знаем. Каунас не Лепалотас, не спросишь. Адрес бы оставил.

— Так уж получилось, что и там жил и сям. Я сообщу адрес, отец, теперь уж скоро.

Разговор не вязался. Словно чужие, впервые встретившись, искали слова, поглядывали в стороны.

За окном шуршал дождь, послеобеденная дремота стигала плечи, клонила головы.

«Не молчи, Людвис,— мысленно просил Каролис.— Ведь не помолчать ты приехал, твоими рассказами всегда полнилась изба. Живи я в таком огромном городе, где ты живешь,— о-го-го сколько историй бы порассказал. Но мне и не нужны шутки да прибаутки. Отец ждал тебя. Тебе-то что, а я каждый день вижу — ждет, поглядывает на дорогу, вечером пойдет закрывать ворота и долго стоит, облокотившись на забор. О тебе думает. И мать. Для кого она каждую субботу срывает в палисаднике пионы или резеду и ставит в кувшин в горнице? Тебя ждет, Людвикас. Ты же был в горнице и видел — стоят на столе цветы, для тебя они. А может, ты замолчал потому, что мать не то слово сказала? Тебе и девушке, что ты привел. Красивая она, тебе правда повезло, но для матери чужая. Достаточно было мне обмолвиться, что пора бы жениться — ты не думай, что у меня нет на примете, может, не хуже твоей Эгле,— что мать запела? Успеешь! Мол, твоему отцу тридцать три было, когда женился. У тебя, конечно, дело

другое, Людвис. Эгле у матери уполовник отбирать не станет. В городе все по-другому, и если что, Людвис... Мне страшно хотелось бы с тобой посоветоваться, только не знаю, осмелюсь ли сказать. Иногда мне так хочется бросить хозяйство и податься в город! И если мать не позволит жениться, правда, Людвис... Ведь примешь к себе пожить, подыщешь какую-нибудь работенку, ты там все знаешь, со всеми знаком».

— Людвис, простому рабочему, наверно, несладко в городе?

Людвикас удивленно кривит губы, словно брат сморозил глупость.

— Почему это тебя заботит?

Каролиса вопрос застаёт врасплох. Неужели Людвикас угадал его тайную мысль?

— Думаю, мучаются, как и мы.

— Уж побольше, чем ты, Каролис, на своих гектарах.

Мать молчит в сторонке, прядет нить своих мыслей, но слова Людвикаса раскаленным шилом вонзаются прямо в сердце.

— Если бы на тебя столько сотен не ухлопали, может, и лучше жили бы,— безжалостно режет она.

Людвикас на минутку застывает — ждет следующего удара. Но его нет. Хватит и этого, хватит.

— Ты меня попрекаешь, мама? Напоминаешь, что я... что я... — Он не находит слов или не может их произнести; глотает слюну, поперхнувшись, кашляет.

— Это ты, сын, нам эти гектары припомнил.

— Нет, мама, я не завидую вам — ни вашим гектарам, ни вашей жизни.

— Я-то давно на тебя гляжу. Хоть ты и далеко, все равно вижу. На тебя были наши надежды, маялись мы с отцом и днем и ночью, чтоб только ты на ноги встал, чтобы нас на старости лет поддержал. А ты-то — скажу как есть — сам жизнь себе испортил. Надо ли было тогда в огонь лезть? Что получил? Что вы все получили, покричав на шоссе?

Бледные щеки Людвикаса голубеют, он откидывается, будто его ударили по лицу, руки со стола падают на колени.

— Не надо, Людвикас,— Эгле берет его за руку, поворачивается к нему, смотрит с испугом и мольбой.

— Мать, лучше бы ты не говорила так,— бормочет отец.

— Знаю, что говорю! — отбивает мать.

Людвикас вырывает руку, сует во внутренний карман пиджака и швыряет на стол скомканные газеты.

— Вот! — презрительно тычет пальцем в газеты.— Вот! Нарочно прихватил, чтоб показать вам, каких времен дождались. И чего еще можем дожидаться.

Людвикас трясущимися пальцами разворачивает газету, кладет перед отцом.

— Читай, отец. Хотя бы то, что большими буквами написано. Пускай и мама послушает.

— Нам, деревенским, чужие молитвы не нужны, своих хватает.— Мать смотрит в окно на дождь.

— Читай, отец.

Казимерас Йотаута придвигается к столу, берет газету и устремляет взгляд на строчки, над которыми дрожит палец Людвикаса:

— «Адольф Гитлер о своем приходе к власти. Новый порядок в Германии. Победа национал-социалистов».

— Ты слышишь, мама? Понимаешь, отец? Вот так нам суют фашизм! Вот так открыто подают руку Гитлеру. Тому самому Гитлеру, самолеты и солдаты которого залили кровью Испанию.

— Не так уж много лет прошло с войны, а немец опять выпрямился. Я и в своей газете нахожу, в «Крестьянине», — говорит отец.— Мы в деревне тоже об этом толкуем.

— Каждый на своем хуторе хозяин и порядок наводит такой, какой ему по душе.— Взгляд матери устремлен на поле яровых, которое колышет ветер.

— Тебе так кажется, мама: Германия далеко, Испания еще дальше и наше какое дело.— Голос Людвикаса звучит приглушенно.— Чтоб только урожай был хороший, чтоб скотина не хворала. Нет, не ты одна, мама, думаешь так. Вот еще номер той же газеты. Послушай, мама, и ты, отец. И ты, Каролис, знай.

Мать не привыкла, чтоб ее кто-нибудь поучал. Да еще собственный сын! Боже, вот времена настали. И приходится молчать. Пускай это все и правда, но почему она должна забивать голову чужими бедами, почему должна слушать поучения Людвикаса при муже Казимерасе и сыне Каролисе, даже при Саулюсе, который тоже не такой уж дурачок и надолго запомнит это? Но она наберется терпения, она помолчит, потому что знает: правда за тем, за кем последнее слово. А в этом доме и первое и последнее слово за ней, за матерью, за Матильдой Йотаутене.

Людвикас сует газету отцу — пускай видит,— но читает сам:

— «Не так давно в Литве введен новый метод смертной казни — удушение преступников газом. Это сделано из соображений гуманности...» — Людвикас заколебался, его глаза повлажнели, лихорадочно блестя.— Вы слышите, какая добрая у нас власть! Какое благородство при убийстве людей! А вот что рассказывает начальник тюрьмы: «Все происходит весьма быстро. Затянувшись раз или два газом, приговоренный становится совершенно красным. С этого момента он теряет сознание. Дальше следуют судороги, попытки вскочить, сорвать веревки». Посмотрите, все посмотрите — снимок мужчины. На его лицо посмотрите, на глаза. Под снимком написано: «Приговоренный к смерти в газовой камере курит последнюю сигарету». И еще снимок, вы видите? И ты, мама, и ты, отец, Каролис. «Кресло, к которому прикрепляется приговоренный перед пуском ядовитого газа». Послушайте еще: «Одна казнь стоит не более девяноста центов».

Где же отец слышал это... видел собственными глазами? Ах, издалека это приходит, через горы лет катит вместе с дуновением ветра. «Противогазы надеть!» — мечется по окопам ефрейтор. Солдаты в противогазах — двуногие животные — мечутся по унылому полю, бессильно машут руками. Казимерас задыхается, прижавшись спиной к камню, руки сами норовят сорвать с лица вонючую резину, но он, стиснув зубы, держится — будь что будет, не надо спешить, сперва сосчитать до десяти... раз, два, три... сосчитать... Раз, два, три... все, конец... далеко от Лепалотаса, от Матильды и детей... так далеко... раз, два... Метавшийся рядом солдат срывает противогаз, вскочив, поднимает кулаки. «Ироды вы!» — кричит. Всем ртом втягивает воздух, бежит, но тут же спотыкается, хочет подняться, не может, хватается руками за горло, за грудь, корчится. Тело дергается. Сиплое хрипенье. Потом затихает. Раз, два... до десяти... раз, два...

Казимерас Йотаута поднимает голову.

— И это в Литве.

— Да, отец.

— Сейчас, сегодня?

— Газета этого года.

Тяжелые кулаки отца бухают по столу.

— Хуже не бывает,— говорит Каролис.

Мать справляется с нахлынувшей волной слабости. Мало ли злодеев? В самом Пренае сын отца топором зарубил. За то, что золото припрятал и ему не давал. Сколько конокрадов, разбойников...

— Хорошего человека никакая власть не карает,— говорит она и снова отворачивается к окну, пряча глаза.

— Почему ты, мама, говоришь это? — печально спрашивает Людвикас.

— Или я не так сказала?

— Не так, мама. Если наш крестьянин поднялся против такого порядка, если посмел сразиться с властями, то сама знаешь, что не от хорошей жизни. И если одного из этих крестьян недавно задушили в газовой камере, то знай, мама, что это могло случиться и с твоим сыном. Или с нашим отцом, мама!

Вечером того же дня собрались в дорогу. Мать с отцом пытались уговорить остаться, но Людвикас сказал, что завтра утром и у него и у Эгле работа.

— Приезжайте хоть на несколько деньков. Вишня уже начала краснеть, и яблоки, кажется, уродятся,— приглашала мать: ледок в ее сердце оттаял, глаза ласковее смотрели на Эгле.

То ли от слов матери, то ли от ее доброго взгляда Людвикас, как маденький, схватил пахнущую черноземом руку, поцеловал.

— Ты всегда была добра ко мне, мама, а если я сейчас что не так сказал, то не для того, чтоб тебя обидеть. И еще прошу: полюби Эгле, как меня.

Эгле, почти все время молчавшая, показалась родной, давно знакомой — просто удивительно, как эта изба раньше не знала ее присутствия.

— Дети мои,— мать сложила ладони для молитвы, подняла к лицу, зажмурилась,— чтоб только вам было хорошо.

Людвикас обнял отца за плечи (почему? никогда так не прощался, уходя из дому), подал руку Каролису, крепко пожал, подошел к Саулюсу.

— Будь здоров, малыш.

Саулюс отвернулся к стене. Он сердился, что брат до той поры как бы не замечал его. Будто чужой дядя.

— Не подашь мне руки?

Саулюс посмотрел через плечо.

— Нет.

— Сердишься?

— Нет.

Людвикас взял мальчика за плечи, ласково потормошил.

— Как хорошо, что тебе только семь.

Проводили всей семьей во двор, прошлись по саду.

После прошумевшего дождя воздух пахнул липовым цветом, с листьев яблонь капало, жужжали пчелы, снова взявшиеся за работу. Отец пожаловался, что ливень местами примял яровые, Каролис успокоил: рожь отцвела, мол, поднимется, чтобы только градом не побило. Вот и все, о чем они говорили на прощанье.

Когда Людвикас с Эгле удалились по проселку — Эгле, как маленькая девочка, бежала босиком, держа в руке туфельки,— Йотауты медленно вернулись во двор и у ворот, будто сговорившись, еще раз оглянулись. Но никто не сказал ни слова.

Мать вошла в избу и остановилась у двери, увязнув в глухой пустоте. Та же самая просторная комната, стол в углу между двумя окнами, у стен отдраенные добела лавки, широкая деревянная кровать у теплой стенки. И скамеечка возле порога с ведром питьевой воды и железной кружкой, и охалка полешек у топки. На стене над столом образы Иисуса Христа и девы Марии, в углу полочка со старыми календарями да молитвенником. И вешалка для полотенец, красиво вырезанная Каролисом, буфет... Все как было. Так откуда же эта тоска? Ведь и впрямь чего-то не стало, исчезло что-то. Что же унес Людвикас, уходя с пустыми руками? А может, оставил то, чего она не может разглядеть, и мать теперь чувствует присутствие чужого. Наконец замечает клочья газет. Как дрожали руки, рвавшие эти бумаги. «Сожгите! Их надо сжечь, как и весь мир насилия...» Минутами матери казалось, что она не узнает сына. Неужели это Людвикас? Что сделали с чело-

веком книги... Разве не так погиб когда-то брат Казимераса Миколас? Правда, папаша Габрелюс только царских жандармов винил, а что у его сына в голове был туман... Но ведь и Саулюс пойдет в науку. Крошка еще, но мать его видит иногда... так ясно видит статного мужчину в полосатом костюме и в шляпе. Что ждет его, Саулюса? Мать взяла голик, смела бумажки к поленьям — сожжет, пустит дымом, на целую неделю хватит на растопку. Тронула один листок, другой подняла, потом стала рыться в ворохе бумаг, пока наконец не нашла. Сердце билось тревожно, колотилось в груди, наверное, мать слишком долго пробыла нагнувшись. Оглянулась — не видел ли кто, как она рылась в этом мусоре? Уселась под окном: лучи вечернего солнца сочилились сквозь ветви лип, плясали на столе, блеснули на лезвии хлебного ножа, прыгнули на бумажный клочок с изображением смертника. Полосатая одежда как с чужого плеча, бесильно повисшие руки, неживое лицо. Ведь и у него было детство, родной дом. Где-то живут родители. Мать и по сей день, может, ждет... ничего точно не знает... ведь это ее сын, она родила и вырастила, он для нее лучше всех...

Матильда долго глядела на клочок бумаги, и вместо чужого лица вдруг мелькнул Людвикас. Это его молодое и изможденное лицо, его печально опущенные глаза, его губы... Оң, Людвикас! «Это могло случиться и с твоим сыном». Господи...

Скомкала бумажку, выпрямилась, затянула потуже клетчатый платок и взглядом хозяйки обвела избу. Направляясь к хлеву, оставилась у ворот, посмотрела на дорогу.

Дорога была пуста.

Тяжелый сегодня день, подумала.

Но день еще не кончился.

Казимерас Йотаута смазывал колеса — завтра пятница, затемно уедет на базар, чтобы перед обедом успеть вернуться, пока подсохнет в прокосах клевер. Каролис, согнувшись под тяжестью плетенки, тащил из сада мокрую траву для лошадей на ночь. Запахло аиром и таволгой — видно, у болота косил, не станут жрать лошади. Но отец ничего не сказал, только взял тяжелый ключ и подтянул гайку на оси. Нужна новая пара колес, не время будет искать, когда развалятся, подумал. Зимой обязательно придется звать мастера. Но ведь мог бы и Каролис. Посмотрел бы, как мастер делает, и сварганил бы, хорошие руки у парня. Лавки в избе какие сколотил, все спинки в сердечках. А стол, а шкафчик... В папашу Габрелюса уродился... Вот только времени у него маловато. «Ведь и мои руки к топору и рубанку привычные, избу построили, можно сказать, вдвоем с Каролисом». Все Йотауты из рода мастеров, только Людвикас... Ах, этот Людвикас. Только что был здесь, говорил, показывал такие страшные картинки. Неспкойный мир, кругом резня... Но пока живешь, человеке, надо и покусать, надо и на базар съездить...

Отец заботливо осмотрел телегу, кликнув Каролиса, в амбаре начерпал из закромов и взвесил пять центнеров зерна — до жатвы еще месяц, а многие уже последний хлебушек испекли, говорят, подорожало зерно. Еще ячменя набрал — тем же заходом на мельницу заглянет, крупа нужна. Мешки поставил возле двери: утром удобнее будет взвалить на телегу. Дверь запер.

— Отнеси ключ в избу и повесь, а я теленка приведу.

— За коровами пойду и теленка прихвачу.

— Коровы-то пускай жрут. В свинарник соломы побросай. Еще вчера мать велела.

Заковылял мимо гумна, размахивая руками. Деревянная нога скрипела на каждом шагу, ремни терли культю, и Йотаута подумал, что завтра в Пренае придется поискать кожаные ремешки: и узду для лошадей починит, и для ноги будут в самый раз.

Багровое солнце висело низко, едва не касаясь леса. Сосед Крувлис загонял в луговину кол, и вечерняя земля дрожала от глухого

туканья, от эха, отдающегося от ольшаника, кустов по берегам Швянтупе и построек.

Фыркнула лошадь, протянулась черная тень.

Казимерас Йотаута обернулся и в двадцати шагах увидел мужчину, едущего на лошади прямо через клеверище. Крупная, с широкими бабками гнедая лошадь переставляла копыта легко, видно ее не впрягали ни в плуг, ни в телегу. Мужчина средних лет держался в седле прямо, солнце освещало его загорелое лицо. Будто осколки черного стекла, холодно поблескивали глаза. Так же блестели и голенища его сапог.

Рука дернула поводья, лошадь остановилась. Мужчина острым взглядом, словно лезвием косы, полоснул по Казимерасу Йотауте. Лошадь мотнула головой, звякнула колючками узда.

— Что скажешь, Густас?

Густас все еще глядел исподлобья, кажется, даже не моргнул.

— Уже сотворил, Йотаута, «вечный упокой»?

Казимерас краешком глаза покосился на дом — далеко отошел, на целый загон. Хоть была бы рядом Матильда, подумал; ее тут порядок, ее хозяйство — пускай сама и отвечает. На своем поле, на своей земле! Он старый солдат, знающий, за что стоять. И это главное.

— Мой тебе совет, Густас: скачи, откуда прискакал.

Густас негромко хмыкнул, отпустил поводья, и лошадь оказалась так близко от Йотауты, что тот невольно попятился.

— Ты шутики брось, Густас!

— Ты мне не ответил: сотворил ли «вечный упокой»?

— Сотворю за тебя, когда в могиле окажешься, — ответил Казимерас. Слова сорвались невольно, и он тут же пожалел об этом — не стоит дразнить зверя, когда у тебя руки пусты.

Густас захохотал — блеснул золотой зуб, встопорщились короткие усики.

— Хо, там видно будет, для кого из нас раньше этот час пробьет. Но я тебе вот что хотел напомнить: не забывай помолиться за покойную сестру моего отца Монику Балнаносене, на земле которой сидишь.

Конечно, Йотаута знал, что Густас напомнит про землю.

— Это моя земля, — медленно и твердо сказал Казимерас Йотаута. — Моя! Наследство от моего отца. И мне не о чем больше с тобой говорить, Густас.

— Хо-хо!

Густас резко натянул поводья, поднимая лошадь на дыбы. Йотаута отскочил в сторону. Лошадь заржала и ударила передними копытами о землю там, где несколько мгновений назад стоял Казимерас Йотаута.

— Отец! — донесся со стороны дома звонкий голос Каролиса.

Сын бежал к ним с четырехзубыми вилами в руках. Густас, увидев его, огрел лошадь плеткой и через ячменное поле ускакал в сторону Швянтупе.

Казимерас Йотаута стоял блее бумаги.

Каролис допытывался, кто был этот всадник и чего он хотел. Отец не ответил. Намертво сжав губы, молчал, словно разучился говорить, не спуская глаз с удаляющегося Густаса.

Солнце уже опустилось, заря алела, будто открытая рана. Налетел порыв ветра, зашумели ветки клена, зашелестели листья и тут же затихли, успокоились.

Посреди двора их встретила мать. Отец хотел пройти мимо, но, видно, нельзя дольше молчать.

— Густас был.

— Я так и подумала, — сказала мать. — Чувствовала, что этот день...

— Старый Густас спалил наше гумно вместе со всем урожаем. —

Отец повернулся к Каролису.— Его сын тоже зубы точит. Неспроста он здесь появился. Помни это, Каролис.

Отец казался страшно усталым.

— Пойду прилягу.

Мать посмотрела на закатное небо, потом повернулась в сторону востока, ища взглядом спокойствия и ясности.

— Каких только дней в жизни не бывает.

Лениво твякнул пес, через минуту заскулил, потом залаял вза-хлеб.

В листве клена шелестел дождь, ветер накидывался на торцовое оконце избы, стекла дребезжали, и хлопала во дворе калитка, не закрытая на ночь.

Духота теснила грудь, в горле было сухо и хотелось пить. Вроде и не ел ничего соленого вечером-то. Лучше всего, конечно, сейчас бы заснуть и проснуться утром — тело отдохнуло, перед глазами светло. Но как заснешь, если слух напряжен, в голове стоит звон от этого напряжения, а может, от мыслей, которые наплывают непрерывно, обрушиваясь на тебя.

Казимерас Йотаута откидывает рукой одеяло с груди, приоткрыв рот, ловит воздух. Встал бы и напился воды, но разбудит жену. Пускай спит Матильда; она крепкая, знает, когда положено работать и когда отдыхать. Только ты такой, ровно самому черту душу продал. Но за какие грехи-то? За чужие или за свои?.. Боже милосердный... Целый день лил дождь и ночью моросит, намокнут поля. Может, потому ночь так тяжела. А другие ночи? Вспомни, когда ты встал и улыбнулся заре?

«Пес скулит: может, кошка бродит возле хлева, может, теленок трется о загородку. Как это я калитку не закрыл: теперь ветер всю ночь будет хлопать, не даст спать. Правда, Каролис последним вернулся с поля, но что молодому, храпит себе спокойно в чулане. Вот и хорошо, пускай храпит. Еще год-другой — и придется ему жениться, хотя мать и слышать не хочет. Пойдут дети, прибавится хлопот по хозяйству. Радоваться надо, что время нынче не то и война давно уже кончилась, не придется ему рыть окопы на австрийской земле. Сколько я их там вырыл...»

Гремит цепь, и пес рычит, потом заливается яростным лаем. Казимерас встает, вглядывается в серую тьму.

Мать выбирается из кровати, в одной сорочке подходит к окну, постояв там, нашаривает на лавке юбку, напяливает через голову, снимает с крюка сермягу Казимераса.

— Куда это собралась?

— Надо.

— Каролиса разбуди.

— Оба вы недотепы.

В открытую дверь избы врывается ночная прохлада. Пес уже притих, только жалобно скулит. Шуршат дождевые капли, на тропинке блестит лужица. Ночь темна, если и стоит кто у колодца — не разглядишь. Но ведь мать в своем дворе. В своем! Простоволосая, босая, тихонько шлепает по двору. Двигается, как черное привидение. Останавливается у амбара, поднявшись по ступенькам, толкает рукой дверь. Заперто. Проходит мимо гумна, вслушиваясь в ночь, сворачивает к хлеву, окликает пса. Дождь льет щедро, волосы у матери намокли, по лицу стекают капли, собираясь в уголках сжатых губ, буд-то слезы.

— Мать! — окликает с порога отец.

Мать не отзывается, только проводит ладонью по мокрому лицу и таким же медленным шагом шлепает к избе.

— Мало ли почему пес залаял, — успокаивает отец. — Может, непривязанная скотина вокруг хутора бродит...

— Там человек был.

Казимерас Йотаута ловит руки жены, но ощущает лишь мокрый рукав сермяги.

— Шаги слышала. Кажется.

Мать снова поворачивается к темному двору, вслушивается и только тогда берет за руку за косяк двери.

— Давай ложиться,— говорит она.

То ли часы тикают, то ли в висках так громко стучит, думает Казимерас Йотаута.

И еще думает: «Почему я не сказал Матильде, что Каролиса в чулане нету?»

«Моя мама и отец, мои братья, не удивляйтесь, что получили это мое письмо не по почте — его передаст девушка (ее зовут Эгле, вы, наверное, помните, и мне бы очень хотелось, чтоб для вас она была дочка и сестра). И еще прошу: не сердитесь, что так долго не присылал вам весточки и вы беспокоились, думали неизвестно что.

Пишу эти строчки очень далеко от вас, от своей родины. Сижу в избушке лесорубов в Пиренейских горах, на французской стороне. На охапке сена спят мои товарищи: два поляка, один болгарин, австриец из Вены — как и я, бывший учитель! Отдыхают перед трудным походом — нам предстоит перейти незамеченными границу и через горы попасть в сражающуюся Испанию. Я сижу за столом, сколоченным из неоструганных досок, горит лампочка, окна плотно занавешены.

Нелегко мне теперь писать, но еще трудней было сказать вам о моем решении. А мне ведь хотелось, очень хотелось побыть с вами еще хоть часок, сказать «прощай». Не последнее «прощай», нет. Но мы ведь так привыкли — даже уходя в Пренай в гимназию, я каждый раз прощался с вами. И вы, мама и отец, уезжая в костел, тоже прощались с нами, детьми. Вернувшись домой, мы снова подавали друг другу руки — и радовались, что целыми и невредимыми вернулись. Поэтому я знаю, как крепко должен был обнять вас, перед тем как уйти в широкий мир.

С вами я не попрощался — попрощался с домом. Вернулся поздним вечером. Шел по берегу речки кустами — никто в деревне не должен был меня заметить. Я подкрался к саду, забрался в малинник. Хлопали двери хлева, звякали пустые ведра. Скрипнули ворота. Мама позвала Каролиса: «Иди ужинать!» «Иду». Отец сухо откашлялся, сказал кому-то или себе: «Ну теперь ненастье надолго...» Только голоса Саулюса не расслышал, он, видно, уже спал. В окне загорелась лампа и опять погасла. А когда все затихло и мне показалось, что вы крепко заснули, хлопнуло окно чулана и мимо меня пробежал Каролис. Я едва не окликнул его. Но зачем было останавливать, когда в деревне его ждала девушка (прости, брат, может, я ошибся и обижаю тебя). И тогда я вдоль забора по-кошачьи подкрался к избе, коснулся пальцами угла — он был влажный и теплый, пахнул польнью. Подошел к амбару и к нему притронулся рукой. Захотелось усестись на крыльце амбара. Как давным-давно, когда я усаживался рядом с тобой, отец, после дневных трудов. Это желание было так велико, что я не сумел устоять и попытался перелезть через забор, но хрустнула прогнившая штакетина, залаял пес — и я застыл за кустом смородины. Пес тут же замолчал, видно узнал меня. Тут скрипнула дверь избы, к амбару подошла мама. «Мама! — позвал я ее беззвучно. — Прощай, мама, и не сердись, что я такой плохой, что ничего не могу тебе пока сказать... Но ты поверь, сын не осрамит тебя, не придется тебе краснеть перед людьми... Прощай, мама! Прощай, отец!» — кричал я той ночью, но это прощанье лишь сейчас долетело до вас, как запоздалое эхо.

Я не один здесь, в этой избушке лесорубов. Со мной новые мои товарищи. Со мной вы и запахи родного дома.

Когда вы будете читать эти мои слова, я уже буду сражаться в рядах испанских патриотов за свободу республики. И за вашу свободу! Потому что мир никогда еще не знал такого лютого зверя, как фашизм, который собирается поглотить целые народы. Сегодня он против Испании, а завтра?

Мои дорогие родители и братья! Верьте в победу правды и добра, как и я верю. Мы еще встретимся, обнимемся и скажем много-много слов, которых тогда не сказали. Вместе с нами будет и Эгле, ваша дочка и сестра.

Всегда думающий о вас

ваш сын.

P. S. О том, где я сейчас, в деревне не говорите, и письмо никому не показывайте. Для вашего же блага».

Два мелко исписанных листка Каролис положил на стол перед отцом.

Вся семья была в сборе, и каждый сидел на своем месте, как издавна было заведено: отец в конце стола, плечами заслоняя окно, слева от него — Каролис, а с другой стороны, поближе к очагу — мать с Саулюсом. На другом конце стола лежал каравай хлеба, прикрытый белой холстинкой.

Какое-то время взгляды всех были устремлены на эти два листочка. Руки отца потянулись к письму, пальцы чуть-чуть коснулись его и, словно убедившись, что это не просто белое пятно, а и впрямь скользкие бумажки, отпрянули.

— Слава богу, живой. А я-то бог весть что думал всю дорогу, — наконец заговорил Казимерас Йотаута, все еще держа руки на столе. — Собрался было домой, сгреб с земли сено, бросил на телегу. «Вы из Лепалотаса?» Оборачиваюсь. Вроде знакомая девчонка. «Из Лепалотаса». «Папа Людвикуса?» И только тогда вспомнил — она самая. «Я уже давно вас в базарные дни ищу. Боялась, что не узнаю». «Каунас не Пренай, — говорю, — тридцать километров». «Как хорошо, что нашла...» На девчонке-то лица нет, пальтишко тоненькое, на голове черный платок. Такая беденькая, что не по себе стало. «У меня письмо для вас, — говорит, — но здесь не читайте, когда вернетесь». Достала из-под платка, сунула в руку и ушла. Быстренько ушла, пропала в толпе. И то я думал и се, а теперь-то понимаю...

— Да что ты говоришь? — крикнула мать и встала, правой рукой опираясь о стол, а левой шумно отодвигая табурет, на котором сидела. — Что говоришь, спрашиваю?

— Про девчонку рассказываю...

— А сын?

— Так выслушали же письмо, складно написано.

Лицо матери в тени от абажура лампы серое, будто в лунном свете.

— Только-то и понял — складно написано. А с кем сын якшается, и не подумаешь? Газеты читаешь, еще, бывает, и книгу перелистаешь, а ничего толком не разберешь. Что значит, спрашиваю, — никому письмо не показывайте, где я, не говорите? Что значит, спрашиваю, эта Испания да свобода? От кого они Испанию освобождают? Скажешь, не от католиков? Скажешь, костелы эти безбожники не разрушают?..

— Мать! — Отец сжимает кулаки. — Ты не своим голосом говоришь, мать, слова ксендза повторяешь.

— Ксендз — человек ученый и знает!

— А твой сын не знает, куда идет?

— Хоть бы я в ту ночь наткнулась на него во дворе... А то погибнет с нехристями, бросят его в яму, как бродячего пса...

— Помолчала бы, мать...

Отец подпер сжатыми кулаками лоб, закрыл глаза, ссутулился. ...Ты должен бы вспомнить, Саулюс, ведь был уже не маленький. Что глаза ребенка увидят и уши услышат — это уж на весь век. А ты был таким молчуном, все глядел со стороны, издали, насупив лобик, как старик, смешно было смотреть. Бывало, говори с тобой, не говори — ты молчишь, отвернувшись в угол, и что-то ковыряешь ножиком, а одним глазом все зырк да зырк. Значит, ты должен бы вспомнить, как однажды субботним вечером, войдя в горницу, мы нашли маму лежащей ничком на кровати. Она подняла голову, лицо было мокрое от слез. Посмотрела, словно не узнавая нас, и закричала:

— Чего сюда лезете, делать вам нечего!..

Мы с тобой, пятясь, вышли из горницы, и ты сказал:

— А я знаю, почему мама плачет..

Зимой до нашего дома дошло второе письмо Людвикаса. Из Испании. Написанное в деревушке Санта-Мария. Когда ты однажды пришел из школы, мама взяла твои учебники, полистала. Потом попросила:

— Сними-ка, Каролис, с чердака книги Людвикаса.

Книг Людвикаса было не так уж много — один сундучок. Я снял его и спросил:

— Куда деть, мама?

— Поставь в сених.

Она даже не посмотрела в ту сторону; сундучок с книгами стоял в сених добрую неделю. Когда ты хотел открыть его, мать прикрикнула, велела отойти и не совать рук.

В тот день отец уехал на мельницу, ты был в школе, поджигал крепкий февральский мороз, ледяной ветерок мел снег, пронизывая дощатые стены дровяного сарая. Я осторожно тюкал топором кленовый чурбачок — треснула вязка саней, надо было вытесать новую. Запах у желтоватой древесины был точь-в-точь как у женских волос. Я думал о девушке, жившей в самом конце деревни; о ней знали и родители, но мать не одобряла. Думал, если и дальше будет так, скажу, что уйду из дома. Погляжу, что тогда мать запоет. А если что, и уйду, пускай выплачивает долю деньгами, не пропаду. Так и скажу матери.

Я даже присел, когда мать окликнула меня. Вот и скажу теперь.

— Сними-ка тулуп, Каролис,— сказала мать.

На лавке под окном, в конце стола, где обычно сидит отец, был поставлен сундучок с книгами Людвикаса. Несколько книг лежало на столе.

Мать молча глядела, как я снимаю тяжелый тулуп, вешаю возле двери, снимаю шапку, тоже вешаю.

— Каролис, найди-ка мне эту Испанию и покажи.

Не помню, когда я слышал, чтоб она так говорила — ласково и печально.

Я уселся за стол. Мать пристроилась рядом.

Я плохо разбирался в книгах Людвикаса. Походив три зимы в школу, научился только писать, читать и считать. Немногим больше, чем отец в свое время.

Взял одну книгу, отложил в сторону, даже не раскрыв ее. Взял другую, третью. Мать смотрела на мои руки, иногда казалось — она прикрикнет на меня: так перекладывая книги, ты ничего не найдешь. Но я все-таки не был таким дурачком, чтоб не знать, чего ищу. Уже потерял надежду — отложенных в сторону книг была целая стопка, а той, которая нужна, все нет. С самого дна поднял еще одну книгу. Эта! Ну конечно эта, мама.

Я покосился на мать, и по моему взгляду она все поняла.

— Поживее, Каролис,— снова попросила.

Еще онемевшими от мороза пальцами я с трудом нащупывал страницы. Ей-богу, легче колоть дрова, подумал я.

Мать ждала, как терпеливая и суровая учительница. Я чувствовал, от пота взмокла у меня спина.

— Вот! — с облегчением сказал. — Вот тут Испания.

Мать взяла книгу, положила перед собой и устремила взгляд на разноцветную карту Испании.

— Испания, — вздохнула она, но вряд ли что-нибудь поняла в этом переплетении линий, слов и красок.

Я попробовал объяснить:

— Этот коричневый цвет означает горы. Здесь написано — Пиренейские горы. А тут, где голубой, это все вода. Атлантический океан. Эти точки — города. Самой большой точкой помечена столица Мадрид. Здесь Барселона, здесь Валенсия, Бильбао. Много городов...

— Покажи мне эту... Санту-Марию.

Я долго искал, но не нашел.

— Нету?

Наконец-то я догадался и улыбнулся:

— Но, мама, ведь и нашего Лепалотаса наверняка нету на карте.

Мать посмотрела на меня — как может не быть, если люди живут?

— На карте только большие города.

— Каролис, а нельзя в одном месте увидеть и Литву и Испанию?

Я снова пероворачивал страницы, и мне снова повезло.

— «Европа», — прочитал я крупные буквы над картой. — Здесь Европа целиком, здесь и Литва и Испания должны быть.

— Покажи, Каролис.

Одно за другим я перечислял матери государства.

— Литва! — обрадовался и положил палец; кончик моего пальца закрыл всю Литву.

— Такая маленькая, — приуныла мать.

Я снова перечислял государства.

— Испания. Вот где Испания, мама! Тут Литва, а тут Испания.

Мать уперлась пальцем в то место, где была Испания.

Мой палец показывал Литву, ее — Испанию. И мы долго глядели так на маленькую карту, на которой умещалась вся Европа, на которой хоть и не отмеченные, но, мы знали, находились две деревушки — Лепалотас и Санта-Мария.

— Как все близко и как страшно далеко, — наконец сказала мать и устремила взгляд в окно.

Мороз исписал стекла цветами, но мать смотрела не на них. Ее прищуренные глаза глядели далеко-далеко.

Часы пробили два раза, мать захлопнула книгу и провела взглядом по черным буквам на желтой обложке: «В с е м и р н а я г е о г р а ф и я».

— Положи книги обратно в сундучок и вынеси в сени, — приказала.

— ...Давай вслушаемся, Саулюс, вслушаемся хорошенько, как звенят, гудят пчелы у нас во дворе, — говорит Каролис, когда они с косами на плече возвращаются с поймы Швянтупе. — Тогда тоже был самый медонос.

Не очень широка эта дорога. Идет она от леса, петляет, взбираясь на пригорки и снова опускаясь, огибает овраги и болота, старые, замшелые дубы и, перерезав всю деревню Лепалотас, убегает к другим хуторам. По этой дороге ты мог добраться хоть до края света. Каждый житель Лепалотаса — даже ребенок — знал, что, подавшись на запад, в тот же день окажешься в Мариямполе (так вот, всплывало в памяти людей, брат этого самого Йотауты... брат Казимераса Йотауты Миколас там учился, только наука его с дороги свела), а за Мариямполем и Пруссия, откуда мужики когда-то везли тайком литовские книги. Если повернешь на восток — вскоре уткнешься в мощное

булыжником шоссе; как в сказке: пойдешь направо — до Преная дойдешь, пойдешь налево — до Каунаса (и опять же, вспоминали люди, сын этого же самого Казимераса Йотауты Людвикас и направо и налево шел, а бог весть где сейчас обретается, сами родители ничего не знают), а уж из Каунаса на гремящих поездах лети, куда душа пожелает, если только у тебя в кармане не свистит ветер. Но вряд ли в поисках счастья проехал по этим местам человек, впервые оставив глубокие колеи на земле. Кто был этот путник? Может, охотник королевских лесов протащил убитого зубра на волокуше из еловых лап. Может, ослепленный любовью парень, убежав с любимой от родителей, нашел здесь прибежище, срубил избушку, проложил первую просеку. А может, говорю, крестоносец? Может, этой тропой шел он разрушать литовские замки на берегу Немана? Не по этой ли дороге шагало шведское войско, а оставшиеся в живых после чумы крестьяне брели на поиски хлеба? И солдаты Наполеона здесь протмчались, и царские казаки, усмирявшие повстанцев, и немцы в пятнадцатом году... Так и шла история, окутанная дорожной пылью. Давно ли прикатили сюда танки с красными звездами? Остановился один на развилке, и бойкий солдатик, выбравшийся из «железного котла», подбежал к глазеющему на танк Клейзе и попросил прикурить. Мужики Лепалотаса обсуждали мировые проблемы и радовались, что советская власть вытаскала их из налоговой петли, что в городе сейчас даже за кило масла да десяток яиц платят кучу денег. «Что я говорил тогда, когда мы бастовали? — разводил руками Банислаускас, гордо расхаживая среди мужиков. — Вот и настало это время!» Но когда новая власть подрезала его гектары, Банислаускас приумолк, стиснул зубы и снова стал исподлобья поглядывать на дорогу. А дорога, на которой даже не успели вырывать выбоины, задымилась опять.

В понедельник после обеда окна изб Лепалотаса задрезжали от рева мотоциклов. Гул, поначалу слабый и смутный, донесся со стороны леса, с каждой минутой он приближался к деревне. А деревня казалась вымершей. Никто не работал в поле, даже к соседу не шел. Дорога была пустынной и мертвой. Все знали — по этой дороге придут... Уже вчера знали...

...После завтрака все Йотауты подыскивали себе занятие. Хоть было воскресенье, в костел ехать не собирались — на днях храмовый праздник святого Иоанна в Ишлаужасе, большой день. Пускай сегодня лошади отдохнут. Да и сами они посидят дома.

Матильда вымыла пол в горнице, вытерла засиженные мухами окна, сняла в углах паутину — вдруг кто придет на праздники просто так или поглядеть на внучку. Потом срезала несколько пионов в палисаднике и поставила в глиняном кувшинчике на стол, застеленный белой скатертью.

Сноха Юлия у колодца стирала пеленки. Неплохая бабенка, только уж очень медлительная и тихая. Может, оно и хорошо, не станет свои порядки наводить, мать бы этого не стерпела. Но, с другой стороны, почти два года она в этом доме, а вроде бы вчера только порог перешагнула, все: где?.. что?.. как?.. Чтоб только весь век не пришлось ее за ручку водить.

— Отец! — окликнула мать с веранды. — Погляди, чтоб коровы не убежали.

На севере пророкотал гром. Мать подняла голову — небо будто подметено, ни облачка. Откуда же этот гром?

— Отец! — позвала опять, но тот не откликнулся.

Грохот на севере не прекращался. Показалось, что дрогнула земля. «Это не гром», — подумала мать.

Мать спустилась по ступенькам с веранды, торопливым шагом прошла по двору. Разросшиеся за хлевом липы да ивы возле ворот заслоняли ту сторону неба, где так сильно гремело.

На проселке за гумном показался Казимерас, и сразу полегло.

Казимерас между тем свернул во двор и приподнял руку: то ли, пошатнувшись, припал на свою деревяшку, то ли позвал ее.

— Ты видишь? — спросил.

Весь край неба утопал в темных клубах, которые ширились и расплзались. Где-то вдалеке, тоже в той стороне, завывали самолеты.

— Война, — сказал отец.

— Может, еще нет...

— Я-то уж знаю — война.

Наконец-то они увидели самолеты, которые летели в голубом небе журавлиным треугольником. Черные птицы все удалялись, пока не пропали из виду.

— Каунас бомбят, — сказал Йотаута, не спуская глаз с неба, затянутого облаками дыма.

По тропинке через поле бежал Крувялис. Увидев возле гумна соседей, пустился напрямик.

— Сосед... — Дышал не в силах вымолвить слово, только глядел испуганно и растерянно.

— Война, Пятрас, — сказал отец.

— Что теперь будет, сосед?

— Придется жить, — ответила мать.

— Ну, я домой побежал. — Крувялис отошел от них бочком и снова засеменял.

Отец все еще смотрел в сторону Каунаса.

— Тут, слева, где дым столбом, в аэродром метят, а там, правее, вокзал да тоннель. И казарма... Знаю, — объяснял он, — все-таки старый солдат.

Но мать меньше всего заботило, что да где.

— Что нам делать, лучше думай! — прикрикнула она на отца. — Каролис! Саулюс!

Каролис уже стоял рядом с Юлией, держащей на руках младенца.

— Саулюс с детьми Крувялиса в саду.

— Хорошо, что все дома, — сказала мать. — Не будем ждать сложа руки. Спасибо, прошлая война научила.

— Боюсь, эта похуже будет, — отозвался отец и уныло уставился на мать. — Где наш Людивикас-то?

Мать поджала губы. Они были голубыми, без кровинки.

— Пошли. — Голос Матильды дрогнул, и она первой повернула к дому.

Каролис на гумне вырыл яму. Широкою и глубокою. На дне расстелил солому, потом осторожно опустил сундук, принесенный из горницы, напихав в него и верхнюю и исподнюю одежду, приволок из амбара кадки, мешки с рожью и мукой, сало. Все складывал в яму вперемежку со старыми тряпками да соломой. Отец бродил как неприкаянный, все у него валялось из рук, что-нибудь брал и тут же забывал, куда несет. Мать понукала его и ругалась. Когда яма уже была почти полна, наверх положили бревнышки, вымостили досками и забросали землей, завалили старой соломой, даже несколько подсохших коровьих лепешек бросили наверх. Пока управились, стало смеркаться.

— Даже если подпалят постройки, голыми да без хлеба не останемся, — вздохнула мать и взяла Саулюса за плечо: — Саулюс, чтоб никому ни слова, — пригрозила.

Кормили скотину, бродили по двору словно тени, вздрагивали от далеких взрывов бомб, озирались, остановившись посреди двора или у ворот.

В высокоом небе то зудели тоненько, то тяжело гудели самолеты, улетаая на восток.

После ужина мать снова велела копать яму, на сей раз в саду, среди кустов смородины: еще один сундук надо спрятать — с бельем. Отец медленно покачал головой:

— Нет уж, я больше не могу.

— Не думай, что обойдет нас стороной...

— Мне-то ничего не надо.

— Говоришь, как маленький. Ложись и дрыхни.— Мать сердито отвернулась.— Пошли, Каролис.

Когда за полночь мать с Каролисом вернулись из сада, отца застали все еще сидящим за столом. Подперев руками голову, он сгорбился возле побелевшего торцового окна, за которым виднелась дорога, дрожащая от гула танков и машин.

— Русские уходят,— сказала мать.

Отец не ответил. Долго сидел так, потом неожиданно заговорил:

— Как страшно ноют пальцы ноги, потерянной на австрийской земле.

На рассвете дорога затихла. Изредка бухали взрывы бомб, гулко гремели орудия. Самолеты без передышки сотрясали воздух, а где-то неподалеку лаяли зенитки, но на рассвете все затихло, лишь в ясном небе рассеивались облачка сизого дыма.

Деревня, так и не уснув, встретила день. Измученная не бессонницей — неуверенностью и страхом, открыла двери изб, распахнула хлева и торопливо вывела скотину в поле. Из дымоходов повалил дым: кто готовил завтрак, кто грел воду для мытья. А те, у кого был почат последний каравай, торопливо совали хлеб в печь, растопленную еще в потемках. Все понимали, что надолго не напасешься, но каждый крутился как умел. Главное — не сидеть без дела. Когда шевелишься, думаешь о будничном, время бежит быстрее, глядишь — и обедать пора.

В лесу застрекотал пулемет, захлопали винтовки.

Над деревней установилась полуденная тишина, пронизанная запахом липового цвета.

Жители Лепалотаса вслушивались в эту тишину и понимали: это перед бурей.

Казимерас Йотаута хотел было пойти перевести на новое место лошадей на лугу — не держать же животину на голом поле,— но услышал стрекот мотоциклов и вернулся домой.

Первым на дороге показался из-за деревьев трехколесный мотоцикл. Как огромный, черный, злобно жужжащий жук, полз он без всякой спешки. Солдат, налегший на руль, глядел прямо перед собой, а другой, сидевший в коляске, поглядывал по сторонам и медленно вращал дуло пулемета. Шагах в пятнадцати за ним ехал второй мотоцикл, затем третий. От лязга задрожали окна — из-за деревьев высунулось тупое, зеленое рыло танка. Вслед за ним ползли другие. Семь танков, сосчитал Казимерас Йотаута. Все Йотауты, прильнув к торцовому окну, смотрели на дорогу, лишь Юлия унимала расплакавшегося в колыбели ребенка.

— Иисусе, не покидай нас,— вздохнула мать, посмотрела на святой образ, но тут же снова усталилась на дорогу.

И эту ночь Казимерас Йотаута просидел у окна, глядя на грохочущую дорогу.

— Лег бы ты, отец, поспал,— уже который раз напоминала Матильда.

— Как будем жить-то? — лепетал отец.

— Придется жить, никуда не денешься,— успокаивала мать.— Поглядела я — мужчины как на подбор. И каждого мать отпустила. Ждет теперь, когда сын вернется.

Отец не слышал слов жены; они проплывали куда-то мимо, может растворяться в грохоте, доносящемся с дороги.

Робко зашуршала под полом мышь и тут же затихла, испугавшись тяжести этой ночи.

— И ноет же правая нога,— как и в ту ночь, вырвался стон.

Утро рассвело тихое, и можно было подумать, что приснился дурной сон. Дорога пустовала, лишь по ржаному полю кое-где протянулись широкие колеи, серая пыль покрыла вишенки и кусты сирени возле дороги да низко повисли тяжелые бутоны пионов — словно подсекли их заморозки. Из труб шел дым — надо было завтракать и уходить в поле, ведь руки человека не могут долго выдержать без работы.

По небу с ревом пронеслись самолеты, на востоке прогрохотала далекая орудийная канонада.

Казимерас Йотаута и Каролис положили на козлы ольховое бревнышко. Тягали пилу молча, хорошо зная, что делают не то, что надо бы, но в поле не шли, хотели еще денек переждать. Вся деревня возле домов копошится; будто нашептывает кто-то, что это еще не все, еще может всякое быть. И впрямь часа в три дня на дороге снова появилась пыль. Грохотали колеса повозок, гудели машины, шагали солдаты.

За деревьями сада кто-то замаячил.

— Иди в избу,— приказал отец Каролису.— Молодому лучше не показываться. И сиди при ребенке, Юлию никуда не пускай.

Каролис глянул на запавшие, заросшие седой щетиной щеки отца и, прислонив пилу к стене сарая, ушел.

Куча у сарая выросла большая; вроде медленно работали, а надо же, сколько напилили, до осени хватит, если прибавлять хворосту. Вообще-то жалко летом такими дровами топить. Сухие, ольховые... Когда в полевом госпитале принесли однажды для растопки ольховые поленья, Казимерасу почудилось, что неподалеку должен быть Лепалотас, ведь только там ольха пахнет так терпко и вкусно. «Вы вретел! — раздвинув запекшиеся губы, закричал он санитару.— Здесь Литва, я чувствую...» Его руки были привязаны ремнями к дощатым нарам, и он не мог встать и уйти, тут же уйти домой...

Скрипят ворота, звучит чужая речь.

Два немецких солдата останавливаются под тополем, окидывают взглядом двор, смотрят на Йотауту, стоящего возле кучи дров. Высокий простоволос, пилотка засунута за ремень, в руке каска. Низенький расстегнул воротник мундира, вставил в петлицу красный пион. Именно он показывает на колодец. Хотя двор зарос густой травой, хорошо слышен стук шагов.

Казимерас берет в руки топор. Топор тяжел, накален солнцем, блестит отточенное лезвие.

Головы наклоняются над срубом колодца.

Замахивается топором. По самой сердцевине. Как легко раскалывается ольха! Нет лучше дров, чем ольховые...

Низенький берется за жердь журавля, ведро гремит о сруб. Высокий показывает рукой на скрипящий журавель, на горшки, надетые на штакетины, что-то громко говорит...

Левой рукой придерживает чурбачок, правой поднимает топор. Неторопливо, мерными взмахами. Будто щепу колет. Почему он так мелко рубит? Еще палец отхватит, не приведи господи. Ведь он не видит того, что делает.

Журавель скрипит. Он всегда скрипит. Еще папаша Габрелюс ставил, а служит по сей день. Конечно, надо бы ворот приладить. Это уж пускай Каролис...

Ведро плюхается в воду. Какая бы ни выдалась засуха, вода в колодце не иссыкает — хорошее место выбрано, искали ведь с ивовой рогулиной. И какая студеная вода, чистая, видать прямо из земной жилы.

Высокий подтягивает рукава мундира до локтей, подбоченивается, стоит, широко расставив ноги.

Где же его... вот такого... видел Казимерас? «Фашист!» — издали, из-под придорожного клена долетает голос Людвикаса. Ведь это Отто Винклер как вылитый! (Год назад, перебираясь с семьей и всеми

пожитками на запад, старик Винклер сказал: «Мы еще вернемся». Никто не поверил.)

Низенький вытаскивает ведро. Ведро задевает за сруб, выплескивается вода, оба отскакивают.

Двор звенит от легких ударов топора. Звенят и поленья, падая наземь. Ольховые поленья, хорошие дрова.

Ведро они ставят наземь.

Разве не могли на край сруба? Извозят, грязное опустят обратно в воду.

Низенький снимает с крышки металлическую кружку, разглядывает ее. Будто дурак, нашедший на дороге подковку.

Тюк... тюк... тюк...

Отто Винклер — другого имени для него нет, — Отто Винклер, кажется, только теперь слышит это тюканье.

— Komm her!¹

Казимерас отставляет деревянную ногу и, наклонившись, берет с земли новый чурбачок. Замахивается. По самой сердцевине...

— Komm her!

Где он слышал такой голос и эти слова? «Komm her!» — окликнул его немец поздним вечером на железнодорожном вокзале. Немец был без ног. Обрубок дерева, брошенный под забор. Немец попросил закурить, но у Казимераса не было сигарет, и он только развел руками. «Мне-то больше повезло», — печально подумал. «Krieg ist schlecht», — сказал бывший солдат. — Nie mehr Krieg»²...

— Komm her, Schwein!³

Звонкий голос отскакивает от двери сарая. Он зовет Казимераса, надо идти.

Низенький солдат держит в вытянутой руке кружку с водой.

Почему бы не выпить эту кружку холодной воды, думает Казимерас. Так жарко, во рту пересохло — в самый раз будет. Немец зачерпнул из твоего колодца воды и напоит тебя, ха-ха...

Тени от лип коротки, едва закрывают амбар. Весь двор озарен солнцем, трава местами порыжела. Давно не было дождя. Если бы сейчас пошел дождь, было бы в самый раз — луга не скошены, а хлебам и огородам как надо!

Деревянная нога скрип да скрип. Идет он покачиваясь, держит в правой руке топор; как был топор в руке, так и идет с ним. Не чувствует ни рук, ни ног... обеих ног, пальцы правой так ныли ночью, но теперь утихомирились.

— Lass die Axt!⁴ — Высокий солдат делает шаг в сторону...

Да, это Отто Винклер, простоволосый. Слабый ветерок тормозит желтую пряжу на лбу.

Мог бы и не кричать, он ведь идет и выпьет эту кружку. Ах, они думают, что колодец отравлен. Как они смеют думать такое! Если вы сами отравите воду, сами и пить будете.

— Lass die Axt!

Лицо солдата Отто Винклера багрово, блестит от пота, его руки хватаются за автомат, висящий на груди.

Со стуком открывается дверь избы, на веранду выбегает Каролис. — Отец, почему ты топор...

Казимерас внезапно чувствует вес топора. Правда, зачем его надо было брать, когда так нещадно палит солнце...

— Бросай топор на землю, отец!

Посреди двора? Где это видано, чтоб топор валялся посреди двора. Место топора возле дров, он его туда и бросит...

¹ Иди сюда!

² Война плохо, не надо войны.

³ Иди сюда, свинья!

⁴ Оставь топор!

Поднимает топор — он ослепительно вспыхивает на солнце, — замахивается...

В руках Отто Винклера вздрагивает автомат — раздаются оглушительные выстрелы.

Казимерас Йотаута вытягивается всем телом, опускает поднятую руку, но топор не выскальзывает, пальцы крепко сжимают топориче, и кажется, что он вот-вот бросит его в сторону солдат. Но уже поздно... Плечи перекошились, лицо повернулось к избе — к Каролису, к женщине, выбежавшей на порог.

Падает на бок, сжимая в руке топор.

И Каролис и мать не могут сказать ни слова, сдвинуться с места — расширившимися от ужаса глазами смотрят они то на упавшего отца, то на двух солдат возле колодца.

Высокий что-то говорит низенькому, набрав в пригоршню воды из ведра, плещет на лицо, на багровую шею и, достав двумя пальцами из кармана штанов белый платок, вытирает руки. Низенький стоит рядом, не спуская глаз с товарища.

Громыхая сапогами, они выходят из распахнутых ворот.

Из дома выскакивает Юлия с младенцем на руках и мимо все еще не пришедших в себя Каролиса и матери первой подбегает к свекру, который почему-то улегся посреди двора.

— Папа, что с вами? — спрашивает, наклонясь.

Говорили: от судьбы не уйдешь, человеке; можешь море-океан переплыть, девять держав вдоль-поперек исходить, а если будет суждено, хлебной крошкой подавишься и умрешь.

Говорили: все в руках господа, волос без его ведома с головы не упадет; и неизвестно, то ли в гневе, что ты его волю нарушил, он тебя карает, то ли по любви забирает.

Говорили: не начнись война — не было бы этих ужасов; ведь сколько народу раньше времени в могиле оказалось: вот Наравас, что у леса жил, погнался возле ржаного поля за теленком, немцы увидели, что бежит, бабах — и нету.

Говорили: если б не этот топор... почему Казимерас его прихватил? Даже из мертвой руки еле-еле вырвали...

...от судьбы не уйдешь.

Казимерас Йотаута покоился в горнице на доске — умытый, побритый, причесанный. Руки сложены на груди. Только пальцы правой сжаты в кулак, и старуха Крувялене никак не могла засунуть в нее деревянное распятие — в левую же не вложишь, — вот и пришлось положить рядом с кулаком. Она всем и управляла, даже обула Казимерасу обе ноги. К правой штанине приставила башмак, подперла лучинками. Вот так и в гроб уложим, сказала, а то как знать, что будет в судный день, когда воскреснем из мертвых да предстанем перед всевышним, могут оба башмака понадобится.

Мать молчала, поджав губы, сидела у стены на стуле, глядя на Казимераса, и лицо его казалось ей таким праздничным и прекрасным в трепетном свете свечей, ну просто образ апостола Павла на алтаре пренайского костела. Она не испугалась этой мысли, не сочла кощунственной; глядела-глядела и опустила на колени перед мужем, сплела руки для молитвы, только слов не нашла. И глаза остались сухими.

Тихонько вошел Каролис, постоял и, достав из кармана моток ниток, измерил покойного с головы до ног. Бесшумно удалился, спустил с чердака хлеба две длинные доски, распилил их возле дровяного сарая, потом принялся стругать, но рубанок выскользнул из рук, и Каролис не смог его поднять. Постояв так с полчаса, побрел к Крувялису.

— Сосед, мне немоготу... Сколоти гроб для отца.

Собрались люди, посидели, попели псалмы, в сумерках разошлись. Такое время, каждый о доме заботится.

Мать всю ночь не сомкнула глаз.

Утром пришла Крувялене и сказала:

— Матильда, пошли Каролиса в Пренай. Молебен надо заказать.

И яму на кладбище выкопать.

Мать не отозвалась. Глаза ее за ночь ввалились, губы посинели.

Примерно через час старуха Крувялене опять напомнила:

— Матильда, завтра хоронить придется. Где могила?

Мать мягко оттолкнула ее, но женщина, посоветовавшись с соседками, около полудня подошла к ней вместе с Каролисом.

— Что ты себе думаешь, Матильда?

Мать подняла затуманенные глаза, не понимая, чего от нее хотят.

— Нам посоветоваться надо, мама.— Каролис тронул ее за плечо.

Когда она вышла из горницы на двор, старуха Крувялене ласково, по-бабьи пожурила:

— Матильда, и о себе подумай, ведь жить-то придется, Саулюс маленький. Мертвого не вернешь, пора очухаться, о поминках позаботиться.

— Лошади запряжены, я еду, мама,— сказал Каролис.— Что прикажешь?

С глаз матери словно спала пелена, и она внимательно посмотрела на Каролиса, надевшего черный костюм, на соседку Крувялене, на стариков, столпившихся у ворот.

— Так я поехал.— Каролис шагнул к телеге.

— Погоди,— удержала мать, окинув взглядом озаренное солнцем поле, постройки хутора и раскидистые деревья.— Распряги лошадей и уведи в хлев.

— Завтра хоронить надо, Матильда... Такая жара, разве можно долго...

— Завтра и похороним.

Мать, прижав руки к груди, прошла по двору, остановилась возле гумна, осмотрелась, медленно оглядела пригорки и ольшаники, купы деревьев среди ярового поля, потом вернулась к избе и долго озиралась с веранды. Кликнула Каролиса.

— Там,— показала она рукой на холмик в петле Швянтупе.

Каролис поглядел в ту сторону, снова повернулся к матери, встревоженно уставился на нее.

— Там похороним. Между этими двумя елями. Попроси мужчин, чтоб выкопали яму.

Старуха Крувялене все слышала, подбежав, схватила углы черного платка матери под подбородком, дернула, будто собираясь сорвать платок с головы.

— Ты думаешь, что говоришь, Матильда?!

— Как сказала, так и будет.— Голос матери дрогнул.

— В неосвященной земле, будто самоубийцу... Матильда!..

Мать снова посмотрела на пригорок с двумя елями, покачала головой.

— Говоришь, эта земля не святая. Ах, женщина...

Она вернулась в горницу, пропахшую воском и жженой еловой хвоей, и уселась по правую руку Казимераса Йотауты.

Утром следующего дня шестеро мужчин взяли на плечи белый гроб и открытым унесли через поле.

Вслед за гробом шла Матильда, с одной стороны — Каролис, с другой — Саулюс. И немногочисленные соседи. На такие безбожные похороны народу пришло мало. Даже любопытные предпочитали глядеть из окон или из кустов.

По обеим сторонам проселка колыхалась рожь, и Казимерас Йотаута плыл по этим волнам необозримого моря, крепко сжимая правый кулак.

Запел жаворонок, взлетев в поднебесье, застучал клювом аист на коньке гумна.

На востоке гремели орудия.

У жителей Лепалотаса разговору хватило надолго. Соседки то и дело скрипели дверью избы, топтали порог.

— Соседка, Матильда, мы-то знаем, что ты в бога веруешь, и Казимерас, вечный ему упокой, на пасху исповедовался. Пускай Каролис привезет ксендза, надо могилу освятить.

— Его могила святая.

— Не богохульствуй, Матильда.

— Говорю, эта земля святая.

Мать не поддавалась уговорам. Но когда Пятрас Крувялис под осень привез ксендза к своей захворавшей матери, тот заглянул и на хутор Йотауты.

Надев белый стихарь, ксендз помолился на могиле между двумя елями, окропил холмик освященной водой.

Соседки вздохнули с облегчением, словно отогнав бесов. Но ненадолго.

— Крест на могилу поставь, Матильда.

Мать хлопотала день-деньской. Все хозяйство держала в руках. И Каролис и сноха советовались с матерью, и ее слово было последним.

— Каролис,— осенним вечером, когда они остались в избе вдвоем, сказала мать,— послушай, Каролис, как страшно опустел дом. В ушах звенит. Вам с Юлией нужен второй малыш.

— Мама, что это ты...— растерялся Каролис.

— Я сколько родила, а сколько растет? Где Людвикас? Четвертый год ни весточки. Не знает даже, что отца не стало.

— Война, мама. Если б не война, может, сидел бы уже дома.

— Смотрю иногда на Саулюса и думаю: что его-то ждет? Ведь только начинает жить. Если что, будь ему отцом, Каролис. Что я сказала, не забывай. И еще хочу с тобой посоветоваться. Давно думаю, не выходит из головы.

— Говори, мама.

— Я так хотела, чтобы отца похоронили возле дома. Чтоб отец был здесь, чтоб мы все чувствовали его присутствие. Ты-то чувствуешь, Каролис?

— Да, мама.

— Но я хочу его видеть, Каролис. Выхожу на веранду, смотрю в сторону елок и вижу его.

— О чем ты, мама?

— О твоём отце, сын. Я хочу, чтоб и ты его видел. У тебя золотые руки, Каролис. Найди, пригляди где-нибудь такое дерево, чтоб было не то крест, не то человек... Хочу видеть, посмотрев издали... Тебе ни разу не казалось, что дерево вроде человека?..

Каролис и днем за работой и ночью долго не засыпал, думал о материнских словах.

Не раз, когда шел пешком или ехал по дороге, Каролис внимательно приглядывался к деревьям. Но деревья были как деревья — прямые и кривые, вымахавшие вверх и кряжистые, с раздутыми стволами и шарами смолы на ветвях. Люди ведь тоже все разные, думал. Разве эта развилитая береза с темным трутом на стволе не напоминает человека, поднявшего руки? Точно, точно... Каролис остановил лошадь, по глубокому снегу пробрался к березе, посмотрел с одной стороны, с другой. Наконец решил: если уж дерево, то только самое крепкое, только дуб.

В ту зиму Каролис так и не нашел нужный дуб. Ездил и в другие деревни, выпытывал у встречных, не видел ли кто подходящего дерева. «Вы, часом, не колесник?» — для начала спрашивали люди; Каро-

лис поддакивал и ехал, куда ему показывали. Но все это были не те дубы, которые он видел, закрыв глаза. Осенью следующего года, когда землю сковал морозец, нашел дубовую рощу в деревне Даржининкай и долго бродил по ней. Он стоял, глядел издали. Чем дальше глядел, тем яснее становилось — наконец-то нашел.

Неподалеку светилась изба с широкими окнами и зелеными ставнями. Красный глинобитный хлев, просторное и высокое гумно так и говорили, что это зажиточный хутор.

Каролис толкнул калитку, вошел во двор, огляделся. От гумна доносилось громыханье веялки. У хлева вскочила на ноги овчарка и, казалось, лишь чудом не сорвалась с цепи. Вторая, маленькая, не привязанная собачонка подбежала, норовя вцепиться в штанину.

Из двери гумна вышел крупный пожилой человек в сером домотканом пиджаке, поправил на голове фуражку, кивнул, высморкался наземь, вытер пальцы о штаны.

— Хозяин...— издали обратился к нему Каролис, но лай собак заглушал голос.

— Цыц, сволочи, в конуру! — рявкнул человек, и собаки, поджав хвосты, затихли.

— Хорошая дубовая роща тут.— Каролис махнул рукой в сторону дубов.— Ваша, хозяин?

Человек посмотрел на рощу, по лицу скользнула скупая и гордая улыбка.

— Наметанный глаз у тебя. Другой мимо пройдет, а ты... Хо-хо!..— раздался слышанный где-то гортанный смех.— Прошлый год бурей лес поломало, с моего гумна крышу сорвало, а дубам ничего, стоят.

— Какие деревья! Наверно, еще с крепостных времен.

— Дело есть?

— Есть, хозяин. Я дуб приглядел, он мне нужен,— сказал Каролис, посмотрел на рослого мужчину в упор и вдруг вспомнил.

— Хо-хо! — рассмеялся тот.— Тебе нужен мой дуб? Хо-хо!..

Это он... это он прискакал верхом и набросился на отца...

— Приглядел... Надо... Хо... А сам-то откуда?

Не говорить правды... Что-нибудь соврать и уйти отсюда. Но ведь здесь этот дуб. Каролис целый год искал этот дуб... Притронешься чуток топором да стамеской — и будет стоять...

— Из Лепалотаса,— ответил жестко.

С лица Густаса сползла улыбка. Он прищурил глаз, словно прицеливаясь.

— Йотаута? — попал в цель.

— Каролис Йотаута.

— Слышал, отца у тебя не стало?

— Немцы застрелили.

— А зачем тебе дуб понадобился?

— Для колес... Я колеса делаю...

— Дуб — это тебе не осина и не ольха.

— Я понимаю.

Густас стоял, не спуская глаз с Каролиса, не знал, что ему делать с этим незванным гостем. Показать рукой на ворота, выгнать со двора да еще собак с цепи спустить? А может... Все-таки дуб, такое дерево...

— Купить хочешь?

— Могу показать, который дуб нужен.

— Ладно, сходим, хоть у меня и нету времени.

Когда Густас увидел, который дуб выбрал Каролис, удивился, но виду не подал.

— Почему этот?

Дуб и впрямь был непригляден. Толщина — в один обхват, суковатый, замшелый, искореженный.

— Мне этот нужен.

— Думаешь, раз такой... то даром отдам? Хо-хо!

— Я заплачу,— сказал Каролис, по-своему видя этот дуб.— Скажите сколько, я приеду и сплчу. Ветки и верхушку оставляю вам на дрова, у меня своих дров хватает.

Густас обошел дуб; пытался понять этого дурня, но не мог. Хотел даже послать его к черту, но раз уж столько времени на него ухлопал, раз уж за эту раскоряку дают деньги...

— Пятьсот марок.

У Каролиса мелькнула мысль, что это страшные деньги — корову продать придется и то еще не хватит, — но не смог оторвать глаз от дерева.

— По рукам. Приеду как-нибудь и заберу.

Густас тихонько рассмеялся и, когда Каролис торопливо ушел, долго стоял под дубом, усомнившись — действительно ли остался в выигрыше.

Тогда ни Каролис, ни Густас не думали, что дороги их снова скрестятся.

За это время не только в Швянтупе утекло много воды. Стены изб Лепалотаса слышали слезы, стоны, проклятья. Оккупанта надо было кормить, а если ничего не дать, он сам заявится и вырвет изо рта последний кусок.

То не закатные зори озарили окна — отступая, немцы не жалели зажигательных пуль. Поредели избы в деревне, поубавилось людей. Кого разорвало бомбой, кто сам на мину наступил или поковырялся в брошенной гранате. Хутор Банислаускаса опустел — вместе со всеми пожитками на двух двуконных телегах хозяева укатили на запад. Хутор Йотауты уцелел. Правда, немецкий солдат увел лошадь с луга да осколком бомбы убило бычка на выгоне (бычок истек кровью, и мать вечером того же дня освежевала его, а мясо засолила). Жизнь опять переменялась.

— Господи, если русские эту саранчу доконают, еще заживем.— Матильда посмотрела на холмик с двумя елями возле Швянтупе.— Хоть и без тебя, Казимерас, но и за тебя, говорю, поживем. И чтоб Людвикас дал о себе знать. Таких у меня два желания.

Было начало мая, и цвели вишни, когда русский крикнул: «Победа!» Весь мир вторил ему.

— Я же говорила! Победа, слышишь? — Мать делилась радостью с могилой Казимераса.

И Матильда стала ждать исполнения своего второго желания.

Каролис за работой света божьего не видел. Надо вспахать да засеять все поле. Не оставишь же под паром — не только совесть не позволяет, но и налоги поджимают да поставки. И на лесоповале отрабатывать надо...

— Может, так долго не будет, дядя,— пожаловался Каролис Крувялису.— Города разрушены, все разорено, хлеб позарез нужен.

— Ладно поешь, Каролис,— усмехнулся Крувялис, подтягивая ремень штанов.

— Так оно и есть. Газеты пишут.

— И твой отец, вечный ему упокой, все газеты читал да читал... А что у крестьян все заберут, газеты пишут?

— Не пугайте, дядя...— Каролис рассмеялся.

— Мне один человек так сказал: всю землю, всю скотину да постройки — все в одну кучу. И нас самих в кучу. Из одного котла станем борщ хлебать. Кто первый, тому гуща, а остальным — теплая водичка. Не веришь?

Каролис пожал плечами, мотнул головой:

— Трудно поверить. Я-то думаю, неиспытанное дело нам власть навязывать не станет.

— Ага, увидим. Еще не то может быть. Про новую войну люди толкуют. Американцы не унимаются, страшную бомбу изобрели, если одну на Литву швырнуть — пустое место останется.

— Болтают, слышал.

— Так вот, Каролис, живешь, надсаживаешься — и хоть бы знал, человеке, что тебя ждет... Ничего не знаешь.

— Не знаешь, — угрюмо согласился Каролис.

Покормив скотину и устало опустившись на лавку в избе, вечером сказал:

— Люди болтают, что опять может война разгореться.

Мать обернулась от темного запотевшего окна.

— Не говори, сынок.

— Будто тебе не рассказывают.

— Не говори сегодня.

— Сегодня? — Каролис поглядел на мать внимательно и только теперь разглядел, что она надела праздничный платок, повязала чистый передник. — Почему же сегодня говорить нельзя?

— Мне все кажется... Сегодня не говори об этих ужасах, я, кажется, слышу что-то...

С кем же поговорить? Кому высказать скопившуюся за эти дни тревогу? Юлия?.. Хорошая она женщина, заботливая и тихая, но живет одними детьми, будто вокруг дома пустота. Работа в поле и дети, хлопоты по дому и дети...

На кровати возились пятилетняя Алдона и двухлетняя Дануте. Каролис прикрикнул, чтобы не шумели, но девочек не заботили беды и горести родителей. Они толкались, визжали. Каролис подошел и шлепнул Алдону. Та заплакала. Подскочила Юлия, подхватила дочь на руки, утешала, ласкала, поглядывая исподлобья на Каролиса. Каролис стиснул зубы. Уйти в деревню! Он же никуда не ходит, ногой с хутора не ступает. Надсаживается день-деньской... Да, да, верно сказал Крувялис, надсаживается... Мы все такие, Йотауты, только и знаем что надсаживаться. Сходить бы к людям, послушать разговоры... Напиться и заснуть. В Лепалотасе самогона хватает, гонят, забравшись в ольщаник, пьют и песни поют.

Каролис на подрагивающих от усталости ногах бросился в дверь, словно вытолкнули его, спотыкаясь, пробежал по двору, ударился о штакетины высокого забора. Ухватился руками за перекладину, налег всем телом, будто это забор отделял его от всего мира. Тупо уставился на чернеющую осеннюю пашню. Сегодня с самого утра пахал, вчера пахал, позавчера... Завтра будет пахать, послезавтра... Только лошади впряме уставать, им надо давать передых, а ты обязан идти, идти, идти. И хотя бы знал, человеке, что тебя ждет, — опять вспомнил Крувялиса.

То ли почудилось, то ли впрямь послышались шаги? Ветви яблонь, хоть и сбросивших листву, заслоняли проселок, их раскачивал ветер. Надо идти в избу, подумал Каролис, мало ли кто в такой час... когда время беспокойное и о всяком наслушался. Но он не двинулся, не смог оторвать рук от забора.

Человек замаячил совсем близко. И тогда открылась дверь избы, а на веранде вышла мать. Каролису, как в детстве, сразу стало спокойнее.

Походка казалась знакомой, но не мог вспомнить, кто так ходит.

Мать бросилась к калитке, открыла ее и застыла в свете, падающем из незашторенного окна, подавшись всем телом вперед, прижав руки к груди. «Неужто и впрямь?» — подумал Каролис, когда человек, пришедший из ночи, не говоря ни слова, прильнул к матери.

Каролис шагнул к ним. Белая рука матери гладила плечи пришельца.

— Я знала... знала... — шептала мать.

Мужчина поднял голову над плечом матери. Людвикас! Братья обнялись, стиснули друг друга.

— А мы-то тебя похоронили.

— Нет, нет! Что ты говоришь, Каролис! — Пальцы матери уперлись в плечо Каролиса. — Никогда мы его не хоронили.

— Я-то думал всякое, — поправился Каролис.

В избе Людвикас поздоровался с Юлией, пошутил с притихшими девчонками, осмотрелся.

— Почти десять лет, — сказал тихо, лаская взглядом все, что оставил когда-то.

Мать помогала раздеться, усаживала и расспрашивала; ведь столько лет не был, столько не видалась!

Потом испугалась: устал ведь с дороги, помолчи, отдохни, хоть полюбуемся на тебя. И глядела на осунувшееся и постаревшее лицо сына: неужели это Людвикас? Лоб над правым глазом прорезал глубокий шрам, убегающий по зальсине. Глаз судорожно дергается. Возле губ глубокие складки. Вдруг губы приоткрылись, обнажив почерневшие и поредевшие зубы, раздалось тихое всхлипывание. Людвикас повернулся к двери, пряча лицо.

Мать кончиками пальцев коснулась сухой жилистой руки Людвикаса, лежащей на столе. Рука испугалась ласки, дернулась, пальцы сжались.

— Я знала, что ты придешь... — после долгой и душной тишины заговорила мать. — Весь день ждала и знала... Ты уже по деревне идешь, по нашему полю, по саду...

— Вернулся, — ответил Людвикас, и в его голосе послышалась усталость.

— Мы сидим, а ты не ужинал. Юлия, тащи все на стол! — спохватилась мать, но не стала ждать, пока сноха встанет с детской кровати, сама бросилась к буфету, поставила на плиту чугуна.

Когда стол был уставлен кушаньями, даже запахло горячим мясом в миске, мать заметила, что Людвикас то и дело оглядывается на дверь. Наконец-то она поняла, кого ждет Людвикас.

— Нет у нас больше отца, — сказала мать; сказала просто, ведь все горести в эту минуту были так далеко от нее.

Людвикас равнодушно посмотрел на еду. Правое веко у него подергивалось.

— Каролис! Придвигайся, Юлия! — мать радостно звала всех к застолью, хотела своей радостью заразить весь дом; ведь надо же беселиться, когда возвратился сын, который все время жил в ее памяти. Зря Каролис ляпнул, что они похоронили Людвикаса. Мать знает, что и Каролис и сноха Юлия, в глаза не выдавшая своего деверя, не думали так. И Саулюс не думал, только сегодня его нет дома...

— Саулюс уже большой. Ты оставил его малышом, помнишь?

Людвикас кивнул; блеснул глубокий шрам на его высоком лбу.

— В Пренае учится, там и живет у одной старушки. В субботу вечером увидишь. Он всегда по субботам домой приходит. Но давайте ужинать, Людвикас, Каролис. Юлия, усади детей за стол.

— Отец долго болел? — спросил Людвикас.

Каролис придвинулся к столу, по-хозяйски положил ломоть хлеба перед Людвикасом и ответил:

— На третий день войны... немцы...

— Застрелили?

— Посреди двора. У нас на глазах.

Людвикас облокотился на стол, закрыл глаза; правое веко задергалось еще сильнее.

— Там, в Испании, сын, ты против немцев шел? — неожиданно спросила мать.

Людвикас поднял голову.

— Мы там сражались против фашистов. Против тех самых, которые и отца застрелили.

— Так я и думала, — ответила мать и призналась: — Трудно мне было все понять.

— Не ты одна, мама, не все понимала — целые государства слишком поздно спохватились.

Помолчали минуту. Куски застревали в горле. На дворе разбушевался ветер, деревья шумели, казалось, лютый зверь злобно дышал за окнами избы.

Людвикас положил вилку, отодвинул хлеб на середину стола.

— Вы помните, я приезжал с девушкой? Ее звали Эгле.

— Хорошо помним,— ответила мать.

— Ты писал о ней,— подхватил Каролис.— Она отцу передала письмо. И карточка у нас есть. Вы вдвоем на карточке. Мама, есть у нас?

— Мы в сундук спрятали, но в войну... Сундук-то мы закопали...

— Ничего о ней не слышали? — Людвикас не спускал глаз с матери и Каролиса.

— Два раза она отцу в Каунасе твои письма передавала, вот и все,— сказала мать.— Это было осенью того года, когда ты пропал. И зимой следующего года.

— Да, зимой, дело уже шло к весне,— уточнил Каролис.

— Отец и после этого в Каунас ездил? На базар?

— Ездил, сынок. Но ни разу не сказал, что видел Эгле. Ты хочешь ее теперь разыскать?

— На улочке одни развалины, ни следа от дома. Сколько ни спрашивал, никто не знает, где ее родители.

— Мало ли что могло случиться в войну,— вставил Каролис.

— Еще до войны перестала писать Эгле.

— Столько лет прошло, разве будет ждать молодая...— по-своему объяснила мать.

Людвикас тряхнул головой:

— Вы не знали Эгле, потому так говорите!

Первой из-за стола поднялась Юлия и принялась укладывать девочек. Сама улеглась рядышком, что-то нашептывая им.

Ночь эта была бесконечной и тяжелой. Много осталось невысказанного, заботы застили радость встречи, а может, ее и не было, радости-то? Может, радость приходит позднее?

Мать долго не будила Людвикаса. Ждали его к завтраку, не дождалась, поели сами. Каролис запряг лошадей в плуг и отправился на почерневшее жнивье. Лишь тогда мать приоткрыла дверь чулана. Людвикас лежал на спине, уставясь в потолок.

— Не разбудила?

— Давно не сплю. Лежу и не верю, мама, что я дома.

— И я ночью все просыпаюсь и думаю: приснилось мне или правда — ты вернулся? Даже к двери чулана подходила послушать. И испугалась. Ты так тяжело стонал во сне, Людвикас.

— Наверное, приснилось что-то. Мне, бывает, снится...

— Вставай, сынок, завтрак остыл.

— Как хорошо лежать, мама, в своей кровати.

— Да, это твоя кровать, еще папаша Габрелюс мастерил. Сейчас на ней Саулюс спит, когда дома бывает. Одевайся.

Позавтракав, Людвикас вышел во двор, остановился у колодца и заглянул в него — в глубине, будто стеклянный глаз, блеснула вода; подошел к амбару, уселся на крыльцо, на то самое место, где сиживал когда-то, отбивая косу. Смотрел на липы и на клен; деревья выросли, переплелись ветвями. Пристройка к хлеву, навес, крыша гумна с провалившимся коньком. Отец никогда не запускал крышу и поговаривал: разоряться начинают с крыш и заборов. Возле гумна рухнул забор. Разве Каролис меньше о доме заботится?

Выйдя из избы, мать позвала Людвикаса к воротам и показала в сторону Швянтупе:

— Там могила отца.

Людвикас не удивился, что могила отца здесь, возле дома. Не ска-

зав ни слова, зашагал по полю. Пахло пашней, шуршали палые листья. Небо обложили тяжелые тучи, ветер гнал их на запад. От своей избы Крувялис, пригнувшись, глядел на идущего по полю Людвикаса, но тот не заметил его. На могиле отца постоял недолго и повернул к пашне, откуда доносился голос Каролиса, понукающего лошадей.

На свежей пашне прыгали вороны. Одна подскочила, и тут же вся стая переметнулась на верхушку старой березы. До чего же вкусной была березовица из этого дерева, вспомнил Людвикас. Но это было так давно.

Каролис остановил лошадей, подошел к брату.

— Увидел тебя и вспомнил... хочу потолковать... Все говорят — колхозы будут.

— Правду говорят.

Каролису не понравился ответ брата.

— А что землю заберут?

— Не заберут, сами отдадите. И ты, брат.

— Сами? По своей воле? — опешил Каролис.

— Напишешь заявление и попросишь, чтоб приняли в колхоз.

Каролис сердито стегнул кнутом по воздуху.

— Это уж нет, Людвикас. Чтоб я сам свою землю... Нет, нет... Ты столько света повидал, а говоришь чепуху...

— Потому и говорю, Каролис, что повидал.

На верхушке березы долго каркали вороны. Лошади щипали густую луговую траву, волочили упавший плуг, но Каролис даже не повернулся в ту сторону — не это теперь его заботило.

— Уже в те годы в Испании были коммуны. И я видел, как радовались крестьяне, когда работали вместе.

— И что они получали за эту работу?

— Что заработали. И согласно тому, сколько работали и как работали. Лодырей нигде не глядят по головке.

Каролис уже второй раз, приподняв шапку, чесал макушку.

— Если бы чужой говорил, сплюнул бы... Еще хочу спросить: наверно, высокое место в Каунасе занимаешь?

Людвикас посмотрел на брата.

— Почему так думаешь?

— За коммунистов боролся, тебе положено...

Каролис пояснил совсем искренне, но Людвикас только улыбнулся его словам, как детскому лепету.

— Боролся за коммунистов, Каролис, это точно. Но не за высокое место.

— Тебе не предлагают, или сам упираешься?

— Ни то, ни другое. Я только что вернулся... еще месяца нет.

— Война давно кончилась.

— Для меня она затянулась, не знаю, когда кончится.

— Мудрено говоришь, Людвикас. Так где же ты пропадал?

— В преисподней, Каролис. В самой что ни на есть преисподней.

— Ты опять... Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю — в преисподней. И в такой, какой ксендзы даже грешников не страшат. Но я устал, Каролис, пойду прилягу. Ты не сердись.

Каролис проводил взглядом брата, а потом схватил плуг за рукоятки, поднял будто игрушку, вонзил в землю, крикнул на лошадей и начал новую борозду.

Деревня заговорила — испанец Витаута вернулся! Старухе Крувялене понадобилась мясорубка: одолжи, Матильда, мои захотели цепелинай на обед; и все зырк туда, зырк сюда, а Людвикаса-то не видать. Почему ты вся сияешь, Матильда? И Матильда отвечает, рассказывает, но только вполрта. Даже странно, что мать ничего толком не знает о своем сыне. Перед обедом прибежала Мелдажене. Ей-то повезло, увидела Людвикаса за столом, оглядела с головы до ног, ра...

зинула рот, чтоб спросить о чем-то, но засмушалась: «Нет ли у тебя каких-нибудь травок, Матильда, внучок животом мается? Уже третий день хворает, а я в этом году не засушила». Конечно, у Матильды есть травки, снимает из-под балки лукошко, пахнущее летом. Но Мелдажене, не выдержав, все-таки спрашивает Людвикаса, что слышно, много ли горя хлебнул, а может, большим барином заделался? Людвикас только улыбается, ничего определенного не говорит. Еще прибежала, запыхавшись, жена Швобелдокаса спросить, не поедет ли Матильда в пятницу на базар — может, керосину ей привезет; примчалась и Клейзене с другого конца деревни — не слыхала ли соседка, работает ли чесальня? Вечером в избу ввалились мужики. Всех интересовало, что нового на белом свете да еще — как там было, на той войне. Но Людвикас рассказывал мало, а о том, где сам был да что делал, ни слова; сам больше расспрашивал мужиков о деревенском житье-бытье. Мужики тоже без особой охоты выкладывали свои беды, отмахивались. Назавтра хутор Йотауты оставили в покое, но по дорогам да тропинкам Лепалотаса с хутора на хутор сновали бабенки, шушукались, пока не решили: или этот испанец настоящий большевик, или у него чердак не в порядке.

Субботним вечером появился Саулюс. Вымахавший, с раскрасневшимся от ветра лицом, с длинными руками, в тесном пиджачишке, остановился у порога, посмотрел на мужчину за столом. Мать первой заметила — не узнает.

— Брат твой Людвикас.

Саулюс все еще стоял, не зная, что делать. И позднее, когда все уселись за стол, только глядел во все глаза. Людвикас, который три дня отмалчивался о годах на чужбине, сейчас коротко изложил: война наступила во Франции, где он был интернирован. Потом фашистский концлагерь. Сбежал, попал к партизанам, воевал. Очень хотел вернуться раньше, но не мог. А этот шрам — с испанской войны, в полдень 17 июня тридцать восьмого года задело осколком бомбы... Над рекой Эбро.

— Вот и все.— Людвикас смахнул со лба испарину, вздохнул с облегчением, словно справившись с большой и трудной работой, и сменил разговор — стал спрашивать Саулюса о школе и учителях; обрадовался, что школа в войну не сгорела, что есть еще прежние учителя.

— Почему не похвастаешься, Саулюс? — вставила мать.— Наш Саулюс стихи пишет.

— Мама! — Саулюс покраснел, словно пойманный на каком-то баловстве.— Мама шутит... Я просто так...

— Не стесняйся,— серьезно сказал Людвикас.— Все Йотауты любили летать. Папаша Габрелюс, помню, все рассказывал, что в детстве хотел малевать святых.

— Да и Саулюс красиво рисует.— Мать с гордостью выдала еще один секрет.

Это был первый вечер после смерти отца, когда над их хутором, казалось, расступились тучи. Но почему же так коротка радость человеческая?

В воскресенье после обеда Каролис запряг лошадей и отвез братьев до шоссе.

Весенним днем Людвикас во второй раз оказался дома. Каролис с матерью наперебой расспрашивали, что делать с хозяйством. Опять будет собрание, опять предложат писать заявление. Людвикас сказал, что не видит другого пути, кроме того, который предлагают.

— А чем ночью дверь запрешь? — покачал головой Каролис и ту-по устоялся на густой ольшаник.— Хорошо тебе говорить, когда в городе сидишь.

— Значит, поднимать руки?.. А может, сами полезем в кусты? Ах, Каролис. Тяжелые годы, но оступиться нельзя.

— Я не об этом.

— Ты не вини Каролиса, Людвикас. Ты-то не знаешь и никогда не узнаешь, что такое земля для твоего брата или для меня. Ты иначе жил, тебе нелегко нас понять.

— Понимаю, мама. Не вам одним больно расставаться с тем, что оставили отцы или деды. Но ведь правда, другого пути нет, только этот единственный. По нему давно уже идут русские и украинцы. Идут, помогая друг другу. Нам тоже помогут.

В тот же день Людвикас ушел на шоссе, сказав, что дольше погостить не может. И каунасский адрес оставил: понадобится или просто окажетесь в городе — не забывайте... Все приуныли: опять не успел как следует потолковать. Но прошло еще часа три, как обрадовались: повезло, что Людвикас не остался.

Все еще были заняты вечерними хлопотами. Скотины теперь держали меньше, но за работой все равно некогда было присесть.

Йотауты еще не ужинали, когда яростно залаял пес, и Каролис, вешая плетенки для сена на крюк в хлеву, оглянулся. Не увидев ничего, затворил дверь хлева. Пес метался на цепи как одержимый. Каролис направился было к избе, но в это время за амбаром из куста сирени вылез человек. Через плечо у него был переброшен автомат. Он шагнул прямо к Каролису. Каролис остановился. Узнал сразу — Густас.

Из-за избы появились еще двое, оба с винтовками. Густас посмотрел на них, потом обвел взглядом двор и спросил Каролиса:

— Где брат?

— В Пренае. Учится.

— Я не об этом. Людвикас где?

— В Каунасе.

— Был сегодня?

— Был.

— Зачем пожаловал?

— Родной дом... Мать проведать приходил.

Густас глядел исподлобья, говорил сквозь зубы.

Из дома вышла мать, остановилась на веранде. Густас поглядел на нее, отвернулся.

— Проводи, Йотаута.

— Я сейчас, мама! — крикнул Каролис через плечо.

Один из пришельцев остался во дворе.

Каролис шел на шаг впереди, с одной его стороны — Густас, а с другой — какой-то длинноривый недоросль. От гумна отделился еще один и последовал за ними. «Куда они меня ведут? — подумал Каролис. Обожгла мысль: — Расстреляют! Нет, ведь не за что, точно не за что!» — убеждал себя.

— Что в деревне слышать? — опять спросил Густас.

— Никуда не хожу.

— Что про колхозы говорят?

— Не знаю.

— Чтоб не было поздно, Йотаута, когда узнаешь! Стой!

Они остановились на проселке. Это здесь Густас набросился на отца, вспомнил Каролис и вспотел.

— Неплохо живешь, Йотаута, — неясно заговорил Густас. — Думаешь, что отец оставил, то и твое, верно?

Каролис смотрел на Густаса, широко расставившего длинные ноги. Почему они все стоят вот так раскорячившись? И Отто Винклер когда-то и тот немец, который выстрелил в отца... Они хотят доказать, что стоят на своей земле, но стоя по-человечески, не чувствуют себя достаточно твердо?

— Чья это земля? — прошипел Густас.

Каролис понял: если ответит, что земля его, Густас взбесится.

— Чья это земля, спрашиваю? — Слюна Густаса брызнула Каролису в лицо.

— Государства...

Каролис моргнуть не успел, как удар в челюсть отбросил его назад. На секунду потемнело в глазах, и он едва не упал. Устояв на ногах, стиснул кулаки и едва сдержался, чтобы не накинуться на Густаса. Рядом с ним были еще двое, а третий поодаль держал в руках винтовку.

— Большевикам землю подарил, да?

Каролис молчал.

— Отвечай, если спрашиваю! Большевикам?! Чья это земля?

Каролис стиснул зубы, напрягся всем телом, но новый удар свалил его на колени, он уперся руками в землю. Чья же она, эта земля?— пронеслось словно эхо. Подождал, пока минует слабость, и медленно встал.

— Чья это земля?

Каролис почувствовал, что рот полон, но не слюной, и с уголка губ катится теплая капля. Густас отошел в сторону.

— Сегодня не отвечаешь — в другой раз ответишь. А теперь — ничего не видел и не знаешь. И ни слова никому, что проведали!

Они удалились по полю в сторону Швянтупе. Прибрежные кусты окутал туман, сгустилась темнота.

Каролис глядел в землю.

Во дворе подошел к корыту, из которого недавно поил лошадей, зачерпнул пригоршнями холодной воды, плеснул в лицо.

На веранде все еще стояла мать.

Весна выдалась холодной и слякотной. В ложбинах мокла подросшая рожь — надо бы спустить воду, да некому прорыть канавки. Заросло пыреем не засеянное смесью поле. Опоздали с посадкой картофеля. Накопилось столько работы, что Каролис опустил руки; шел, не помня, куда идет, делал, сам не зная, что делает. И если б не постоянное понуканье матери, неизвестно, что принесла бы осень. Пока человек жив, надо работать, говорила мать и первой вставала, последней ложилась. Но и сна спокойного не было. То тут, то там хлопали выстрелы, стрекотали автоматы, ночное небо освещали пожары. По дороге через Лепалотас нередки громыхали похоронные телеги, слышался жалобный плач. Что настал вечер — это ты знал, но дождешься ли утра — не был уверен. Но жить надо было.

— Не будет же так вечно тянуться,— вздыхала мать.— Наступят и другие дни.

Старые настенные часы отсчитывали секунды и минуты. Наступило 19 августа, которое жители Лепалотаса будут отмечать как день рождения их новой жизни. А тогда поздним вечером Каролис шел домой через всю деревню, не видя под ногами дороги. Мало сказать — будто землю продал. И не скажешь даже, что отца-мать похоронил. Шел, потеряв последнюю надежду, будто в спину упирается дуло винтовки. И слышал вопрос: «Чья это земля?» И смертный приговор: «Продай ты землю!» Каролис землю передал в колхоз. Жена Юлия только плечами пожала: «По своему разумению делай...» Она всегда так, и Каролис предпочитает советоваться с матерью. Мать вспомнила разговоры с Людвикасом, вспомнила отца Казимераса и папашу Габрелюса и, словно созвав всех на совет, прикидывала так и сяк. «Что делать, мама?» Каролис ждал прямого ответа. «Делай так, как сделал бы твой отец...» — «Выходит, записываться?» — «Записывайся...» И после долгих речей в душном классе школы подписался. Еще чьи-то дрожащие руки выводили буквы, а Каролис видел все как в тумане и ждал только, чтобы побыстрее отпустили домой. Долго ждал, облокотясь на колени. Когда в классе остались лишь подавшие заявления, Каролис оглянулся: половина школьных парт была занята людьми — человек из волости, худой и осипший от речей, начал новый разговор и повел его издали, вспомнил о жизни многих крестьян Лепалотаса, по-

том заговорил о Йотаутах. Каролис ссутулился, прижался лбом к парте, залитой чернилами, и слушал слова об отце Казимерасе, «павшем от звериной руки фашиста», о брате Людвикасе, «в Испании защищавшем дело коммунизма и сейчас занимающем ответственный пост...».

— Еще напомним, товарищи: все трое Йотауты — отец и два его сына, Людвикас и Каролис, — как вам известно, уже в то кровавое время активно участвовали в крестьянской стачке. — Голос слишком громко звучал в полупустом классе. — Итак, товарищи, первая ваша задача — выбрать свою власть, то есть председателя вновь созданной сельхозартели. Кого предлагаете?

Никто даже ногами не завозил по заплеванному и затоптанному полу, все затаили дыхание.

— Кого предлагаете в председатели?

Опять никто не ответил.

— Я вам говорил о семье Йотауты. Среди нас присутствует Каролис Йотаута, подписавшийся одним из первых... Предлагайте, товарищи.

Одним ртом дышали сидевшие в душном классе. Это дыхание Каролис слышал по дороге домой.

Юлия с детьми спала. Как хорошо женщине, что может заснуть и так дожидаться утра, подумал Каролис. Он сидел в потемках. Лампу зажигать не стал. От ужина отказался. Почему мать ни о чем не спрашивает, почему молчит? И даже здесь, в избе, Каролис слышал затанное дыхание класса. Неужто подкрадывается смерть?

— Председателем поставили, — наконец сказал Каролис, оглянувшись на мать, но в темноте не увидел ни ее глаз, ни лица.

Не скрипнула даже лавка, на которой сидела мать.

Каролис хотел рассказать, как он сопротивлялся, когда человек из волости предложил выбрать его председателем, сказал, что не сможет, не справится, а потом повторял: «Не буду, не буду», но человек из волости предложил голосовать — и все подняли руки...

— Почему молчишь, мама?! — крикнул, давясь словами. — Председателем поставили, говорю!

В темноте мелькнули белые руки матери — поднялись, будто два голубя, и опустились на стол рядом с караваем хлеба.

— Раз уж так, сын, придется жить заботами всей деревни.

И на Каролиса навалились такие заботы, которые ему и не снились. Часто вызывали в волость. Заложив возок, он ехал: утром туда, вечером обратно. Вернувшись с одуревшей от наказов головой, наутро шел с хутора на хутор, из избы в избу, и на него лаяли собаки, его провожали злые взгляды. Никто не торопился отдавать в общие хлева скотину, свозить инвентарь или семена в один амбар. Деревня стала считать его чужим, одни при виде его сворачивали с тропы, другие, весело рассказывавшие что-то соседу, замолкали. «Сами знают, что не хотел я, — думал Каролис, — сами руки поднимали да голосовали. Не меня, так другого бы выбрали, другой бы порядок наводил. А ведь порядок должен быть. Раз уж вступили, то давайте делать так, как велют, может, оно и к лучшему, увидим, ведь как в волости обещают — во сне такое не приснится».

Однажды вечером мать заметила, что Каролис принес из дровяного сарая топор и поставил в сенях у двери. Еще несколько вечеров он ставил топор на то же место, а потом покачал головой, печально поглядев на дочек, мать и Юлию. «За что их-то должны убивать?» — подумал Каролис и отнес топор обратно в сарай, с размаху яростно всадил в дубовую колоду.

Густас постучался посреди зимы. Долго стучался. Каролис сам открыл дверь, впустил. Когда велели одеваться, повиновался, вышел на двор. Густас спрашивал, какие новости в деревне, издевался над

колхозом, а потом спросил, в каком месте Каролис желает быть расстрелянным.

— Выбери, Йотаута, выполним твою просьбу. А может, тебе больше понравится, если повесим, а? Большевики памятник поставят, станешь у них героем. Или ты хочешь, Йотаута, чтоб тебе ниже спины теркой прошлись? Или чтобы пятиконечную прожарили тебе? Лучше всего на лбу, а? Есть у нас такая штука, вот полюбуйся. Хорошо раскалишь ее, потом ко лбу прижмешь — и клеймо готово.

Его гнали по сугробам, заставляли бежать, останавливаться, возвращаться, на опушке леса вручили веревку и пытались заставить самого надеть петлю; наконец приказали идти домой, но едва он сделал несколько шагов, как сухо лязгнул затвор винтовки. Каролис остановился.

— Иди и не оборачивайся!

Он брел по снегу, чувствуя нацеленную в спину винтовку, и ждал выстрела.

Каролис не раз просил в волости, чтобы его сняли с председателей.

— Как же так? — ответили ему. — Колхозники тебя выбрали, тебе доверили.

— Боюсь, застрелят однажды, — признался Каролис, но почувствовав, что у него хотят что-то выведать, прикусил язык и не обмолвился о посещении Густаса.

— Что будет, если все начнут отказываться? Думаешь, нам сладко? Сколько наших людей гибнет? За что? Чтоб вы жили в тепле и безопасности, товарищ Йотаута.

Каролис не жил ни в тепле, ни в безопасности. Ночевал на гумне, иногда на чердаке хлева, по вечерам старался никуда не ходить и не ездить, но знал — однажды подстерегут его. Правда, теплилась надежда — столько их уже перебили, даже на полях Лепалотаса не одного уложили, неужели Густас вечен?

Густас играл со смертью. Бабы рассказывали, как он убежал из окруженного дома; все погибли, а его даже не задело. Рассказывали, как хотели его спить, усыпить и выдать, но он вовремя спохватился и перебил всю семью новоселов. Всякие истории рассказывали — быть, небылицы, может, даже выдуманные им самим для устрашения, кто знает. Но он был жив, появлялся то тут, то там, оставляя за собой лужи крови.

Занималась новая весна, солнце стоняло снег, уже проглянули хребты холмов, зачернели борозды оттаивающей пашни. Зарядило хоть отбавляй, близился первый коллективный сев. Каролис торчал в конторке правления с мужиками, советовался, как да что делать, но все отмалчивались, слушали равнодушно, поглядывая в окно на двор. «Как прикажешь, председатель...» — отвечали. Каролису и грустно было и зло разбирало. Все не мог привыкнуть, что к нему обращаются не по имени и по фамилии, а этим казенным словом «председатель»; он каждый раз вспоминал, с какой яростью величал его так Густас. Но главное, он чувствовал себя беспомощным, когда приходилось приказывать, требовать. Он только просил: мужики, может, сделаем так, мужики, будьте людьми, поймите, это надо сделать. Но жители Лепалотаса чужому горю не сочувствовали, тем паче что горе это исходило от власти; им хватало бед своего хутора, а на то, что творится у соседа, лучше глядеть издали. Не слишком они забивали голову и фермами или складами, ремонтом телег или плугов или договорами с МТС. Есть председатель, его забота. В волости Каролис получал не только советы, но и сердитые слова, и когда там слышал это «председатель», перед глазами снова вставал Густас.

В тот вечер Каролис вернулся поздно и, перешагнув порог, увидел в глазах матери тревогу. Но мать ни о чем не стала спрашивать, она понимала, как нелегко ему. Не снимая тулупа, Каролис развалился

на лавке, прислонился к стене. Руки бессильно повисли, глаза смотрели, ничего не видя.

— Ужинать иди,— напомнила Юлия.— Мы уже.

— Сыт,— не двинувшись, ответил Каролис.

— Угостил кто? И напоил, как вижу,— упрекнула жена.— Целыми днями нету дома. Господи, господи...

— Помолчала бы, Юлия,— сказала мать.

— Не могу больше, не могу,— заплакала сноха.

— Не плачь, жена, раньше сроку, успеешь еще наплакаться.

Мать подошла, стащила с него тулуп, сняла шапку. Каролис сидел в изнеможении, казалось, вот-вот пошатнется и рухнет.

— Ты потерпи, сын,— сказала ласково, коснувшись плеча Каролиса, надеясь, что хоть частица страдания сына перейдет в ее сердце.— Потерпи еще немного, вечно так не будет. Может, Людвикас приедет, посоветуешься. Только вот Саулюс третью неделю не появляется, припасы-то у него, наверно, кончились. Завтра затемно отправлюсь... Саулюсу покушать отнесу, может, в магазине чего достану. И девочкам лекарства поищу, страшно слушать, как кашляют.

— Я тебе лошадь запрягу, поезжай, мама,— торопливо сказал Каролис.

— Нет, я уж пешочком. Чтоб люди не говорили — колхозную лошадь гоняю, сам председатель запрягает.

— Иди, мама... И переночевать можешь у Саулюса... Зачем тебе спешить?

Мать, всю жизнь все чувствовавшая и видевшая, на сей раз не поняла, почему ее сын Каролис так настойчиво выпроваживает ее из дому.

Пока утром спяхтала масло и уложила все припасы в корзину, рассвело. Каролис встал поздно, ночью так и не заснул. Мать в спешке даже не поглядела как следует на сына, а Юлия пожаловалась на головную боль и, отпустив Алдону в школу, прилегла, оставив невымытую посуду на столе.

Небо было пасмурное, пошел снежок. Каролис подумал: хорошо, что нету солнца, в такой серый день будет легче... Долго болтался на хуторе, наконец ушел.

В длинном хлеву Банислаускаса бабы кормили коров. Весь двор и навоз в хлеву был усеян сеном. До пастьбы еще далеко, а корма вот-вот переведутся. Каролис озабоченно посмотрел на женщин в грязных телогрейках, лениво шаркающих среди коров. Коровы мычали, гремели цепями, стучали рогами по дощатым кормушкам и загородкам. Пахло свежим навозом.

— Скажи что-нибудь, председатель,— колюче посмотрела на него жена Швобелдокаса.

Каролис вздрогнул и ухватился рукой за загородку. Председатель! Пред-се-да-тель! — загудело в ушах.

— Коровы подоены? — спросил и понял — зря спрашивает.

— Сколько дойки-то! Вот-вот все запустятся.

— Где заведующий фермой?

— Третий день в глаза не видели. Говорят, загулял.

— Позови женщин.

— Да сколько женщин-то! Бабы! Идите сюда! Председатель зовет.

Каролис глазел на изнавоженные бока пеструх. Пред-се-да-тель, пред-се-да-тель... Все! Хватит, хватит...

— Вот так, женщины.— Он не услышал своего голоса.— Вот так... Возьмите каждая свою корову и ведите домой. И другим скажите, пускай забирают свою скотину.

— Правда, председатель? — радостно вскрикнула жена Швобелдокаса.

Пред-се-да-тель...

— Забирайте... Отберите своих и уводите.

Каролис повернулся и, спотыкаясь, поплелся по двору.

Те же слова он произнес и на конюшне. Мелдажис спросил:

— А телегу свою взять могу? И плуг?

— Бери, Мелдажис, и телегу и плуг.

Крупными хлопьями валил снег. Низкие тучи опустились на постройки и деревья, повисли над головой, ветер залеплял снегом лицо, глаза. «Хорошо, что день такой»,— снова подумал Каролис. Не шел по дороге, брел по полям, проваливаясь в сугробы по колена, и слышал, как по всей деревне мычат коровы, кричат женщины и хлещут хворостинами по бокам своих животных, как по санному пути глухо стучат колеса и как фыркают лошади. Каролис шел, изредка зажимая ладонями уши, бежал, подгоняемый этим мычаньем, проваливался в ямы, вставал и опять бежал, пока не добрался до своего хутора. В избу заходить не стал — свалился в гумне на солому и лежал, прижав стиснутые кулаки к разгоряченному лбу.

После обеда прокрался в избу. Юлия обрадовалась, что хоть раз вовремя появился, и собрала на стол. Ел, но больше для виду. Юлия убрала со стола, он еще долго сидел. Потом встал, нашел крепкую наволочку, положил в нее две пары шерстяных носков, две пары варежек, пару исподнего белья, кусок хозяйственного мыла, завернул в полотенце каравай хлеба...

За окном валил снег, буйствовал ветер и быстро смеркалось. «Мать, наверное, сегодня не вернется»,— подумал Каролис.

В тот вечер мать и правда не вернулась.

Каролис увидел ее утром, уже на рассвете, когда его везли через деревню. Она приближалась по заметной дороге, закутав плечи в большой клетчатый платок. Высокая, прямая, с корзиной в руке. Остановилась и застыла посреди дороги.

Каролису кровь бросилась в лицо; он хотел, чтоб в этот миг разверзлась земля и спрятала его от глаз матери.

Вечером того же дня, сидя на дощатых нарах в темном подвале, Каролис не мог точно вспомнить, как все происходило там, на дороге через Лепалотас. Звонкий голос матери сливался с гневными криками и угрозами народных защитников. Кричала Юлия, плакали девочки, захлеб лаяли собаки в деревне; со всех сторон стекались люди. «Не отдам внучек. И сноху не отдам!» — кричала мать. «Колхоз разбазарил...», «Бандитский выкормыш...», «Все вы такие!..», «И старуху на сани вместе!». «Нет такого указания...» — яростно спорили вооруженные мужчины. На дороге толпились жители Лепалотаса, женщины похрабрее поддержали Матильду: «Если Каролис провинился, забирайте его, но детей оставьте...» В этой суматохе мать вытащила из саней Юлию и девочек, обняла их и закричала: «Не отдам! Людвикасу пожалуюсь! Он в Каунасе и не таких видал, как вы! И Каролис не виноват! Сами увидите, что не виноват, и отпустите...» Кто-то развернул сани, на которых сидел Крувialis с вожжами в руках, усадил на них Юлию с девочками, и мать приказала: «Вези домой, Крувialis. Чего ждешь, раз говорю! А вы с Каролисом можете ехать. Но говорю вам — отпустите! Уже завтра вечером он будет дома!» Лошади тронулись. Каролис обернулся, посмотрел на удаляющиеся сани с девочками и Юлией, на мать, которая все еще стояла в толпе на дороге...

Сквозь сизую мглу пробилось утреннее солнце, выцветшее, холодное. «Поздняя весна»,— подумал Каролис Йотаута.

Глава пятая

Помнишь, Каролис, как Пятрас Крувialis когда-то разглагольствовал: «В каждом человеке дьявол сидит. Не важно, что мы ходим в костел, что ксендз отпускает грехи да окропляет святой водичкой. Дьявол сидит, и никак ты его не выгонишь. На дурные дела науськивает, голову баламутит». А я вот говорю... Когда мать срывает цветы

в палисаднике и ставит на стол в горнице, когда она застилает кровать цветастым покрывалом да, аккуратно взбив, водружает горкой подушки — ни морщинки на них, каждый уголок втиснут или выпрямлен как положено, — или когда по двору граблями проходится, тропинки подметает и посыпает белым песком, разве не говорит в ней душа художника? «Смотрите, как красиво солнце садится», — сказал как-то отец, а я, ребенок, не понял, что красиво именно в этом закате, когда все вечера одинаковы. «Ты видишь, Саулюс, ты видишь?» — задыхаясь, шептал отец, глядя на сизую дымку над морем колосающейся ржи. Тяжело бывало смотреть, как он ковыляет за плугом, но, проложив борозду, отец оборачивался в конце поля и улыбался в усы — борозда точно струна, даже звенит. Вот так он окидывал взглядом и прокос на лугу, и взбороненные посева, и новый плетень... Да и ты, Каролис, когда-то говорил мне: «Раз уж взялся делать, то делай так, чтоб стыдно не было». На все ты глядел глазами отца. И его смерть тоже пробудила в тебе художника. Истинное пробуждение таланта чаще всего неожиданно и непредсказуемо.

Четвертый десяток лет под дождем, снегом и солнцем торчит на пригорке дубовый пень. Земля взрастила его, а ты, Каролис, разглядел, привез и вдохнул в него жизнь пилой да топором. Деревня заговорила: черт-те какую рогулину взгромоздил, как на посмешище. И не крест и не человек... Пожалуй, все-таки человек, раскинувший руки, словно решил обнять землю со всеми людишками да животинной. Но правая рука (вглядитесь получше!) круто заломлена. Может, это миг, когда отца прошила автоматная очередь? Навеки застывший миг, о котором ты, Каролис, вспомнил в час вдохновения.

Ты заметил и показал. И этим выговорил все, что у тебя лежало на сердце, Каролис. Будто поле вспахал или луг скосил, поглядел на сделанное и взялся за новые дела; ведь и впрямь не подумал тогда, что, соорудив памятник отцу, этим возвысил себя. Разве певчие птицы думают о славе?

Саулюс давно уже не стоял около отцовской могилы. С самой юности к ней не приближался. Лишь издали украдкой косился. «Там отец Саулюса похоронен», — сказала мать Дагне, когда Саулюс привез показать жену. «Я хочу памятник посмотреть, Саулюс», — позвала его с собой Дагна. «Памятник? Какой памятник?» — удивился он. Каролис сгорбился и побрел к хлеву. «Суковатый пень еще не памятник». Жесткие слова! Вздрагивает рука Саулюса, карандаш становится непослушен, скользит во вспотевших пальцах. Затрепыхавшаяся было живая линия гаснет, блекнет рисунок, потерявший душу.

Расстиляет новый лист; несколько точных линий — распятый человек, дуб, выросший из земли; отец, для которого жизнь была тяжким крестом. Саулюс так и не нарисовал портрет отца. Хорошо помнит его продолговатое лицо, приземистое, изувеченное войной тело. Видит отчетливо... И портрета Людвикаса у него нет. Ни разу не сказал ему: «Посиди вот так, я сейчас...» А портрет матери сделал? Или Каролиса? Саулюс шел по жизни, повернувшись спиной к родным, и повторял где-то слышанное: «Крестьянин? Примитивное, плоское лицо, пустые глаза... Нет интеллекта, нет духа эпохи. Нужно выразить себя... нужно что-то обобщенное, одухотворенное...» Дерево живое, дышит. Протянуло к небу два обрубленных сука, глядит глазами отца. И мать застыла рядом. На лице окаменела скорбь. Трепещет скорбь... А может, именно так, Саулюс?..

Тень закрывает лист. Саулюс вяло поднимает глаза. Пыльные, стоптанные башмаки, джинсы с заплатками на коленях, ручки скреплены на груди, обтянутой клетчатой рубашкой... Вацловас! Йонелюнас! Откуда ты? Как ты тут? Надо бы спросить, но Саулюс не спрашивает, он не в силах даже обрадоваться неожиданному появлению дру-

га: молчит, смотрит, как бы не узнавая, даже губы не шевельнутся. Жесткие пальцы Вацловаса сжимают плечо Саулюса.

Над головой поет жаворонок, заливается серебряным колокольчиком, и Саулюс слушает этот звон. Оба слушают.

— Отец здесь похоронен.

— Твоя мать сказала.

Йонелюнас берет лист с колен Саулюса, поворачивается, чтобы на рисунок падала тень.

— Ты не смотри, Вацловас. Наспех...

— Я вижу... вижу...

— Есть идея, но покамест... Будь человеком, не смотри.

Вацловас возвращает эскиз, но глаза его, часто моргая, смотрят в сторону, потрескавшаяся от ветра губа отвисает. Что с тобой? — без слов спрашивает Саулюс. Ты никогда не был чувствительным, Вацловас... Обычно смеялся, сплевывал или просто молчал.

— Прости меня, Саулюс. Мать сказала, что ты в комнате, я вошел и увидел на столе твои работы. И те и эта... С нетерпением буду ждать дня, когда их смогут увидеть все.

Саулюс, покачав головой, прячет эскиз в папку, отмахивается.

— Не говори так, Вацловас... Это ведь только наброски.

— Ты сам хорошо знаешь, что сделал...

— Не говори.

— Почему ты спрятал эскиз? Все просто и значительно. Человек и дерево... Судьба человека и дерево!

Саулюс вслушивается в его слова, поднимает голову, вскакивает, пробегает немножко, опять садится на лужок, выдергивает пучок травы и отбрасывает.

— Мать даже сейчас верит, Вацловас,— слышишь, Вацловас! — что душа отца живет в этом дереве. В неживом дереве живет.

— Если живет, значит, оно живо, это дерево.

— Живо, и я говорю. И человек и дерево из той же самой земли, корни в земле... Я вижу людей-деревья, слышишь? Это юность и старость, радость и боль, борьба и смерть, порыв и победа... Ты понимаешь меня, Вацловас?... И я когда-нибудь...

Саулюс поднимает простодушные глаза, бросает взгляд на траву между пальцами, смутившись, вытирает руки о штаны.

— Ты не смейся, Вацловас,— просит он тихо, даже виновато.— Я только тебе... Если что и сделал... нет, нет, я ничего еще... Я боюсь даже подумать...

Йонелюнас садится рядом, потом откидывается на спину, закладывает руки под голову и смотрит в небо, а может, на эту серую точечку — залиvisto поющего жаворонка.

— Как у тебя дела, Вацловас?

Йонелюнас, видно, не расслышал вопроса, потому что долго молчит, прильнув к земле.

— Пустился по дороге, не думая куда и зачем. Говорю, пускай дорога меня ведет... У одной развилки остановился, спрашиваю: «Какая это деревня, дед?» «Лепалотас»,— говорит. «Лепалотас? Вроде слышал где-то». «Может быть,— соглашается старик.— Недавно доярке орден нацепили, газета писала». «Нет, нет,— говорю,— не по газете знаю». И вдруг вспомнил: «Не из вашей ли деревни Йотаута? Художник Йотаута?» «А как же, у брата своего сейчас сидит как нарочно...» Вот оно как, Саулюс.

— Сказал, что я тут?

— Сказал.

— Откуда они знают?

— Деревня все видит.

«Деревня никогда глаз не закрывает»,— слышал ты еще в детстве.

— Как славно, Вацловас, что ты заглянул,— говорит Саулюс и

растягивается рядом, а перед глазами его без устали бегут деревья, люди; хотя корни глубоко сидят в земле, они бегут, бегут...

Пахнувший луговыми цветами и созревающим тмином покой окружает двух мужчин на берегу Швянтупе. Они молчат, долго молчат, утопая в траве, чувствуя, как ласково поднимаются чудодейственные земные токи в небесные просторы. Останавливается время, исчезает мир с запоздалыми трелями жаворонка, ничего не остается. Только это теплое дыхание, прикосновение земли и небес. «Чувствуешь, Вацловас?» — хочет спросить Саулюс, но не может — губы зажаты нежной ладонью тишины. Вацловас глубоко вздыхает, находит руку Саулюса, кладет себе на грудь слева, где сердце.

— Дергается иногда, когда вот так спокойно...

Но Саулюс не успевает почувствовать — Вацловас отталкивает его руку, садится, ударив себя кулачищем в грудь, ухмыляется во весь рот, однако крупные пожелтевшие зубы стиснуты.

— Пора пахать! — говорит жестко.

На проселке сереет маленькая горбатая легковушка. Как Вацловас и умещается в ней, удивляется Саулюс, провожая взглядом удаляющегося по полю приятеля. Окликнуть его, пригласить, чтоб остался хотя бы на день? Молчит, губы на замке; не Вацловаса он видит, высокого и крупного, с перекосившимися как под ношей плечами — видит корявое, наклоненное ветром дерево; деревья идут против ветра... идут, идут...

Саулюс снова кладет на папку чистый лист, снова скачет в его руке карандаш. Солнце обжигает спину, ноет затылок, гудит в ушах. «Я, художник Мигель Габес из несчастного Чили, сейчас картины пишу левой рукой. Левая рука ближе к сердцу, а сердце никто не заставит замолчать... Я, художник Мигель Габес...» Автоматная очередь в сердце. В сердце отца... В сердце земли... «Я, художник Мигель... из несчастного Чили...» Пули в отца, в чилийскую мать, в бойца интернациональной бригады в Пиренейских горах... ничто не заставит замолчать... Он вот молчал. Не нашел времени, чтобы выслушать брата Людвикаса, не захотел... Кто расскажет за него? Ведь это его голос он услышал там, в Пиренеях: «Я хочу домой...» Кровь брата заговорила в нем, по сей день слышит ее, подушечками пальцев чувствует, когда водит карандашом, она пульсирует в висках, клокочет в сердце, и чудится: что-то должно случиться не сегодня, так завтра или через неделю...

Тебе мало того, что уже случилось? Дагна вернется, и все будет по-прежнему. Нет, не будет... по-прежнему... А ведь ждет чего-то, тешит себя надеждой... Боится подумать, что скажет Дагна, увидев его работы. Увидит ли? Пожелает ли увидеть?

Саулюс горбится, глаза его блуждают по зеленому полю, он глядит в себя, как в глубокий колодезь. Внезапно сует папку под мышку, смахивает со лба испарину и бредет по теплой траве.

— Мама...

Мать дремлет на веранде. Или просто на минутку присела и закрыла глаза. После обеда духота, ноги быстро устают. У хлева скулит пес, видно миска пустая, куры бродят вокруг избы — тоже не кормлены.

— Мама...

— Ты был там?

— Был, мама.

— Как-нибудь сможешь мне сходить. Одна не смею.

— Это недалеко.

— Для меня все дальше и дальше.

— В пятницу отцу исполнится сто лет.

— Я все считаю. Еще три дня осталось. Какие длинные стали дни.

Каждый будто целая жизнь.

Мамины руки покоятся на подоле. Сколько дел они переделали,

тебя, поскребыша, пеленали и придерживали при первом шаге, ласково голову гладили и больно наказывали — покоятся сейчас усталые, отяжелевшие. Увядавшие, из одних жил да морщин, со скрюченными пальцами, извилистыми, будто корни дерева.

— Я хотел спросить, мама... Ты письма Людвикаса когда-то привезла...

— Сколько лет они здесь, а тебе вдруг понадобились.

— Надо.

— Приходил тут один такой. Деньги предлагал за бумаги Людвикаса. Показала на дверь. Стыда нет — думал, продам.

— Могу их посмотреть, мама?

— В сундуке. Открой, найдешь.

— Может, ты подашь?

— Я тут посижу.

В полупустом сундуке на белых льняных простынях Саулюс видит квадратную картонную коробку от торта. Ставит на стол у окна, открывает. Большой конверт, на нем надпись: «1937 год». Под ним другой конверт, третий. Уложены, как в могиле... По спине Саулюса пробегает холодок, судорога сжимает горло. Закрывает коробку, отодвигает в сторону и садится, облокотясь на стол... «Какое у меня право теперь врваться в жизнь Людвикаса, которая меня так мало интересовала, пока он был жив? Ах, Людвикас, Людвикас... Ты весь мир обошел и всюду находил общий язык с людьми, только для родного брата остался чужим. Ты виноват? Я виноват? Кто же виноват, говори, Людвикас? Может быть, сегодня мы можем потолковать с тобой?»

1937 год... Я впервые пошел в школу. Мама повела через всю деревню. Лаяли собаки, попавшийся на дороге Крувялис спросил: «В науку отдаешь поскребыша, Матильда?..» «Человеком сделают», — гордо ответила мать. Но едва оставила меня одного в огромном классе, я так испугался, что не выдержал до конца урока, бросился в дверь и побежал домой. Догнали два ученика постарше, притащили обратно, а учитель прикрикнул: «Сиди!»

1937 год... В то лето по лугам вдоль Швянтупе пришел Людвикас. Его девушка была похожа на Крувялисову Магде, пожалуй даже красивее. Но я любил Магде и не смотрел на ту, что привел Людвикас. Меня только удивляло ее имя — Эгле. Эгле — королева ужей... Эгле, полюбившая ужа Жильвинаса. Меня страшил конец этой сказки, когда Эгле проклинает своих детей, я хотел сказать Людвикасу, чтоб он поостерегся, но не посмел.

1937 год... В конверте ни единого письма, только потертая школьная тетрадка.

«Я постоянно оглядываюсь на прошлое, хотя знаю, что ты не придешь из него. Давно потерял все надежды и, проснувшись ночью, больше не надеюсь услышать за дверью твои шаги. Словно дряхлый старик, спокойно думаю о своей юности, хорошо знаю — ты не вернешься, не позовешь, не прикоснешься. Ничего у меня нет из тех дней — ни малейшей вещицы. Твои письма, твою фотографию у меня вырвали из рук. Только надежду найти тебя не смогли у меня отобрать. А сейчас не осталось и надежды. Остался год, а может, только месяц жизни. Врачи говорят — все будет хорошо. Я чувствую, они сами не верят в свои слова, но отвечаю: «Конечно, все будет хорошо»...

«Не думай плохо о моих родителях, Людвикас, — просила ты, глядя на меня влажными глазами. — Они неплохие, поверь. Тебе надо познакомиться с ними. И тогда они, наверное, иначе о тебе станут думать. Ты придешь к нам в гости. Я уговорю папу. Главное, уговорить папу, а мама — как папа скажет». «Я их понимаю, Эгле. Мне кажется, я их хорошо понимаю». «Правда? — Ты снова прильнула к плечу, на этот раз с радостью, и пощекотала своими пышными волосами щеку. —

Папа хороший адвокат, его люди уважают. Главное — он справедлив, помогает людям. Тебе интересно было бы с ним потолковать»...

Но в другой раз ты даже не пригласила меня в гости. Мне, по правде говоря, не верилось, что когда-нибудь побываю в твоём доме. Твои родители шли своей дорогой, а я своей, у меня было столько дел, что я все глубже погружался в них. Тебе об этом я говорил лишь намеками, ведь не мог сказать, где пропадаю, с кем встречаюсь. Мне казалось, ты понимаешь меня, чувствуешь своим женским сердцем. «Изучаю испанский», — как-то проговорился я. «Зачем он тебе?» «Сейчас перед глазами всего мира Испания», — ответил я.

«Нам надо обвенчаться», — сказала ты в тот вечер, когда мы шли из Лепалотаса, из моего родного дома, и сказала так просто, что я понял: ты давно об этом думаешь. Но для меня это было так неожиданно, что я промолчал. «Людовикас, может, я что-то... прости...» «Ты угадала мои мысли, Эглуже».

Я поднял тебя на руки и понес по тропе мимо цветущего клевера. Воскресный вечер благоухал медом, длинные тени стелили на пушистую постель, и я уложил тебя на эту постель под кустом орешника, за которым весело журчала речка. Твои руки, обжигающие, обняли меня еще крепче, и нас унесли вдаль белые крылья земли.

«Теперь ты мой, Людовикас...» «Теперь ты моя, Эглуже...» Так мы поклялись друг другу. «Мы поженимся, Эглуже. Мы обязательно поженимся». «Я не хочу возвращаться домой». Твой голос задрожал, и я понял, что обязан тебя освободить, увести в другую жизнь. Но какую жизнь я мог тебе предложить? Я снова сменил работу, оставил прежнюю комнатуху. Так товарищи посоветовали, так было нужно, я знал. И злился на себя, почему раньше не открылся перед тобой. «Я готовлюсь в долгий путь». Слова прозвучали, может, чуть громче в вечерней тишине. «Далеко?» «В Испанию». Ты села, не спуская глаз с моего лица. «Там война», — сказала ты.

Я говорил об интернациональных бригадах, о борьбе за свободу Испании, о том, что будет значить для всего мира эти борьба и победа. Впервые я об этом заговорил с такой легкостью. Ты слушала молча, не спуская взгляда с моего лица, с моих губ. «Мне холодно», — наконец сказала ты. Я набросил на твои детские плечи свой пиджак и все говорил, рассказывал, мне даже показалось, что я не столько тебя стараюсь убедить, сколько самого себя. Когда мы вернулись в город, ты опять пожаловалась: «Мне холодно».

Прошла неделя, и ты не явилась на свидание. Ни в тот, ни в другой раз. Я знал, где дом твоих родителей. Ходил по Нагорной улице из одного конца в другой. Остановился у калитки. Во двор вышла женщина с ведром, по-видимому прислуга. Я спросил об Эгле. Женщина внимательно оглядела меня. «Лучше вам, барич, здесь не ошиваться...» «Скажите, где Эгле, и я уйду».

Женщина покосилась на окна дома, занавешенные цветастыми шторами, подошла поближе к калитке. «Хворает, доктора вызывали». — «Через неделю, в среду, буду ждать на том же месте... Передайте ей». — «Лучше бы вы, барич, оставили ее в покое...» — «В среду, примерно в шесть. На том же месте».

Хлопнула дверь во дворе, и я зашагал прочь.

Когда мы снова встретились, ты была бледная, вся прозрачная и легкая, казалось, что малейший порыв ветра унесет тебя, как пожелтевший липовый лист. Я зажал в ладонях твои прохладные руки, целовал кончики пальцев и не мог себе представить, как покину тебя на полгода или даже на целый год — пока не задушим фашизм в Испании. Но другого пути у меня не было. В последние дни меня искала полиция, и пришлось опять бросить работу и новую чердачную комнатуху, не прожив в ней и месяца. Этого я не стал скрывать от тебя, рассказал. «Отец нашел книжки, которые ты мне дал. Разорвал, сжег. Не думала, чтобы он мог так». — «Спрашивал, от кого получила?» — «Спрашивал,

но я не сказала. Он понимает, что ты дал книги, но ведь папа даже твоего имени не знает. Людвикас, теперь ты не сможешь прийти к нам. Покамест». «Покамест,— согласился я.— Настанет день, когда все переменится. Во всей Литве переменится. Во всем мире!» «Я люблю тебя». «Ты моя, моя, Эглуже».

...Сейчас ничего у меня не осталось... только эти далекие дни. Страшно, страшно, страшно... Но у меня еще достает сил улыбаться. «Все будет хорошо»,— говорят врачи. «Все будет хорошо, Эглуже».

Всю сентябрьскую ночь мы проговорили, и я не знал, как тебя утешить в последние минуты нашего свидания.

В долине просыпался город, твой родной Каунас. Каунас, в котором пробежали два года моей жизни, в котором я познал горькую долю бродяги и безработного, грыз черствый хлеб грузчика, но главное — нашел товарищей, которые пожали мне руку и сказали: «Пойдем вместе...» Этот город — начало моего пути, и я всегда буду тосковать по нему. Читал стихи Янониса⁵ и целовал влажные от слез твои щеки.

«Если бы ты знал, как мне не хочется отпускать тебя,— пожаловалась ты.— Могла бы — пошла бы с тобой». «Я вернусь, Эглуже». — «Как только кончится война, в первый же день уезжай домой. У меня будет о чем тебе рассказать». — «Сейчас говори». — «Когда вернешься, только тогда, Людвис». Так и не сказала, оставила тайну для себя. Так надо, говорила ты и с печальной улыбкой повторыла мои слова: «Все будет хорошо».

Мы уходили друг от друга медленно, все оборачиваясь, застывая на минуту и снова пятясь на шаг. Ты протянула ко мне руки, но я не выдержал боли расставания и побежал.

В конце года до меня дошло долго блуждавшее твое письмо, полное тоски и любви. Я обнял камень арагонских гор и поцеловал его...»

Рассказ Людвикаса обрывается в конце тетрадного листка. Были ли еще странички, заполненные его рукой? Большой конверт пуст. Нет, нет. В самом уголке фотография. Людвикас и Эгле... Саулюс всматривается в девушку. Какое знакомое лицо! Как точно он представлял себе Эгле по описаниям Людвикаса. Да и ребенком ее видел, помнит то далекое лето... Нежный овал лица, прямой и открытый взгляд больших глаз, правильный нос... На обороте надпись: «Маме — Людвикас. Июль 1937 года».

Мать поднимает голову. Она ждала Саулюса.

— Откуда эта фотография, мама?

— Она тебе никого не напоминает?

— Как никого? Это же Эгле. И Людвикас.

Взгляд матери скользит по лицу Саулюса, пальцы на подоле вздрагивают, правая рука поднимается и снова опускается.

— Нашла ее после смерти Людвикаса. Завалилась за досочку в сундуке. Ты как следует ее рассмотрел?

Саулюс еще раз смотрит на фотографию и видит только Эгле — милое и родное лицо; пожимает плечами, возвращается в горницу, преследуемый мыслью: «Когда-то я уже рисовал это лицо... Рисовал?.. Где же я оставил свою папку?»

Берет голубой конверт. На дне картонной коробки листочек. Из которого конверта выпал? Небольшой листочек, вырванный из записной книжки. «19 апреля 1954 года. В Вильнюсе встретился с Саулюсом. Ах, брат мой...» И все. «Ах, брат мой...» Выскользнувшая из пальцев бумажка летит на стол.

Брат мой...

— Людвикас?! — Телефонная трубка едва не выскользнула из рук, закачался тесный, заставленный тремя письменными столами кабинет.

— Да, это я. Давно ты не слышал моего голоса.

Три года, а может, целых четыре? Несколько писем, коротеньких,

⁵ Янонис Юлюс (1896—1917) — литовский поэт и революционный деятель.

ничего не значащих. «Пиши мне, Саулюс...» Саулюс лишь по праздникам посылал несколько обязательных фраз.

— Откуда звонишь, Людвикас?

— Приехал, хочу тебя видеть.

— Это хорошо, Людвикас.

Зажатая в руке телефонная трубка показалась тяжелой.

— Ты занят сейчас, Саулюс?

— Нет, нет... То есть немножко. Через полчаса...

— Буду ждать у Кафедрального собора.

Саулюс все еще держал в руке трубку, и в холодном редакционном кабинете громко гудели короткие сигналы.

Озябший Людвикас в сером дождевике стоял среди белых колонн портала Кафедрального собора. Саулюс заметил его издали — не узнал, просто решил, что это он, — хотел пройти мимо, хотел потянуть время, но Людвикас зашагал навстречу. На улице наверняка бы не узнал, подумал Саулюс. Господи, какой он старик, дряхлый старик... Подал руку как чужому. Чтоб только не бросился обнимать! Но чувствительность в их семье давно остыла, и Людвикас только чуть дольше подержал правую руку Саулюса, сжимая обеими озябшими ладонями, пристально глядя на него счастливыми глазами.

— Это хорошо, Саулюс. — Дрогнули губы, щека судорожно дернулась. — Это хорошо, что мы встретились.

— Хорошо, Людвикас.

— Возмужал. Плечи какие. Спортом занимаешься?

— Когда есть время. Фехтовал, но бросил. Некогда.

— Конечно, все не охватишь. А я вот... — разведал руками, вздохнул.

Погода была осенняя, дул пронзительный ветер. Людвикас ежил-ся, ему и впрямь было холодно в тоненьком потертом плаще. В общезжитие Саулюс пригласить его не мог — в комнате жили впятером, не только поговорить не с руки, но любопытные приятели пристанут с расспросами, пойдут кривотолки, опять начнется... Хватит уже того, что было. Спасибо всем. И матери, и братьям, и сокурсникам...

Они вышли на проспект (посидим где-нибудь, сказал Саулюс), шагали в спешащей толпе молча, не зная, где отыскать спокойное местечко. Но смогут ли они поговорить откровенно, даже если усядутся вдвоем в пустом зале ресторана? И впрямь — о чем им говорить? Не важно, что долгие годы не виделись. Их разделяют не только годы. Что же еще? Людвикас, наверно, даже не догадывается. «А может, выложить все? Замахнуться, как топором, и рубануть без жалости? Пусть рассыплется в прах прогнившее родное гнездо, пусть рухнут трухлявые семейные подпорки. Замахнуться... Меня-то ведь никто не пожалел. Каждый день как на иголках... Бегу и не могу убежать от того дня, который послужил началом этого моего бега на месте. Если б не эта девчонка... Поначалу я так и подумал по простоте душевной».

...Она пришла в среду после полудня. Девчонка из нашей деревни — Милда, Рукнисова Милда. Я учился с ней в одном классе, правда потом она перестала ходить в школу, потому что отец-новосел уехал в лес за дровами и не вернулся, мать захворала и Милде пришлось смотреть за двумя маленькими братиками. Во время каникул я как-то к ней зашел; зубастая ее мамаша поносила мировую сумятицу, в которой она не могла разобраться, а Милда стирала белье да готовила обед. Вроде так и должно быть — она не жаловалась, мне нравился ее веселый нрав, ее смех, такой редкий в те дни. «Братишки подрастут, там видно будет», — сказала Милда. В одной половине опустевшей избы Банислаускаса обосновалась колхозная контора, в другой — клуб-читальня. Милду пригласили заведовать читальней, и она согласилась. Она любила книги, а работы в читальне раз плюнуть: вечер устроить, стенгазету повесить. И в этот день цветастое платье Милды мелькнуло за вишенником. Я ворошил прокосы клевера у дороги.

— Найдешь сегодня время? — спросила.

Мне хотелось вонзить грабли и взять девчонку за руку. Сам не знал, куда поведу, но так хотелось чувствовать ее рядом.

— Чего уставился? — рассмеялась Милда, наклонившись, сорвала тимофеевку. — Целых две недели как дома и не можешь зайти.

— В воскресенье собирался...

— В воскресенье танцы. Мне нужна рука художника!

Это потешило мое самолюбие, я торопливо согласился:

— Я приду, Милда. Скоро приду.

Когда под вечер, умывшись и надев чистую рубашку, сказал матери, куда иду, она обругала: лучше бы дома сидел. Я только пристыжился и пообещал долго не задерживаться.

Милда ждала меня в читальне. На столе был разложен большой лист плотной бумаги.

— Вот хорошо-то! — обрадовалась Милда, схватила меня за руку, потащила к столу. — Напиши объявление: в воскресенье устраивается вечер танцев, начало в девятнадцать ноль-ноль. И что-нибудь нарисуй.

Вручила мне коробочку с акварельными красками и кисточку, а сама встала коленями на стул и облокотилась на стол. Аршинными буквами по всему листу я написал объявление, а внизу нарисовал танцующую пару. Раззадорившись, еще добавил:

Приходите стар и млад,
Веселиться каждый рад!

— Люкс! — хлопала в ладоши Милда. — Увидишь, сколько народу соберется. Придешь?

— Если будешь танцевать только со мной, — расхрабрился я.

Милда прильнула ко мне, чмокнула где-то возле уха. Ухо запылало, и я глядел на девушку, захмелев от наплыва добрых чувств.

— Что еще? — спросил я, приготовившись сделать все, чего только она пожелает. — Может, еще что нужно?

— Виньетку для стенгазеты, Саулюс! Ты успеешь? Ведь еще не поздно. Я просто боялась просить, ты ведь теперь такой...

— Хорошо, Милда. Чего бы ты ни попросила, я всегда...

Смеркалось, но я разложил новый лист бумаги и наверху слева карандашом набросал контур кремлевской стены. Еще в школе в стенгазете мы обязательно рисовали кремлевские башни и стрелки часов непременно показывали без пяти двенадцать. И теперь я нарисовал и часы и стрелки. Милда следила за каждым движением моей руки, жарко дышала. Прядка ее волос коснулась моей щеки, и у меня дрогнула рука. Где я был раньше? Такая девчонка, а я... осел...

— Набери воды, — попросил я.

Она взяла со стола стакан, сделала шаг. Стакан выпал из рук, брызнули осколки, Милда охнула. Я разинул рот, чтобы сказать: осколки к счастью, — но увидел ее застывшее лицо, расширенные глаза, глядевшие на дверь. Повернул голову. В дверях стоял высокий старик.

— Воркуете, голубочки?

Старик шагнул к столу. Вслед за ним вошли еще двое, оба с автоматами, молодые. Одного, совсем еще паренька, я узнал. Вместе ходили в начальную школу. И он меня узнал, пробурчал взглядом, криво ухмыльнулся.

— Хо-хо, полюбуйтесь только! — Старик взял со стола объявление, что я нарисовал. — В воскресенье танцы, а! Танцы! А это что? — Он наклонился к столу. — Большевистский сбор? Кто рисовал?

Мы с Милдой молчали.

— Кто, спрашиваю?!

— Я.

— Ты... А кто ты такой? Откуда?

Рослый старик наклонился ко мне, приставил пистолет к груди, и у меня мелькнула мысль, что это Густас. В глаза я его не видел, но по

рассказам матери и Каролиса хорошо представлял — это он! Только он может быть таким.

— Откуда? — повторил.

— Из Лепалотаса.

— Фамилия?

— Йотаута.

— Йотаута? — Густас удивился, даже отшатнулся. — Он правду говорит?

— Точно, — подтвердил мой друг детства. — Йотаута Саулюс.

— Не ду-мал, — процедил Густас сквозь зубы. — Йо-та-ута... Хо-хо! Еще один Йотаута. Значит, ты малевал? И стишки ты пописываешь, а?

— Его работа, — подтвердил мой одноклассник.

— О красных обозах да о светлых путях... Твои? В районной газете были напечатаны. Твои, спрашиваю?

— Мои.

— Иуда Христа за тридцать сребренников продал, а ты родину за сколько продаешь? Сколько тебе платят за эти сопли? Йотаута... Младший Йотаута... Везет мне, хо-хо!

— Командир, у тебя с этим юнцом, вижу, будет свой разговор, — заговорил все время молчавший мужчина с бородкой и заговорщицки подмигнул. — Мы с этой девицей, может, подыщем другое местечко.

— Ах вы... — с нескрываемым презрением покосился на него Густас. — Даю двадцать минут.

Милде связали руки за спиной веревкой. На побелевших ее пальцах голубели чернильные пятна. Куда ее ведут? Почему уводят? Густас ни слова не сказал Милде, ни о чем не спросил.

Тяжкая тишина длилась лишь мгновение. Из-за двери прорвался крик Милды. Меня прошиб холодный пот. Я взглянул на окно. У куста сирени маячил часовой. Густас заметил мой взгляд, его мясистые губы приоткрылись.

— А мы чем займемся, Йотаутеныш? Потолкуем? О чем же? Полагаю, ты знаешь, что вырос на моей земле? Из дерьма всех этих Йотаутов проклянулся! Что я не успел с твоим отцом с глазу на глаз потолковать, это дело случая, немцы поторопились. Зато вы все теперь у меня в руках.

Густас говорил неторопливо, спокойно. Я стоял, держась рукой за стол, ноги в коленях подгибались, сердце отчаянно колотилось. Какое мне дело до отцовской земли, думал, до брата Каролиса, я-то в чем виноват?

— Стишки все еще пописываешь?

За дверью снова раздался шорох, какие-то голоса.

— Нет, — потряс я головой.

— Не пишешь? — Вопрос ударил как топором.

— Не пишу. Давно не пишу.

Я отрекся, отказался от самых прекрасных часов своей коротенькой жизни.

Густас потянулся, поднял заросший седой щетиной подбородок, взял с пола книгу, прочитал название и швырнул в угол. Взял другую, третью. С такой же злостью запустил в угол. Потом передумал и стал бросать книги мне под ноги.

— Подними!

Я поднял с пола книгу. Это был сборник рассказов Максима Горького, который я читал еще в школе.

— Рви!

Ничего не понимая, я уставился на Густаса.

— В клочья! — Дуло пистолета уставилось в меня. — Рви в клочья, страницы выдирай!

Дрожащими руками я открыл книгу. «Челкаш» — прочитал.

— Рви!

Шорох раздираемой бумаги мурашками пробежал по всему телу.

— В клочья, в клочья!

Страницы летели по комнате, серыми пятнами ложились вокруг моих ног. Густас швырнул новую книгу:

— И эту разорви, поэт! И эту!

Хотя глаза заволок рябящий туман, я изредка разбирал: В. Миколайтис-Путинас, «Приветствую землю»; А. Чехов, «Дуэль»; П. Цвирика, «Сахарные барашки»; К. Донелайтис...

— Это «Времена года» Донелайтиса!

— Рви!

— Донелайтис... наш поэт...

— Рви! В клочья!

В ярости Густас не заметил, как «Времена года» соскользнули на пол. Он швырнул другую книгу, я раскрыл ее, чтобы разорвать, но увидел иллюстрацию на всю страницу: среди раскидистых деревьев парка кудрявый юноша держал руку тоненькой девушки, а из-за угрюмых туч светило солнце, мерцала вода в реке... Любить, любить — говорили веселые и влажные от слез их глаза. Эта холодная, воспитанная девочка, этот гордый юноша горели желанием жертвовать собой, страдать, умирать за другого. Мои руки держали первый том «Жан-Кристофа», который четыре года назад я проглотил два раза подряд и не мог наглядеться на гравюры Франца Мазереля, которые тогда стали для меня художественным букварем, а суровое содержание книги — мучительным познанием жизни, человека в творчестве.

«...жертвовать собой, страдать, умирать за другого».

— Рви, поэт.

— Не могу... Не могу!

Я рухнул на колени на кучу разорванных книг, прижимая к груди «Жан-Кристофа». Густас расхохотался.

В этот миг открылась дверь, в комнату втолкнули Милду. Она упала. Волосы закрывали лицо, цветастое платье было изодрано в клочья. Светились белые бедра, на обнаженной груди алела капелька крови. Я только теперь осознал, для чего они уводили Милду, и оцепенел от этой мысли — застыл, подняв голову и опираясь на груды книг. Из-под упавших на лоб волос Милда глядела на меня среди разодранных страниц. Неужели она все поняла? Может, слышала крик Густаса: «Рви!»?

— Насытились? — Густас бросил взгляд исподлобья на своих парней, смачно сплюнул. Ухмыляющиеся рожи подчиненных охладил Густаса, и он показал дулом пистолета на Милду, потом на меня. — К стенке!

Школьный товарищ пнул меня сапогом в спину, я поднялся, перешагнул через книги и стал рядом с Милдой. Она смотрела в угол, стыдясь своего истерзанного тела и, может, меня.

Перед нами стояли трое мужчин. Я не видел их лиц. Ничего не видел, слышал только, как бьется кровь в висках, будто кто-то забивает кол: вот — и — все... вот — и — все...

— Обвиняются в измене родине. — Густас огласил приговор, подняя пистолет.

Вот — и — все... вот — и — все...

Два выстрела оглушили меня, я пошатнулся. Но почему не чувствую боли... почему ничего не чувствую и стою на ногах?..

Милда упала, ее голова глухо стукнулась о пол, застланный страницами разорванных книг.

— А этого? — спросил мой друг детства.

— Пока он не стоит пули. В другой раз найдем, — сказал Густас и показал головой на дверь.

Они торопливо ушли. Я не мог вдохнуть, не мог сделать шаг. Наконец посмотрел на упавшую Милду. Страницы книг вокруг нее стали красными.

Шатаясь, выбрался на двор, уцепился за забор. Скулил, как ма-

ленький, стучал зубами. Меня тошнило, по подбородку струилась клейкая слюна. Хотел заплакать, но не мог, глаза оставались сухими.

Когда прибежал домой, были уже сумерки. Мать с ведром шла от колодца. Вода плескала на ее босые ноги. Я взял из ее рук ведро, опустился на колени и долго пил.

— Плохо тебе? — спросила мать.

Я вскочил, опрокинул ведро.

— О нет, очень хорошо! — закричал. Наконец-то я мог кричать. Мне хотелось кричать во все горло. — Я жив! Только Милда там лежит... Спасибо вашему Густасу. Это он... он!..

Вбежав в хлев, вывел кобылу прыгнул на нее, нажал пятками бока...

Перед Пренаем поостыл. Мелькнула мысль — лучше бы вернуться... Густас, если узнает, что я сообщил народным защитникам, не простит. «В другой раз найдем», — сказал. Но как я могу молчать, если все видел, если на моих глазах...

Лейтенант выслушал меня внимательно, нервно сжимая кулаки. Задал несколько вопросов.

— Будет лучше, если переночуешь здесь, — сказал наконец.

— Я вернусь.

— Нет, нет. Переночуешь здесь. — И приказал парню с прыщавым лицом вести кобылу во двор и покормить.

Я лежал на дощатой скамье. Сон не брал. У двери расхаживал часовой. Я попросил выпустить меня. Тот покачал головой:

— Завтра. При свете дня все лучше видно.

Наутро около полудня отвели меня на второй этаж, к начальнику. Тот велел подробно рассказать о вчерашнем происшествии.

— Кого узнал из бандитов?

Сказал.

— Откуда их знаешь?

— С одним в школе учился, говорил уже.

— А Густаса?

— По рассказам матери, брата.

— Откуда они знали Густаса?

Я путался в ответах — слишком мало знал об отношениях своих родителей с Густасом, чтобы разобраться в них.

— Кто рвал книги?

Этот вопрос не застал меня врасплох, я ждал его.

— Они.

— Кто они?

— Бандиты.

— А что ты делал, когда они рвали книги?

Я пожал плечами.

— Стоял.

Начальник не спеша постукивал костяшками пальцев по черному цербатовому столу.

— Почему бандиты не заставляли тебя рвать книги?

— Не знаю.

— А как тебе сейчас кажется: почему они тебя пощадили и оставили в живых?

— Я не комсомолец.

— Заведующая читальней Милда Рукните тоже не была комсомолкой... За что осужден твой брат Каролис Йотаута?

— Не знаю.

— Что хотел разбазарить колхоз, не слышал?

— Меня тогда не было в деревне. Не знаю.

— Не знаешь. Ты ничего не знаешь. Тебе двадцать один год, помни об этом. В нашем отряде часть парней помоложе тебя и каждый день сражаются с бандитами. Не прикидывайся дурачком, Саулюс Йотаута. Вот мой совет. Призадумайся!

Двое суток я отвечал на подобные вопросы. А когда выпустили, ужасно не хотелось возвращаться домой. Но ведь было велено через неделю снова явиться на беседу. Так они таскали меня целый месяц.

— Куда собрался? — спросила мать, увидев, что я складываю пожитки в чемодан.

Я не мог больше оставаться в деревне. Из каждого угла смотрели на меня глаза Густаса, преследовал голос: «Рви!.. В клочья!.. В другой раз найдем...» Бесили вопросы следователя; хуже всего, что они затрагивали правду, я от нее убегал. В доме было душно и тяжело, и я винил свой дом больше всего. Обвинял весь мир, отвернувшийся от меня.

— Уезжаю,— буркнул, не поднимая головы.

— Сентябрь еще далеко...

Спокойный голос матери вывел меня из равновесия.

— Не держи меня! Не удержишь! Лучше мне уехать, мама, чтоб я не поджег этот дом.

У матери в руках охалка белья, принесенного со двора. От него потянуло ветром и солнцем. Молча смотрела, как я укладываю книги, тетради. «Твои стихи»,— словно шепнул кто-то на ухо; я выхватил из чемодана толстую тетрадь и яростно стал рвать ее. Понял, что выдал себя — мать теперь догадается, что и в читальне я рвал книги,— и меня охватила ярость.

— Не могу больше!.. Почему я должен отвечать за брата, отца, даже за деда? Почему? Ты молчишь, мама!

— Сын, у тебя только один дом...

— Проклятый!..

Мать отшатнулась, как от пощечины, но я не понял, почему ее так ранило это слово; захлопнул чемодан и бросился в дверь. Была утренняя пора, после бессонной ночи кружилась голова, ноги онемели, казалось, я упаду без сил посреди поля, свалюсь на колкое жнивье. Мне хотелось побыстрее оставить за собой эти ольшаники, окна родной избы. Оглянувшись через плечо, увидел на веранде мать с охалкой белья, и у меня кольнуло в груди: злость, обида, жалость — сам не знаю что. Я бежал без оглядки. Даже не думал, куда спешу, куда так добегу.

Вечером приехал в Вильнюс. Коменданту общежития, добросердечному дядьке, сочинил какую-то историю, и он отпер комнату, принес постель. Рухнул на кровать будто мертвый. Проснувшись под утро, заметил, что подушка мокрая от слез. Перевернул ее, стиснул зубы и устоялся в пятнистый потолок бывшей монастырской кельи.

Проболтался в городе весь этот месяц. Нашел приятелей, с которыми ходили на железнодорожный вокзал разгружать вагоны, пили вино и мятный ликер. Когда начались лекции, сидел на них дурак дураком, ничего не соображая, на этюдах не повиновались руки, и преподаватели диву давались, что со мной стряслось. Я молчал. Все-таки проговорился одному приятелю, что меня ставили к стенке, что у меня на глазах погибла девушка. Просил никому не рассказывать. «Не хочу выглядеть героем»,— добавил. Несколько дней спустя весь институт уже знал мою историю, студенты смотрели на меня как на существо с того света, с сочувствием расспрашивали, и я постепенно стал рассказывать всем и каждому, проклиная бандитов. Кому нравилось это, кому не нравилось, а комсорг пристал ко мне:

— Послушай, Йотаута, как ты до сих пор не в комсомоле? Пиши заявление.

Я не колебался, мне казалось, что это единственный способ хоть как-то сгладить свою вину. Буду активным комсомольцем, думаю, может, даже дадут мне оружие и пошлют в деревню. Не побююсь, первым пойду, докажу... Главное — сам себе докажу, может, хоть тогда перестанет преследовать меня взгляд Милды.

В автобиографии откровенно написал: «Мой брат Каролис осуж-

ден и находится в заключении...» Документы вручил комсоргу. Прбыло несколько месяцев, и я наконец спросил:

— Ну как, когда?

— Жди,— коротко сказал секретарь.

Вызвали меня уже к весне. На заседании комитета зачитали мое заявление и автобиографию (по голосу, которым читал комсорг, я понял — дело плохо), спросили:

— За что осужден брат?

— Не знаю,— растерянно ответил я и подумал: правда, почему я прикидываюсь дурачком? — Каролис был председателем колхоза и велел людям все забрать из колхоза. Всю скотину, все.

— Значит, за связь с националистическим подпольем?

— Я осуждаю его. Он получил по заслугам...

Еще несколько раз я осуждал своего брата, желая во что бы то ни стало доказать свою правоту, но вскоре услышал: я, Саулюс Йотаута, собирался пролезть в комсомол, чтобы вредить изнутри. Это басни (так и сказали — басни!), что меня ставили к стенке. Это только попытка коварно замаскировать себя.

— Таким не место не только в комсомоле, но и в институте,— заключил комсорг, и никто не стал возражать.

Моя судьба висела на волоске. Одни приятели отвернулись от меня и даже перестали разговаривать, другие втихомолку советовали плюнуть на все и подыскать работенку, третьи издевались надо мной, над всем издевались... Шли дни, разговоры приутихли, и лишь позднее я узнал: если бы не Маэстро, заступившийся за меня, я бы с треском вылетел из института. Однако я не испытывал благодарности к профессору. Работа долго не давалась, все валилось из рук, и не только потому, что частенько кишки с голодухи играли марш. О стихах я больше не мог и подумать. «Рви... в клочья, поэт... рви...» Я вскакивал с постели и боялся закрыть глаза, чтобы опять этого не увидеть.

О чем же мне сейчас говорить с Людвикасом? Рассказать все до мелочей? А что я знаю о нем самом? И какое мое, в сущности, дело?.. Людвикас молчит и пускай себе молчит. Я тоже помолчу. Вот усядемся в столовой и помолчим...

— Или ты хочешь в ресторан? — спросил, раздеваясь, Саулюс.

— Не помню уж, когда там был. Да и одет не для ресторана,— сказал Людвикас.

Уселись в углу за уставленный грязной посудой столик — только этот был свободен. От запахов кухни Саулюса затошнило, и он торопливо ушел в туалет. Когда вернулся, Людвикас сказал:

— Я уже заказал. Я и графинчик попросил. Художники любят выпить, верно? — Людвикас усмехнулся, и Саулюс подумал, что брат издевается над ним.

— Я не художник, я студент.

— Да, есть разница. Но ты работаешь?

— Внештатным. Знакомый устроил в редакции. Это халтура. Придется бросать.

— Не торопись бросать. Лучше иметь почву под ногами.

Наставительный тон старшего брата раздражал Саулюса.

— Из дому помогают?

— Знать не хочу о доме.

— О! Почему?

Толстая официантка в грязном переднике принесла две рюмки, графин водки, закуску. Людвикас налил брату, налил себе.

— Мы ведь с тобой еще ни разу не пили. Ты ребенком был, а я... Чтоб у тебя все было хорошо, Саулюс!

Саулюс ничего не ответил, опрокинул рюмку.

— Даже не поморщишься,— усмехнулся Людвикас.

— Жизнь научила не морщиться.

Выпили по второй и третьей, закусили. Саулюс заметил, что рука Людвикаса с вилкой дрожит. Старик, хотя ему только сорок. Парнем в Испании сражался. Саулюс в школе читал книгу про эту войну... А он сам в горах, с винтовкой...

В груди стало тесно. Саулюс наполнил рюмки.

— Недавно в деревне был, — нарушил угрюмую тишину Людвикас. — Мать наша мается. И Юлии нелегко с детьми. Каролис пишет редко, видно потерял надежду. Вот так мы живем, Саулюс.

— А почему? Почему так?

Людвикас не растерялся, даже глаз не отвел от покрасневшего лица Саулюса.

— Кого ты обвиняешь?

— Всех! И себя!

— Ничего как следует не узнав? Ведь у каждого из нас сердце на свой лад бьется, хотя в жилах родная кровь. Есть вещи, которые превыше всего, из-за которых ничто не страшно. Ты слышишь меня, Саулюс?

Саулюс желчно скривил рот. Людвикас помолчал и спросил, внимательно глядя на брата:

— Были неприятности из-за Каролиса?

— Наоборот, для меня такая честь — один брат арестован! Зато другой — герой испанской войны!

Пальцы Людвикаса переплелись, сжались, на висках вздулись жилы. Но это длилось лишь короткий миг, Людвикас сгорбился, на высоком лбу и глубоком шраме, протянувшемся по виску, проступила испарина. Наполнил свою рюмку и вышил.

— Герой испанской войны, говоришь. И произнес этак с насмешечкой. Надо мной можешь потешаться, но над всем, что там было... Саулюс, брат мой, не смей поливать грязью святое.

— Святое?

— Вера в истину всегда свята. И борьба за истину свята. И стремление быть человеком — свято. «Страдай. Умирай. Но будь тем, кем быть обязан: Человеком». Помнишь, чьи это слова?

Саулюс задохнулся от страха. Ведь совсем недавно вспоминал Жан-Кристофа. Людвикас читает его мысли.

Когда подошла официантка, графинчик на столе был уже пуст и Людвикас торопливо рассчитался.

На улице сказал:

— Мать просила напомнить: у тебя есть родной дом.

Ушел, сунув руки в карманы дождевика, прихрамывая, весь какой-то перекошенный.

Саулюс повернул в противоположную сторону, шел будто слепец, задевая за людей и уличные фонари, потом чья-то рука как будто дернула его за полу, и он нырнул в узкую дверь на Татарской улице, обеими руками ухватился за залитый пивом прилавок и попросил:

— Сто грамм... из этой... — ткнул пальцем в бутылку водки.

«Ах, брат мой...»

Маленький листочек с несколькими словами падает в картонную коробку. Саулюс Йотаута швыряет его как в печку, пусть сгорит, чтоб не обжигал, хотя знает, что раскрытую книгу прошлого не разорвешь, не рассыпешь белыми страницами по полу и не сожжешь...

«1938, август. Третий месяц в госпитале в Барселоне. Бомбы разрушают город Колумба.

Врачи говорят, что буду видеть и левым глазом. Выше, моя звезда».

«1941, май. Получил письмо. Пишет Эгле! Сколько лет не было ни весточки. Откликнулась. Она меня ищет. На всевозможные адреса посылала мне письма, но они меня не находили. Эгле... Моя Эглуже... Тут же написал ей письмо. В Париж. Как она там оказалась? Эгле, Эгле, повторяю это слово целый день.

Мы возводим военные укрепления... На улицах Гааги гремят гитлеровские марши.

...Ты откликнулась, Эгле, и в лицо дохнул ветер родных полей».

Рука Саулюса Йотауты не может утнаться за скачками мысли, не успевает набрасывать на бумаге линии. На лице — кричащая боль, на лице — тоска по счастью, на лице — решимость и сила. Целая кипа листов. Лица, лица... Люди! Страдания и счастье людей, их будни и борьба. Руки мужчины, обнимающие женщину, сжимающие винтовку, швыряющие гранату... прокладывающие прокѳс на лугу и режущие хлеб за столом... Руки женщины, прижимающие к груди младенца, поднимающие на руках венки дожинок, словно солнце, встречающие мужа, возвращающегося с войны, провожающие сына из ворот...

Почему так все явственно стоит перед глазами и почему, едва превратившись в черную линию, в штрих, утрачивает жизнь, тут же умирает? Но вот ведь живые глаза, мощь сжатого кулака, напряженной струной дрожащее ожидание... Саулюс радуется и одному, и другому, и вот этому третьему эскизу. Сделаны они второпях, к ним еще придется вернуться, переделывать, искать, шлифовать. Многие потускнеют, поблекнут, и их придется безжалостно отбросить.

...Если так работать до вечера... Нет портрета матери, пронзает мысль, удерживающая руку. Не новая мысль, уже который раз сегодня приходит.

Тускло смотрит на бумагу и ничего не видит. «Почему я никогда не рисовал мать?» Отталкивает лист, швыряет на стол карандаш.

— Устал, — негромко говорит Саулюс, встает из-за стола.

Сложенные четверо два тетрадных листка рядом с коробкой. Саулюс не помнит, читал ли их...

«...Послевоенная разруха, настроения людей, их надежды, выстрелы из-за угла и трупы... Ведь крестьянин растерян как никогда. Я так и сказал.

— Любопытно. Говорите, говорите, — подбодрил меня седеющий человек, которого я знал еще по подполью.

— В окрестностях Арагона крестьяне рассказывали, как их силой стогнали в коммуны. Там анархисты даже упразднили деньги, уже настал коммунизм, мол.

— Да, любопытно.

— И нашему крестьянину сегодня нелегко все понять. Тем более что действует второй фронт.

— Как вы выразились? Второй фронт?

— Фронт националистов. Я понимаю, не всегда легко отделить зерно от плевел, но за своего брата Каролиса ручаюсь головой — он не виноват. Может, чего-то недопонял...

Рано утром я уехал в Лепалотас и сказал матери, что Каролис вскоре вернется. Она обрадовалась.

— Я знала, что ты поможешь.

Меня согрели эти слова...»

Почему я никогда не рисовал мать?

И Каролиса, и Людвикаса...

Я никогда не рисовал свою мать...

Глава шестая

Матильда все чаще сидит без всякого дела, прислонясь к высокой спинке кресла. Тянет посидеть вот так. Как после длинной дороги, после непосильных трудов. Но разве короткой была ее дорога? Посильным труд? Кто сосчитает ее шаги, сделанные изо дня в день за эту вереницу лет? Кто опишет тяжесть ее ноши? Жила ведь на глазах всей деревни, и деревня ей была судьей. Да еще она сама, Матильда.

Пожалуй, для себя самой судья строже и безжалостней; и по сей день такой осталась. А если уж начистоту, то строга была и к другим. Строга к своему мужу Казимерасу, к своим детям. Даже сейчас, когда постарела и остался лишь последний шажок, Матильда не выпускает из рук весов. Но легче ли от этого ей самой, светлее ли ее взгляд? Матильда не знает и не могла бы ответить, но слышит голос сердца — так надо, чувствует толчки крови: только так... только так... Она всегда слушалась своего сердца.

— Саулюс Йотаута...

Голос негромок, и мать даже сомневается — сама ли окликнула сына? И как никогда, фамилией назвала, будто постороннего. Нет, не постороннего.

— Саулюс Йотаута...— Матильда окликает еще раз и думает: наверняка это голос рода Йотаутов напоминает, что это ее долг, материнский долг сказать сыну страшную правду.

Уже час или два прошло, как Саулюс заперся в горнице. Письма Людвикаса понадобились. Почему Саулюс окровавленными пальцами роет землю вокруг ствола и ищет корни? Ту самую землю роет, которую когда-то сам ссыпал да ногами утрамбовывал. «Откуда эта, мама?» — спросил, когда пришел с карточкой Эгле. И все, ни о чем больше не спросил. Но почему он так долго?... Матери тревожно, она цепляется за ручки старинного кресла, подается всем телом вперед. Кресло скрипит, стонет суставами. Отслужило свое, отжило, пора выбросить на растопку. К каждой живой твари и неживой вещи является костлявая. А что дальше? Пока еще не поздно, ты сама пойдешь к сыну. Не как суровый судья, а как мать. Ведь только мать может все на свете: и боль вынести и вину простить. Вставай, Матильда, и иди, не мешкай. Ты и так долго ждала и молчала. Может, в этом и есть твоя вина, в молчании-то. Иди, Матильда, открой дверь горницы...

Нахлынувшая слабость отнимает силы, мать не может подняться и сделать шаг. Посидит немного спокойно, ни о чем не думая. Ведь бывает так, что падаешь, падаешь будто в яму какую-то, думаешь, и не встанешь больше, а глянть — туман перед глазами рассеется и плетешься дальше. Да и чего желать-то, во всей деревне второго чело века ее лет не отыщешь. А кажется, много ли Матильда и прожила-то? Несутся дни отчаянно — идешь, не поднимая головы, и не находишь минуты о себе подумать. Едва успеешь кудель льна спрясть, как уже и весна, едва успеешь огороды убрать — зима. Хорошо бы только бабьи работы! И мужские тоже. Матильда брела, стиснув зубы, и не жаловалась. А кому могла пожаловаться, если по правде? Разве что самой себе. Или Казимерасу, покоящемуся на пригорке под двумя елями.

Люди любят говорить: знать бы, что тебя ждет. Матильда сама не знает, когда именно сердце стало предупреждать ее. Кажется, еще в юности чуяла: вот-вот что-то случится — и забрали ее Казимераса на войну. И в день его смерти сердце с самого утра, а то и раньше, вздрагивало: жди беды, не спускай глаз с Казимераса. И окажись она рядом, оторвись от этих нескончаемых работ, которые не умела откладывать, наверняка не постигла бы божья кара. Сколько она потом думала, днем и ночью места себе не находила, хотя никому и не показывала; конечно, лучше не стало, а люди решили: легко и быстро забыла она своего муженька, зарыв в неосвященную землю. Деревня косилась на нее долго, пожалуй, до той тяжелой весны, когда народные защитники увезли Каролиса в Пренай, а она пешком добралась до шоссе, на попутке в тот же день доехала до Каунаса и сказала: «Людвикас, сынок, выручи своего брата!»

Стиснув зубы, поглядывала на дорогу, смотрела в окна, ночью вслушивалась в малейший шорох. Но никто не постучал, не позвал, и Матильда не знала уже, что и говорить плачущей снохе. Все утеша-

ла: надо ждать, раз Людвикас сказал, что Каролис вернется, значит, вернется. И обругала, потеряв терпение: береги здоровье, за собой следи, на кого похожа стала, девочки растут, ты не одна. Юлия и впрямь на человека стала не похожа, хоть в гроб клади. Даже девочку, утром уходящую в школу, покормить не могла. Бродила день-деньской будто ослепнув, а больше сидела на кровати да покачивалась, схватившись руками за голову. Едва пес залает или мелькнет кто во дворе, сразу бросалась то к одному окну, то к другому. Но вспыхнувшая в глазах надежда снова гасла.

Когда сошел снег и подсохли обочины дорог, Матильда, спозаранку покормив скотину, выбралась в Пренай. Она знала этот белый двухэтажный дом на углу широкой площади, обсаженной молодыми липками. Прошла мимо него, издали одним глазком покосилась. Подлетел грузовик, остановился у ворот. Соскочили двое с винтовками, громко заговорили о чем-то. Открылись высокие ворота, машина въехала во двор, где лаял пес величиной с теленка. Рядом, перед домом, пахнущим хлебом, стояла длинная очередь. Люди устало перминались с ноги на ногу, молчали. Светило ясное утреннее солнце, зудели черные огромные мухи. В очереди заплакала девочка, и старик положил ей руку на голову. «Потерпи, не маленькая,— сказал.— Сейчас привезут хлеб».

Матильда смело повернула к открытой двери.

— Куда? — остановил ее часовой у лестницы на второй этаж.— К кому?

Матильда внимательно посмотрела на пожилого мужчину в высокой фуражке. Вроде видела где-то, может, тогда на дороге, когда она остановила сани и силой вырвала Юлию с девочками.

— Мне нужен самый главный.

— По какому делу?

— Я Матильда Йотаутене из Лепалотаса, и мне нужен самый главный,— твердо сказала она.

И мужчина с винтовкой объяснил:

— Наверху... Первая дверь слева...

Она была уже на втором этаже, когда услышала, что часовой матерится. Еще задержит, подумала, и рывком распахнула эту дверь. В большой комнате были двое: один, весь в орденах, сидел за столом, а другой стоял напротив. Человек резко встал за столом, заложил руки за спину.

— Чего врываешься, женщина, это не деревенская изба. Подожди за дверью.

Матильда шагнула вперед.

— Я спросить хочу.

— Говорю, надо подождать за дверью. Сейчас я занят.

— Я только спрошу и уйду.— Матильда как будто не поняла, что говорил ей человек в орденах.— Почему мой сын не возвращается, я хочу знать. Каролис Йотаута из Лепалотаса.

Человек сел и тут же опять вскочил, не спуская глаз с Матильды.

— Вы мать Каролиса Йотауты?

— Я Матильда Йотаутене, мать Каролиса.

— Это вы тогда моих людей разогнали?

— Кто позволил женщине трогать, малых детей? За что?

— Врага надо с корнями вырывать...

— Каролис — враг?! Я врагов не рожала. Я спрашиваю — почему он домой не идет?

— Его здесь нет, уехал подальше. Отсидит сколько положено и вернется.— Человек в орденах говорил, не спуская глаз с Матильды.— Борьба обостряется, женщина, и я сожалею, что твой сын попался на удочку врага...

Шла домой, не видя света, не слыша жаворонка, заливающегося над белеющей пашней. Перед глазами вставала вся ее жизнь, жизнь

Казимераса, так не вовремя оборвавшаяся, жизнь ее детей, которых вырастила с таким трудом. Неотступно шли войны, хвори, беды. Почему так страшна дорога человека? Споткнувшись, встать и опять идти, идти. Надеяться на лучшие дни, верить в будущее детей. Дети, дети мои... Каролис... Людвикас... И ты, Саулюс... Когда же настанет тот день и вы все трое усядетесь за стол в горнице, сбросив с плеч заботы, словно грязные башмаки оставив за дверью, и скажете: «Как славно вот так посидеть»? Ох и далек же он, этот день, чует материнское сердце, ее детей тоже ждет каменистая дорога. Сколько лет, сколько долгих-долгих лет придется вам добираться до дома у извиистой речки Швянтупе. Мать бегом пробежала бы эту дорогу, и ноги бы не устали, ведь нет в мире такого бремени, которое не под силу матери... А ее дети, ее сыновья? Что она скажет снохе Юлии, которая с надеждой отпустила ее из дому? Что скажет внучкам, когда те прильнут к ее коленям?

Сказала все, что слышала, и положила ладонь на сплетенные руки снохи.

— Будем ждать, Юлия. Ведь придет однажды.

Юлия сидела на краю кровати — застывшая, будто вытесанная из камня, даже ресницы у нее не дрогнули. Дышала тяжело, глубоко, приоткрытым ртом ловила воздух. Вдруг прижала ладони к лицу, откинула голову и, жутко заскулив, расхохоталась безумным смехом.

— Юлия!

Она тряслась всем телом и хрипела.

— Этого ли я ждала!.. Думала ли...

— Юлия!

— Ничего я не хочу...

— Успокойся, Юлия! — Мать силой оторвала руки снохи от лица, крепко сжала, встряхнула. — Успокойся. Ведь жив Каролис-то, вернется.

Юлия тупо глядела сухими остекленевшими глазами в сторону, потом повернулась всем телом к свекрови, посмотрела.

— Это ты, мама... Из-за тебя!..

Матильду пронзил этот ледяной взгляд, по спине побежали мурашки.

— Господи! Очухайся, Юлия.

— Если б не ты, мама, я сейчас вместе с Каролисом была бы. Все были бы вместе. Это ты нас оторвала, ты, мама!

Опустилась Матильда на кровать перед снохой и никак не могла взять в толк, как это случилось, что сама оказалась в виноватых. А может, она и впрямь виновата? Родного сына Каролиса выпроводила, а сноху и ее девочку приютила. От горя их уберегла, от страданий. Неужто и впрямь это так? Удивительное дело: раньше Юлия точно не видела Каролиса, лишь о девочках заботилась, ни слова теплого, ни ласки, ледышкой казалась, а теперь вот убивается, дочки уже ей не дочки, только Каролис да Каролис. Почему ее сердце так перевернулось? Пройдет ведь, все проходит, жизнь самые глубокие раны лечит, утешает себя мать. И все-таки слова снохи жгут сердце. Деревня Матильду не только поняла — чтילה, будто святую. Бабы говорили: на такое решилась, такую доброту к снохе да ее девочкам показала... Матильда только отмахивалась: перестаньте, к чему эти разговоры. И мужики заходили. Спросив о том да о сем, говорили: если что нужно будет, Матильда, кликни, все бросим и прибежим. Но в деревне так уж бывает — все быстро обещают да еще быстрее забывают. Ведь у каждого свои работы на пятки наступают, свои заботы поедом едят. Дни не ждали. Запоздавшая весна позвала всех в поле. Кто пахать будет, кто боронить, кто ячмень сеять. Пускай от всех гектаров остались лишь сотки, но и они не могут стоять под паром, пырей и сама жрать не будешь и другим не подашь. Так вот, Крувядис, сосед, может, найдешь для меня денечек? Свое еще не переделал. Может, ты,

Швебелдокас? Говоришь, лучше самогонку гнать. Нет так нет. У Матильды самой руки-ноги есть. И голова на плечах, вот увидите! Не важно, что борозда кривая, что плуг норовит из нее выпрыгнуть! Тпру!.. Назад, сивка. Поехали! Папаша Габрелюс, помнится, вот так прямо и крепко держал рукоять плуга. И Казимерас... Почему она сейчас вспоминает Казимераса с его деревянной ногой, уцепившегося за плуг, просто сросшегося с плугом и превратившегося в какую-то странную ковыляющую машину? И на нее если посмотреть со стороны — хоть плачь, о господи! Юбка подоткнута, босая, платок сполз с головы на плечи, волосы терзает ветер. Давай отдохнем, сивка, этот кусок вспашем, там легче будет. Нет, тебе-то легче не станет, но мои руки привыкнут. Ко всему человек привыкает, жизнь учит, не спрашивая, нравится или нет, хочешь ты или не хочешь. Жить надо, работать надо... Что ж, потопаем, сивка. Но почему вороны на ольхе каркают взахлеб? Долгое горе пророчат, большие беды? Но могут ли быть беды еще больше? Но, сивка, но-о! Едва волочишь дрожащие ноги. Не твой ли конец вороны пророчат? В кормушке на ферме была только заплесневелая солома, сама видела. Держись, сивка, мне тебя шутки ради подсунули. Держись... Принесу тебе охапку клевера, ты подкрепишься, и мне пора. Есть не хочу, но надо: сноха в постели — ей подам, может, и Алдона из школы вернулась, тоже проголодалась небось. Ты передохни, сивка, а я побежала... Кыш вы, ведьмы старые! — швыряет камнем в ворон, сидящих на ольхе, бежит по лугу домой; бежит как на пожар, ведь если подумать, и впрямь работа горит, а она одна на ногах в этом опустевшем доме. Субботним вечером придет Саулюс, а может, только в воскресенье, но от него помощи мало — по полю побродит, в окна поглядит да норовит обратно в город удрать. Тяжелая доля брата так придавила его, что по сей день трепыхается, будто воробышек в горсти. Из всей кучи детей он один остался с ней, только земля его не очень-то тянет, а если по правде — чихал он на нее. Не будь ему нужен кусок хлеба, может, и вовсе не приходил бы. Мать больше не чувствует близости, тепла, не слышит настоящего сыновнего слова. Как это получается — беда не сблизилась, а отдалила ее от Саулюса, от снохи. Только внучки ластятся будто котят, но ведь глупышки еще, маленькие...

Едва посадили картошку (Матильда пахала, внучки клубни в борозду швыряли), пришла весточка от Каролиса. Письмо было коротенькое, но полное тоски по дому. Ни словом не обмолвился о своей доле. Юлия это молчание растолковала по-своему. Были бы все вместе, говорила, чего еще желать-то. Везде хлеб с корочкой, потом да слезами подсолненный. И ему легче было бы, Каролису, и нам.

— Девочки вы мои, сиротинушки, когда нас отец преведает, когда за стол сядет? — запричитала, прижимая к себе дочерей да косясь исподлобья на свекровь.

Сноха поправлялась медленно и лишь перед сенокосом покрепче встала на ноги, вышла в огород, окучила борозду картошки. Матильда уговаривала: не торопись, привыкай помаленьку, чтобы опять не захворать. Уговаривать-то уговаривала, а сама думала: господи, как нужна ее помощь, пускай шевелится помаленьку, пускай побольше на дворе бывает, ведь и здоровый хворь подцепит, думая об одном и том же да не вставая с постели.

Попросила Крувялиса, чтоб отбил косу. Что будешь делать с косой, соседка? Накошу травы по берегам речки, корова не будет зимой мычать некормленная. А сумеешь ли? Никто не родился умеючи. Это мужская работа, может, я когда покошу. Спасибо, ты мне лучше косу отбей. Раз уж так хочешь... Иди в избу, с моей бабой потолкуешь. Нет, я лучше посмотрю, может, другой раз сама отобью. Ах, Йотаутене, соседка, ты всегда была такая... Какой жизнь меня сделала, такая и есть.

Она уселась рядышком на бревнышко и глядела, как Крувялис

аккуратно положил косу на согнутую левую руку, пальцами крепко взял за обушок, положил лезвие на бабку и медленно, спокойно принялся отбивать молоточком.

— Может, насадить косу, соседка?

— Насади. Чтоб только криво не сидела.

— Сделаю как положено, будь спокойна.

Матильда поблагодарила Крувялиса и осторожно, обеими руками взяла косу.

— Ничего не слыхала?

— А что?

— Тебе ничего еще не говорили? В твоём хлеву конеферму собираются разместить.

— Если надо будет, спросят у меня.

— Хлев не твой, пойми, казенный. Меня в конюхи звали. Как ты думаешь, братья или нет?

Матильда подняла косу, шагнула к воротам.

— Если лошади нравятся, берись.

— Думаю, какой с этого прок. Новый председатель зубы заговаривать умеет, только если спросишь, что за трудодни получим, сердится. А тут, видишь ли, соседка, дом недалеко...

— Мне хлева не жалко,— сказала Матильда.

Она уже косила, когда прискакал верхом новый председатель, присланный из волости, мужчина с красным, свекольным лицом, с черными усиками под носом. Подивился, что в колхозные времена женщина косой машет. Мужчины, дескать, накосят, за трудодни выделит. Лучше бы зерном за трудодни. Не веришь в наше завтра, Йотаутене. О хлебе думаю, председатель. Так думаешь, что даже некогда на работу выйти. Матильда стиснула косу, взмахнула. Боялась, что лезвие вонзится в луг, вот смеху-то будет. Пускай глядит. Как она может каждый день идти в артель, когда дома хоть разорвись? Вот если Юлия поправится... Рядышком лошадь хрумкала скошенную траву, мотала головой, защищаясь от слепней, позванивала уздечкой. Председатель дернул поводья, зачмокал мясистыми губами и сказал, что осмотрел хлев и решил перевести сюда лошадей бригады, после обеда, дескать, приедут строители и все оборудуют. Матильда вытерла травой лезвие косы и сказала, как Крувялису:

— Мне хлева не жалко.

Ни после обеда никто не приехал, ни на другой день. Лишь добрую неделю спустя приплелись двое мужиков, посидели в тенечке, покурили, потом попросили топор, развалили загородки в хлеву, вытащили жерди, бросили посреди двора и снова уселись под кленом. Один достал из кармана бутылку, выдернул зубами затычку и запрокинул. Пил и второй. А когда бутылка опустела, заснули тут же под кленом. Голубые мухи, вспугнутые из хлева, ползали по их лицам и раскинутым рукам. В тот вечер на хутор Йотаутов въезжала телега за телегой. Гомонили мужчины, ржали лошади. И Крувялис вертелся рядышком с кнутом в руке да знай щелкал, вроде наводил порядок. Ясное дело — взялся, теперь он конюх. И когда лошадей загнали в хлев и на дверь наложили увесистую перекладу, те же двое мужчин сели под кленом и Крувялис с ними, а неизвестно откуда появившаяся новая бутылка стала ходить по рукам.

— Могла бы угостить, Йотаутене, новоселье празднуем! — крикнул губастый мужик, но другие цыкнули на него: оставь женщину в покое.

Матильда глядела на эти перемены равнодушно и сама этому удивлялась. Тихий и пустой двор, в котором так чудесно зеленела лужайка и белели ромашки, стал похож на базарную площадь. Стояли телеги, валялась сбруя, остро пахло свежим дымящимся навозом, бродили мужчины, у открытой двери фыркали лошади. Ворота теперь все время открыты настежь. Не нужны они больше. Двор стал

общим. Кто захочет, тот пойдет, кто захочет, тот заедет. Крувьялис теперь хозяин в хлеву. Крувьялис, который на вшивых кобылах испокон веку катался, который каждую весну корма одалживал... Ишь как разбогател: вместо двух кляч целая конеферма!

Вечером Матильда долго не могла заснуть. Лошади в хлеву толкались, пинались, ржали. Стучали бревна, с треском ломались жерди. Пес, которого от хлева переселили к амбару, был не переставая. А утром Крувьялис, пришедший кормить, уже не кнутом, а палкой охаживал животных и повизгивал сквозь зубы: «Гады! Ироды! Утробы ненасытные! Нажраться не можете!..» Привезенная на телегах трава миглом исчезала, и лошади снова грустно глядели на двор, высунув головы из двери хлева, пока около полудня не начинали собираться мужики и запрягать их, а усевшись на телегу, вскачь уносились со двора. Сорванные с петель и сломанные ворота валялись на земле, а в заборах зияли бреши: гуляй как хочешь, будто в чистом поле.

Все было ничего, пока тянулись лето да осень. Едва грянули морозы, хлев затих, лишь изредка было слышно, как коняга сдирает зубами присохшую кору с жерди. Привезенные на гумно корма растаяли уже в конце января; каждое утро во двор въезжали сани с соломой и прелым сеном. Крувьялис, матерясь, тащил охапками в хлев, кидал прямо на навоз: «Жрите, утробы ненасытные, всю мою жизнь сожрите...» Лошади едва плелись, когда их гнали к пруду на водопой. Сивка, на котором Матильда весной пахала, мелко дрожал всем телом, низко свесив морду. Крувьялис огрел его палкой по хребту. На другой день выволокли сивку из хлева за задние копыта. Через все поле оттащил его в ольшаник воронок, которого Крувьялис нещадно лупил кнутом. Матильда не выдержала и вихрем ворвалась в хлев:

— Крувьялис! Я молчала, не привыкла вступать в чужие дела, но сейчас скажу: поставили тебя за лошадьми глядеть, то и гляди, а не мучай.

Крувьялис подтянул спадающие штаны, высморкался, приставив палец к одной, потом к другой ноздре.

— Йотаутене, соседка, это тебе со стороны так кажется, а пришлось бы поработать...

— Твоя работа, ты и работай, но помни, что и у животины сердце есть.

— Пришлось бы тебе этим диким табуном управлять!

— На это ты поставлен и не смей издеваться...

Так поговорили при мужиках, и Матильда ушла, кипя злостью. Нет, она не сказала того, что еще могла сказать. Конечно, нос не сует куда не положено да не подглядывает, кто приезжает поздним вечером, кто уезжает и что увозит на санях. Говорят — разлитого молока и собаке и кошке хватает, но зачем его разливать зря? И ведь пьют мужики не молоко — самогонку. А председатель и не знает ничего. Прискачет иногда, не слезая с седла, стоит посреди двора, поговорит и опять ускачет на дорогу. Его гнедок откормлен будто боров, круп аж лоснится. Не Крувьялис его кормит, и не соломы клок ему задают.

Как ни старалась Матильда и краем глаза не глядеть в сторону хлева («Пускай они хоть взбесятся, мне-то что!»), но все видела да знала. В конце февраля еще одну лошадь уволокли в ольшаник, несколько дней спустя другую... Опять поцапалась с Крувьялисом, потому что зашла в хлев и увидела, как лошади корма на навоз затапывают и вместе с навозом жрут. Юлия выговаривала ей: зачем тебе лезть, мама, мало ли своих забот, что глядишь по сторонам? Может, она и права. Поездила по докторам, малость окрепла, ожила, могла теперь по дому хлопотать да за девчонками смотреть, и Матильде полегчало. Но молчаливость снохи, ее печальные взгляды да тяжкие

вздохи, когда получала очередное письмо от Каролиса, так и говорили: «Жили бы там вместе, и ему легче было бы и мне». Эти упреки расстраивали сердце, и мать впервые в своей жизни почувствовала, как ей нелегко в собственной избе, куда лучше работать на сотках или уходить в колхоз молотить да веять зерно.

Случилось это совсем неожиданно. Во время утренней кормежки Матильда увидела, как Крувялис лупил штакетиной по головам лошадей, которые тянулись выдернуть у него из охапки почерневшую овсяную солому. Подскочив, отобрала палку.

— Убирайся, Крувялис, ты здесь не нужен.

Крувялис выкатил глаза, огляделся.

— Йотаутене! Кто лошадей кормить будет?

— Вон из хлева, я тебе говорю! — Матильда подняла штакетину.

Крувялис попятился, поддернул штаны, схватился за козырек фуражки.

— Как ты смеешь, Йотаутене? Это колхозная конеферма, колхозные лошади.

— И колхозные и мои. Убирайся!

В дверях Крувялис привстал на цыпочки, вытер руки о полы сермяги, высморкался.

— Ладно, Йотаутене, я уйду. Уже ухожу. Ушел. Но хочу напомнить: потом меня не обвиняй! Не обвиняй, соседка, ведь ты сама... Меня же власть назначила... Теперь гляди!

Матильда шагнула к двери с поднятой штакетиной, и Крувялис умчался по усеянному соломой и сеном двору не оборачиваясь.

Раздав все привезенные корма в кормушки и даже не заглянув в избу, Матильда вышла на дорогу все с той же увесистой штакетиной в руке. Решительной поступью шагала она по деревне, но не видела ее.

— Ну вот, объявилась! — сурово встретил ее в конторе председатель.

— Покормила лошадей и пришла, — спокойно ответила Матильда и только теперь в углу у двери разглядела Крувялиса. — Ага, и он тут, это хорошо!

— Плохо, Йотаутене! — Председатель топнул каблуком сапога по полу. — Плохо! Самоуправством занимаешься. — Уселся за стол, потрогал свои бумаги, сняв шапку, положил перед собой и смешно взялся обеими руками за ее меховые уши. — Кто тебя подучил, Йотаутене, давай мне начистоту!

— Подучил? Меня? — Матильда пожала плечами.

— Спрашиваю, кто тебе посоветовал напасть на конюха Крувялиса?

— Напасть? — Матильда повернулась к скромно сидящему у двери Крувялису. — Это я-то на тебя напала?

— Ты, соседка, ты на меня...

Председатель бухнул кулаком по столу, его лицо побагровело:

— Каролис Йотаута колхоз разорил, а ты — ферму. Может, по сыну соскучилась, к нему захотелось?

У Матильды потемнело в глазах. Она всем телом оперлась на штакетину.

— Значит, так, председатель... Угрожаешь? А за что? Может, я виновата, что семь лошадей пало на ферме? Я виновата, что этот... — она запнулась, не зная, как назвать Крувялиса, — что лошади не кормленныедохнут, что он... этот... терзает лошадей вот этой штакетиной? Я виновата, что ты, председатель, ни шиша не видишь? Я виновата?!

Председатель вместе со стулом отодвинулся подальше от налегшей на стол Матильды, надел ушанку.

— Потыше, Йотаутене, здесь тебе не базар.

— Ах, я должна молчать, когда у меня на глазах убивают животину! Не-ет!..

Матильда швырнула на стол председателя штакетину, захлопнула дверь и зашагала по деревне в телогрейке нараспашку.

Вечером того же дня на хутор прискакал председатель. Огляделся в пустом дворе, поискал взглядом Матильду, подождал — может, выйдет из избы. Привязал лошадь к столбику ворот, перешагнул порог.

— Зачем пожаловал, председатель? — спросила Матильда, не приглашая его садиться.

— Дело есть, давай поговорим спокойно.— Председатель снял ушанку.— Сколько тебе лет, Йотаутене?

— Шестьдесят стукнуло. А что?

— Шестьдесят... Лошадей кормить сможешь?

— Это я-то? — Матильда покосилась на сноху.

— Давно надо было выгнать Крувялиса, твоя правда, да я ду-мал... Скажи, Йотаутене, справишься?

— Разве что пока другого найдете.

Деревня звенела: Матильда Йотаутене сожрала Крувялиса и сама на его место села. Этого еще не бывало: баба — конюх. Конец света или шутка председателя. Наболтали с три короба: что на старости лет баба ума решилась, что корысть в ней взыграла. А может, медаль получить захотела?... Вот придет Густас ночью и намалует ей медаль кровью на лбу.

Пенясь, убежала ручьями весна (Людвикас покаялся перед матерью, что не сумел помочь брату), отцвело лето (Саулюс бросил дом, будто от чумы сбежал), аисты подбросили на крыльях осень (ни спокойствия, ни радости эта осень тоже не принесет), а она все глядела за лошадьми и никто не спешил ее сменять, председатель даже хвалил и ставил другим в пример, хотя Матильда и не могла понять за что: если животину вовремя и досыта покормишь, то уж и возносить тебя надо до небес? Разве не так она всегда поступала? Говорят, там были свои лошади, а тут колхозные. Но ведь животине-то не важно, чья она, кто ее хозяин. Дай ей поесть да почисти у нее — вот и весь разговор.

Воскресное утро было мглистое, так часто бывает в пору копки картофеля. Грузное небо висело низко, казалось, вот-вот заморосит, а то и как следует зарядит дождь. Однако за завтраком малость распогодилось, даже мелькнуло солнце и тут же погасло. Туман рассеивался, лишь на жнивье поблескивали капельки росы, нанизанные на нити паутины.

Бросив собаке кости, Матильда ушла за гумно поглядеть на корову. Пеструха, стоя в облачке тумана, щипала редкую траву. Луг подмок, легко стало выдрать колышек, а ведь рядышком огород. Однажды уже сорвалась, подчистила концы капустных грядок. Вот и теперь подняла морду, глядит, принюхивается. Замычала. Чего беспокоишься-то? К быку уже водила. А может, впустую... Этот бык с фермы — вроде кота. Одно слово — изводитель! От такого изводителя коровы скоро начнут не телят приносить, а крыс. А пастуху все равно рубль давай за то, что допускает.

Повернулась к дому, и в этот миг в лесу загремели выстрелы. Оторопев, слушала, глядя на туманную опушку. Выстрелы хлопали сердито и часто, изредка стрекотали автоматы. А ведь уж надеялись, что всех бандитов переловили, даже разговоры кончились. Лишь тревожные сны мучали по-прежнему. Но это же не сон и выстрелы эти не детская игра. Сколько народу уже погибло, как подумаешь, за войну да за эти послевоенные годы. На одной земле Лепалотаса сколько голов сложили, если посчитать. Земля добрая, она принимает и навоз и кровь.

Вроде затихло.

Громко шуршали под ногами кленовые листья, красные и грязные. Подул ветер, и воздух замерцал от падающих листьев. Они трепета-

ли, парили, вихрились, и Матильда подумала: вот-вот нагрянет зима, а Каролис вряд ли успеет вернуться.

Опять загромыхало совсем неподалеку, кажется, тут же, за гумном. Фыркнули в хлеву лошади, заржали.

Матильда тревожно огляделась; мало что увидишь, туман лежит, в ложбинках до того густой, как дым от картофельной ботвы. Надо идти в избу, лучше уж в куче со снохой и внучками. Чтоб только не испугались девочки. Дануте по сей день в кровать мочится — хватит этих ужасов, даже малыши вволю натерпелись.

К окну избы приплюснулись лица девочек. Она махнула рукой — прочь, убегайте прочь, как знать, какая беда...

Девочки трут ладошками запотевшее стекло.

— Отойдите, лягушата несчастные! — закричала на внучек, погрозила пальцем, и эта злость помогла Матильде, она ступает к избе — вот безголовая сноха, неужто не видит...

Опять хлопнул выстрел. На этот раз от ольшаника, уже с другой стороны, звук докатывается из-за избы.

У ступенек веранды остановилась, будто окликнули ее.

Злобно залаял пес, загремел цепью и, забравшись в конуру, заскулил.

В воздухе парили красные кленовые листья.

Она уже входила в дверь, когда из-за угла амбара выбежал человек с автоматом, бросился на покосившийся забор. Треснула подгнившая перекладина, человек споткнулся, рухнул вместе с забором, но тут же вскочил, огляделся.

Их разделяли каких-нибудь семь шагов. Глаза встретились, взгляды скрестились. «Густас?!» — едва не закричала удивленная Матильда. «Помоги» — умоляли обезумевшие глаза Густаса. Их затягивала мутная пелена, из груди вырвалось сипенье и хрип загнанной лошади.

— У... укрой... — простонал он, едва дыша, ссутулясь, сделал несколько шажков, огляделся. — Спрячь, Матильда.

В жизни не обращался к ней по имени. Как и язык повернулся?.. Левая рука повисла, из вспоротого пулями рукава сочится кровь. Кажется, капает с кончиков бессильных пальцев.

— Окружили, Матильда. Спрячь...

Густас подбежал поближе; запахло илом и потом.

— Пусти на чердак, Матильда! Живее...

Она стояла на ступеньках, заслоняя проход, даже ухватилась руками за столбики веранды, подняла голову и, прищутив глаза, словно говорила: ни за что не пройдешь...

— Забудь все, Матильда... Куда мне деться-то? Ты никого не видела... — заскулил Густас и побежал к дровяному сараю, распахнул дверь, закрыл за собой.

Матильда словно в столбняке не двигалась с места. Она снова вспомнила внучек, сноху, подумала, что надо идти в дом. Через ее труп бы сперва перешагнул, только потом в избу. Лишь теперь ее охватил страх.

В сарае громыхнуло полено, скрипнула доска, скрежетнул гвоздь.

«Только бы они пробежали мимо!» — мелькнула мысль, но Матильда испугалась ее. Она боялась еще раз встретиться лицом к лицу с Густасом, боялась и тех, которые за ним гнались.

Из-за гумна и из-за амбара во двор вбежали двое солдат. Выставив винтовки, огляделись, увидели Матильду.

— Где бандит? — подскочил мужчина со скуластым румяным лицом и раскосыми глазами. — Бандит! Спрятала?

Мимо избы торопливо прогремели шаги. За гумном тоже бежали солдаты.

— Ты видела, хозяйка. Где бандит?

Матильда даже рукой не махнула в ту сторону, лишь краем глаза покосилась на сарай.

Скуластый солдат дал знак товарищам, и втроем они пробежали к хлеву; один прильнул к углу, другой опустился на колено у кучи хвороста, а третий подбежал к сараю и дернул дверь. Но дверь была закрыта изнутри. Они кричали Густасу: выходи и сдавайся, останешься жив! Матильда оторопело ждала, когда же в сарае застрекочет автомат. Надо идти в избу, подумала уже в который раз, но не двинулась с места. Солдаты снова потребовали выходить, и тогда от дощатой стены сарая отделился Густас и, пригнувшись, бросился в поле. Солдат, ждавший у кучи хвороста, вскочил.

— Стой!

Подбежал к забору, положил винтовку на перекладину.

Матильда страстно хотела отвернуться или хотя бы прикрыть глаза, но не могла. Она смотрела на бегущего человека и удивлялась: откуда и силы у него берутся так быстро бежать.

Вдруг Густас споткнулся, вскочил, сделал несколько шагов в сторону, откинулся назад и упал.

Со всех сторон к нему бежали солдаты.

На подмокшей пашне лежал Густас, еще так недавно кричавший: «Это моя земля!» Может, теперь она твоя, Густас? Швырнут где-нибудь в яму. Даже для могилы земли у тебя не осталось. Матильда уселась на ступеньках веранды, жесткими ладонями сжала лицо.

Только бусинки четок легко перебирать задубелыми пальцами, а дни все по сердцу да по сердцу. И сердце не дубеет, не коснеет — живо оно и трепещет, обливается кровью, сжимается, будто детский кулачок, и опять затихает, оживает после боли, радуется теплоте дуновения весны, первому крику чибиса над затопленными лугами поймы; радуется, что еще может надеяться. Сколько людей после войны уехало из деревни! Дом Крувялиса пустует, ветер свистит в разбитых окнах.

Опустело гнездо, которое веками свивали Мелдажисы, остыло, а в один прекрасный день к двери его избы приколотили кусок жести с надписью: «Молочный пункт».

— Швобелдокас, ах, Швобелдокас, кого ты из своих детей делаешь? — нечаянно наткнувшись в ольшанике на самогонный аппарат Швобелдокаса, решила пристыдить его Матильда.

— Йотаутене! Матильда! В-вот круж-жка, отведай, Йотаутене.

— Отстань. Скажи, чему своих детей учишь?

— Не я, Йотаутене, ж-жизнь учит. Нас всех она нас-силует, будто парень девуку.

— Постыдился бы, Швобелдокас. Дети когда-нибудь тебе не простят.

Швобелдокас попятился, пнул носком сапога горящую головешку под котел, покосился на своих вытянувшихся парнишек, уже поднабравшихся и хихикающих теперь у костра.

— Мои дети тебя з-заботят, Йотаутене? Мои дети... А ты мне скаж-жи, где твои дети? Бродишь одна, как п-привидение, а дети-то где? Что наж-жила, что имеешь на старости лет? На твоём месте я бы волком выл, а ты меня п-попрекаешь, других учишь.

Матильду обжигали эти слова, но она слушала, не прерывая, пока Швобелдокас не высказал все. Швобелдокас замолк, покосился на Йотаутене и, будто стеснявшись ее седин, отвернулся.

Матильда повернулась было уходить, но остановилась.

— Послушай, Швобелдокас, что я тебе скажу. Мои дети всегда со мной, они ближе ко мне, чем твои вот сейчас...

Сыновья Швобелдокаса зафыркали. Отец сердито замахнулся на них палкой.

Не было дня и часа не было — чистая правда, — чтобы Матильда не думала о своих сыновьях, чтобы не чувствовала их далекой близости. Бросит взгляд на сноху да внучек и уже спрашивает себя в

мыслях: «Каролис, сын мой, почему не пишешь? Неужто не знаешь, как нужно твое слово? Не можешь этого не знать, ведь видишь нас во сне». Письма Каролиса были очень редкими и коротенькими. И в каждом она читала скорбное последнее «прощай». «Если бы все мы были вместе», — чуть ли не каждый день вздыхала Юлия. Матильда выговаривала ей: «Ведь когда все время так думаешь, и спать не долго». «Мне так и кажется», — отвечала Юлия. «Найди себе занятие, вязать начни, шить...» — «Все из рук валится, не могу» — «Подумай о себе. Говорю, никто о тебе заботиться не станет, если сама не хочешь». — «А кому я нужна?» — «Ну уж сказала!.. Девочки растут, девочек пожалей». — «Мне-то ничего не надо...» «Юлия! — И уже мягче: — Начисти картошки на ужин...» Редкими бывали такие разговоры, чаще всего Юлия молчала, сидела, будто воды в рот набрав, говори не говори — рта не раскрывает.

Жизнь карабаласа в гору; хоть и медленно, но дела шли на поправку, все это видели, а осенью случилось и несколько бумажек зажать в ладони и погрузить руку в полные мешки ржи. Вот хорошо то хрустели бумажки — для девочек туфельки да платица, для Юлии пальто, хоть она никуда и не выходит; еще на всякую мелочь останется. Будто прохладная струя воды, освежало руку отборное зерно — и на хлеб хватает и свинье на корм. Тобой заработано, тобой! Написала письмо Каролису, сама писала, налегая грудью на стол, все выложила. Потом собрала посылку, тоже Каролису, старшему, и, заложив лошадь в двухколесную беду, отправилась в Пренай. Не успела еще отдать посылку, когда симпатичная женщина за перегородкой сказала Матильде, что для нее есть письмо. Вот! Матильда собиралась забежать в магазин-другой да кое-что прикупить, но сейчас про все забыла, уселась в беду и понукнула лошадь. Побыстрее домой, побыстрее привезти весточку снохе да внучкам. Но почему письмо должно быть от Каролиса? А Людвикас? А Саулюс? Наверняка от Саулюса, этого ветрогона — прости меня, господи, все они мои дети! — и зря она спешит да погоняет лошадь. Тпру! — останавливает, натянув вожжи. Спыхватывается: что остановилась посреди шоссе, может машина налететь, теперь только и оглядывайся, на каждом шагу они, и сворачивает на обочину. Пальцы непослушны, не могут выудить листочек из конверта. Почему так дрожат пальцы? Людвикас! Не Каролис... Долго смотрит на пестрящие буквы, перед глазами то наплывает туман, то пропадает, губы шевелятся, вполголоса произносятся слова. Наконец поднимает голову, оглядывается, торопливо сует письмо обратно за пазуху и подхлестывает лошадь. Громыкает по булыжнику двухколесная беда, и многие оборачиваются вслед — из какого захолустья катит баба на этой брыкушке, про которую уже успели забыть со времен войны?

Остановились дни, навалились бесконечные ночи — не знала, за что и хвататься, не знала что и думать. Написала письмо Саулюсу — сын не ответил. Как заглянул два года назад летом, побродил из угла в угол повесив голову, так и пропал в Вильнюсе. Учится, скоро вроде уже кончит этот свой институт. И работает, обмолвился тогда, иначе ведь не перебежешь. Она предлагала помочь — нет, не надо. Раз не надо... Но письмо-то уж мог бы... Когда же вернется Каролис?

Эти дни ожидания нарушило одно событие. Случилось это тоже уже по весне. Дошли толки: «Йотаутене, твою ферму собираются упразднить». И правда, вскоре явились трое мужчин, осмотрели каждую лошадь, а в бумаге записали: одни годятся в работу, а другие нет — дряхлые, только корма переводят, когда их и так не хватает. Куда их денете-то? Ликвидируем, Йотаутене. Не будем же устраивать приют для престарелых лошадей, ха-ха! Еще несколько дней спустя всех лошадей увели. Остался пустой хлев. Уныло торчали пустые кормушки, сломанные жерди, порывевшие бревна стен. Два года изо дня в день Матильда ходила из хлева на гумно, с гумна в

хлев, и пролетели они так быстро что в пору удивиться. Что же теперь ей осталось-то? На колхозном собрании председатель пригласил Матильду в президиум — несколько раз звал, пока она не вышла перед всем народом и не присела на краешек стула, — поговорил об огромных переменах в хозяйстве и что они не с неба упали, а достигнуты трудом и усердием именно таких людей, как Матильда Йотаутене. Так что давайте поблагодарим товарища Матильду Йотаутене за то, что она на седьмом десятке ответственно отнеслась к сложнейшему участку работы — кормила лошадей. Давайте похлопаем, товарищи! Матильда сидела как на иголках, будто ее выставили на посмешище перед всей деревней, не знала, куда девать руки, как прятать глаза. Потом в ее задубелые руки вложили подарок — блестящий будильник. Председатель говорил дальше, а Матильда вертела будильник, потупив глаза, потому что боялась поднять их на людей. Наверняка дорогой подарок. Когда председатель неожиданно замолк и стал рыться в своих бумагах, она встала, держа обеими руками будильник, и сказала: «Председатель, вот о чем я попрошу, вспомнила: из всех престарелых лошадей оставь мне одну. Или жалко? Эти часы я могу вернуть. Мне бы лучше лошадь... Обещай». Народ почему-то засмеялся, загомонил, а председатель попросил Матильду сесть и сказал только: «Подумаем...» Матильда не забыла о своей просьбе, отправилась на другой день в контору и опять повторила ее. Мужчины долго ломали голову, как удовлетворить эту прихоть старухи. Наконец председатель нашел выход: «Будь что будет — покупай, Йотаутене. Составим акт продажи». Правление одобрило. Матильда за двадцать рублей (цена доброго петуха!) купила смирную кобылу, впустила ее в пустой хлев и, отправившись за сеном для нее, увидела, как на проселок свернул с большой дороги Людвикас.

Жизнь хорошая, думала Матильда, лаская взглядом костлявые руки сына, его посеревшее, со впавшими щеками лицо, голубой шрам на виске, принесенный из Испании, залысины на лбу. С юных дней жизнь швыряла его, кидала по широкому свету и вот привела-таки домой, где он родился и сгрыз первую хлебную корочку. Ведь нет большего наказания для человека, как остаться выброшенным из гнезда и никогда больше в него не вернуться. Нет большего презрения и к гнезду, сложенному столетиями, когда оно пусто и никому не нужно. Если бы и ты, Каролис, был здесь в этот час. И ты, Саулюс. Мать подняла краешек передника к глазам. Людвикас глядел в окно — как разросся клен, да и тополя какие здоровенные, ведь они с отцом когда-то их сажали... А двор-то изъезжен, истоптан. Мать рассказала про конеферму — сколько времени не виделись — показала будильник.

— Ты устала, мама, — сказал Людвикас. — Я не мог раньше. Теперь поживу.

— Нет, сын, несильно устала, без дела больше бы извелась.

Они говорили долго, обо всем толковали, но все кружили вокруг да около, обходя самый тяжкий разговор. Юлия сидела на кровати, когда заговаривали с ней, словом-другим отделялась и только раскачивалась из стороны в сторону, а мать со страхом думала — чтоб только не прорвало сноху. Чтоб только... И все-таки сама не выдержала:

— Когда брат твой вернется, Каролис?

Людвикас обеими руками провел по заросшему щетиной лицу.

— Отбудет и вернется. Точно вернется. Ждать надо.

— Ждать? — Злобная ухмылка исказила лицо Юлии. — Еще ждать?!

— Юлия! — Матильда встала и тут же опять присела. — Успокойся, Юлия.

— Чем виноват Каролис?

— Перед собой не виноват, а перед людьми виноват.

— Виноват? — Мать сама не почувствовала, как сказала в один голос со снохой.

Лоб Людвикаса усыпали бисеринки пота, и Матильда подумала: почему она терзает сына?

— Когда я за него тогда заступился, попробовал вытащить, беспокоился о Каролисе не только как о брате, но и как о человеке. Поэтому и говорю о нем как о человеке — и не виноват и виноват.

Юлия страдальчески усмехнулась, услышав эти непонятные слова Людвикаса, опустила голову и в отчаянье застонала. Мать зажала рукой рот, унимая сомнения: потом поговорим, потом...

Говорили-то не раз, но о Каролисе старались не упоминать.

Уже распускались деревья, когда Людвикас, малость поправившись и окрепнув — хотя мать-то видела, что здоровье у него хуже некуда, — решил вернуться в Каунас, и она отвезла его на беде до шоссе.

— Если доведется встретить Саулюса, передай, что у него есть дом, — напомнила она на шоссе, уже попрощавшись.

— Может, съезжу как-нибудь в Вильнюс и скажу, — пообещал Людвикас.

И снова она дома одна. Правда, еще сноха Юлия с девочками. И еще ожидание.

Вернулось письмо, посланное Каролису. Вернулось, не застав Каролиса.

Вернулись еще два письма.

Иначе бы все было, если б вместе, стонала вконец исхудавшая сноха, и ничуть не заботили ее ни Алдона, уже ставшая барышней и учившаяся в Пренае, ни Дануте, которая кончала начальную школу у них в деревне.

Собиралась мать долго, но однажды собралась. В Каунасе попросила Людвикаса написать на листке адрес Саулюса (на всякий случай, дескать, мало ли когда может пригодиться) и, никому об этом не сказав, села в поезд. Впервые в жизни ехала в грохочущем да постукивающем вагоне и глядела в окно на незнакомые поля, города. Ее охватил страх: господи, как найду эту улицу да этот дом? Вернуться обратно? Вильнюс — это тебе не Лепалотас, не Пренай и даже не Каунас. Далеким чужой город, о котором столько рассказывал еще папаша Габрелиус. Тайнственный, как в сказке. Но ведь папаша всегда говорил: язык есть — дорогу найдешь.

На улицах уже горели фонари, когда она, сбившись с ног, нажала на ручку двери. Подъезд старого дома окутывал холодный полумрак. Дверь квартиры не открылась. Конечно, это тебе не деревня, хотя и там по вечерам люди двери запирают да окна занавешивают, как в те страшные годы, когда никто не знал, кого ждать ночью. Подергала за ручку и услышала шум, музыку. Тогда постучала костяшками пальцев. Почему же никто не открывает? Опять побарабанила, потом ударила кулаком.

— Кто-то к нам ломится, погляди. — Незнакомый голос удивил Матильду; видать, в доме гости, а она рвется в дверь.

Дверь открылась, и молодой мужчина в выбившейся из брюк рубашке мотнул мохнатой головой.

— Заблудилась, бабуся. Ауфвидерзейн! — ухмыльнулся и хлопнул дверь так, что загремело во всем подъезде.

Матильда растерялась, но тут же пришла в себя. Такую дорогу ехала, весь город пешком обошла, пока отыскала... Немного погодя посильнее стукнула по двери.

— Бабуся, давай по-хорошему, а то...

Матильда торопливо спросила:

— Саулюс Йотаута... Я Саулюса Йотауту ищущу.

Дверь открылась шире, но парень, пошатнувшись, загородил проход.

— Саулюса?.. А на что он тебе, бабуся? Никак пригласил позировать? — Захохотал, попятился и стукнул кулаком по двери в конце коридорчика. — Вы там еще живы? Саулюс, вылезай!

Матильда издали глядела на дверь, перед которой стоял парень.

— Саулюс, вылезай из постели, а то бабуся не станет ждать и погибнет твой гениальный замысел.

Скрипнул ключ, и из темноты появился взлохмаченный Саулюс. Матильда вошла в коридорчик. «Неужели это мой сын, о господи!» — усомнилась мать.

— Ты сейчас собираешься ее рисовать?..

Саулюс со злостью повернулся к приятелю:

— Перестань, Альбертас! Отойди.

Дверь, из которой появился Саулюс, снова приоткрылась, из нее выглянула девушка и торопливо запахнула халат на груди.

— Саулюс, не связывайся, — томно сказала она и потянулась за рукой Саулюса.

В дверях соседней комнаты, откуда доносилась музыка, стояли парень и девушка с сигаретами в зубах.

Саулюс развел руками, ссутулился, посмотрел на приятелей, на мать, опять на приятелей.

— Это моя мать.

Тут же исчезла в дверях темной комнаты девушка, лица приятелей вытянулись. Первым спохватился весельчак, которого Саулюс назвал Альбертасом:

— О соли мио! Нежданная гостья. Пардон. Тысячу раз пардон. Пожалуйте в комнату, бабушка.

Не помня себя, Матильда мимо Саулюса вошла в комнату.

— Да, я мать, — сказала спокойно, но почему-то не смогла произнести имя сына.

Она даже глаз не подняла на беспокойно переминающихся приятелей Саулюса. Видела пустые бутылки на столе, пустые бутылки и затоптанные окурки на полу. На электроплитке у стены стояла алюминиевая кастрюля в потеках кофейной гущи. Воздух был спертый, душный, и мать, пройдя к окну, попробовала открыть его. Подскочил Альбертас:

— Пардон.

Голова кружилась, и мать прислонилась к подоконнику; ей стало страшно, что она упадет, именно сейчас упадет.

— Может, в мою комнату перебазировемся, ребята? — позвал Альбертас. — Тут пускай Саулюс с бабушкой.

Они гурьбой повалили в коридорчик, но еще долго за закрытой дверью был слышен галдеж и какие-то шорохи.

— Присаживайся, мама, — попросил Саулюс, а сам развалился на стуле.

Матильда долго глядела на сына, на его пьяное обрюзгшее лицо, трясущиеся губы. Потом подошла к нему, широко размахнулась и ударила по щеке. Саулюс вскочил, стиснул зубы. Мать отшатнулась, задела ногой бутылку, и та со звоном покатила по полу. Саулюс уселся. После долгого молчания спросил:

— Зачем приехала?

Положив руки на колени, Матильда гладила их беспомощно.

— Думала, память о родном доме тебе привезу.

— Зря ездила в такую даль.

— Как жить будешь, если родной дом забыл?..

— Проклятый дом, — швырнул, как в то лето, когда ушел из дому и даже не обернулся. — Проклят он, лучше не думать.

Матильде хотелось бы вырвать, с корнями вырвать ненависть сына. Как же она разрослась, если за столько лет не затихла!

- Твоя эта комната?
- Пока.
- А там? — показала она головой на стенку.
- Приятель живет, Альбертас. Это его квартира.
- Он один?
- Не спрашивай, ведь не за этим приехала.
- Не за этим, да.

Через минуту спросила опять:

- Эти, что на стенах, ты рисовал?

Саулюс ухмыльнулся:

- Не нравятся? Не ищи, Лепалотаса не найдешь!

— Лепалотас есть, сынок, — ответила Матильда. — Раз уж ты так нехорошо говоришь, скажу тебе вот что: от тебя, может, и не останется ничего, а Лепалотас будет как был.

— Это и хотела ты мне сказать, мама? В такую даль ехала ради этого?

Мать встала с продавленного дивана, постояла и, обойдя сына, широко развалившегося на стуле посреди комнаты, шагнула к двери.

- Я тебя не выгоняю, мама...

Она ничего не ответила, только еще раз поглядела из коридорчика на Саулюса.

Матильда умирать будет — не забудет, как папаша Габрелюс в унылые зимние вечера под потрескивание лучины читал вслух небольшую книжицу о портняжке Юзе, который оставил родителей да канул будто в воду, но вот однажды въехал во двор на справной телеге, запряженной гнедыми лошадьми, да с ядреной бабой под боком... Не так ли и Саулюс?.. Правда, не на телеге он въехал во двор — на легковушке небесного цвета бесшумно вкатил да остановился под кленом, в тенечке. Матильда как раз кормила на тропе цыплят и отгоняла старых кур, чтоб не клевали малышей. Теперь уже не помнит, подумала или нет, кто бы мог приехать, но уж точно не чуяла, что хлопнет дверца и появится Саулюс. Сердце ее всегда чуяло беду или радость — страшно становилось от вещей предчувствий, — однако на сей раз оно было спокойно. Господи, неужто она так устала ждать, что задремала именно в этот час?..

Из другой дверцы живо выскочила молодая женщина, встряхнула пышной прической. Матильда все еще стояла, протянув руку над стайкой цыплят, и хотя в горсти не оставалось ни крупинки, шевелила пальцами, сыпала не переставая, а глаза ее прыгали с сына на эту женщину, с женщины на сына. Поняла все, с первого взгляда поняла, и зря Саулюс объяснил:

- Жена моя. Дагна.

Легкая такая, бойкая, невысокая. Платье в огромные цветы, кучее, вроде бы она выросла из него, ветер поднимал подол, и она прижимала его рукой к ноге, видно стесняясь. Лицо зарделось, глаза с опаской глядели из-под густых ресниц.

— Мне так хотелось вас увидеть, — сказала Дагна, смущенно опустила голову и опять встряхнула волосами, потому что налетевший как нарочно ветер ерошил их и бесстыдно задираал платье.

Не спуская глаз с молодой снохи, Матильда медленно вытирала о передник руки и напряженно думала, пытаясь вырвать из памяти давно канувшие в прошлое дни.

— Ты, наверное, сердисься, мама, на меня, — растерялся от долгого молчания матери Саулюс.

Матильда поднесла руку к губам.

— Уже, уже, вспомнила... Так когда-то твой брат Людвикас привел девушку. Так была похожа, что гляжу теперь...

Дагна повернулась на одной ноге, рассмеялась. Впервые прозвучал во дворе ее рассыпчатый смех.

- Мы все молодые похожие.

— Жизнь Людвикаса война поломала. Ты знаешь Людвикаса? — спросила она сноху вдруг, хотела обратиться по имени, но не вспомнила и добавила: — Как тебя звать-то?

— Дагна.

— Не слыхала такое имя. Но это ничего. Моего имени в Лепалотасе тоже никто до того не слыхал. Привыкают... Знаешь Людвикаса?

— Почему Дагна должна знать всю родню? — вмешался Саулюс.

— Мы съездим к Людвикасу, правда, Саулюс? Ведь съездим? — Дагна ласково прильнула плечом к груди Саулюса.

Матильда не спускала глаз с Дагны и когда они уже сидели в горнице и не спеша ели творожный сыр с клубничным вареньем, запивая холодным молоком. Она молчала, не зная ни о чем спрашивать, ни что говорить, а перед глазами неотступно стоял день того далекого лета и Людвикас в белой сорочке, со своей девушкой Эгле. Матери обидно было, что эта девчонка хочет отобрать у нее сына; совсем чужая она, бог знает, кто ее родители. Матильде не хотелось отдавать Эгле своего Людвикаса, может, это и разлучило их. Но ведь она худа не желала, видит бог. Не желает худа и Саулюсу с этой... Дагной. Добра желает, только добра, но почему в жизни все так страшно переворачивается?

— Чтоб только вам было хорошо. — Матильда обняла Дагну за плечи, другой рукой потянулась к сидящему рядом сыну, но рука повисла и она не смогла ее поднять, испугавшись самой себя: эти самые слова сказала она когда-то и Людвикасу с Эгле; неужто ее пожелание не от чистого сердца? Неужто держит-таки камень за пазухой? — Чтоб только вам... — И отвела руку от Дагны. — Давно свадьба была?

— Год, уже второй.

— Мы свадьбу не играли, — объяснила Дагна. — Квартиры не было. В мастерской у Саулюса собрались друзья, и все.

— А может, мама, ты мне приглядела девушку здесь, в деревне? Матильда проглотила горечь.

— Не посмела бы нашим сватать.

— О, слишком плох даже для доярки?

— Не знаю, почему ты, сынок, все время ругаешь родную деревню и родной дом.

— Тогда позволь спросить — за что я должен уважать и любить? Матильде было стыдно перед этой чужой женщиной... не чужой — женой Саулюса... Почему она молчит, как она это терпит?

— Вот тут, на этом месте, то дерево, тот ствол, сын, из которого ты...

— Пускай сгниет!

— Ты так говоришь? А я скажу: боюсь, чтоб ты сам не засох, отделившись от пня.

Нет, ей это не померещилось — плечи Саулюса и впрямь дрогнули. Он съезжился и долго сидел, уставясь в пол.

Дагна тонкими пальцами теребила бахрому льняной скатерти.

Доброту не всегда можешь высказать — молчание подчас красноречивее. И тяжесть не объяснишь. Помолчишь, помолчишь — и сплзает бремя, становится легче, начинаешь думать: не судила ли слишком строго? или, судя других, всегда ли была права сама? Ах, Матильда, Матильда, покачала ты тогда головой, не спуская глаз с той, которую привез Саулюс и которая так остро напомнила тебе про день много-много лет назад.

— Ты пришел, — говорит Матильда.

Она звала сына. Правда, звала по имени и фамилии, кажется, и он пришел. Стоит у двери, не смея сделать шаг, словно надо перескочить широкую, разделяющую их канаву. Это Матильда вырыла

эту канаву, собственными руками вырыла за многие годы. Саулюс наверняка чувствует ее, и потому глядит издалека. Как сказать ему, как предупредить?

— Я еще ни разу не рисовал тебя, мама.

Хочет что-то сказать и не говорит, только смотрит так странно, как никогда еще не смотрел на свою мать.

— Ты посиди так, мама, посиди вот так... сейчас...

Приваливается к дверному косяку, поднимает большой плотный бумажный лист, упирает его в грудь, а глаза глядят пронзительно.

— Не люблю с природы, но тебя, мама... Очень хорошо, посиди так. Можешь говорить, мама, можешь, ты мне не мешаешь. Я поработаю с полчаса...

Правая рука с карандашом блуждает по белому листу, а глаза скачут то на мать, то на бумагу. Он спешит, спешит, и Матильде хочется удержать его руку и спросить: «Знаешь, почему я тебя позвала?» И когда он поднимет глаза, добавить: «Ты явился на суд, чтобы выслушать мой приговор». Даже скажи она это, Саулюс, наверное, не услышит, ведь он и здесь и где-то далеко-далеко.

— Когда я была в Вильнюсе... — начинает Матильда и замолкает в страхе: неужто и впрямь настал этот час, нельзя его отложить?

Но она и так долго откладывала — не на часы или дни, а на годы. Она виновата, конечно, что не смогла заговорить раньше. Мало ли было в ее жизни минут, когда она чувствовала себя слабой, как перышко, подбрасываемое ветром. Но у нее ведь хватило сил выспросить Дагну... Может, этого бы и не случилось, если бы однажды Каролис не обнаружил завалившуюся за доску сундука карточку Людвикаса. Людвикаса и его девушки Эгле. И чем дольше глядела Матильда на эту карточку, тем тревожнее ей становилось. Отгоняла тяжелые мысли, но когда однажды снова вкатила во двор легковушка Саулюса, Матильда решила. Саулюс пошел к Швянтупе, и Матильда слово за слово выведала от Дагны и то и се. Ах вот оно как... отца у тебя нету, девочка моя, и вернулись вы в Литву вдвоем с матерью. Хорошо сделали, хорошо. Не знаю я твоей матери. В Каунасе живет, когда вернулись, вам там квартиру дали? Да, девочка моя, страшная война тут прошла, страшная. Вот и отца Саулюса, вечный ему покой, застрелили посреди двора. Значит, в Каунасе она; одна живет? Одна. Бываете с Саулюсом? Редко. И мой сын Людвикас в Каунасе жил, знаю я этот город. В каком месте твоя мама живет? На улице Зари. На улице Зари? Хорошо знаю... Там все больше старые дома, деревянные. И мама в старом живет. Да что ты говоришь? Там мои знакомые жили. Какой номер дома? Семнадцать. Семнадцать, а эти мои знакомые... Запомняла уже. А сестры у тебя не было, девочка? Была, мама рассказывала, но она в войну потерялась, пропала где-то во Франции. Говорят, очень была на меня похожа. Вот, девочка, жизнь-то какая: все запутает, ничего потом не разберешь... Так они и поговорили. У Дагны, наверно, эти разговоры в одно ухо вошли, в другое вышли, а Матильда запомнила слово в слово. Окончательно пропало спокойствие, дурные предчувствия терзали днем и ночью.

— Когда я была в Вильнюсе, сынок...

Саулюс слышит слова матери.

— Стоит ли вспоминать, что давно было.

Не торопись так, сын, никуда ты не убежишь. Ведь все равно пробыет час. Долше молчать не могу... Который день уже как ты приехал, и самое время теперь...

— Я недавно в Вильнюсе была.

Глаза с лица Матильды утыкаются в бумагу, снова загораются, застырают, расширяются.

— Когда... недавно?

— Недели две, а то больше. Бывает, не могу вспомнить дней, но если хочешь...

— Когда я был во Франции?

— Я-то не знала, что ты в отъезде. Потом подумала: может, и лучше, что тебя нету.

— Что ты сказала Дагне?

Матильда сидит, прислонившись к спинке кресла, руки удобно пристроила на подлокотниках. Кажется, устала и отдыхает, равнодушная к небу и земле, к насвистыванию скворца на верхушке клена и к гаснущему солнцу за тополями да гумном.

— Мама!

— Думала, Дагна тебе все... Но когда тебя увидела, поняла — ничего.

— Что ты ей сказала?

— И тебе скажу, сын. Умереть и унести с собой в могилу было бы нехорошо.

— Мама, почему Дагна ушла, почему она бросила?

Матильда не станет сейчас рассказывать, как отыскала в Каунасе женщину, которую Дагна называла матерью, показала ей эту фотографию... Не станет рассказывать, о чем говорили, как эта женщина умоляла ее молчать, со слезами умоляла да и сама покаялась — ни слова. Но Матильда клятвы не давала, потому что не могла дать, и, узнав, что Дагна беременна, бросилась в дверь. Лишь теперь, две недели назад, она рассказала Дагне, Дагна должна знать, ведь кого она спросит, женщина-то умерла, в прошлом году легла в могилу вместе со своей страшной тайной.

— Не обвиняй меня, сын. Мои дни на пальцах можно сосчитать. Как яблоко созревшее падает наземь или как лист пожелтевший... И я так, знаю.

Плотный лист белеет на подгнившем полу веранды, и Матильда издали видит извилистые линии, видит лицо и глаза. Разве это ее лицо, ее глаза? Это не Лепалотас! — кричал когда-то Саулюс.

— Я тебя спрашиваю, мама: что ты сказала Дагне?

Саулюс всем телом наклонился над матерью, и взгляд его ранит ее так больно, что этой болью полнится сердце Матильды и приходится удивляться, как оно еще не разорвалось. Но оно и не может разорваться, пока не сказано слово.

— Я ей сказала...

Не смотри так на меня, Саулюс, не сверли глазами, мне и без этого больно, и не потому я говорю, чтобы боль взвалить на тебя, ведь твоя и моя боль едины, эту боль не разделишь. И папаши Габрелюса боль, и отца Казимераса... и Людвикаса боль... В муках являемся мы на свет божий, но впервые заливаемся плачем не потому, что нам больно, а чтобы сказать: я есть... Боль приходит потом, уже потом...

Не смотри на меня так, Саулюс.

— Я ей сказала: Дагна, ты дочка старшего брата Саулюса — Людвикаса. Дочка Людвикаса и Эгле.

Глава седьмая

Когда-то ты думал, что во всех несчастьях твоей жизни виноваты отец с матерью, твои братья, даже папаша Габрелюс. Останови теперь колесо истории, заставь его повернуться вспять хотя бы настолько, чтоб ты мог, выбежав на дорогу, как тогда, оглянуться на зеленеющий клен, на мать, стоящую у ворот. Злость в твоем сердце укоренилась прочно, будто пырей. Эти корни зла всходят бурьяном по сей день. Она тебя осилила, Саулюс, она! И не ищи виноватых где-то далеко, не найдешь.

Мягкая полуночная земля, пахнущая мохом и кустиками ягод. Может, именно так доброе ее прикосновение чувствовал папаша Габрелюс, убегая от казацкой сотни по берегу Немана вместе с Йокубасом Либанским, своим соратником. Папаша переплыл Неман, а ты — сумеешь ли? Доберешься ли до того берега, Саулюс? Неман глубок, полноводен, течение стремительно, полно в нем водоворотов. Вставай и плыви, ты слышишь?..

По шоссе изредка проносятся машины. Все реже и реже они проезжают, и если ты хочешь успеть... Но куда ты хочешь успеть? Куда ты побежишь, кого будешь искать? Встретит пустая квартира.

«Дочка брата Людвикаса!» — догоняет голос матери.

Семнадцать лет ты жил с ней как муж с женой.

— Дагна — дочка Людвикаса, — вздрагивают твои пересохшие губы, впервые произнося эти слова.

Когда вы вошли в больничную палату, Людвикас спал. Его руки были такими белыми, что сливались с пододеяльником. Откинув голову, хрипел приоткрытым ртом, веки подрагивали. Старик, лежащий на соседней койке, придвинул белый табурет и пригласил «мам» садиться.

— Разбудите, а то до самого ужина дрыхнуть будет, — сказал.

В палате было душно, пахло лекарствами, мочой (под койкой Людвикаса стояла утка), ты смахнул со лба пот, посмотрел на Дагну, стоящую в ногах койки, и поднял руку, чтобы притронуться кончиками пальцев к плечу брата. В тот самый миг Людвикас блеснул зрачком. Тяжелые веки снова упали, затрепетали и робко приоткрылись, взгляд вонзился в Дагну, застыл. Людвикас перестал дышать, из приоткрытых губ рвался храп. Ты испугался, почудилось, что Людвикас, вздохнув в последний раз, угасает. Взял его за плечо, потормошил:

— Людвикас...

Он почувствовал твою руку, покосился на тебя, но нельзя было понять, узнал или нет, и снова уставился на Дагну. Дагна не выдержала этого взгляда. Шагнула к тебе, встала рядом и сказала:

— Мы пришли вас проведать.

Только теперь лицо Людвикаса ожило, губы дрогнули, на них затеплилась едва заметная улыбка.

— Это моя жена, Людвикас, — торопливо сказал ты и спросил: — Тебе худо, да?

Людвикас облокотился на постели, поднял голову, будто пытаешься усесться, но тут же опустил на подушку.

— Нет, нет, ничего... Мне только померещилось, поначалу я не понял. Сам не знаю, что со мной творилось...

— От таблеток, — вставил сосед по койке. — Все от таблеток, лучше меньше их принимать, так мне дочка говорит.

Дагна уселась на табурет, положила на тумбочку пять оранжевых апельсинов. Людвикас не спускал глаз с ее лица, рук.

— Мы все собирались вас проведать, собирались — и вот где теперь встречаемся.

— Хорошо, очень хорошо... Мы еще не раз встретимся. Вот выйду из больницы, и тогда...

Тебе была непонятна радость Людвикаса. Хоть и обвинял в эту минуту себя за то, что жил отвернувшись от брата, но даже теперь закрадывалось сомнение — вряд ли что в будущем изменится, на верное, все останется по-старому.

— Кажется, Дагна? — спросил Людвикас.

— Дагна.

— Мать рассказывала, но я не мог себе представить... Подумать даже не мог... Ты будешь счастлив, Саулюс. Оба будете счастливы, говорю.

Ты усмехнулся.

— Почему так пророчески?

— Ты так похожа, Дагна... Когда увидел тебя... глаза открываю, а ты стоишь... почудилось, что ничего не было, ни войны, ни конца-геря, и только мы: я и моя Эгле. Ты очень похожа на мою девушку двадцать... да, двадцать четыре года назад.

Людвикас угадал: ведь и Дагне сейчас двадцать четыре.

— Я все помню, Саулюс. Вся моя жизнь со мной. Хотел бы о многом тебе рассказать... Когда-нибудь.

В голосе Людвикаса ты услышал сомнение, но и сам не верил, что настанет такой час, когда ты сядешь, как внучок рядом с бабушкой, чтобы послушать его истории. Тебе хватает собственной жизни. Познай самого себя, когда-то учил Сократ. Вот и все, точка. Познай себя, вслушайся в себя, выскажи себя... Твое кредо и твоих друзей. Суровое, без скидок самому себе. Выскажи себя, вырази себя чем угодно — пером, карандашом, красками, звуками. Себя! И не рассказывай дедовских сказок. Отдает плесенью...

Молчали все трое, только старик шуршал на своей койке, изредка вставляя словечко про таблетки.

Надо бы найти врача, расспросить... «Приеду на той неделе», — сказал ты Дагне, но прошел месяц, другой подходил к концу, и в начале мая ранним утром принесли телеграмму: «У м е р т в о й б р а т Л ю д в и к а с . М а т ь».

Лежал Людвикас в горнице, на том же месте, между двумя торцовыми окнами, где когда-то покоился на доске отец.

Во дворе под кленом сверкала твоя «Волга», и какой-то житель Лепалотаса, фамилию которого ты уже не мог вспомнить, ходил вокруг нее и, нагибаясь, а временами даже приседая, разглядывал эту «добротную вещь».

«Вот и все, Саулюс, — подумал ты страдальчески, — не стало Людвикаса».

«Не стало, не стало... — сейчас стискиваешь зубы до боли, встряхиваешь одуревшей головой. — Не стало Людвикаса — есть дочка Людвикаса...»

Кричи теперь безмолвной ночи: Дагна — дочка Людвикаса!

Молчит сосновый бор. И ты молчишь.

С ревом пронесится по шоссе машина. За стволами сосен вспыхивают фары, гаснут.

Ты запрокидываешь голову, словно прикладываясь к кувшину с водой, и видишь, как над молодыми сосенками занимается розовая заря. В Вильнюсе, наверно, уже рассвело, думаешь ты и поднимаешь-ся с теплого мха.

Осторожно поворачивает ключ в замке, толкает дверь. Она открывается тихо, без скрипа. Медлит, не смея переступить порог. Даже бросает взгляд на металлическую цифру на двери, сомневаясь, свою ли квартиру отпер. Долго вытирает ноги о квадратный коврик, потом вступает в полумрак передней. Пусто, пусто, пусто — отдается во всем теле. Как трудно бывает вернуться в пустую квартиру.

Повесив плащ и не снимая башмаков (Дагна сердилась, если он не надевал шлепанцы), Саулюс входит в кухню, берет из шкафчика картонную коробку с лекарствами, находит две белые таблетки, бросает в рот. Набирает из крана воды, запивает, прислоняется к стене и стоит с хмурыми глазами. Молоточки в висках все еще стучат. Надо бы поспать. Правда, в автобусе вздремнул полчаса. Нет, нет, обязательно надо лечь, ведь еще раннее утро. А что потом? Куда потом?

Шатаясь, добирается до спальни, валится на кровать и начинает погружаться в бездну.

Садится и не может сообразить, заснул или нет. Кажется, все время видел летящую под потолком люстру, слышал утренний гомон на дворе. Смотрит на часы. Шесть. Может ли это быть? Прикладывает к уху. Стоят. Да, да, сам уже не помнит, когда заводил. Бросает взгляд на будильник на подзеркальнике. Половина третьего. И будильник стоит. Остановились часы, остановилось время... Надо бы поднять трубку и послушать голос автомата, но не может вспомнить номер. Оглядывается. И только теперь замечает, что сидит на Дагниной кровати. А его кровать... Неужели Саулюс застелил ее в то утро, когда уезжал? Оставил смятую постель, помнит как сейчас. Но кровать застелена.

Саулюс вскакивает, обходит комнаты и всюду замечает прикосновение женской руки. Даже цветы в вазе свежие.

Дагна! — пронзает мысль, от затылка до подошв пробегают дрожь; колыхается пол, и Саулюс хватается за подлокотник кресла.

Где Дагна?

Мебель гостиной, которую она выбирала, ковер, который она покупала, ниспадающие тяжелыми складками шторы, которые она повесила. Она, она... Когда он получил эту квартиру — три комнаты в торце железобетонной коробки, — все говорили: ему повезло. Так думали и Саулюс с Дагной, перебираясь из воючей дыры в старом городе. Наглис был совсем крошка, месяца не было ему, и они были наверху блаженства.

— Вот твоя комната, здесь будет гостиная, конечно, лучше бы не проходная, а тут спальня, — окинув все взглядом, решила Дагна, и Саулюс не стал возражать.

Он гнушался быта, устраивать который нужны — так ему казалось — особые способности. Вскоре он убедился, что у Дагны эти способности или хотя бы желание есть в избытке. Для начала она подыскала подходящую няню и, пользуясь отпуском, исчезала на целых полдня, а вечером говорила:

— Узнала, завтра привезут... Как ты думаешь, берем? Правда, я уже почти все истратила...

Скромные сбережения Саулюса мгновенно растаяли, но в квартире было удобно, не стыдно было и гостей позвать.

— Только не жалея денег, жена все тебе из-под земли достанет, — весело говорила Дагна за обедом.

— Из тебя вышла бы неплохая бизнесменка, — рассмеялся Саулюс.

— О, конечно! Я кое-чему научилась.

— Почему вернулась в Литву?

— Знала, что здесь тебя встречу. Ты недоволен?

— Дай-ка нос.

Саулюс через стол поцеловал Дагну, и они продолжали нести всякий веселый вздор. Редко бывало такое хорошее настроение, не замутненное повседневными заботами да редакционными интрижками. Он готовился ко второй своей выставке, правда небольшой, в фойе кинотеатра «Пяргале», но он-то ведь и не рвался в просторные гулкие залы. Искусство не любит толпы! — это был один из написанных девизов, которыми руководствовались они, молодые. Конечно, злились на стариков, которые свысока обзывали их начинающими. В искусстве не может быть ни начинающих, ни кончающих. Есть только две категории художников: консерваторы, или старики, удобряющие почву истории, и новаторы, или они, молодое поколение, решившее вернуть славу литовскому искусству.

— Хочу как-нибудь приятелей позвать, — сказал Саулюс после сытного обеда.

— Это хорошо.

— Не боишься, что ковер затопчут?

— Скажу, чтоб разулись.

- Неудобно. Знаешь, художники...
- Носки дырявые, ноги давно не мытые?
- Дагна, с тобой иногда опасно.
- О, Саулюс!..— Ее нежные руки обняли его.

Саулюс притащил пять бутылок белого вина и поставил в холодильник.

— В субботу, Дагна... Какую-нибудь закуску приготовь. Что-нибудь простенькое и немного, мы ведь не любим... Дагна!

Дагна не ответила. В открытую дверь он заметил, что она в спальне.

— Дагна, в субботу...— Саулюс замолк, увидев заплаканные глаза жены.— Что случилось, Дагна?

Распахнув шелковый халат, она кормила ребенка. Дрожа всем телом, глубоко вздохнула.

- Я боюсь, Саулюс.
- Что такое, Дагна?

Саулюс присел на краешек кровати, глядя, как красный морщинистый ротик сосет белую мамину грудь.

— Мы с Наглисом сегодня были у врача...

— И что? Ведь ребенок спокоен.— У Саулюса камень свалился с груди, он не слишком верил врачам.— Что же говорила твоя врачиха?

— Велела опять прийти.

— И поэтому ты распустила нюни?

— Нет, нет, Саулюс! Она заметила... Ей показалось, врачихе...

И мне теперь кажется, когда гляжу...

Слеза капнула на личико младенца, Дагна осторожно сняла ее уголком пеленки.

Саулюс встал, повернулся к окну.

— А я думаю, у тебя нервы... Не слишком ли быстро?

— Саулюс!

— Да, да... Врачиха сказала, ей показалось, мне кажется...

Начни верить каждому врачу — черт-те что будет, с ума сойдешь.— И, решив, что успокоил Дагну, добавил:— В субботу вечером приятели нагрянут. Еще три дня, есть время.

Саулюс закрылся в своей комнате, развернул газету, пробежал глазами заголовки, но о художниках не было даже двух строчек. Подумал, что дома не сможет заняться ничем серьезным. Дагна опять что-нибудь выдумает, заведется, не лучше ли...

— Я уйду,— сказал уже в пальто.— В мастерскую.

В субботу приятелей встретил один. Дагна была в больнице с чадом. Бывает, все бывает с малышами, но мы... Что ж, Саулюс, за тебя, за твою новую жилплощадь. И за вас, ребята. Саулюс, ты не боишься, что разжиреешь, начнешь малевать красивые картинки, а?.. Ребята, Саулюс не из таких. За нашу дружбу, ребята! Взорвем заплесневелый мир, ура!..

Утром, открыв дверь спальни, увидел пустую кровать, рядом с ней — пустую коляску.

— Дагна,— прошептал влажными от вина губами.

Дагна — повторяет теперь ее имя Саулюс и снова тупо оглядывает комнату.

Женский голос вяло объяснил: Дагна Йотаутене в отпуске и на работу выйдет через две недели. Саулюс повесил трубку, оттолкнул плечом стеклянную дверь будки и медленно побрел по узкой улочке старого города. Заглянуть бы в «Нерингу», застал бы там приятелей — кого-кого, а уж Стасиса Балтуоне точно, но что он им скажет? Они и так наверняка распустили языки, неожиданное исчезновение Саулюса наверняка показалось им подозрительным. А может, им все известно, даже то, что говорила тебе мать?

На улицах полно людей, все куда-то спешат. В душном воздухе — запахи бензина, пота и теплого пива. К огромной желтой цистерне, запотевшей под знойным солнцем, протянулась очередь мужчин. Счастливики с бокалами стоят кучками и неторопливо потягивают пиво. Неподалеку, у ворот университета, появляются гурьбой туристы. Одни перебросили черные пиджаки через плечо, другие вышпустили на брюки полосатые рубашки, смотрят, задрав головы, взгляды мужчин устремлены на цистерну. Гид, пожилой человек с фотоаппаратом на груди, звонко начинает рассказывать о соборе святого Иоанна. Саулюс останавливается в сторонке, ему приятно слушать этого человека, влюбленного в родной город и его историю. От группы отделяется полногрудая женщина — на одной руке у нее болонья, в другой авоська с покупками — и подходит к Саулюсу:

— Не подскажете, где универмаг?

До Саулюса не сразу доходит ее вопрос, и она переспрашивает.

— Вот тут. Тут! — Саулюс бросает гневный взгляд на женщину и торопливо сворачивает на улицу Горького.

Перед Дворцом художественных выставок сбавляет шаг, смотрит на картины в витрине, не может угадать, чьи они. Зайти или топтать мимо? Чего ему бояться людей? Выпьет чашечку кофе...

В полумраке кафе за длинным низким столом устроилась веселая молодая компания. Видно, студенты после экзамена. Дальше женщина с маленьким мальчиком. Больше никого. Ни одного знакомого. Саулюс, повеселев, подходит к стойке.

— Один кофе, Стасяле, — просит.

Молодая, всегда благожелательная женщина, знающая половину работников искусства Вильнюса, оборачивается, в ее живых глазах удивление.

— Это вы... А вас ищут.

— Милиция?

— Друзья, что вы. Спрашивают, не заходил ли. Говорю, целый месяц не видела.

— Лето, Стасяле. Порхаем, будто пчелы. С цветка на цветок, некогда и в улей вернуться.

Саулюс сам удивлен, что может так весело и беззаботно говорить.

— Еще из этой капельку, — машет рукой на пузатую бутылку с золотой надписью «Remy Martin».

— А если опять друзья будут спрашивать?

— Скажите, что я жив и здоров.

Устраивается за столиком у стены, за перегородкой, обитой искусственной кожей. В этих крохотных купе стоящего на вечном приколе вагона каждый день перемалывают будни литературы и искусства, притупляют боль бессонных ночей и празднуют минутные победы. Здесь завязывают знакомства с женщинами и деловыми мужчинами; солидные, титулованные, сурово судящие о морали ближних, забредают сюда с женами друзей или «многообещающими начинающими». Это место Саулюсу напоминает базар: здесь покупают и продают, торгуются и ударяют по рукам, бранятся и плачут, суют руку в чужой карман и возвеличивают в гении. Сколько раз он тоже был ухмыляющимся клоуном и тихо страдающим арлекином. Сейчас... уже не то, нет былого размаха... Неужто постарели? Неужто превратились в зрителей? Ленивых, равнодушных, все и вся взвешивающих и ко всему примеривающихся? Ведь, кажется, именно из этого кафе, правда перед тем посетив за вечер еще три веселых заведения, вышли они заиндевелой зимней ночью на улицу, наперебой хуля богов Олимпа и редакторов-конъюнктурщиков. Запоздалые прохожие издали огибали их. Попали в унылый скверик, развалились на скамье недалеко от памятника, под голыми деревьями. Балтуоне встал, подошел к памятнику, прислонился. «Ребята,

посмотрите, как бы выглядел мой бюст на таком постаменте!» Мы радостно захохотали. Балтуоне не унимался. «Мы говорим о гуманизме, о внимании к человеку, а вот бедняжка мерзнет. Ведь зябко тебе, дяденька? Слез бы ты с этой кучи кирпича, побегал бы. Ах и мерзавец же твой папаша скульптор Неизвестно-кто. Мог бы хоть одеть потеплее...» Мы предложили Балтуоне — подарила ему пальто. «Нет, ребята, что могу, то могу — шапку!» И напялил свою потрепанную ушанку на заснеженный памятник. А потом... Машина с маленьким зарешеченным окошком, ледяной душ, дощатые нары. Утром долго допрашивали, что-то писали и сказали наконец: вы можете убраться, только за ночлег не забудьте заплатить, а ты, показали на Балтуоне, останешься. Балтуоне обиделся: «Я вам еще раз напоминаю: я поэт Балтуоне! Скоро у меня выйдет сборник стихов. Я пожалуюсь. Дайте телефон, мне надо позвонить». Никто не спешил давать ему телефон. Вы позвонили на улице из автомата большому другу юных талантов, и тот, побрюзжав и напомнив вам, что дар божий надо лелеять с юности, в тот же день вытащил Балтуоне на свет божий. Вы снова отметили это событие, но уже без всякого размаха. Когда издательство отвергло рукопись стихов Балтуоне, он таинственно сказал: «Вам еще не ясно? Таково указание свыше». Он стал жертвой...

Рюмка пуста, кофе остыл. Надо бы повторить, думает Саулюс, облокотившись на стол, но хорошо просто так сидеть в углу. Перед глазами из темного густого тумана, из ночи выплывает лицо старой женщины; Саулюс не может вспомнить, где видел его. Но это же мать! Его мать Матильда Йотаутене. А может, и не она, просто похожая, да это и не важно. В глазах ее — встречающих и провожающих, благословляющих и осуждающих — уместается вся история Лепалотаса и Литвы... О господи, у тебя, Саулюс-Витаутас-Юргис Йотаута, сын Казимераса, нет даже паршивого карманного блокнота. Рисуи на мягкой салфетке шариком. Пальцем на столе... Зачем ты издеваешься над собой? Привык с усмешкой ко всему? Может, скажешь — жизнь научила? Неверие разъедает тебя будто ржавчина, ты понимаешь, что должен взяться за что-то большое и важное, но опускаешь руки. Саулюс Йотаута, ты и теперь сомневаешься в себе? Не веришь тому, что томит душу? А может, это лишь тревога последних дней, боль из-за ухода Дагны, пытка раненого мужского самолюбия? Что это, скажи? Откуда этот туман, эта черная ночь, из которой глядят на тебя глаза, из которой идут к тебе люди целыми толпами, катятся, словно волны Атлантики у подножия Пиренеев?.. К тебе, к тебе идут люди, а у тебя нет сил ни встать и убежать от них, ни идти им навстречу...

Еще один кофе, Стасяле... Он возьмет кофе и тогда все поймет. Но решение запоздало; Саулюс съеживается, потому что зароктавивший бас бьет его как дубиной по макушке. Уповай только на одно: не заметит, уйдет, решив, что в кафе пусто. Саулюс прижимается к стене, прячется за высокую перегородку, но видит — высит-ся выгнутая дугой спина, а глаза исподлобья обшаривают кафе.

— Не могу, товарищ Ругянис... Дам вам только кофеек.

— Ты... мне... только кофеек? Эти помой? Третий раз гуцу про-цедила... кофеек называется...

— Товарищ Ругянис, зачем вы так?

— Люблю тебя, Стасе, плутовка. Не веришь? Дай бутылку коньяка, вдвоем с тобой выпьем, а я тебе кое-что расскажу...

— Не дурите, товарищ Ругянис. Отойдите!

— Ах ты... Если б ты видела мою душу... Гадят в нее все кому не лень... Но я еще покажу, кто такой Ругянис. Слишком крупная рыба, чтоб проглотили. Не выйдет!

— Вы присядьте, товарищ Ругянис.

Саулюс слышит приближающуюся нетвердую поступь.

— В этой вонючей дыре, оказывается, есть люди..

Ругянис ставит, расплескивая, чашку кофе, рюмку, разваливается напротив и только теперь поднимает глаза. Покрасневшие, затянутые слизью глаза разбегаются, выливаются из глазниц. Челюсть отвисает, обнажая пожелтевшие лошадиные зубы.

— Йо-тау-та?! — шибает перегаром.

Саулюс откидывается, прижимается спиной к спинке дивана и, горько усмехнувшись, в свою очередь выговаривает:

— Ругянис.

Залитые кофе и коньяком пальцы Аугустаса Ругяниса ползут по краю стола, впиваются в столешницу, раздуваются, словно насосавшиеся крови пиявки.

— Может, скажешь — катись к черту?

— Почему? Сиди. Это не моя квартира.

— А если бы в твоей квартире, Йотаута?

— Перестань кривляться.

Ругянис пытается встать, но, не отодрав отяжелевшего зада, удобнее устраивается за столом, оборачивается к стойке:

— Стасе! Давай сюда бутылку!

— Не надо, Ругянис.

— Кому не надо? Мне или тебе? Ломаю лед, Йотаута, и сломаю, вот увидишь!

— Желаю удачи.

— Иронизируешь?

— Серьезно. Сражайся за себя.

Ругянис облокачивается на стол, подается всем телом вперед, его прищуренные глаза впиваются в Саулюса.

— Ты сказал, Йотаута, что я сражаюсь за себя? За себя?!

— Помнится, когда-то ты говорил: если я за себя не постою, то кто постоит?

— Чепуха! Но сейчас, Йотаута, в данной ситуации, я сражаюсь за себя, так, по-твоему, получается?

— Ты пьян, Ругянис, да и вообще нам с тобой лучше... Будь здоров.

— Нет уж, посиди.— Ругянис стискивает руку Саулюса крепкими тупыми пальцами.— Посиди. Думаешь, для меня все так просто, легко... Достаточно пальцем шевельнуть — и рождается новое произведение, да?.. Нет, нет, ты посиди, наберись терпения. А может, все-таки выпьем, а? Стасе!

— Не могу, мне надо идти.

Ругянис опрокидывает свою рюмку, встряхивает головой, густая седая грива колышется.

— В муках все рождаю, Йотаута. В муках каждая моя работа на свет приходит.

— Думаешь, ты один в муках!..

— Меня человек заботит! Человек! Ему нужен мой «Хозяин». Я создал портрет современного человека. Хозяина всей нашей жизни! Обобщенный, осмысленный. Человека — уверенного, сильного! Сколько мне нервы трепали, пока приняли. Денежки выплатили. Пускай они подотрутятся этими бумажками!.. Не для того я творил, чтоб работа в запаснике пылилась! Она должна на виду стоять, люди должны ее видеть...

Как «Древнего литовца»? — едва не срывается у Саулюса, но он вовремя спохватывается — какой смысл ввязываться в спор с Ругянисом? Все равно он окажется прав. В марте на выставке Саулюс видел «Хозяина» Ругяниса. Пробовал даже убедить себя, что не понял, не рассмотрел как следует, не вник. И второй и третий раз приходил на выставку, смотрел на скульптуру, наблюдал, как реагируют зрители. Остался в полной растерянности. Слышал суждения друзей: «Новое понимание человека, замечательно, впервые...», «Од-

на холодная масса, ничего больше», «Сколько грубости...», «Не сравнить с «Древним литовцем»...» Саулюс молчал, не поддакивал ни тем, ни другим, потому что знал: его мнение, каким бы оно ни было, истолкуют по-своему. Ждал, что скажет критика. Ни слова. Ругянис в появившемся интервью широко комментировал последнюю работу, считая ее лучшим своим творением, самым удачным, потребовавшим больше всего сил и сердца. Еще где-то Ругянис тоже сам писал о «Хозяине». Вот и все. Почему так бывает: величественное произведение и рядом с ним — ничтожное? А может, Аугустас Ругянис ушел так далеко, что мы уже не поспеваем за ним? Новое поколение поймет и скажет свое слово о «Хозяине»...

— Чего молчишь, Йотаута? По-твоему, не стоит драться?

Саулюс, думая о своем, искренне соглашается:

— Надо драться.

— То-то! — радуется Ругянис. — Тебе не кажется, Йотаута, что нам с тобой надо ударить по рукам? — Ругянис сует через стол потную ладонь, жесткую и задубелую, как у каменотеса.

— Почему?

— Скажем, настал такой час.

Саулюс улавливает тонкую ниточку, ведущую куда-то... куда-то, цепляется за нее, знает, что не выпустит из рук.

— Какой такой час?

— Такой, Йотаута, небо проясняется. Боже мой, как нам нужна бутылка коньяка!

— Говорил, не буду пить. А ты все-таки договаривай.

Ругянис сжимает ладонь, крупный кулак, будто камень, придвигает к себе, откидывается на спинку дивана.

— Мы люди искусства. Сам знаешь, как я тебя уважал. Дружьями были. Теперь ты думаешь — Ругянис такой, Ругянис сякой. Ругянис такой, какой он есть! И всегда он был таким, что бы ты о нем ни думал. Ты вот не желаешь пообщаться со мной, нос воротишь. Один, как сыч, сидишь, пьешь. Почему?

— Биографию рассказывать не намерен.

— А я и не прошу. Только не думай, что люди о жизни художника узнают из его автобиографии и что я ничего не знаю.

— Да что ты знаешь, что? — Саулюс задыхается от ярости. — Что Дагна меня бросила, знаешь?

Ругянис криво и ликующе усмехается.

— Наконец-то заговорил.

— Что еще слышал, Аугустас Ругянис?

— Не устраивай истерики. Могу добавить: если уход Дагны для тебя был сюрпризом, то для кое-кого...

— Ты видишь Дагну?

— Мы с тобой люди искусства, Йотаута...

— Ты видишь Дагну? — Налегая грудью на стол, Саулюс прижимает Аугустаса Ругяниса к стене.

— Если хочешь напрямик — какая женщина относилась к нам как к творцам, понимала нашу работу?

Саулюс медленно встает, опираясь руками на стол, и вполголоса, но очень отчетливо произносит:

— Удивительно твое величие, Аугустас Ругянис, но еще больше — твое ничтожество.

На улице думает, были ли люди в кафе. Слышал ли кто-нибудь их разговор? Заметила ли барменша Стасе, как он бросился в дверь? Все заглушает яростное желание что-то делать, заплакать посреди улицы, вскарабкаться на леса реставрируемого дома, броситься ничком на траву... или усесться вот тут, на ступеньках... Руки в карманах брюк, голова втянута в плечи. Окажись на дороге милиционер, решивший, что он пьян, Саулюс обрадовался бы: делайте со мной

что хотите... Но никто его не останавливает, прохожие расступаются, обернувшись, провожают недоуменными взглядами. Никому он не нужен, один среди куда-то спешащих людей. Один во всем городе, во всем мире, и ему так мало надо места, чтоб посидеть спокойно. Но где?

...Открыв глаза, видит на руке кровь. Лежит, пытаюсь хоть что-то вспомнить. Откуда кровь? Никакой боли, ни малейшей, только желудок ноет и во рту какая-то мерзость. Садится. Один, кругом ни души, осколки бутылки рядом. Во сне, наверно, переворачиваясь, чиркнул рукой по стеклу. Царапина, засохшая кровь. А где же эти... его приятели? Прибился к каким-то незнакомым мужикам в подворотне, пил с ними, куда-то шел. Поднимает мятый пиджак, достает бумажник. Есть и паспорт и водительские права. Хорошие ребята, думает с кривой усмешкой. Правда, деньги... Но оставались ли они еще, сколько их там было? Он никогда не мог сказать, сколько у него в кармане денег, а сегодня... Ну конечно, ни рубля... Черт возьми, так тебе и надо; раздраженно встает; хмель шибает в голову, глаза застилает молочная мгла, и Саулюс, пошатнувшись, едва удерживается на ногах. Слабость вскоре проходит, и он уже может оглядеться в вечерних сумерках. Рядышком Нерис, а за рекой — жилой массив Жирмунай. За спиной высокая круча, неподалеку по улице проносятся машины. Саулюс успокаивается, ему вроде становится легче. Садится, снова валится на спину и смотрит в небо, перечеркнутое белой ленточкой дыма. Вспоминает мать, сидящую на веранде, ее слова, заставившие Саулюса снова убежать из дому. Вспоминает Дагну и свою пустую квартиру этим утром, вспоминает Аугустаса Ругяниса, протянувшего ладонь, мужчин в подворотне и этот бесконечный поход по узким улочкам и дворам старого города... Когда в окнах Жирмуная загораются огни, встает, спустившись к реке, моет руки, лицо, вытирается платком. Обшаривает карманы, еще раз проверяет бумажник — ни рубля. Лишь какая-то мелочь. Надо позвонить, надо. Альбертас Бакис! Да, да, только неизвестно, сидит ли он летом дома. Такая вот история, Альбертас, потерял деньги, дай чего-нибудь перекусить... Не только это, можно будет просто посидеть и поговорить. О чем? Бог ты мой, неужели Альбертас хоть раз молчал? Саулюс посидит и послушает. Рассказывай, Альбертас, новости. Саулюс газет не читал, знаешь, в деревне...

Альбертас Бакис открывает дверь, распаивает объятия, здороваясь, засыпает гостя французскими и литовскими словами.

Саулюс только теперь замечает, как он помят; торопливо стягивает пиджак, вешает в передней, бросает взгляд на светлые брюки — на коленях зеленые пятна. Приглаживает пальцами волосы, опускается в мягкое кресло.

— Ты не удивляйся, Альбертас, что я так...

Но Альбертас его не слышит и ничего не замечает

— Что пить будешь? Вино? Коньяк?

— Ничего.

— Как так ничего?

— Не предлагай. — Саулюс, зажмурившись, качает головой; от одной мысли о вине становится плохо.

— Кофе нету. Чаю?

— Только покрепче.

— Может, перекусить чего-нибудь?

— Неплохо бы. — У Саулюса урчит в животе, кажется, там засел хищный зверь.

— Жалко, Ядвиги нету.

Саулюс рад, что Альбертас один, не увидит в женских глазах сочувствие или осуждение: слава богу, мой еще так низко не скатился. В молодые годы Ядвиги однажды забрала дочку и ушла к матери, живущей около Острых ворот, а позднее сама призналась: ах,

эти художники, по сей день я их не пойму. Так что целых пять лет в этой комнате — ничего в ней не осталось, что напомнило бы о былом, — Саулюс проводил дни и ночи, часто не замечая, когда занимается утро и когда смеркается вечер. Здесь прозвучала и мамина пощечина. Он тогда рассвирепел, поклялся, что никогда не забудет ее и не простит; а сейчас качает головой — надо было тогда взять руку матери и поцеловать.

Альбертас ставит на столик тарелку с двумя бутербродами. Мужской рукой нарезанные хлеб и колбаса. Огурец кружочками.

— Что есть, тем угощаю. Была бы Ядвига... В командировке в Москве, завтра вернется. Говоришь, ни капли не будешь? А я-то ду- мал, отметим как положено.

— Что это мы должны отметить? — с набитым ртом спрашивает Саулюс.

— Мало ли причин. Вот ты. Давно у меня не был. Кроме того... Кстати, где ты пропадал? Я тебе все звоню да звоню.

Кусок застрял в горле.

— Почему я вдруг всем понадобился?

Альбертас наливает в бокал вина, отхлебывает, снова ставит.

— Могу тебе признаться, Саулюс, заключил я одну сделку. Не окончательно, но дал слово. Очень бы хотел, чтоб ты меня правильно понял. А все-таки, может, одну рюмочку...

— Говори, Альбертас.

Саулюс кладет недоеденный бутерброд на тарелку, смотрит на Альбертаса Бакиса, растерянного, нерешительного, каким ни разу его не видел. Куда-то подевалась его беззаботность.

— Ты меня знаешь, Саулюс, мы старые друзья. Может, единственные остались близкими друзьями из той славной компашки. Правда, еще Йонелюнас. Только что получил от него письмо из деревни. Радуетя, что начал крупное полотно.

— Заезжал ко мне. Вчера.

— Старые наши приятели... Одни остыли и отвернулись, другие спились и погубили талант. Третьи вовремя спохватились и крепко стали на ноги, сейчас они задают тон всей живописи. Да, да... Я не говорю — тогда мы занимались ерундой... Это были годы юности, годы поисков, годы пороха и огня. Ты согласен со мной, Саулюс?

— Говори.

Саулюс впервые за весь день забывает свою боль, берет стакан чая, пьет, наблюдая за Альбертасом.

— Так вот, не у всех у нас было этого пороха поровну и не все сберегли его сухим. Скажу начистоту, надоело кривляться — больших надежд на себя не возлагаю и гор своротить не сумею.

— А кто знает, Альбертас... Погоди-погоди, позволь мне... кто знает, когда пробьет твой час. Кто это может сказать? Какой кри- тик посмеет пророчить, что твоя песенка уже спета?

— Такой пророк — я. Я сам! И думаю, у меня есть право ска- зать себе правду.

— Нет права, потому что не знаешь своего часа.

Альбертас жалобно улыбается и наливает себе вина.

— А когда тебе далеко за сорок, не пора ли ждать последнего часа?

— Не хнычь, Альбертас. Ты никогда не был таким.

— Да, я был веселым парнем, клоуном нашей компании. Всем я нравился таким. А когда теперь говорю начистоту, даже ты, мой друг, не желаешь слушать.

— Так каждый может рассуждать: ах, я не гений, какой же смысл в моей работе?

— Я говорю только о себе. И если я за год пишу пятьдесят ра- бот, а три-четыре из них удастся протолкнуть, то как это все вы- глядит?

— Если хоть одна...

— О да, такая, которую... о которой... Увы, как видишь, их тут же забывают. Едва увидев свет, они отправляются на кладбище. Может, скажешь, надо верить в воскресение из мертвых?

— Бывает и так, вспомним историю.

— Ха-ха! — Лицо Альбертаса искажает гримаса. — Лет пятнадцать назад мы творили исключительно для грядущих поколений, которые нас откроют и поймут. Ты, Саулос, тоже внес свой вклад. Многие из молодых и сейчас так думают.

Саулос хоть и возражал Альбертасу, но чувствовал, что это и его мысли, не раз осаждавшие, не дававшие покоя, преследовавшие и днем и ночью. Неужто всем нам суждено блуждать подобно слепцам? А может, художника всю жизнь должны сопровождать духовный голод и тревога, постоянная неудовлетворенность, поиск, злость на самого себя? За что ухватиться, к чему прислониться, где найти ответ, успокаивающий разгоряченную голову? Саулос никогда не ставил себя выше Альбертаса, не думал, что в его пороховнице пороха побольше. «Левая рука ближе к сердцу... — Саулос вспоминает слова Мигеля Габеса, видит поднятую правую руку, не кулак, а кровавый обрубок. — ...ближе к сердцу, которое никто не заставит замолчать...»

— Ты не вправе говорить так, Альбертас. Ты художник.

— Нам нравится быть художниками, поэтому мы и не смеем признаться, кто мы на самом деле. Многие из нас жалкие неудачники, уже сейчас мы погребены. Могилу зароят позднее, прочитают по бумажке несколько речей о том, какие мы были незаурядные, и забудут. Аминь!

— Ты не прав, Альбертас.

— Может, чуток переборщил. Но я в третий раз повторяю: говорю только о себе.

— Ты не прав, поскольку это капитуляция. Это как топором по корням. Нет, нет, Альбертас.

Альбертас допивал бутылку вина, больше не предлагая Саулосу, сидел, развалившись, в кресле, в расстегнутом полотняном пиджачке.

— И все-таки что ты думаешь дальше делать?

— Было бы глупо, если б сказал, что с сего дня на двери мастерской вешаю амбарный замок и табличку «Бакис умер». Конечно, и дальше буду переводить холст да краски, иначе не могу. Буду работать, Саулос. Работать.

— Это и есть твоя сделка, которую ты хотел отметить?

— В какой-то мере. Не это я хотел... тебе рассказать. А потом подумал — без вступления ты меня не поймешь. А настоящая сделка вот какая. Не думаю, что плохая. Жить-то надо. Так вот три дня назад находит меня мой бывший однокашник, сейчас председатель колхоза. Колхоз крупный, богатый, прославленный. Только что новую контору они у себя отгрохали. Кабинет, говорит, просторный, светлый, но стены голые. Вот и вспомнил про меня, приехал посоветоваться.

Альбертас оживает, снова говорит легко, как когда-то.

— Что же ты ему посоветовал?

— Ему наши картины не нужны. Он побывал там, побывал сям, всего навидался, и у него возникла мысль: а что, если разрисовать всю стену его кабинета? Это его выражение — разрисовать! Я одобрил. Стенная живопись сейчас входит в моду. Мы осушили бутылку в «Гинтарасе», он извинился, что больше нету времени, сотни дел в министерствах, и ударили по рукам. Вот такая сделка. Пообещал крупную сумму, часть выплачивает сразу. Почему молчишь, Саулос? Кайдайся на меня, высмеивай. А может, по твоему разумению, я и этого не стою?

— Стенная живопись — искусство. Почему же я должен на тебя кидаться?

— Значит, одобряешь! — радуется Альбертас, но прочитав в глазах Саулюса сомнение, остывает. — Не веришь в меня, вижу. Живопись останется для меня лично. А тут — источник дополнительных доходов. Обещал и с другими председателями познакомиться. Понимаешь, им теперь культура понадобилась. Когда расскажу Ядвиге, обрадуется. Давно уже попрекает: живем хуже чернорабочего. И это чистая правда, к сожалению.

Саулюс не хочет напоминать ему о том, как в этой самой комнате они когда-то с пылом осуждали конформизм, работу ради денег, пристрастие к вещам. Разбирали творчество товарищей, выступали с пламенными речами на собраниях — повсюду поднимали флаг новаторства. Заговорить по-новому, сказать свежее слово, дерзко ломать старые формы, искать себя... себя... себя... И это ведь были не пустые выдумки — прокатилась мощная волна, расшевелив каждого. Саулюсу чудилось иногда, что настало наконец время, когда он потрясет весь мир, скажет такое, чего не говорили до него. Повседневность — материя скучная, думать про нее тошно, прошлое — кого оно может интересовать, пейзаж оставим фотографам... Мир твоего воображения, видения, сны, крик раненой души — вот за что хватайся. Долой незаконченный цикл из семи гравюр по дереву «Песня Немана», пусть пылятся за шкафом эстампы «Когда я шел на войну...». Нет, ты должен проторить собственную тропу. Только замахнись пошире, иди туда, где не ступала нога художника. Да. «Импровизация I», «Импровизация II»... Приятели не жалеют добрых слов, в печати тоже пишут. «Импровизация III», «Импровизация IV»... Приятели морщатся, вежливо советуют: ищи... ты что-то ухватил было, не выпускай из рук. Гудит голова деревенского парня, перед глазами всплывают излучины Швянтупе, люди Лепалотаса, мать, застывшая в воротах, словно придорожный крест, но ты избегаешь даже думать о родном доме, бежишь от него, ищешь собственный мир, не связанный ни со временем, ни с местом; ищешь себя по ту сторону повседневности, ищешь себя в себе. Ты же помнишь об этом, Альбертас, не хуже меня. Такими были наши первые шаги. Я не хочу перечеркивать их. Мы шли с верой в себя. Разве этого мало? Что же погасило эту веру сейчас? Разочарование, что не взобрались на вершину? Неудовлетворенность тем, что сделали? Претензии к жизни, что скупо отмерила нам блага? А может, это годы? Все-таки пятый десяток на носу.

Ах, Альбертас, кому из нас неведомы мучительные мысли да угрызения совести? Но ведь не будешь об этом рассказывать да показывать. От пропитанной потом рубашки отвернется каждый. Да и самим пот неприятен. Но только из потной ладони падает зерно в пашню, всходит и пахнет свежим хлебом.

— Будем верны, Альбертас, — негромко говорит Саулюс и вслушивается в звучание этих слов.

— Кому нужна эта наша верность? — горький вздох Альбертаса.

— Когда Чюрлёнис после учебы в Варшаве и Лейпциге стал изучать литовский, многие удивились: зачем это? Чюрлёнис знал, для кого живет и создает, — для родины.

— Чюрлёнис — один под нашим небом.

— Я говорю о понимании. Нужна опора. Давай обопремся на Чюрлёниса, Кандинского, Сарьяна, Мазереля, Сикейроса. Обопремся на их верность идее! Я так думаю. И очень бы хотел, Альбертас, чтобы ты стену колхозной конторы не просто разрисовал, как выражается твой однокашник... Поздно уже. — Саулюс привычным движением поднимает руку, чтобы посмотреть на часы, но часов-то нет, только теперь замечает. Видит глаза Альбертаса, смотрящие как-то

странно, и объясняет: — Видно, дома забыл. — Краснеет, сам это чувствует, но продолжает: — И деньги забыл. Не найдется на такси?

Альбертас, что с ним бывает редко, не произносит ни слова, встает из кресла, из заднего кармана вельветовых штанов достает кошелек, долго ковыряется, словно тот битком набит; наконец двумя пальцами выуживает сложенный вчетверо рубль.

— Хватит?

— Хватит, — торопливо отвечает Саулюс.

— Я хотел еще сказать... — Альбертас вращает в руке кошелек, заглядывает в него. — Хорошо, что ты зашел, Саулюс. Мне было нелегко. Хоть посидели вместе, отвели душу... — Поднимает глаза на Саулюса. — Дагна звонила. Позавчера. Тебя искала.

Саулюс хватается за вешалку и держится, словно в летящем и раскачивающемся троллейбусе.

— Что ты ей сказал?

— А что я мог... Я же не знал, куда ты запропастился.

— В деревне... Я все эти дни в деревне был... В своей деревне, в Лепалотасе. Что она еще тебе сказала?

— Ничего, только про тебя спрашивала. Если бы ты мне тогда сказал...

— Я ничего тогда не знал. Ничего, Альбертас.

— Понимаю. Я по голосу Дагны понял, что она о тебе думает. Дагна вернется.

Саулюс открывает дверь и задом выбирается на темную лестничную площадку.

— Она не вернется, Альбертас. Не вернется.

Спотыкаясь, сбегает по лестнице, на улице останавливается, пережидая, пока пройдет слабость, и медленно шагает по затихшему городу.

Через каких-нибудь полчаса, захлопнув дверь своей квартиры, останавливается в гостиной. Не знает, почему останавливается, что ищет взглядом; с утра до ночи прошла целая вечность, изменив все. На глаза попадается белеющий на столе конверт. Может, он давно там лежит, только Саулюс не заметил? А может, сегодня?.. Разрывает конверт, безжалостно раздирает непослушными пальцами, достает листок: «Товарищ С. Йотаута, в ближайшее время вы должны непременно зайти к директору училища для важного разговора. Напоминаем, что вы отозваны из отпуска и назначены руководителем производственной группы...» И так далее, звенит металлом голос директора, и так далее... и так далее...

Утром Саулюс долго валяется в постели. Что принесет этот день, что — завтрашний? Разве он мог подумать какой-нибудь месяц назад, что его ждет такой тяжелый июнь? Собирался тогда во Францию, был полон энергии и радости, приятели завидовали ему («Повезло тебе... Ей-богу, тебе везет, Саулюс...»), а Дагна бегала по магазинам, собирая мужа в дорогу, жаловалась, что не может достать того да сего, и составляла список, что привезти из Парижа. Так недавно все было, так недавно, что подумать страшно.

Выбравшись из постели, долго стоит у открытого окна, не видя и не слыша, что творится во дворе, проходит в ванную, принимает холодный душ, потом долго вытирается махровым полотенцем, надевает чистую сорочку, серый костюм и застывает посреди комнаты: а что же дальше?

Телефонный звонок — словно автоматная очередь из-за угла. Саулюс вздрагивает, втягивает голову в плечи, оглянувшись, подбегает к трубке.

— Алло!

Молчание.

— Алло! — торопливо повторяет Саулюс и одновременно вспоминает, как прошлой осенью ходил по магазинам, чтобы купить подарок Дагне ко дню рождения.

Не раз он забывал этот день, потом Дагна ласково напоминала ему, и он чувствовал себя виноватым. Тогда вспомнил вовремя и уже который день носился как угорелый. Деньги как раз были, получил за работу крупную сумму, и подумал: купит скромный, но красивый перстень. В ювелирных ничего ему не смогли предложить, лишь шепнули: «Завтра должны выбросить». И правда, зашел под вечер и увидел километровую очередь. Прилавков в осаде, несколько воинственных баб никого не подпускают, размахивая руками в перстнях. Саулюс встал в хвост, терпеливо протолкался битый час, послушал шум и ругань, угрозы продавщиц вызвать милицию и, потеряв надежду, вышел на улицу. На цветочном базаре купил у сумглого южанина пять гвоздик и в набитом битком троллейбусе вернулся домой. «Я хотел тебе... я так хотел тебе, Дагна, что-нибудь хорошее, но... Вот цветы...» Развернул гвоздики и торжественно добавил: «Шабол!» У двух гвоздик отломались головки, видно не уберег в троллейбусе. «Прости, Дагна...» Лицо Дагны было ясным и счастливым, только глаза почему-то увлажнились, длинные темные ресницы затрепетали...

...В телефонной трубке Саулюс слышит прерывистый вздох.

«По дороге думала: буду говорить, рассказывать, вылью свою боль до последней капли. Но разве мне одной больно? Свекровь Матильда сказала тогда: может, оно и лучше, что Саулюса нет, нам, бабам, легче и радость и горе пережить. Наверно, земля должна расступиться, если женщина споткнется,— это тоже слова свекрови. Она все медлила, говорила о том да о сем, готова меня к страшному известию. А после мы проговорили всю ночь, у меня кружилась голова, и лишь многим позднее сумела все вспомнить, понять себя, свои шаги в этом мире, которые неотступно сопровождал обман: женщина, которую я называла матерью,— не мать, отец, которого считала отцом,— не отец... Кто они мне теперь? Деда? Деда Балтайтисы, вырастившие меня как дочку».

Уже не первый раз Дагне хочется закричать. Один Саулюс, может быть, поймет ее, а другие сочтут безумной. Но разве она не безумна, разве ее еще до рождения не обрекли на безумие? Дедушка не мог перенести позора, который навлекла на него любимая дочка Эгле. Единственная дочь знаменитого каунасского адвоката Балтайтиса спуталась... и вот беременна... Выгнать из дому, отречься? Вместе с ней ушла бы на улицу и мать Эгле, в этом он не сомневался. Благословить с этим... Но где он? Эгле сказала, что Людвикас уехал далеко и вернется не скоро. Куда? Она только головой качала. Отец спрашивал: кто он такой? Эгле как воды в рот набрала. Какие еще могут быть сомнения — сидит в тюрьме парень, не иначе. Так ему и надо, пускай там хоть сдохнет. А когда дома пискнула дочка Эгле, адвокат Балтайтис совсем потерял голову. Не знал, что отвечать друзьям да знакомым, избегал появляться на Лайсвес аллее, торчал после работы в своем кабинете, но стены деревянного дома звенели от плача маленькой Дагны, от колыбельной Эгле. Решение покинуть Литву пришло в голову не сразу. У Балтайтиса были приятели, неплохо разбирающиеся в вихрях мировых событий, в делах родного края. То один, то другой без лишних разговоров, втихомолку пооткрывали счета в швейцарских банках и держали чемоданы собранными. Самое время за крупную сумму продать дом (чтоб потом даром не пришлось отдать, шепнул на ухо приятель) и податься за океан. Подальше от обрушившегося на дом позора и неясного будущего. Однажды после обеда он поделился своими планами с женой и дочкой, конечно, даже не намекнул о сгущающихся над Литвой тучах. Дескать, он так решил и не ду-

мает менять своего решения. Мать и дочка и слушать не захотели, разрыдались. Но назавтра Эгле почему-то спросила отца, поедут ли они через Париж. «Если через Париж... Мне очень хочется увидеть Париж. Очень-очень...» Отец не стал возражать — какая женщина не мечтает побывать в Париже! Разумеется, они смогут остановиться там хоть на недельку. Эгле обрадовалась, а мать переубедить было не так уж трудно. Все хлопоты взял на себя отец, но как-то нерешительно, все медлил, откладывал, ждал письма от дяди, живущего в Калифорнии. А когда письмо наконец пришло и отец продал дом, Гитлер уже ступил сапогом в Варшаву. По Лайсвес аллее в Каунасе прошла демонстрация рабочих. Адвокат Балтайтис растерянно заметался. Пути отрезаны? Эгле тоже забеспокоилась, обвиняла отца, только мать негромко сказала: «Слава богу». Однако ее муж обращался за помощью не к богу. Приятели добыли заграничный паспорт, и весной, когда потеплело, а Дагне стукнуло два годика, всей семьей выбрались в дальнюю дорогу. Эгле беспокоилась: побыстрее в Париж, словно там ее ждали какие-то чудеса. Но в Париже она меньше всего интересовалась тем, чем в этом городе обычно интересуются женщины. Пожаловалась, что у нее болит голова, и не ступала ногой из гостиницы, но однажды родители, вернувшись, не застали ее. Эгле явилась лишь поздно вечером с Дагной на руках. Где была? Сидела на лавочке в парке. И назавтра то же самое. Отец обиделся. «Из-за тебя только здесь остановились. Мы бы уже океан пересекли, если б не твои капризы...» Вот тогда Эгле и сказала: «Родные мои, я остаюсь в Париже на месяц или дольше. Вы езжайте, а ты, мамочка, позаботься о Дагне, ей трудно будет со мной. Я приеду позднее...» Новый каприз дочки окончательно сбил с толку родителей. Что это значит? Почему она должна остаться здесь, в Париже? Почему, почему? Эгле призналась: здесь, в этом городе, живет отец ее Дагны. Да, да, отец Дагны! О господи! Этого не хватало, чтобы Балтайтис сам привез родную дочь в лапы этого негодяя. «Где он? Веди меня к нему, я хочу поговорить!» Эгле остудила его пыл: Людвикаса сейчас в Париже нет, он вернется недели через две или через месяц. Эгле упрямо твердила, что обязательно должна дожждаться Людвикаса. И родители оставили ее одну, взяв твердое обещание, что она, едва увидевшись с этим Людвикасом, тотчас сядет на пароход...

Позднее мать Эгле будет рассказывать Дагне, начавшей уже ходить в школу для литовских детей:

— Так вот, доченька... — Она будет называть Дагну дочкой, и все знакомые будут говорить: какая симпатичная у вас дочурка, мадам. — Так вот, — расскажет она, — круто обошлась с нами жизнь. Твоя сестричка Эгле, много-много старше тебя, пропала без вести. (Дагна попробует вспомнить свою «сестричку» Эгле, но не сможет.) Ты была еще совсем крошка, когда мы оставили Эгле в Париже.

— Почему вы ее оставили в Париже, мама? — спросит Дагна у своей бабушки.

— Она сама этого хотела. Скажу тебе, доченька, ты уже большая, с тобой можно обо всем говорить: у нее там был парень, которого она безумно любила. А он не был достоин ее любви. Наверное, сбежал от нее, а она искала его по всему Парижу...

Мать еще расскажет, как они втроем, попрощавшись с Эгле, уехали в Марсель и сели на пароход. Но примерно через полчаса налетел немецкий самолет, обстрелял пароход и заставил вернуться в порт. Ждали несколько дней. И тогда Германия перешагнула границы Франции. Лагерь беженцев, надежда найти Эгле, письма, письма... Но ответа от Эгле не дождались. Адвокат Балтайтис, который давно хворал сердцем, не раз говорил жене: «Ты мать Дагны. Она не останется сиротой, потому что ты ее мать». Жена растроганно повторяла: «Я ее мать». Однажды адвокат ушел за хлебом и упал в очереди перед лавкой.

- Если бы Эгле не осталась в Париже... — вздохнула мать.
- Она была нехорошая, моя сестричка, — сказала Дагна.
- Не надо так говорить, доченька. Я ее любила.
- Она тебя бросила, а я тебя никогда не брошу. Ты моя самая хорошая мама.

Дагна не поняла, почему мать после этих слов заплакала и попросила ее:

- Не расспрашивай меня больше об Эгле, никогда не расспрашивай, мне очень тяжело.

Дагна вспоминает иногда детские дни, слезы матери, вой самолетов и взрывы бомб, вспоминает, как болела. После войны они долго ехали в поездах. Пассажиры на гулких вокзалах штурмовали битком набитые вагоны, Дагну мучала жажда. Мать успокаивала:

- Потерпи, там будем жить по-другому. Там не будем одни, может, найдем твою сестричку Эгле... Оттуда Литва уже недалеко.

Снова лагерь, дощатые, продуваемые ветром бараки. Здесь было много детей. И Дагна играла с ними, говорила по-литовски. Литва в рассказах матери рисовалась далекой сказочной страной, в которой высятся городища, насыпанные праотцами, утопают в цветах сады, молодцеватые парни скачут на лошадях в ночное, а девицы с глазами цвета льна стоят в рутовых садовках и поют печальные песни. Не важно, что знакомые ворчали: «Как ты дочку воспитываешь, госпожа Балтайтис? Говоришь о Литве, а о том, что в Литве творится, молчишь». «Откуда я могу знать, что сейчас творится в Литве?» «Госпожа Балтайтис! Неужели ты не читаешь газет? Может, не слышала, что мы собираемся переселиться из Германии в Америку, где будем бороться за истинную Литву?..» «Я очень устала, — отвечала мать. — Я хочу только в Литву...» Но прошло пять лет, пока наконец она сказала:

- Доченька, мы едем в Литву.

— Ты не могла не вернуться в Литву. — Эти слова настигли Дагну врасплох, мысли рассыпались словно бусинки, и она подняла глаза на Саулюса — почему?

- И впрямь — ты не могла не вернуться. Ты — Йотаутайте.

— Дочка твоего брата Людвикаса, — торопливо говорит Дагна и зажмуривается от боли.

На тенистой, уютной плющом террасе, холодно, бросает в дрожь, но Дагне никуда не хочется идти, она сама выбрала это укромное кафе, и Саулюс согласился. Конечно, могли встретиться в своем доме, но ни один не предложил этого, оба подумали: у нас нет дома. Правда, Дагна спросила: «О чем мы будем говорить?» Саулюс ответил: «Я не знаю». Дагна опоздала на свидание. Долго наряжалась, что ни надевала, все срывала с себя. Часть своих вещей перевезла к подруге на дачу за Вильнюсом, на берегу Нериса. Наконец, увидев, что время уходит, надела простенькое платье, торопливо причесалась (как хорошо, что вчера была в парикмахерской) и побежала по тропе через сосновый бор на улицу. Она хочет быть красивой, хочет нравиться? Кому? Господи, даже сегодня... И вчера и позавчера, когда бегала к автомату звонить домой (как странно трепетало в ее мыслях это слово — домой!), долго стояла перед зеркалом, как семнадцать лет назад, когда шла на свидание с Саулюсом.

— Лучше бы ты не заходила тогда на мою выставку в художественном салоне, — говорит Саулюс, стряхивая сигарету в полную окурков пепельницу.

— Лучше бы ты не положил книгу отзывов и я бы не смогла ничего написать, — словно эхо отзывается Дагна.

- Мы все равно бы встретились.

- Ты бы не заговорил со мной.

— Я был смелым. Даже нахальным. Предложил тебе позировать, и если бы ты не приехала...

Саулюс не поднимает головы, сидит, утонув в сигаретном дыму. Дагне жалко его, жалко себя и минувших лет. Так жалко, что ее снова душит желание закричать во весь голос — разве боль может уместиться в тихом слове? И радость в нем не уместается. Дагна знает это, потому что всю ее жизнь радость и боль шли вместе, никогда не покидали ее. Когда родился ребенок, нахлынувшее счастье поднимало ее как на крыльях, хотелось бежать по городу, обнимая каждого встречного, и говорить: «Я счастлива, неужто не видите! Улыбнитесь мне, потому что родился человек, и я его выращу...» Деревья казались зеленее, трава у дома сочнее, а розы, которые приносил Саулюс, не увядали долго-долго. «Ты теперь будешь любить только его», — посетовал Саулюс. «О нет, вас обоих. Тебя еще больше, потому что ты мне его подарил». «Это ты мне его подарила, Дагна...» Саулюс не спускал глаз с малышка, после работы пулей несся домой и уже с порога спрашивал: «Как он?..» Дагна говорила Наглису самые прекрасные слова, показывала высокое небо, ясное солнце, опустившегося на балкон голубя и темнеющий вдали старый парк. Младенец морщил лобик, махал ручонками, тихонько сипел, даже ночью не нарушал родительского сна. Однажды Дагна, прижавшись к спине Саулюса (она любила засыпать так), прошептала: «Когда Наглису будет два годика и он уже станет бегать, у нас появится дочка, правда?» «О, это очень просто делается», — пошутил, не оборачиваясь, Саулюс, и эти слова обидели Дагну, но ненадолго. «Ведь красиво, когда двое, правда? Мальчик и девочка. Двое обязательно. Я-то знаю, как трудно расти одной...» «Нас было трое, но я рос один», — сказал Саулюс.

Наглису было два месяца, когда к Дагне впервые пришла эта страшная мысль, и она закричала, открытым ртом втягивая воздух и глядя на ребенка расширенными глазами. Дома она была одна, никто не услышал. Но минуту спустя сама уже не понимала, как могла подумать такое. Подхватив Наглису на руки, носила, прижимала к груди, баюкала, но все время чувствовала, что кто-то невидимый стоит рядом и не отходит. Ночью ей приснился кошмарный сон, вскочила в холодном поту. Боялась заснуть и до утра не сомкнула глаз. Саулюсу словом не обмолвилась, чтоб не высмеял, ведь она и сама понимает, что зря вбила себе это в голову... Но как справиться с этим страхом? Взяла книжки какие только были, прочитала от корки до корки. Уложила ребенка на кровать, раздела и рассматривала, как чужого. Осуждала себя, стыдила, но легче от этого не становилось. Знала, что надо сходить к врачу, но медлила. Наконец собралась-таки в поликлинику. Молодая врачиха спросила, на что жалуется ребенок. Дагна попросила: посмотрите его, доктор. Спит? Спит. Ест? Ест. Очень хорошо, значит, здоров, говорила врачиха. Грудью кормите? Грудью. Приучайте к морковному соку, потом к манной кашке... «Но, доктор, вы как следует посмотрите», — еще раз попросила Дагна, потому что слова врачихи не рассеяли ее страха. «Чего вы еще хотите, симпатичный младенец», — вспылила врачиха. «Вам не кажется, доктор?..» Дагна задыхнулась, ей впервые пришлось заговорить о немощи своего ребенка. И она искала слов, самых простых, чтоб ей самой они не показались страшными. «Не кажется ли вам, доктор... что ребенок как будто только что родился?» Дрогнувший голос Дагны, по-видимому, разбудил врачиху от дремотной усталости; она попросила еще раз распеленать младенца, осмотрела, взвесила. Действительно, медленно развивается, слишком медленно... Хотя рано что-нибудь утверждать. Зайдите еще раз. Несколько дней спустя Дагна снова сидела в приемной поликлиники. Юной врачихи не было, Дагна даже обрадовалась и попросила, чтоб ее приняли в соседнем кабинете. Худенькая женщина, похожая на девочку, играющую в доктора, несколько минут спустя сказала: «Не стану пугать, но обязана сказать правду: плохо. Надо срочно ложиться в больницу. Сейчас же...»

В больнице Дагну с маленьким Наглисом продержали недолго.

Ребенок не развивается, врожденное, прожить может год, пять или десять... Этот диагноз Дагна выслушала как смертный приговор сыну, но все еще не теряла надежды. Даже если совпадут диагнозы пяти врачей, надо будет услышать шестого, седьмого... Саулюс отвез Дагну с младенцем в каунасские клиники. Он тоже раздувал искорки гаснущей надежды, хотя глубоко в сердце уже зарубцевалась рана. Ничего обнадеживающего. Дагна решила добраться до Москвы. Саулюс медлил, пытался переубедить, но в конце концов согласился и проводил ее туда. Тоже не обнадежили... Тянулись тяжелые однообразные дни, когда они ухаживали за Наглисом. Ребенку уже был год, но он почти не изменился. Дагне надо было вернуться на работу, они долго искали няню, пока не нашли старушку, которая обещала пять дней в неделю смотреть за малышом, если художник ее пропишет. Саулюс согласился, вняв уговорам Дагны, но через полгода, постучавшись в одну, в другую дверь учреждений, сказал, что ничего не выходит, и старушка, проклиная «интеллигентов», перестала приходить. Вот тогда Саулюс и завел разговор, на который сама Дагна не могла решиться, хотя, по правде, подумывала и об этом.

— Дагна... — Он обнял ее за плечи, ласково привлек к себе. — Послушай, Дагна...

Ему трудно было начать, и Дагна сама попросила:

— Говори. Что бы ни придумал, говори.

— Скоро два года мальчику. Я вижу, как ты мучаешься, как все еще веришь в какое-то чудо.

— Верю...

— Тебе надо больше времени уделять себе. Мне тоже нелегко. Когда иду домой, каждый раз вздрагиваю — опять увижу... Дагна, ты же слышала, что есть такой дом для детей-инвалидов...

— Не говори! — Дагна сбросила руку Саулюса, вскочила, подбежала к окну. — Не говори, Саулюс.

— Надо говорить, Дагна. И не только говорить. Я звонил, узнавал, и мы отвезем мальчика...

— Ты.. от своего ребенка... хочешь отказаться?..

— Это наш общий ребенок. Но это... живой труп, Дагна.

Дагна сникла.

— Как ты можешь, Саулюс... Как ты можешь...

— Надо! — Саулюс не выдержал, сжал кулаки. — Ты понимаешь — надо!

— Неужто ребенок виноват, что таким родился?

— Кто виноват? Кто? Может, я виноват?

Саулюс впервые ударил так беспощадно. Дагна стояла, уцепившись руками за подоконник, а перед глазами мелькали далекие картины: тяжелая болезнь, долгое путешествие на поезде, постоянные разговоры матери о сестре Эгле и Литве... Саулюс понял, что причинил Дагне боль.

— Прости, — негромко сказал. — Прости меня. — Поцеловал ее в щеку.

У Дагны кружилась голова. Неужто ее тело отравлено — и чрево и молоко в груди? Неужто она вся поражена?.. Удивилась, когда так подумала, но отнеслась к этому спокойно, даже равнодушно. Назавтра стояла перед зеркалом обнаженная, разглядывала себя всю как чужую; хорошо сложенное отравленное чучело. Испугалась этой мысли, стала торопливо одеваться.

Саулюс все дольше задерживался у себя в мастерской, поздним вечером звонил: «Я тут начал одну такую... вроде неплохо идет, хочу продолжать... может, переночую на диване...» «Ночуй», — не возражала Дагна, не зная, за что и хвататься в пустой и угрюмой квартире. Об инвалидном доме они больше не заговаривали, но не было дня, чтобы Дагна не подумала о нем. Может, Саулюс и прав. К Наглису она уже

не испытывала прежней нежности, смотрела на него с жалостью и ждала, когда же Саулюс заговорит снова, чтобы, может быть, еще раз возразить, не согласиться, а потом... раз ты так считаешь, пускай... Но Саулюс молчал, он казался равнодушным к тихонько скулящему младенцу, у него находилось все больше дел вне дома, его голова была полна замыслов, для осуществления которых необходимо одиночество. И на этот раз Дагна заговорила первой:

— Давай съездим, Саулюс, в этот дом...

Каждый месяц они приезжали к Наглису. Дагна заговаривала с ним, давала игрушки, но ребенок ни на что не реагировал, только чмокал морщинистыми губками, его глаза блуждали где-то, не видя матери. Саулюс тут же вспоминал, что пора уходить, да и вообще не слишком ли часто бывают они в этом доме... Конечно, он это говорил зря. Сын недолго их утомлял. Была уже осень, конец сентября, когда пришла телеграмма, Дагна держала ее в руке сложенную вчетверо, с заклеенным краешком и боялась вскрыть и прочитывать. Опустилась в кресло, не поднимая рук, ее придавило тяжелое предчувствие. Наконец прочитала: «Умер ваш сын Наглис». Долго сидела, глядя на серый листок, на крупные буквы. Вскочив, бросилась в комнату Саулюса, но комната оказалась пустой. Где Саулюс? Никак не могла вспомнить, застонала, ударилась плечами и затылком в стену. Пришла в себя. Да, Саулюс нет, уже целая неделя как он уехал с группой художников на Кольский полуостров и вернется не скоро. Послала две телеграммы: Саулюсу и матери. Мать приехала назавтра, и она сама страдала не меньше ее. «Это я виновата, доченька, я. Меня господь покарал. Не тебя, а меня...» Дагна тогда не поняла этих слов, она ведь из последних сил старалась держать себя в руках.

Саулюс вернулся лишь десять дней спустя. Телеграмма нашла его с опозданием, и он решил пробыть до конца — чем он мог помочь? Поехал с Дагной на могилку сына, положил цветы, постоял.

— Может, так оно и лучше. И сам не будет мучаться и нас... — сказал, придерживая Дагну под руку. — Все забудется.

Эти слова не обидели Дагну, она кивнула, но ей казалось, что сердце ее зарыто в этой могиле.

Пройдет год, и подруга скажет ей прямо:

— Нехорошо так, Дагна. Рожай второго.

— А если опять?!

— Дагна, опомнись!

— Боюсь. всю жизнь буду бояться.

Приятельницы говорили, что Дагна похорошела, что ее жизнь — полная чаша: муж-художник (художники загребают немало, это известно), приличная квартира (все-таки три комнаты на двоих), автомобиль («Тебе, хоть лопни, надо получить права»). Дагна не возражала. В ее гардеробе теперь появились темных тонов ладно сидящие платья, скромные и подчеркивающие безупречные пропорции тела. Но это не означало прощания с юностью или разочарования. Шли годы, все дальше унося горе. Выставки и спектакли, пирушки у друзей и пирушки дома с друзьями, разговоры об искусстве и буднях Вильнюса, о модах, портнихах и новом рецепте пирожного... Дагна часто бывала в центре внимания, за ней наперегонки ухаживали мужчины, а женщины тайком ревновали, и один бог знает, что они говорили за дверь, что думали, какими словами отчитывали своих мужей. Саулюс, кажется, был доволен, что его женой восхищаются, из-за нее соревнуются, о ней говорят. Но такие праздничные вечера проходили, а все прочие дни — работа да работа. Саулюс возвращался из своего училища в раздражении, все чаще засиживался допоздна в мастерской. Редко заговаривал о себе, приходилось клещами вытягивать из него каждое слово. Дагна хорошо понимала, сердцем чувствовала, что ему нелегко, страстно хотела быть добрым ангелом: видеть каждое движение его руки, сосредоточенное лицо, дышать воздухом мастерской. Однажды, когда Сау-

люс закрылся у себя в кабинете, Дагна отворила дверь и увидела, как он резцом ковыряет деревянную доску. Застыла в дверях и успела заметить лишь согнутую спину и упавшие на лоб волосы; Саулюс вздрогнул, не поднимая головы, не посмотрев на нее, вскочил, нервно отбросил доску.

— Не могу работать, когда подглядывают!

— Я тебе позировала когда-то, ты сам просил.

— Это дело другое. Тебе этого не понять, Дагна.

— Мне хотелось бы понять. Мне хотелось бы помочь тебе.

— Чем? Чем ты можешь мне помочь?!

Правда, она ничем не может помочь. Иногда ее брала тоска; она ложилась в постель, но не засыпала, ждала Саулюса, а когда тот устало растягивался рядом, кончиками пальцев касалась его плеча и как будто чувствовала, что его усталость стекает в нее, готовую все принять. Вот так лежа однажды, она сказала:

— Саулюс, я беременна. Что делать?

— Сама думай.

Дагна сняла руку с плеча Саулюса, легла на спину. Ей страстно хотелось иметь ребенка, растить, заботиться о нем. Короткие месяцы материнства манили ее, хотя и страшили, напоминая про беду. Она чего-то ждала, надеялась услышать от Саулюса доброе слово.

— На той неделе лягу в больницу.

— Аборт?

— Да. Надо, наверное.

Саулюс молчал, не было слышно даже дыхания.

Крик раздирал грудь, застревал в горле, рвался сквозь плотно сжатые губы. Дагна кричала, но так тихо, что Саулюс не слышал. Она научилась кричать беззвучно.

— Ты никому не проговоришься, Дагна?

Холодный плющ на террасе трогает плечи Дагны. Она даже не вздрагивает, руки спокойно лежат на столике, за которым сидит не ее муж, с которым она расписалась семнадцать лет назад, а дядя Саулюс, брат ее отца Людвикаса Йотауты. Он как-то странно смотрит на нее, на свою племянницу Дагну, и спрашивает опять:

— Ты не проговоришься, Дагна, что мы с тобой... почему мы с тобой так неожиданно?..

Она попросила свою ближайшую подругу, чтобы та разрешила ей неделю или две пожить на даче, в пустой мансардной комнатухе. Подруга внимательно посмотрела на нее и тут же согласилась, но уже назавтра сказала: «Что-то не так у тебя, милая...» Дагна стала возражать, даже улыбнулась.

— Сама себе не могу этого вслух сказать, а другим... Нет, нет...— Дагна приоткрывает губы; в горле пересохло; отпила глоток кофе, но кофе остыл, и она отодвинула чашку.

Саулюс поднимает руку, просит официантку принести еще кофе.

— И твои и мои знакомые народ любопытный. Многим хочется разгрести печной жар. Что ты отвечаешь?

— Ничего. Говорю, что неправда, что я тебя не бросила.

— Неправда? Ты говоришь, что это неправда?

— Говорю.

— Нет, нет, так нельзя. Ведь это не так. Ты говори: я бросила Саулюса. Да, да, Дагна, ты меня бросила, всем так говори. Ты не могла со мной жить, потому что я такой... я художник, а художники все чокнутые. Многим так кажется, этому все поверят.

Саулюс горячится: его руки дрожат, он не знает, куда их девать, пока наконец не засовывает ладони между коленями.

— Нет, нет, Саулюс! Нет! — Дагна встряхивает головой, прическа ее рассыпается.— Нет, Саулюс, люди только тогда поверят, если ты скажешь, что я виновата, что ты не мог со мной больше жить.

— Перестань, Дагна! Помолчи.

— Людям нужно насладиться чужими грехами. Не жертвы я хочу, Саулюс, ты не думай так, я не буду ходить с опущенной головой. У меня достанет гордости посмотреть в глаза тем, кто хочет утолить свое любопытство.

«Посмотришь на тебя — и в глазах светлее», — потоваривал Ругянис не тайком, а при Саулюсе и других, и эти комплименты Аугустаса, как и его грубость, никого не удивляли. «Слова подвыпившего мужчины», — снисходительно улыбалась Дагна. Аугустас иногда звонил, если Саулюса не оказывалось дома, тут же начинал рассказывать о себе, своих приятелях, своих работах, проектах, набросках, то и дело повторяя: я, я, я... Она слушала его, спорила, мягко смеялась над его страстью короновать себя. Аугустас, спохватившись, признавался, что он последний неудачник, но тут же, забывшись, кирпич за кирпичом сооружал себе пьедестал.

Весной того года Вацловас Йонелюнас после долгих переговоров устроил выставку в клубе литераторов. Слухи о том, что будут выставлены работы, которые не попадают в широкие залы, привлекли не только друзей, поклонников искусства, но и целую толпу снобов. Одни обрадовались выставке, другие были разочарованы. Кто поздравлял Вацловаса, кто проходил мимо, не замечая автора. За кофейком по случаю открытия Аугустас Ругянис многозначительно оглядел коллег и первым сказал:

— Я уверен, друзья мои, что эта выставка — незаурядное событие...

Все удивились, что Аугустас не поскупился на громкие слова. Только Йонелюнас криво усмехнулся. А когда все высыпали на улицу, Аугустас пристал к Саулюсу с Дагной: пошли ко мне в мастерскую. Он звал и Йонелюнаса, и Бакиса, и других.

— Заглянем, мужики, посидим, пропустим по рюмочке!

Направились всей толпой, но когда, открыв узкую деревянную дверь, вошли во двор, зажатый стенами монастыря, сооруженного в XVII веке, оказалось, что Йонелюнас где-то потерялся.

— Захотят — придут, — сказал Ругянис, достал огромный ключ, отпер половинку двустворчатой двери, напоминающей ворота гаража, артистически поклонился и пригласил в мастерскую.

Дагна чувствовала, что Саулюсу не хотелось идти, но он не сумел устоять перед приглашением Аугустаса. Она стиснула прохладную руку мужа, приободряя его: почему бы не посидеть вместе?

На столе появились запыленная бутылка коньяка, глиняные чашечки.

— Приземляйтесь где кому удобнее. Бакис! Ну, Йотаута, — приглашал Аугустас, но они кружили вокруг макета «Древнего литовца».

Полтора года назад во Дворце выставок Дагна видела его, долго разглядывала вместе с Саулюсом. «Нравится тебе?» — спросил Саулюс не в силах скрыть дрожь в голосе. «Если он будет сооружен...» «Да, — прервал Саулюс, — уже утвердили». «Такого памятника у нас еще не было». — «Каждый памятник говорит что-то новое». — «Увы, не каждый, Саулюс». — «Ты не чувствуешь иногда, что о большом произведении не хочется говорить, просто не получается? Оно сразу захватывает, завладевает тобой...»

Аугустас подошел к ним, поднял руку.

— Лучше посмотрите вот сюда. — Его рука провела в воздухе дугу. — Главную фигуру леплю покрупнее. Хочу видеть четче, почувствовать, найти все до мелочей.

В конце мастерской под висящим на стене распятием из глыб глины проступали очертания мужчины в естественный рост, и можно уже было разглядеть мощь, величие, напористость фигуры.

— Что скажете? — через минуту спросил Ругянис.

— Виват! — Альбертас Бакис хлопнул в ладоши.

— Мнение Йотауты я уже слышал однажды. Мог бы и повторить, Йотаута.

Саулюс попятился, насупил лоб.

— Не слишком ли расплодились вот такие поднятоголовые?

По лицу Аугустаса скользнула тень.

— Шутишь?

— Я всерьез.

— Глупость, — желчно рассмеялся Аугустас, взмахнул рукой.

— Представим себе, памятник стоит на холме. Голова поднята, глядит куда-то...

— Не куда-то, а на запад, Йотаута! — вспыхнул Аугустас. — На запад, на врагов! Он стоит на страже, он готов грудью отразить врага. Да и отразил он не одно нашествие. Как ты не понимаешь сути? Лучше выпьем.

Альбертас присел, посмотрел на фигуру снизу, потер руки.

— Все-таки, голубчики, Саулюс в чем-то прав.

— И этот туда же...

— Мы можем и помолчать, — отвернулся Саулюс.

— Я все сюда вложил: свою любовь и ненависть, свою веру и надежды. Говори, Йотаута... Говори, говори... — Аугустас стиснул зубы.

— Не лучше ли было бы, если б твой литовец не висел в воздухе, не рвался куда-то, а смотрел на свою землю, на родные поля?

— Говори, говори, — торопил Аугустас, но Саулюс уже не слышал в его голосе насмешки.

— Ты подумай: он смотрит на свою землю, на свою, не на чужую. Он никогда никому не угрожал. Стоит он твердо, неколебимо и словно говорит взглядом спокойных глаз: здесь — Литва. — В глазах Саулюса зажглись жаркие огоньки, он сам невольно стал в эту позу. — Ты слышишь, Аугустас? Он тверд, потому что стоит на родной земле. И говорит: «Это моя земля, она наша, наших детей... И никому не дозволено топтать ее!»

Руки Аугустаса Ругяниса повисли, плечи опустились, он сторбился, уставился расширенными глазами на Саулюса, но вот он встряхивает копной волос, преувеличенно громко смеется:

— Подумаю... Все-таки, пожалуй, подумаю, но не обещаю, что буду что-то менять. Я ничего еще не обещаю.

Все выпили по чарочке. Ругянис грузно опустился в старое кресло, уставился перед собой неподвижными, остекленевшими глазами. Придя в себя, яростно вскочил.

— Моя персональная выставка давно закрыта, но и сейчас... Вот пресса за последние месяцы. — Снял с полки зеленую папку, вытряхнул на стол газеты и журналы. — И не только республиканская — Москва пишет. Из Таллина прислали журнал, снимок на всю страницу... Но с какой стати я демонстрирую вам всю эту чепуху? — Аугустас смахнул рукой все со стола на пол. — Разве я для того работаю, чтобы какие-то искусствоведы пописывали. От журналистов отбоя нету, гоню вон, как собак. Интервью, интервью!.. Да пускай они все катятся... Вся эта суета работать мешает, вы понимаете? Как другим — не знаю, некоторые копаются в своих рисунках и ждут, чтоб их хоть раз в год упомянули, а мне наплевать. Меня весь этот парад выбивает из равновесия...

Аугустас поддел ногой толстый журнал, тот полетел через всю мастерскую. Рассмеялся весело и зло.

— Надо самому знать, чего ты стоишь, надо заставить других опуститься на колени перед твоей работой, как перед алтарем! — Ругянис говорил, расхаживая по мастерской, казалось, он готов тут же с кем-то сразиться. — Я так понимаю! — И снова рассмеялся.

Саулюс с Альбертасом угрюмо молчали.

— Ты не боишься, Аугустас? — спросила Дагна.

— Я? Боюсь? Чего мне надо бояться?

— Этой самоуверенности.

— Самоуверенности, ха... А как прикажешь работать без уверенности? Даже в постели женщине не нужен мужик, не уверенный в своих силах.

— Пардон! — крикнул Альбертас. — Может, нам пора домой?

Затрезвонил телефон. Аугустас покосился на зеленый аппарат.

— Выпьем!

Телефон затрезвонил опять. Ругянис поднял трубку. Его лицо засияло, но тут же приобрело растерянное выражение.

— Приятно слышать... Да что вы... Пашу, как вол, без передышки... Да, участвовал, это же входит в мои обязанности... Собралось много, но все спокойно, культурно... Пожалуйста...

Ругянис напряг слух, чуть съежился, прикрыл ладонью рот, словно не желая, чтобы другие слышали этот разговор.

— Конечно, работы очень неровные, но одна-другая... Можно бы пересмотреть, даже надо...

Дагна бросила взгляд на Саулюса, уставившегося в угол, покосилась на Альбертаса, который топтался в нерешительности посреди мастерской.

— Может, позвольте вам завтра утром позвонить? Сейчас, видите ли, я... Да, да, завтра непременно.

Ругянис повесил трубку и обернулся не сразу. Взял телефонный справочник, полистал и швырнул на подоконник.

— Говорю, от журналистов отбоя нету.

Альбертас Бакис ухмыльнулся:

— Не валяй дурака, Аугустас. Спокойной ночи.

Два дня спустя работы Вацловаса Йонелюнаса на выставке поредела. В начале следующей недели выставку закрыли. Вацловас заперся дома. Никого не впускал, ни с кем не разговаривал. Саулюс сжимал кулаки, метался, места себе не находил. Потом погрузился в работу. Он был так занят, что не находил времени даже для Дагны. Изредка ей удавалось вытащить из него слово-другое, и она узнала, что до лета он хочет закончить новый цикл, что осенью будет участвовать в выставке графики, что пять его эстампов посылают в Польшу. Дагна думала, как страшна работа, которая так порабощает человека. А может, Саулюс просто охладел к ней, Дагне? Давно уже охладел? Она вспомнила болезнь ребенка, похороны, перебрала всю свою жизнь и заплакала. Плакала неостановимо, все тело была дрожь, не знала, как объяснить Саулюсу.

— Мне так тяжело иногда, — проговорила сквозь рыдания.

— Ты все не можешь забыть Наглиса. Уже сколько лет... Если б я мог, Дагна, я все начал бы сначала, стал бы инженером, физиком, химиком, даже учителем физкультуры, и после работы мы сразу же были бы вместе. Как мне исправить эту ошибку? Проклят час, когда я сунул голову в эту петлю...

— Ты иначе не мог.

— Не мог? Лучше быть каменщиком или токарем, чем скверным художником...

— Но тогда я бы тебя не встретила.

— Может, так оно было бы лучше.

— Почему ты так говоришь?

— Не знаю.

Саулюс замолчал, ласково гладил ее плечи, грудь; его рука успокаивала Дагну, утешала без слов, и он сам успокаивался, прошептал жаркими губами:

— Так есть, так и будет, Дагна. Не будет ни тебе легко, ни мне. Пока мы будем жить так. Ты улыбнись, Дагна. Я и в темноте вижу твою улыбку.

Дагна и впрямь улыбнулась и положила голову на откинутую руку Саулюса...

Казалось, все ушло, посещение мастерской Ругяниса потускнело как никому не нужное недоразумение. Но какое-то время спустя, когда отмечали семидесятилетие Маэстро, все неожиданно воскресло. Дагна и хотела и не хотела приходить на этот вечер, потому что чувствовала — им снова придется столкнуться с Ругянисом. И впрямь Аугустас, покружив поодаль в галдящей толпе, пригласил ее танцевать. Он был уже навеселе, потной рукой тискал пальцы Дагны.

— Хорошо поставленная комедия, верно? — сказал, оглядев танцующих.

— Маэстро заслужил такой вечер.

— Хо! Этот поток славословий меня просто выворачивал, извини. И за что? Что старикашка пустил на свет божий целую толпу неудачников?

— Почему ты так говоришь, Аугустас?

— Всю свою жизнь он делал художников, забывая, что художником надо родиться. Конечно, для начала сам Маэстро должен был родиться художником. Юбилейная выставка его графики... извините...

Дагна молчала. Аугустас, не слыша музыки, старался не отставать от других и отплясывал какой-то рок-фокстрот, то и дело задевая крупными плечами танцоров. Как бы между прочим обмолвился о группе английских скульпторов, посетившей его «Древнего литовца». Все были ошеломлены. Но Аугустас на это плевал!

— Я развелся с женой, Дагна, — сказал неожиданно, остановившись посреди зала и держа Дагну в объятиях.

— Надо танцевать, — сказала Дагна.

— Я развелся, — повторил Аугустас.

Дагна не знала, что ответить, и только усмехнулась:

— Найдешь другую.

— Я женщин не ищу, они сами меня находят. Чтоб переспать...

— Не хами.

— ...не отказался бы и с тобой.

В Дагну впились пронзительные глаза заклинателя змей; и этого человека она когда-то уважала, считала другом семьи?

— Ха-ха! Пошутил, извини. Нет, я не из таких, которые... Хотя Саулюс мне никто...

— Вы друзья...

— Были. Тебе разве не ясно, почему он искал моей дружбы?

— Он... искал?

— Чтоб я вытащил его из неизвестности, чтоб поднял... Слабому всегда удобно прислониться к сильному. Не один он такой. На белом свете таких большинство... Ничего не поделаешь, если бог одному отвалил таланта, а другому пожалел.

Летел зал, раскачивались хрустальные люстры, ухмылялись лица танцующих знакомые и незнакомые, с любопытством глядели на Дагну и Ругяниса.

Дагна высвободила руку, попятилась, испуганно глядя на Ругяниса.

Лицо Ругяниса пошло лиловыми пятнами, глаза затуманились. Он неожиданно расхохотался...

— Сам знаешь, Саулюс, что Ругянис лил помой и на тебя и на меня. Воображение у него буйное. Конечно, и Йонелюнас ему помешал и еще... — Дагна молчит. — Пускай люди теперь думают, что ты меня бросил. Ты бросил...

Саулюс медленно качает головой, но Дагна видит, что его мысли где-то далеко, он возвращается оттуда, улыбается — мол, все слышал и понял.

— Сегодня я, Дагна, уезжаю в деревню, обратно в Лепалотас. Завтра сто лет со дня рождения отца, и я должен быть там.

— Поезжай.

— И еще... Мне кажется, там я начинаю все сызнова. Ведь когда человек рождается, не ему бывает больно.

— Поезжай, Саулюс.

— Я не могу сейчас рассказывать, боюсь — выговорюсь и исчезнет все, что вижу и держу в руках. Ведь слова хоронят мысль. Как песок следы. Ты не сиди там, на даче у подруги. Возвращайся домой и живи. Возвращайся, чтоб дом не пустовал.

Дагна поднимает голову.

— Тебе было письмо на столике. Нашел?

Саулюс не может вспомнить. Наконец сует руку в карман, достает сложенный листок и кладет перед ней. Пока Дагна читает, Саулюс смотрит в сторону, слыша наставления директора, требования... и так далее и так...

— Что будешь делать?

Что он будет делать? Что он может делать?

— Бумаги у тебя нет?

Дагна находит в сумке сложенный вчетверо листок.

— И шарик.

Она подает ручку. Рука Саулюса очень медленно выводит первые буквы, а потом берет разгон и начинает торопиться.

— Положи в конверт и отправь.

— «Прошу освободить меня от занимаемой должности», — читает Дагна единственную короткую фразу. — И все?

— Все. Буду служить одному богу.

— В заявлении не указаны мотивы.

— Не поймет. Только посмеется.

— Хорошо, я отправлю. — Дагна складывает заявление, прячет в сумку.

На проспекте Саулюс подает Дагне руку (как знакомой, с которой перебрался словом при встрече) и, ссутулясь, удаляется, исчезает в толпе.

На фоне черной тучи белая птица, падающая наземь с надломленными крыльями. Белое, ждущее лицо Матери. Ее протянутая рука...

Застывший в горе старик у свежей могилы. Руки лежат на заступе, он смотрит перед собой. Спрашивающее лицо Матери...

Младенец на руках юной женщины. От радости дрожит воздух. Лицо Матери, полное мудрости и покоя...

Все медленнее шаг. Изредка Саулюс перестает замечать все вокруг, идет, как слепец, которого кто-то ведет за руку и оберегает, чтоб он не столкнулся со спешащими навстречу людьми. Застывает у перекрестка — тоже кто-то удержал. Нет с собой ни блокнота, ни карандаша, даже записной книжки. От раздражения Саулюс приходит в себя, он понимает, что нельзя ждать, пока вернется домой. Сейчас, сию минуту, это ведь не повторится... Другой раз, может, и не увидишь того, что предстало перед тобой в этот миг. Музыка линий звенит в ушах, она настолько зрима и слышима, что если он не остановится, не найдет уголка, где можно присесть...

Невидимая рука толкает его по широкой лестнице вверх, открывает стеклянную дверь, вводит в просторный зал почтамта, заполненный людьми. Справа у окошка очередь за конвертами, открытками, бумагой для писем. Саулюс барабанит костяшками пальцев по стеклянной перегородке, женщина бросает на него свирепый взгляд и отворачивается.

— Безнадежно, — говорит мужчина, стоящий в очереди перед Саулюсом, и, махнув рукой, уходит.

Саулюс снова стучит, уже погромче, и тут же вспоминает, что бумага для писем линованная, а его тошнит от испоганенной линией или клетками бумаги. Рядом за перегородкой замечает кипу телеграфных бланков, бросается к столику, садится. Хватает привязанную к столу шариковую ручку и на оборотной стороне бланка уже выводит первую линию. Саулюс яростно чиркает вдоль и поперек по бланку. Как славно, что она черная! Скомкав листок, швыряет в мусорный ящик, и на бумаге появляются линия, профиль, контуры изогнутого тела. Рука спешит, но листок мал, пространство ограничено, тесно на этом листке. Берет третий бланк, четвертый, пятый... десятый... Догнать мысль, не отставать от мелькающих картин, перенести их на бумагу, заставить жить, двигаться, кричать, смеяться... Вот этими линиями, которые он выводит посаженной на цепь ручкой на оборотной стороне телеграфных бланков. Если на лицевой стороне бланка пишут: умер, приезжай... состоится свадьба... погиб в аварии... поздравляю с днем рождения... пришли денег... жди меня... — то почему на оборотной нельзя нарисовать смерть, аварию, радость, ожидание?

— Гражданин.

Саулюс спешит, спешит. Он должен догнать, должен успеть... Слева — Мать. Перед глазами Матери пробегает вся жизнь. Она — свидетель, она — участник, она — судья... Она — Мать...

— Гражданин!

Рука грубо берет за плечо. Саулюс оглядывается на мужчину в невероятно широкой кепке.

— Перестань чепухой заниматься. Мне письмо надо написать, а присесть негде.

Саулюс не понимает, чего хочет человек под этой кепкой.

— Или тотчас вставай, гражданин, или я сообщу... Так переводить казенное имущество! Телеграфные бланки, ручка... Нет уж, где тут начальник?..

Кепка уплывает через зал.

Саулюс берет новый бланк, сжимает ручку и удивляется — в голове пустота, только тоненько звенит какая-то музыка... Тихая, далекая музыка белых линий.

Облокотившись на стол, сидит, зажмурясь, потом собирает телеграфные бланки и тяжело встает.

Глава восьмая

— У нас есть ржаная мука?

Каролис лет двадцать не слышал такого вопроса.

— Ты же знаешь, мама, что мы ржи не сеем.

Глаза матери устремлены на залитое солнцем летнее поле. Как и это поле, она какая-то спокойная, отяжелевшая.

— Очень немного надо, ведерка хватит.

— Мама...

— Принеси и поставь в избе. Квашня на чердаке. Сама когда-то поставила. Снимешь.

Каролис разводит руками и, в бессилии опуская их, хлопает ладонями по бедрам.

— Да где я достану муку-то?

— Из ржи нашей деревни, Каролис, — напоминает мать. — В Лепалотасе всегда росла добрая рожь. Сколько я ее собрала вот этими руками.

Каролис думал, что поваляется в тенечке, а потом возьмет грабли и пойдет на пойму поглядеть на сено, авось уже высохло. Саулюс помог скосить, спасибо ему, но метать копны придется одному Каролису. А может, Саулюс вернется? С чего это он так вдруг умчался? Спрашивал у матери, но та толком ничего не объяснила, хотя Каролис ви-

дел — знает. Раз мать знает, это уже хорошо. Пройдет какое-то время, не вытерпит, проговорится. Хотя в последние дни она чаще молчит. Сидит на веранде и молчит. Старость, конечно. И для него старость, давным-давно на пенсию проводили, а что говорить о матери. Ни докторов, ни лекарств на своем веку не знала, с ясной головой по сей день живет.

Отыскав полотняный мешочек, сгибает вдоль, скатывает рулончиком и засовывает в карман пиджака. Направляется по полям да лугам, а не по дороге, то ли чтоб кто-нибудь не спросил куда да зачем, то ли чтоб пораскинуть мозгами и вспомнить, на чьих сотках прошлым летом цвела рожь. Но ни колосающиеся яровые, ни пестреющий цветами луг, ни ясное небо над головой не говорят ему об этом. Не первый день ясно — поубавилось ржи, вытеснили люди ее из своей жизни. Не нужна даже солома, чтоб крыши крыть да в кровать постелить, заколотую свинью опалить или саженцы на зиму обвязать. Покупной хлеб целыми корзинами из города ташут, да и в деревню раз в неделю автолавка привозит. Зачем убирать, молотить, молоть, печь, если караваи хлеба чуть ли не под ногами валяются, точно камни? Да и колхоз старается поменьше ржи сеять — наука доказала, что урожаи ячменя выше, а все ведь борются за высокий урожай. «Ох ты рожь, зимотерпица», — звенели когда-то поля от песни. Где сейчас ее услышишь, хоть вдоль да поперек деревню исходи? Пьяный парень уронил в грязь буханку хлеба да еще ногой поддел: что, жалко мне восемнадцати копеек? — выпучил глаза на женщину, которая попробовала пристыдить его, и опять встал в очередь перед автолавкой. Не его руки сеяли рожь, не он ее косил... Каролису иногда страшно — не отречемся ли мы от ржи навсегда, а то еще, разгневавшись, она сама от нас отвернется навеки? «Так ведь под забором у Швобелдокаса в прошлом году выстроились суслонь!» — мелькает неожиданно. Швобелдокас сеял рожь. Каролис собственными глазами видел. Но только ли Швобелдокас? Мог еще кто-нибудь... Каролис не хочет думать о Швобелдокасе. Нет, он не пойдет туда, будет искать у других, ведь должен же хоть кто-нибудь еще выращивать рожь. Но в мыслях стоит Швобелдокас. Стоит и хихикает... Как тогда:

— В-вот те и на... из ш-ширинки я тебе с-семена достану? Нету, п-председатель, — заикался Швобелдокас, вывернув карманы потертого полушубка. — В-вот! Нету! Пус-сто!

Каролис и не ждал, что Швобелдокас откроет перед ним амбар. Как большинство, так и он. Будто сговорились.

— Не для себя прошу. Мне не надо. Мне ни одного твоего зернышка не надо, — говорил Каролис Йотаута. — Артели придется весной поля засеять. Для артели семена нужны.

— Власть нас с-согнала в колхоз, власть пускай и с-сеет.

— Да ведь мы сами эта власть. Нету другой власти, сосед.

Они стояли посреди избы, Швобелдокас не приглашал присесть. Над столом моргала лампа, воняло керосином и копотью. На кровати у стены спала в одежде жена Швобелдокаса. С ног сбилась женщина на ферме, с сочувствием подумал Каролис, но снова окинул взглядом раскоряченного мужа, к которому неизвестно почему всегда испытывал отвращение.

— Сколько гектаров засеял яровыми? Шесть?

— К-как когда.

— Шесть, сосед. Так вот на шесть гектаров семян и привезешь.

— С-сбесился ты, п-председатель? Откуда возьму?

Швобелдокас присел, замахал руками и испуганно оглянулся на занавешенные окна.

— Как следует посмотри — и найдешь.

— Нету! Пус-сто! Скотине с-сормил. В поле с-сгнила, не уродилась. Пус-сто, ей-богу! — Швобелдокас двинулся к Каролису, словно желая побыстрее вытолкать его в дверь.

— Еще раз повторяю: не для меня — для артели.

— И я п-повторяю: пус-сто, пус-сто... Как выметено...

Каролис едва успел, пятась, переступить порог, как Швобелдокас захлопнул дверь и задвинул изнутри деревянный засов. У хлева лениво тьякнула собачонка. Вот собачья доля — лаять днем и ночью. Немногим лучше и Каролису — нету покоя, нету передышку, одни смотрят как на лютого зверя, другие, может, и хотели бы помочь, но только плечами пожимают, лучше повременят да посмотрят что к чему. А весна ждать не станет, мигом сгонит с полей снег, пашни подсохнут, придется выйти в поле. Как выйти? С чем?..

Каролис постоял во дворе, у сеней, закурил сигарету. При людях старается сигарет не курить — чтоб барином не называли, — цигарку скручивает и коптит, как все, но теперь никто не видит, не упрекает. Под ногами скрипел снег. Морозец. Хотя луну заслоняли жиденькие облака, ночь была светлая, проторенная тропа убегала из двора и за садом сворачивала к дороге. Никуда сегодня больше заходить не станет, хватит с него. Лучше завтра. Возьмет бригадира — вдвоем будет веселее — и с хутора на хутор под лай собак. Так надо, так...

— Стой!

Каролис споткнулся. «Бежать!» — мелькнула мысль, но голос близко, а поле пустое и ровное, как стол. Обернулся и в нескольких шагах, возле вишенки, увидел человека. Лязгнул затвор винтовки.

— Иди-ка сюда!

Ноги не повиновались, и Каролис только пошатнулся. Подскочил низкий гривастый парень:

— Как фамилия?

Каролис стиснул зубы. Ветки вишенки зашевелились, и со снега поднялись еще двое. Один был в белой одежде.

— Язык проглотил, — усмехнулся гривастый. — Сразу в штаны наклал.

— Заговорит, — сказал мужчина в белом.

Густас! Бежать! Так и так...

Гривастый, будто угадав мысли Каролиса, цапнул за руку, крепко сжал, а кулаком другой саданул под лопатку. Каролис согнулся, и тогда чем-то твердым его шарахнули по затылку. Когда очнулся и хотел встать, почувствовал, что руки связаны за спиной.

— Встань, пред-се-да-тель! — Сапог Густаса пнул его в бок. — С лежачим разве разговор.

Гривастый схватил Каролиса за плечи, поставил на ноги и присел:

— Стоя окочуришься.

— Не доставая ногами земли, — добавил Густас и двинул дулом автомата в грудь. — Иди! Прямо, — показал в поле.

Каролис брел, почему-то надеясь, что вдруг загремят выстрелы народных защитников. Неужто и на сей раз на ночь в город подались?

Кто-то схватил его за шиворот, чьи-то руки поднялись над головой, и Каролис почувствовал на шее шероховатую веревку. Остановился, будто ударившись в стену.

— Иди, иди! — сказал Густас. — Или наш галстук для тебя слишком прост?

Густас и эти двое захохотали.

Каролиса гнали все дальше от засыпающей деревни. Лаяли собаки. Ночь была глухая и слепая. Остановились под старыми липами.

Гривастый перебросил через сук веревку, дернул. Петля сдавила горло. Каролис захрипел.

— Хо-хо, не нравится? — спросил Густас; он стоял перед Каролисом. — Пред-се-да-тель Йотаута, настало время нам с тобой расстаться. Достаточно послужил большевикам, сейчас отправишься к чертям прямо в котел со смолой.

Густас махнул рукой. Двое мужчин так дернули за веревку, что Каролис не почувствовал, как земля ушла из-под ног. Жуткие тиски сдавили горло; хотел пальцами ухватиться за веревку, но руки были связаны. «Люди!» — крикнул, но не расслышал голоса, только хрипение. Почему он раньше не кричал? Почему?.. Тело дернулось, и он повалился на снег.

Сколько раз это повторялось, Каролис потом не мог вспомнить. Придя в сознание, отдышавшись, лежал на снегу. Веревка уже не резала шею, руки были свободны.

— Слышишь, пред-се-да-тель? Встань, черт возьми, когда я с тобой разговариваю!

Схватили, оторвали от земли. Каролис едва держался на ногах.

— Вбей в свою пустую башку! Завтра скажешь людям: забирайте свой скот, все забирайте что кому принадлежит, потому что это ваше, не колхозное. Слышал?

Каролис не ответил. Единственным его желанием было — не упасть. Только не упасть!

— Завтра скажешь! И всем людям раздашь. А если нет... И тебе и всей твоей семье крышка! Веревку мы оставляем на другой раз, на последний. Пошел домой!

Не упасть, только не упасть. Как сделать шаг и не упасть?

— Иди! — рявкнул Густас. — Марш!

Каролис побрел по полю.

Утром на ферме первой встретил жену Швебелдокаса. Хотел сказать: передай своему, что семена не понадобятся, — но промолчал. И подумал: как хорошо, что мать ушла в Пренай к Саулюсу.

Каролис оглядывается — он уже в самом конце деревни. Если будет бродить по полям, ни горсточка ржи не достанет. Пошел бы дальше, сел в автобус, уехал, где никто его не знает, там бы спросил. Но ведь мать сказала: ржи с земли Лепалотаса...

— Ну и ну! Куда это топаешь, нос повесив?

Плетенки, набитые травой, женщина ставит на дорожку, подбочивается, настырно уставясь крохотными глазками.

— Вот хорошо, — говорит Каролис. — К вам собираюсь зайти.

— Все собаки в деревне подохнут! С тех пор, как председателем был, ни разу ногой не ступал.

— Не попрекай, женщина...

— Я-то нет. Я только говорю как есть, Йотаута. Тогда-то порог истоптал, дверь не закрывалась.

— Так надо было. И тебя на ферму идти уговаривал.

— Как надел на меня этот хомут, двадцать три года сбросить не могла. Во руки какие, пальцы будто выкрученные. Теперь дояркам хорошо, пуговицы нажимают — и молоко струей бежит, а тогда... Сам знаешь, Йотаута, чего мне говорить-то. Но чего мы стоим, будто в молодости встретились?

Хутор Швебелдокаса поодаль от дороги. Изба с одного бока осела, но обшита желтой вагонкой, под окнами цветут пионы, над крышей, будто грабли, торчит антенна телевизора. От старого гумна, в котором еще Каролис собирался держать колхозные хлеба, не осталось и следа. Хлев с летней загородкой для свиней тоже дышит на ладан.

— В поселок не гонят? — спрашивает Каролис.

— И участок выделили. Может, в избу?

— Не стоит, — колеблется Каролис, оглядывая двор. — Где муженек?

— Это ты мне скажи. В деревне не встречал? В канаве, часом, не валяется?

— Я полем шел.

— Это уж нет, там моего не встретишь. Не один он такой, дружки у него, могу себя утешить. Едва рубль схватили, едва копеек наскребли, знай глушат в складчину.

Каролис доволен, что не придется встречаться с Швебелдокасом. Пускай хлещет себе на здоровье! Хотя какое там у него здоровье, если каждый божий день мокнет уже столько лет.

— Председатель хотел силком увезти моего в этот ихний лекторий — дескать, вылечим. Не дала. И не дам, не дождутся. Попьет-попьет и авось перестанет, говорю. У тебя дело к моему есть?

— Да как тут сказать... — теряется Каролис, щупая карман с мешком.

— Давай все-таки в дом зайдем, Йотаута.

— Нет, я только спросить хочу. Ржи у вас нету? Совсем немного. Хоть бы полпуда. А если муки ржаной, то еще лучше.

— Ржаной муки? А на что тебе она понадобилась?

— Очень надо.

— Да разве не знаешь, что ржи никто на сотках не сеет?

— Твой-то сеял, я видел.

— Ах, Йотаута, ты все видишь. Самогон гнать будешь, ржаного захотелось? — Глаза женщины оживают.

Каролис поднимает руку — всю жизнь он этой отравы не гнал и теперь не собирается, — но тут же передумывает, видит, так будет надежнее, и прижимает палец к губам.

— Только чтоб не было лишних разговоров.

Женщина усмехается, ей нравится, что поймала на таком деле Каролиса Йотауту, который всю жизнь прикидывался святым.

— А если я тебе бутылочку готовой найду?

— Нет, нет, я сам, сам хочу.

Женщина вздыхает, разводит руками, бросает взгляд на пустую дорогу.

— Да что мне с тобой делать, Йотаута? Раз уж дело такое, разве бросишь человека в беде? Есть во что?

В открытую дверь сеней Каролис видит, как жена Швебелдокаса взбирается на чердак. Вот и хорошо, потирает он руки, но его ребячья радость тут же исчезает, выскальзывает из рук, как стакан воды у жаждущего, рассыпается вдребезги. Он присаживается на старую тракторную покрывку и, подняв глаза и посмотрев прямо перед собой, видит угол сада, старую потрескавшуюся яблоню и вишенник. Тот самый. Смотрит на вишенник, потирает ладонями колени, сжимает их пальцами до боли, но боли не чувствует. «Стой!» — плечи вздрагивают, а глаза завлакивает туман.

— Принимай, Йотаута!

Каролис не может оторвать глаз от вишенника.

— Ты слышишь, Йотаута? Принимай мешок. — Женщина волочит по земле неполный мешок, ставит у ног Каролиса на лужайку, хлопает руками по юбке, стряхивая муку.

— Только никому в деревне ни гу-гу, — предупреждает. — Даже моему. Он-то все еще гонит, потому и рожь сеет. Но с этих соток лишь для отвода глаз молотит. Достает и не столько еще...

— Послушай, соседка, — прерывает ее Каролис, — тогда, давным-давно... когда я еще... в тот последний вечер к вам заходил. Был уже поздний вечер тогда...

— Ты моего из-за семян прижал, хорошо помню.

— Ты тогда лежала на кровати. Спала.

Женщина садится рядом на ту же самую твердую покрывку, поправляет платок, громко сопит.

— Сейчас уже не те времена, можем и поговорить. Не спала я, Каролис.

— А почему твой муж так?.. Просто вытолкал меня в дверь?..

— Скажу... В тот вечер должны были прийти за самогонкой эти... из леса. Моему приказывали, и он для них гнал иногда. Не без греха он, тебе одному говорю, хотя кто в те времена не грешил. Разве нам хотелось, чтобы эти застали тебя у нас?

Опираясь на покрывку, Каролис с трудом встает, его взгляд снова устремлен на вишенник.

— Стоит ли поминать; прошло и быльем поросло.

— Живо еще, живо,— говорит Каролис.

— Говоришь, а понять нельзя. Хотя ты всегда такой был, может, потому и приглянулся когда-то, только ты-то на меня и краем глаза не смотрел. Где уж, батрачка Банислаускаса! Тебе жена нужна была с хозяйством. Погоди, Каролис, ты же муку забыл.

Каролис останавливается. Ему хочется уйти от этого дома не обращившись, но что он скажет матери? И при чем тут ржаная мука? Она даже не из рук Швобелдокаса. Его жена насыпала. Неси, Каролис. Бери и уноси.

Теплая, нагретая солнцем мука точно из-под жерновов. Каролис сует эти полмешка под мышку, смотрит на женщину: отчего же лицо ее растерянно и печально?

— Вот, Каролис,— женщина качает головой, сощипывает пальцами зеленую верхушку польни,— видишь, как получается: мог меня и по сей день иметь, а нет, женился на дохленькой...

Как мы спешим посыпать чужую рану солью: раз мне больно, то пускай и другой корчится от боли. Откуда такой страшный расчет у человека — чтоб только мне не было тяжелее, чем соседу? И чтоб только соседу лучше не было, чем мне. Глянь-ка, ему везет, скотина у него жирнее, хлеба буйнее, жена его бойчее, а дети камень за пазухой не носят. И Каин поднимает руку на брата своего Авеля. Почему так, почему?

Каролис спешит через пастбище, идет спотыкаясь. Оглянулся бы посмотреть — не стоит ли перед избой женщина. Нет, нет, никогда он в ту сторону не посмотрит. Как могла она сказать такое — женился на дохленькой? Разве Каролис такую искал? Что Юлия не была такой задиристой, как другие девушки деревни, он это сам видел. И на уборке ржи она не шла первой, и на молотье с парнями в скирдах не возилась, да и мешки на спине не таскала. Даже посреди танца говорила: «Давай передохнем». Парни потешались над ней, иногда даже зло подзуживали, а Юлия не умела отбрить, только виновато улыбалась, и Каролис пожалел ее, такую обиженную и оскорбленную. Заступился за Юлию, защитил, а раз уж так — парни пустили шуток: Каролис Йотаута к этой молчунье по ночам повадился. Ах так, услышал Каролис и бросил всем прямо в лицо: она будет моей!

Неужели ты женился на Юлии только из жалости и упрямства? А где была любовь? Думал ли ты тогда о любви? Будем жить, сказал. Жалеючи с ней жил?

...Майским днем выбрался из автобуса и от шоссе направился по полям, держа в руке чемоданчик с гостинцами для матери, Юлии и обеих дочек, которые наверняка уже стали барышнями. Шел по опушке соснового бора, по изъезженной дороге. «Еще три километра», — прикидывал в мыслях Каролис. Три тысячи километров не были такими далекими, как эти последние шаги. Быстрее, быстрее, быстрее... Сияло жаркое солнце, серела, подсыхая, засеянная пашня где-то рычали тракторы. Конечно, все теперь по-другому, ведь столько лет прошло. Не только межи распаханы, по лугам протянулись каналы, издалека белеет песок. Ах, Каролис, без тебя все делают, без тебя...

Дом увидел с пригорка. Опустил чемоданчик на землю, загляделся, часто дыша, словно сбившись с дыхания. Липы вроде гуще стали, клен раскинулся еще шире. Дом утопает в желтоватой зелени, только сад белеет. Кто-то замаячил во дворе. Каролис почувствовал, что устал, вспотел. Снял телогрейку, смотрел, не отрывая взгляда от родного

гнезда, и не мог понять, как столько лет выдержал без него. Каролис присел на чемоданчик и долго сидел так среди редкого ивняка, никем не замеченный. По дороге с грохотом пронесся грузовик, другой, прополз трактор, волоча сеялку, кто-то проехал на велосипеде. Солнце клонилось к западу, повеяло прохладой. Из ольшаника выскочил зайчишка, прыгнул, присел, наострив уши, огляделся. Каролис хлопнул в ладоши, зайчишка юркнул в чащу. Стало жалко вспугнутого зверька. Вставай, Каролис, и иди, ведь тебя ждут, столько лет ждут.

Перед верандой остановился опять. Было пусто, тихо, и Каролис не смел сделать больше ни шагу. У хлева твкнул пес, выскочил из конуры и яростно залаял. Не тот уже пес, иначе бы узнал. Каролис повернулся к двери избы и увидел мать. Она стояла на веранде, стиснув руки под подбородком, на голове у нее был черный платок. Вся она была в черном, а лицо казалось совершенно белым, неживым.

— Вот и пришел... — Комок застрял в горле у Каролиса.

Мать медленно спустилась с крыльца, обняла старшего сына, провела рукой по седым его волосам.

— Одни приходят, другие уходят — вот так всю мою жизнь.

Они смотрели друг на друга и по морщинам, как по открытой книге, читали о тяжести минувших лет.

— Ты, мама, какой была, такая и сейчас.

Мать покивала.

— Не стоит говорить чепухи, сын. Уже давно мы день-деньской глаз с дороги не спускаем.

— Такая даль... Пока бумаги в порядок привел, пока... — растерялся Каролис, потому что не сумел объяснить, почему так долго задержался. — Но я ведь дома, мама.

— Дома, — согласилась мать, пряча затуманенные глаза.

— Одна? — спросил Каролис, и неожиданно дрожь прокатилась.

— Одна.

— А где... Юлия?

Мать прошла несколько шагов и уселась на лавку под кленом. Каролис только теперь заметил эту лавку — длинную доску, на скорую руку приколоченную к двум чурбачкам. Под забором серела другая такая скамья.

— Мама! — закричал Каролис, бросаясь к матери. — Где Юлия?

— Сегодня уже четвертый день как в могиле.

Каролис медленно опустился рядом, вцепился руками в шероховатый край лавки.

— Никогда не была крепкого здоровья, а без тебя совсем захирела.. Худого слова о ней сказать не могу, сын, но чтобы человек вот так усох от ожидания, на своем веку не видала. Никто во всей деревне не видел такого и не слышал.

В ольшанике заливался соловей, в саду закуковала кукушка. Столько лет спустя.. как раньше.. Каролис встряхнул головой.

— Я так редко ей писал..

— Нет от тебя весточки — плохо, дождется — тоже не лучше. «Если б мы были вместе», — все повторяла и повторяла. То вроде бы успокоится, за работу возьмется, начнет о девочках заботиться, но вдруг опять все бросит, с кровати не встает. А когда пришла весточка, что ты возвращаешься, господи, думала — обрадуется, хоть раз услышу ее веселый голос, увижу, как бегаёт по двору да по саду, но Юлия только запричитала: «На что я буду ему такая нужна?.. Ведь ничегошеньки от меня не осталось, одна зола, остывшая зола..» Днем и ночью вот так. Иногда засмеется, испугается своего голоса, заплачет. Предлагала к доктору поехать — отказалась. Вызвала на дом. Доктор велел ложиться в больницу, она ни за что. «Буду ждать Каролиса. Каролис вернется..» Не посмела я силком ее увозить. Доктор лекарства прописал, сердце у бедняжки было слабое, да и вообще.. нервы. «Ты

лекарство принимала?» — спрашиваю. «Принимала». А когда умерла, гляжу: в тюфяке дырка. Туда все таблетки и запиханы.

— Юлия, Юлия,— вздохнул Каролис и не знал, что для него было в эту минуту тяжелее — печальный рассказ матери или хмельной щебет соловьев да спокойное кукованье кукушки.

После долгой тишины снова сорвалось:

— Юлия, Юлия... Почему не подождала?

О дочках в тот вечер не обмолвился. Только утром мать сказала, что обе девочки хорошенькие стали, живут в Пренае. Старшая, Алдона, вышла замуж... правда, уже и развелась. В ресторане работает, официанткой. Мать, вечный ей упокой, о них не заботилась — делайте как хотите, говорила она девочкам,— а меня, старуху, молодые не слушают. Младшая, Дануте, тоже сама на хлеб зарабатывает. Хоть и не надо было, но, видать, Алдона ей голову задурила. В том же самом ресторане посуду моет. А какая из нее работница, шестнадцать лет только, а ресторан... Поговори с ними, Каролис. Обязательно надо поговорить. Разве девочкам, твоим дочкам, место в кабаке?..

Без большого труда нашел Каролис старый деревянный дом на новой улице, рядом с речкой. Подергал ручку двери, постучался. Никто не ответил. Подождав, заколотил посильнее. Наверное, на работе, как это сразу не догадался. Но в ресторане ему сказали, что Алдона сегодня выходная, а Дана уже с неделю как не показывается. Каролис выпил бутылку теплого лимонада и ушел. Времени тьма, спешить некуда. Зашел в магазин хозяйственных товаров, потрогал рубанки, пилы, сверла, дверцы для печек, духовку и опять в дверь. Постоял в гастрономе, встретил старого знакомого, живущего неподалеку от Лепалотаса, только фамилию никак не мог вспомнить, покалякали с ним о том да сем, а когда тот звал его на кружку пива, отказался и распрощался. Сидел на лавочке в тени молодых липок, смотрел на людей, идущих мимо, изредка спохватывался, что ничего не видит: шла бы дочка — и не заметил бы. А может, и прошла. Снова пришел к дому у речки, но опять никто не открыл дверь. Постоял, облокотившись на деревянные перила, выкурил сигарету, вспомнил, что уже время обеда, отыскал столовую, долго сидел за столиком, не спуская глаз с окна — авось пройдет мимо. В третий раз стучался в потрескавшуюся дверь, и в третий раз никто ее не открыл.

Вечерело, а Каролис все еще бродил по улице, устав, вконец намаявшись. Неожиданно услышал быстрые женские шажки, поднял голову и оторопел. Алдона... Да, это Алдона! Но почему она даже не взглянула? Не узнала... Не узнала родного отца... А как ей узнать, если столько лет прошло... Каролис повернулся. Надо окликнуть, но разве будешь кричать в городе? Он догонит ее, заговорит.

Пока Каролис опомнился, Алдона уже была далеко. Она торопилась, светлые распущенные волосы развевались, цветастое платье обтягивало тонкую талию. «Неужели это моя дочка?» — думал Каролис, шагая за ней.

Перед высоким домом замедлила шаг, оглянулась — она действительно посмотрела на Каролиса, но опять не узнала — и взбежала по ступенькам, юркнула в подъезд.

— Подожди!.. — попросил Каролис, но Алдона уже скрылась за дверью.

Уселся на бетонных ступеньках, облокотился на колени. Ведь выйдет же его девочка. Может, к подруге забежала, может, к портнихе. Мало ли дел у молодой. А ему-то что, разве трудно подождать? Подождет. Если даже до утра придется ждать...

Кончились сигареты. Сходить бы купить, но отлучаться нельзя. Будет ждать, будет сидеть, как прикованный.

Колокол костела прозвонил на майский молебен. С большим букетом прошла женщина, и все вокруг заблагоухало сиренью. Весь костел пахнет сиренью и воском, подумал Каролис, вспомнив старые

времена, когда и он не раз сидел на скамье в костеле и слушал скорбное песнопение о деве Марии.

Женщины, переговариваясь, шли с молебна, а Каролис все еще торчал на ступеньках. Многие уже вошли и вышли в эту дверь, только не Алдона. Наконец он услышал и ее. Не было ни малейшего сомнения — это голос Алдоны. И мужской голос. Прозвенел смех. Каролис съехался, но тут же встал со ступенек.

Алдона выбежала первой, встряхнула волосами. За ней появился молодой мужчина, обнял ее за плечи, привлек к себе и поцеловал в щеку. Оба снова рассмеялись и прошли мимо Каролиса; Алдона даже задела локтем отца. Каролис окликнул было ее; но захлебнулся именем дочки, которое столько лет не произносил вслух, и оторопело глядел на удаляющуюся по вечерней улице молодую пару.

В другой раз Каролис отыскал-таки Алдону в ресторане. Дочка и не удивилась и не обрадовалась. Посетителей еще не было, они могли поговорить спокойно, но обменялись несколькими словами и замолчали. «Не я ее вырастил, — нахмурил брови Каролис, — без меня росла... и без матери, можно сказать...» Поинтересовался, где Дануте. Алдона скривила ярко накрашенные губы:

— Сама не знаю... укатила куда-то... У всех у нас такая жизнь — кто куда. Меня работа ждет...

И ушла, не сказав прощай, не пригласив приехать опять.

Однажды почтальон принес открытку с несколькими фразами: «Отец, я попала в такую ситуацию... Пришли двести рублей. Мой адрес...» Каждый раз слова похожи, только адреса другие: Шяуляй, Целиноград, Рига, Кутайси... И Каролис идет на почту, берет бланк перевода, заполняет все как полагается и приписывает: «Алдона, если будут еще просьбы, то посылай в конверте». Вот и все. Так три или четыре раза в год. Только Дануте ни о чем не просит. По случаю каждого праздника не забывает посылать привет. Если сложить вместе все эти открыточки, Каролис без труда заметил бы, что все ее приветы похожи как две капли воды. Но разве это плохо? Не забывает, думает, и это главное. А в прошлом на Октябрьские пришла карточка: она, Дануте, хорошо одетая, а рядом представительный мужчина с усиками — зять, и у обоих на коленях по ребеночку как по куколке. «Приезжайте», — написал Каролис. «Приедем как-нибудь, обязательно попроведаем», — обещала Дануте. Каролис ждет дочку, ждет внуков. Вот будет радость тогда! Но почему так долго приходится ждать?

Тяжелая рука у жизни. И безжалостная. И не к тебе одному. А Людвикас? Почему человек иногда рубит ветку, на которой сам сидит? Знает, что обломится она, но рубит упрямо. Когда Людвикас умер, зашли с матерью в его комнату — у него была маленькая в коммуналке. Дородная женщина встретила в коридоре, пожалела, что умер хороший и спокойный человек. Только вот... стонал посреди ночи, скрипел зубами, плакал просто жутко. Мать вошла в комнату Людвикаса и растерялась. Возле железной койки стояла пыльная пустая бутылка и стакан. Голые стены, захламленный пол, а на нем стопки книг, будто штабеля дров — высокие и унылые, припорошенные серой пылью. Каролис взял книгу с шаткого столика, полистал: буквы литовские, но слова непонятные. Огляделся. На подоконнике засохшая краюха хлеба. Ни шкафа, ни тумбочки, только не стуле валяется какая-то рваная одежонка.

— Вот так он тут жил, — покачала головой соседка.

Под почерневшей подушкой мать увидела какие-то бумаги, школьные тетрадки и подала их Каролису. Женщина еще что-то рассказывала, но мать не хотела больше слушать. Когда они снова оказались на улице, мать сказала:

— Святой была жизнь Людвикаса. Не нам судить.

Возвращаясь в Лепалотас, за всю дорогу не перебросились ни словом.

Каролис перекладывает мешок с мукой под другой локоть. Надо бы присесть да перевести дух, но ведь дом уже рядом в двух шагах. Только дома тоже ведь не отдохнешь. Надо брать грабли и идти на луг. Еще не вечер, но скоро выпадет роса.

Только во дворе замечает автомобиль у амбара. Саулюсов автомобиль. Приехал.

Хорошо, что приехал.

...От острой боли раскалывается затылок, и Саулюс медленно плывет в голубом тумане, изредка проваливаясь в ямы и опять выплывая, невесомый и бестелесный, вроде медузы, прибитой волнами к берегу; однако он видит мерцающую тьму, из которой появляются и приближаются отец с деревянной ногой, зазеленевшей, словно ивовый колышек, брат Людвикас, подпрыгнувший над горным утесом и раскинувший крылья; и младенец на руках матери — мертвый младенец, потому что на лице матери невыносимая боль... Завеса тумана разрывается, Саулюс открывает глаза — солнце уже в ветвях клена, поздний час, — но тяжелые, свинцовые веки снова слипаются, боль опять раздирает голову, и он видит старую женщину, похожую на его мать, скорбную, заслонившую рукой глаза и усталую; ее рука, а лицо — нет, не мамино, это череп с черными глазницами; череп в белом платке, скорбящий череп...

Саулюс сбрасывает одеяло, трет кулаками лоб. Голова тяжелая, боль перекидывается в виски, покалывает. Заснул ли он? Слышал гомон птиц в саду, тьяканье пса и кудахтанье кур, слышал шаги на дворе, звяканье ведра по срубу колодца. И все видел... Саулюс озирается — на полу, на стульях валяются листы. Это работы, сделанные за ночь, еще лишённые общего смысла, как сваленные в одну кучу осколки большой жизни, но Саулюс знает, что из этого хаоса позднее возникнут контуры целого. Саулюс закрывает глаза и видит этот сотворенный им мир. Из полумрака появляется Дагна. «Ты не ищи меня и не напоминай о прошлом», — говорит она и, повернувшись, уходит по улице. Улица пуста, и Саулюс хочет догнать Дагну; ему кажется, эти слова произнесла не Дагна, а какая-то другая женщина... Да, да, их сказала Беата, очаровательная полька... нет, французенка Беата спешит по прямой улице Бордо. Саулюс ступает отяжелевшими ногами, и чем больше он спешит, тем быстрее удаляется женщина. Он зовет: «Дагна!.. Беата!.. Дагна!..» Падает, ударившись рукой о витрину. «Дядя, дай руку, перевяжу», — говорит появившаяся откуда-то девочка. Рука Саулюса окровавлена, ладонь порезана. Правая рука! Как теперь рисовать?.. «Дядя», — зовет девочка; Саулюс смотрит на нее. Но это же Дагна. «Дядя», — опять зовет она...

Саулюс опускает ноги на прохладный пол, сидит, пережидая головокружение, потом встает, распахивает окно. Освежающий утренний воздух наполняет грудь, стискивавший голову обруч расслабляется. «Дядя», — снова слышит Дагну.

Натянув брюки, берет рубашку и выходит на двор.

— Ноги не порань, не привык босиком, — говорит мать, возвращаясь из палисадника с охапкой белых пионов.

Броситься бы к росистым цветкам пионов, окунуть лицо в пьяняще пахнущую белую пену — как в далеком детстве в день престольного праздника святого Иоанна...

— Не надо так, сын.

Саулюс поднимает голову, наталкивается на испытующий взгляд матери.

— День для работы, ночь для отдыха. Когда ты спишь?

— Я только что встал.

— А когда ложился? Уже светло было, а ты еще не спал, я слышала шаги.

— И ты, мама, не спала.

— Обо мне не думай, тебе жить надо.

— Иногда ложусь и боюсь заснуть. Кажется, засну и никогда больше не проснусь.

— Только молодой может этого бояться.

— Молодым я спал как убитый. Теперь уже немолодой, мама, только тебе так кажется. Бывает, чувствую себя таким усталым, будто я дряхлый старик.

— Говоришь пустое.

— Ах, мама...— Саулюс отворачивается, но сделав несколько шагов, останавливается.— Мама, когда ты была в Вильнюсе?

Мать ласково гладит поникшую головку пиона, даже не поднимает глаз на сына.

— Недавно была, может, месяц назад. Ведь говорила.

— Я хочу точно знать. В какой день?

— Не знаю, не помню,— говорит мать и очень медленно бредет к колодцу.— Набери воды.

Саулюс вытаскивает ведро, ставит на лавочку у сруба.

— Может, вспомнишь, какой был день недели?

— В избе на полочке под зеркалом билет. Не знаю, почему не выбросила.

Саулюс бросается в избу, среди всякой мелочи — мотков ниток, лоскутков материи, пуговиц, даже конфетных оберток — находит билет: Пренай — Вильнюс, 9 июня... 9 июня... Перед глазами маршрут его путешествия по Франции, который сейчас не вспомнить без записной книжки. 9 июня...

В кувшине, сверкающем зеленой глазурью, головки пионов кажутся еще пышнее, и мать осторожно поправляет их.

— Почему ты спрашиваешь?

Саулюс набрасывает рубашку на голые плечи.

— Гот день... девятого июня, когда ты разговаривала с Дагной, я был в Пиренеях и вдруг подумал: «Я хочу домой». Может, это ты меня окликнула, мама?

Саулюс не ждет, что ответит мать, спешит по лужайке двора, бежит мимо гумна. Если бы так убежать от себя, от своих мыслей, убежать от этого года, от 9 июня, от вчерашнего дня, от сегодня... И не возвращаться, никогда больше не возвращаться к тому, что было. Но чего бы ты стоил без вчерашнего дня, без прошлого? Обруби корни дерева — оно тут же засохнет, слабейший ветерок опрокинет его. Признаться — неужели ты хотел бы, чтоб погасло пламя, которое ты чувствуешь сегодня, которое обжигало тебя всю ночь? И от этого пламени хочешь убежать? Разорвать все листы, работу последних дней и ночей бросить в печь и полюбоваться, как все обратится в пепел? Нет, Саулюс, нет! Ты сделал шаг и обязан сделать второй, потом третий. Шагать все дальше, дальше, дальше... Так альпинист карабкается на вершину, рискуя сломать шею. У тебя есть за что ухватиться, есть на что опереться. Ты не один на своем пути, чувствуешь ведь, что с тобой все — начиная с папаши Габрелюса... Не спеши так, Саулюс, остановись и всмотришься хорошенько.

Саулюс растягивается на берегу Швянтупе. Сердце отчаянно бьется, отдается в висках. Он прислоняется лбом к прохладной земле и слушает ее дыхание, а перед глазами уже выстраиваются листы его рисунков, которые объединяет Мать. Мать — земля, Мать — родина, Мать — радость и страдание, надежда и жизнь.

Это и мгновение истории: человек, народ, выбирающий, с кем и против кого. В тяжкую годину истории, в тяжкий сегодняшний час. Все рождается в муках. И вчера и сегодня. Завтра тоже. На всех листах — Человек.

Саулюс ложится навзничь, сплетает руки над головой и смотрит в голубое высокое небо. Много раз он вот так лежа смотрел в небо, и каждый раз оно другое, неповторимое, ты один видишь его таким.

«Я хочу говорить откровенно, во весь голос. И не о том, что все видят,— о том, что вижу я сам. Если я буду молчать, кто скажет за меня?»

— Иногда мне бывает страшно,— еще этой весной говорил Вацловас Йонелюнас, сидя на табурете в углу мастерской Саулюса.— Вижу отчетливые образы, а когда надо передать — я бессилён.

— Сопротивление материала тормозит, технцка.

— Не знаю. Иногда думаю: о чем будут говорить наши произведения через сто, тысячу лет? До нас — несчастные балтийские племена, покоящиеся в глиноземе. Что мы знаем о духе ятвягов, голяди? Что осталось после исчезновения пруссов?⁶ Несколько сотен слов? И все? А искусство? Где искусство? Неужели тогда не было искусства? Я думаю, Саулюс, только искусство, литература могут говорить миру от имени народа. Хроники, летописи говорят о физической силе, о войнах, разбое, коварстве, братоубийствах. А где душа литовца? Неужели ты, Саулюс, не задумываешься, кто мы такие? Крохотный островок в бушующем океане? Капелька балтийского янтаря, по словам поэтессы? Только языком искусства мы можем разговаривать с миром. Торгащей от искусства — тысячи, гениями себя считают сотни. Мы купаемся в море блаженства, плещемся в теплой водичке. Страшно!

Глаза Йонелюнаса лихорадочно заблестели, казалось, он вскочит и расколошматит в мастерской все что подвернется под руку. Но только скрипнул зубами и выбежал в дверь.

Саулюса надолго придавили слова Вацловаса (через неделю он проведал его, тот писал новое полотно; был спокоен и кроток), но разве он не прав? Разве у нас есть право хоть на минуту забыть о своем пути, о своем предназначении? А может, мы топчемся на месте? Наверное, даже венценосной голове Аугустаса Ругяниса не все ясно, хотя он сам себя поглаживает да сам себя треплет по плечу.

Саулюс встряхивает головой. Сожми кулаки, Саулюс, еще крепче сожми, ударь в грудь земли и скажи... произнеси, не бойся:

— Я есть!.. И хочу быть!

Искупавшись в омуте, Саулюс скачет по берегу, приседает несколько раз, потом стоит, повернув лицо к солнцу. Перед зажмуренными глазами снова мелькают листы рисунков, и он бредет по лугу, волоча в одной руке брюки, а в другой рубашку. За гумном, в тени липы, одевается, не обнаружив в кармане расчески — видно, выпала на ходу, — приглаживает пятерней влажные волосы.

Из дровяного сарая появляется Каролис с крупными поленьями; увидев Саулюса, ждет его. Козырек фуражки нахлобучен, чтобы солнце не било в глаза, лицо чисто выбрито, даже блестит, поверх белой сорочки — черный жилет.

— Еще без завтрака? — спрашивает.

— Ты сегодня рано.

— Отпросился. На ферме работы мало, когда коровы в поле.

— Мог бы вообще дома сидеть. Пенсию ведь получаешь.

— Пока ноги держат, пока все тут по-старому.— Каролис оглядывает хутор.— Надолго ли? Сегодня опять слышал: в этом конце деревни будут пастбища, Швянтупе придется выпрямить...

Саулюс тоже невольно обводит взглядом тенистый двор, липы, пахнущие медом, раскидистый кудрявый клен.

— Вырастет другое поколение, оно не вспомнит о том, что было нам дорого.

— Эти люди будут лучше нас? Счастливее?

— Не знаю,— признается Саулюс, поднимает с дорожки упавшее полено.

⁶ Ятвяги, голядь, пруссы — вымершие балтийские племена.

— Тут вся наша жизнь, среди этих деревьев...— Глаза Каролиса печальны, взгляд туманен.— Годовщина отца сегодня.

Саулюс трет пальцами лоб, поправляет волосы; целое утро не подумал об этом, не вспомнил. Всю жизнь редко вспоминал...

— После обеда никуда не уходи, мать велела передать,— напоминает Каролис и идет с охапкой поленьев. На веранде, обернувшись, добавляет: — Чуть было не забыл. Тебе телеграмма, в комнате на столе.

Телеграмма? Кто мог прислать? Дагна? Может, с Дагной что-нибудь, господи? От этой мысли подгибаются колени.

Прежде всего смотрит на подпись. Бакис. Усевшись на край кровати, читает: «Йонелюнаса увезли больницу. Инсульт. Правая сторона парализована». Рука с телеграммой падает на колени, Саулюс смотрит на пол, замечает, что его рисунки собраны и аккуратно сложены на столе. Видно, мать собрала, а может, Каролис. Выходит во двор, садится на сруб колодца, обеими руками вцепившись в холодное росистое ведро, словно кто-то собирается его отнять.

Каролис у забора долго ковыряется в пачке с сигаретами и косякится на брата, но Саулюс не видит его. Не выпуская из рук ведра, сидит сторбившись, вслушиваясь в бесшумную поступь времени. Ужасен бег времени: работы — мгновенья, а дней-пустышек — море. Все, казалось, в будущем, все впереди... И вот пора платить? Ресторанным угаром, болтовней, случайной любовью?

— Сам не знаю, почему не свалил этот журавель да не устроил ворот,— говорит Каролис; он стоит тут же, его глаза обеспокоенно ловят взгляд Саулюса.— Еще отец собирался...

Саулюс не поднимает головы.

— Вода-то неглубоко, но ворот нужен...

Каролис осторожно берет ведро, вынимает из рук Саулюса.

— Воды надо набрать.

Саулюс встает и бредет в избу.

Вацловас, Вацловас, ты думал поработать этим летом как никогда, вернуться в Вильнюс не с пустыми руками... И вот привезли, положили в больницу. Правая сторона парализована, правая рука...

— Все будет хорошо,— приподняв голову, говорит Саулюс словами брата Людвикаса, идет по комнате, останавливается перед столом, на котором стопкой лежат его рисунки.— Ты не из тех, которые сдаются, Вацловас. Не сможешь правой — будешь писать левой. Левая рука... ближе к сердцу... Ближе к сердцу...

Бросает взгляд на телеграмму. «Инсульт. Правая сторона парализована». «У меня-то обе руки целы. Мои руки еще могут... «Я хочу домой...» Может, это отчий дом позвал меня вернуться и еще раз посмотреть на него, почувствовать?.. Пока этот дом еще существует... Этот дом...»

Матильда не знает, чем завершится этот день, но ей кажется, что всю жизнь она ждала этого дня. С того часа, когда перешагнула порог избы Йотауты, шаг за шагом приближалась к этому дню. Она не знает еще, почему так думает, но чувствует значение этого дня преисполненным покоем сердцем. Такой радости не испытывала в ранней юности, когда глаза Казимераса отыскали ее в день престольного праздника возле костела. Тогда она забот не знала, а если и выпадали они, то казались настолько мелкими, что сладко бывало переживать их. Сегодня Матильда тоже не знает забот. Нет, не сидит сложа руки, отдыхать ей некогда, но каждый ее шаг — тихое шарканье по полу, каждое движение, прикосновение рук бесконечно мягки, осторожны и медленны, под стать мыслям. Вот смешной Каролис, вызвался хлеб замесить. Разве это мужское дело, усмехается Матильда. Снимает рушник с квашни, стоит, держась руками за края, вдыхая сладковато-кислый запах,

Тесто пузырится, желтоватая корка сморщилась, пошла трещинами. Славно подошло, разгулялось тесто за ночь. Подай-ка, Каролис, муку, поставь на лавку, я сама... Повязав белый платочек, потуже затянув узелок на затылке, Матильда погружает руки в тесто и начинает медленно раскачиваться всем телом. Словно молясь, раскачивается, а морщинки лица сияют добротой. Не так ли месила она хлеб тогда... давным-давно, когда вернулся Казимерас с «ногой» в грязном мешке? Господи! Если бы сосчитать, сколько раз она месила тесто и радовалась, что оделит детей свежим хлебом...

Сидела рядом с закрытой квашней усталая, давая передых занывшим рукам и спине. Ничего больше не могла делать — ждала. Даже на шаг нельзя отойти, она верила, что надо неотступно находиться рядом и слушать, слушать хлеб, охраняя его. Каролис растопил печь, красиво потрескивали поленья, гудел огонь, плясали тени на темных стенах избы. Потом она раскладывала на лопате листья аира, стлала зеленую ломкую постель, на нее бережно, словно новорожденного, положила комок теста, большой и увесистый. Смочив руки холодной водой, подровняла края, похлопала, огладила. Каролис, наклонив простоволосую голову, смотрел на руки матери. Матильда попросила помочь, и Каролис отнес лопату к печи, положил на под, а тогда мать ласково отвела его в сторону и сама задвинула каравай в печь. Постоля перед жаркой печью, вернулась к квашне и снова долго сидела на лавке, вдыхая разносящийся по всей избе запах хлеба.

Когда славно подрумяненный каравай ложится на стол, Матильда снимает передник, надевает платок в мелких цветочках — кашемировый, купленный еще Казимерасом за полтинник, — и выходит на веранду. На веранде тоже пахнет хлебом. Весь двор пахнет хлебом. Запах хлеба пьянит, и мать садится в свое кресло и сидит так, зажмурясь, вслушиваясь в трепетную вечернюю тишину. Открыв глаза, видит Каролиса в черном костюме, аккуратно причесанного. Рядом с ним прислонился к косяку Саулюс, засунувший руки в карманы штанов и глядящий в землю. Матильда знает — надо что-то сказать, но не находит слов, рот полон запаха хлеба. Опершись на кресло, хочет встать, но едва может шевельнуться. Почему такая грузная? — думает. Подходит Каролис, берет под руку. Матильда встает и говорит:

— Пойдемте, дети, к отцу.

Солнце на западе. Тени все длиннее. «Дойду ли в такую даль?» — мелькает у Матильды, все еще не выпускающей руки Каролиса.

Саулюс идет за ними, втянув голову в плечи.

Мать слышит шаги. Шаги Каролиса... Саулюса... Напрягшись всем телом, вслушивается она в шаги Каролиса и Саулюса. «Тяжкой была моя любовь к детям», — думает.

— ...Нарежь, Каролис, хлеба, — приказывает Матильда и не спускает глаз со старшего сына, приставившего каравай к груди. — Всем по ломтю.

Ломти теплого хлеба ложатся на стол словно первые борозды весенней пахоты.

— Пять ломтей отрежь.

Каролис окидывает взглядом стол, как бы пересчитывая собравшихся, и кладет еще два ломтя. Сидит, не откладывая каравай, все еще держа его в объятиях, и отрезает еще один ломоть, шестой.

— Отведем.

Каролис мажет маслом, берет творожный сыр с досочки, откусив, запивает молоком. Саулюс отламывает горбушку.

— Здесь, в конце стола, всегда сидел отец, — говорит мать; она сидит на своем месте, на своем старом месте, положив перед собой сплетенные пальцы. Глаза в вечерних сумерках прифасли, лицо посерело. — Его место за столом никогда не пустовало, я видела его здесь каждый день. И сейчас он с нами.

— Не будет у нас покоя, Матильда.
 — Сколько лет уже прошло, а ты все охаешь.
 — Не зря говорю.
 — Ешь, работа ждет, не праздник.
 — Не могу. Все стоит перед глазами и стоит.
 — Прочитай три «отче наш».
 — Не поможет. Зачем я позволил папаше уйти? Рано утром, ни свет ни заря, видел, как он открыл дверь амбара, закинул котомку за плечи и ушел. Будто нищий, Матильда. И тебя не послушался, когда посылала искать его. Все откладывал, времени не находил.

— Разве могло быть по-другому? Его манили родные края, сам ведь говорил.

— Я ни разу не попробовал его переубедить. Иногда даже думал: пускай, одним ртом за столом будет меньше.

— Тяжелый год тогда выпал.

— Но я ведь хотел, чтоб папаша ушел, Матильда! И папаша это наверняка чувствовал, потому и ушел. Но не унес с собой проклятья.

— Успокойся, Казимерас.

— Не будет у меня покоя. Ни у кого никогда не будет покоя, помянешь мое слово.

— Ты позвал нас, Казимерас, вот мы и собрались,— говорит Матильда.— Сидим теперь.

Каролис отодвигает лопоту, пожимает плечами, поворачивается к Саулосу, налегшему грудью на стол.

В распахнутое окно струится вечерняя тишина, но Матильда слышит далекое громыханье телеги, жалобное мычанье тельца, спокойное журчанье Швянтупе, треск кузнечиков в траве. Живая эта тишина. Трепетная, неутомимая, как сердце... А когда останавливается сердце, неужто ничего не остается? Ведь Швянтупе будет журчать по-прежнему, и кузнечики будут стрекотать. По-прежнему, по-прежнему...

Устремляет взгляд на другую сторону стола, где сиживал Людвикас. Правда, редко. В детстве, когда летом возвращался из гимназии, и еще несколько раз, когда забредал.

— Людвикас... напротив... так и вижу...

— О чем вы разговаривали, Людвикас?

Людвикас швырнул окурок, растоптал и отвернулся.

— Вы меня избегаете, но я хочу знать.

Иссохшее, увядшее лицо сына безмолвно.

— Ты не обвиняй Каролиса, Людвикас. Ты не должен его обвинять. Обвиняй меня, свою мать, это я тебя впутала.

— Будто уговорились оба.— Людвикас усмехнулся, шрам на виске задрожал.— Каролис тоже извиняется. Не обвиняй, говорит. За что я должен обвинять? И кого?

— Такое время смутное было.

— Нет, мама, это мы были такие. Мы все. Но ведь жизнь не кончилась.

— И ты ни на кого не в обиде, Людвикас?

— Не понимаю тебя, мама.

— С юных лет был за правду, весь мир обошел, за людей стоял. А чего добился?

— Моя вера, мама, это не карман. Вывернул карман, вытряс крошки да пыль — и он пустой, чистый, опять вкладывай в него что надо. Нет, нет, мама, все не так. Что мне жизнь дала, все тут.— Людвикас прижал руку к сердцу.— Глубоко лежит и намертво. Одного не понимаю: не только ты и Каролис, многие на меня сегодня смотрят стран-

но: почему я ничего не требую? Как-то вызвали меня и говорят: «Товарищ Йотаута, вы человек заслуженный, а работаете рядовым рабочим на заводе. Мы хотели бы вас рекомендовать...» Я не согласился. Товарищи обиделись: мол, заносишься, сторишься нас... Как же им и тебе, мама, объяснить, что мне ничего больше не надо? Делаю что могу. Ты веришь мне, мама?

— Как я могу тебе не верить.

Хоть не скрипнула дверь, входят усталые годы, приникают к Матильде, кладут голову на колени и тяжело вздыхают. Долгим было их путешествие в этот день, в этот угасающий вечер к караваю свежего хлеба.

— Упало ржаное зерно в землю. Земля приняла его, укрыла. Но проклюнулся росток, окреп, вырастил колос. Человек обмолотил, зерно смолот в муку, выпек хлеб и говорит: «Вкусно».— Мать молчит, как бы вслушиваясь в свои слова.— Вот и вся простенькая сказка о ржи. Как жизнь человека.

Каролис горбится; Саулюс жует горбушку, ту же самую, которую отломил вначале, и, повернувшись к распахнутому окну, смотрит на багровый пылающий закат.

— Почему вы молчите, дети?

Матильде хочется, чтобы говорили ее сыновья, говорили и за отца и за Людвикаса. Ведь за этим столом они толковали обо всем. Где же еще могли поговорить спокойно? Ведь стол не только для ломтя хлеба.

— Почему молчите, спрашиваю?

Каролис прислоняется к стене, обводит взглядом длинный стол.

— Вот тут, у этого угла, Юлия сживвала,— глухо говорит он.— Если легио будет хорошее, может, Дануте с внучатами...

Матильда смотрит на шестой ломоть хлеба, поднимает глаза на Саулюса, спрашивая: что ты скажешь? где же сидела Дагна? Не было у нее своего места за этим столом.

Саулюс молчит, с трудом проглатывая кусок хлеба. Неужто хлеб такой жесткий, что даже слезы проступили у него на глазах?

— Говори, Саулюс...

Плечи Саулюса вздрагивают; он поворачивается к матери. Она снова, кажется, видит маленького мальчонку.

— Саулюс... сын...— лепечет Матильда; губы непослушны, не могут произнести слов, которые мать хотела бы сказать... И услышать ответ.

Саулюс встает, его лицо растеряно, пальцы сжимают спинку стула, взгляд перебегает с матери на Каролиса.

— Я, может... я там...— показывает головой и уходит.

Матильда провожает взглядом сына, долго не спускает глаз с двери— может, откроется дверь, вернется сын?

Сидят вдвоем, окутанные сумрачной завесой вечера. На столе три непечатых, остывших ломтя хлеба.

— Пора на покой, сын,— тихо и медленно говорит Матильда.

— Ты ложись, мама, я еще посижу,— отвечает Каролис.

Держась за стол, за спинку стула, мать подходит к окну, смотрит на темное поле яровых, на огромную и добрую землю.

— Спасибо тебе, родная,— шепчет со вздохом, не двигая губами.— Как ржаное зерно принимаешь, и меня прими...

Садится на кровать. Так не хочется ложиться, еще так не хочется. Но невидимая прохладная рука берет ее за плечи, тянет, манит в постель. А может, это сама земля обнимает и ласково привлекает ее к себе?

Стены комнаты удаляются, исчезают. Ничего не осталось: ни матери, ни Каролиса, ни длинной истории семьи. Только он, Саулюс, белый лист, карандаш и из мрака, из густых клубов тумана выплывающие знакомые и незнакомые люди.

Лист ложится на лист.

Саулюс сдерживает себя — не торопись, дай передых голове и руке. Поспешил, не дал созреть, слышит мудрые голоса, работай, Саулюс, не обижайся за правду; ты можешь лучше, а кто может, с того и спрос больше. Ах, сколько он наслушался мудрых слов и с трибун и в застольях! Сколько мудрости почерпнул из книг! Стало ли оттого легче, яснее? Наставников хватало. Вокруг Аугустаса Ругяниса по сей день толпятся начинающие. «Я общаюсь с молодежью, помогаю ей пробиться!» Вот так он и тебя хлопал по плечу, Аугустас, пока однажды не опомнился: не уйдет ли слишком далеко? И ударил из-за угла дубинкой по голове. Нет, с ног не сбил, хотя и хотел этого. Скрипи теперь зубами, бесись на весь мир, Аугустас Ругянис!

— Глупости! — бухает кулаком по столу Саулюс, вскочив, со злостью шагает из угла в угол. — Глупости, глупости, глупости! — повторяет, стараясь отогнать эти мысли, но невольно вспоминает Альбертаса Бакиса и его договор с председателем колхоза, думает о Вацловасе Йонелюнасе — такого человека свалила болезнь... Пока есть руки... «Левая ближе к сердцу», — прилетает от Пиренеев голос Мигеля Габеса. Саулюс застывает посреди комнаты, смотрит на сделанное. Он знает — от многого откажется, из нескольких набросков скомпонует один; это только изначальная мысль, но она нужна, необходима, чтобы сырье приобрело подлинный смысл, зазвучало в полный голос.

«Говори, Саулюс», — долетает издалека просьба матери.

Волосы развевал апрельский ветер, а Саулюс с потрепанным портфельчиком в руке шел полем мимо ольшаника — задумавшись, не видя ни свежей зелени ивняка, ни унылости серых еще пашен. Вернулся на родину, как птица в развеянное ветрами гнездо. На подсохшей тропе проклевывалась редкая травка — уже целый месяц, как Каролис не ходит по ней, целый месяц его здесь нет. Угрюмые стены избы его встретят да слезы родных. Что он скажет? Чем поможет?

Будто окликнули его. Саулюс оглянулся на Швянтупе. Совсем неподалеку, освещенная вечерним солнцем, мать шагала по свежей бороньбе. Широко откинет руку и бросит горсть семян, опять размахнется и бросит... Равномерен ее шаг, равномерен взмах руки, широкий, как бы принимающий кого-то в свои объятия... Саулюс повернул к полю, догоняя одинокую сеятельницу и страстно желая, чтобы она обернулась, но мать не посмотрела на него. Черпала из передника семена и рассыпала с такой легкостью, словно всю жизнь делала эту работу, как будто испокон веку эти поля засеивал не отец, не Каролис, а только она, только она одна. Блеснув золотом в лучах низкого солнца, крупные зерна падали в пашню, благословенные, согретые для жизни маминой рукой.

Медленно волоча ноги Саулюс следовал за ней и лишь теперь заметил, что мать идет к памятнику отцу на пригорке, что ее глаза устремлены на него, да и рука, выброшенная вперед, как бы тянется туда... На краю поля мать остановилась, потом сделала несколько шагов по лужку, постояла, опустив правую уставшую руку, все еще глядя на почерневший дубовый обрубок между двумя елями.

— Вот и посеяла, Казимерас, — сказала.

Затянула потуже углы клетчатого платка, обернулась. Не удивилась, увидев рядом Саулюса. Чуть прищурилась на солнце и глядела прямо перед собой, но взгляд ее убежал за ольшаник, за лес. Лицо светилось покоем.

Саулюс потупил голову, его узкие юные плечи поникли.

В эти страшные дни спокойствие матери показалось ему преда-

тельством, и он вздрогнул: зачем я сюда пришел? поскорее уйти отсюда...

— Посеяла, сын.

Слова матери удержали его. И Саулюс неожиданно почувствовал, что отец глядит на него с пригорка.

«Говори, Саулюс», — дрожит тихая мольба матери.

Говори, говори...

Саулюс отбирает эскизы матери. Не то, еще не то. Что сказала бы Дагна? Что сказала бы?.. Берет чистый лист, долго смотрит на него глазами Дагны, пока не всплывает Мать, живая, величественная, владычица неба и земли... Саулюс понимает — это заключительный лист цикла. Рисует не торопясь, заполняя штрихами все пространство. Берет другой лист, уточняет. Берет третий... Нет, нет, все придется переделать. Настроение, рисунок, мысль, ритм. Мысль, мысль...

За окном бьются о стекло ночные бабочки, у хлева, затаившись, воеет пес. За стеной что-то грохнуло, но Саулюс ничего не видит и не слышит. Только чувствует — вот так... вот так надо... И сам удивляется, смотрит, откинув голову, прищурив лихорадящие глаза...

— Саулюс...

Саулюс не слышит голоса Каролиса, он даже не поворачивает головы.

Его плеча ласково касается рука. Рука пахнет хлебом. Каролис стоит рядом, и Саулюс наконец понимает, что брат тоже видит Мать.

Оба молчат.

За окном, о стекло которого бьются бабочки, в листве старого клена шумит теплая лунная ночь и мерцает белесое летнее небо, а высокий небосвод прорезает, падая, потускневшая серебристая звезда. И гаснет.

...Выше, моя звезда, выше...

Саулюс все еще смотрит на Мать — прямую, гордую, идущую по тревожному земному шару; в ее поднятых руках каравай хлеба будто солнце... И лицо Матери в свете этих лучей кажется добрым и мудрым.

...По земле идет Мать. В руках у нее — каравай хлеба.

Перевел с литовского ВИРГИЛИУС ЧЕПАЙТИС.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО



РАЗМЫШЛЯЮЩАЯ АМЕРИКА *

Снова на распутье

Давно уже не наблюдалось такой неустойчивой, такой странной погоды, какая лихорадила людей в 1981 году. В разгар весны ударили заморозки. В конце июня члены нашей делегации ходили во Фрейбурге в демисезонных пальто. В июле выпал снег в Австрии, в Бразилии мороз повредил кофейные деревья, в Китае наводили ужас наводнения, над Москвой повисла непробиваемая воздушная подушка, заставившая людей не одну неделю изнывать от несносной жары. В Прибалтике в самый разгар лета шли бесконечные дожди, погода менялась десять раз на день, солнце, упрямо пробиваясь перед вечером к людям, садилось в облака, озаряя все кроваво-красным пламенем.

Ждали хорошей осени с бабьим летом, обильной грибами. И она приближалась. В тот сентябрьский день, когда я вылетал в США, в Москве было тепло, солнечно, листья деревьев отливали золотистой желтизной, кое-где переходящей в легкую багрецу. А в Вашингтоне люди зябли, на юге же США, где проводил свой уик-энд президент Рональд Рейган, редкостные холода сковали воздух. Газеты и телевидение сообщали, что в ряде городов были превзойдены рекорды самых низких температур: 19 сентября в Южной Каролине ртутный столбик показывал 40, во Флориде — 46, а в Джорджии — 45 градусов по Фаренгейту. Десять дней спустя в столице США люди ходили без пиджаков, а в Чикаго 30 сентября я вынужден был попросить разрешения у сопровождавших меня студентов снять галстук и расстегнуть ворот рубашки.

Менялась погода. Чередовались города США, в которых выступал я по просьбе американских ученых. И только политический климат в официальных эшелонах страны оставался всюду неизменно холодным. Впервые я побывал в этой стране еще в те, теперь уж далекие, времена, когда мыслящие люди робко поднимали головы, удивляясь тому, что дикие политические ураганы, получившие кодовое название «охоты за ведьмами», миновали, не унеся их в небытие. Я приезжал сразу после речи президента Джона Ф. Кеннеди о необходимости для Америки «новых рубежей». Потом — накануне вьетнамской авантюры президента Линдона Б. Джонсона и при самом конце ее и начале уотергейтского скандала. Дважды приезжал во времена Джимми Картера — в медовый месяц его президентства и в разгар американско-китайской эйфории. Но никогда атмосфера антисоветизма, кажется мне, не достигала в печати, на телевидении, в правящих эшелонах такой концентрации, как в первый год президентства Рональда Рейгана, провозгласившего необходимость «сделать Америку сильной».

Почин положил Джимми Картер, когда решил не спешить с утверждением договоренностей по ОСВ, а затем подписал директиву № 59, взяв курс на «ограниченную» ядерную войну. Принявшие эстафету Рональда Рейган и его команда построили свою внешнюю политику на гонке вооружений и откровенных провокациях. Только самые снисходительные из американцев теперь объясняют постоянные промахи президента его политической неопытностью, тем, что тот, так же как Джимми Картер, прошел в Белый дом без диплома. Из месяца в месяц президент, его министры и помощники строго, обдуманно состязаются между собой, кто сделает наиболее вызывающее за-

* См. «Новый мир», 1976, №№ 11—12; 1978, № 12.

явление. Допустимость ядерной войны, по крайней мере для Европы, необходимость нанесения упреждающего удара по военным объектам СССР ни одним из них не ставятся под сомнение. Военное превосходство США над СССР вместо «эквивалентности», «паритета», «равенства военных потенциалов» провозглашено в качестве решающей цели американского правительства. Официально заявляется: «США не остановятся перед применением вооруженной силы, включая ядерное оружие». Дело дошло до того, что профессор Юджин Росту, которому якобы поручено продолжение переговоров с СССР по ОСВ, начал свою деятельность с публичных утверждений: «Мир не является даже естественным состоянием международного сообщества... Мы не должны кидаться за стол переговоров, спешить с заключением соглашения, коль скоро они начнутся... Покушку военных систем нельзя откладывать ради переговоров о контроле над вооружением...»

Удивительно ли, что, начитавшись за время президентства Рейгана подобных заявлений и разъяснений, я не спешил ответить положительно на предложение американских ученых посетить их страну с целью оживления научных контактов и обсуждения программы возможных советско-американских симпозиумов по литературе. Проще сказать, ехать мне не хотелось, поскольку, говоря словами Т. Элиота, «все беспокоит, все». Только после третьего приглашения собрал чемодан и вылетел в Вашингтон. И спустя двенадцать часов уже отвечал на вопросы чиновника, осуществлявшего паспортный контроль.

- Русский профессор?
- Да.
- Долго намерены пробыть у нас?
- Неделя три, если не испугается ваш лидер...
- Сэр! Это возможно. Он один пугается за всех нас. Желаю счастливой поездки.

Утомленный дальним перелетом, решил остановиться дня на два в Вашингтоне, хотя билет на пересадку в Чикаго был забронирован для меня с расчетом всего на трехчасовое пребывание в столице США. В аэропорт Нэшнл меня повез старый знакомый, профессор Мэрилендского университета. По дороге разговариваем о доме, купленном им в рассрочку лет десять назад.

- Погасили долг?
- Что вы! Платить еще лет семь!
- Сразу осилить не можете?

— Видите ли... Тут все дело в том, что выгоднее — сразу оплатить всю задолженность и потом иметь дело с суперналогами, растущими тем быстрее, чем катастрофичнее падает реальная стоимость доллара, или в допустимые соглашениями сроки погашать задолженность и вследствие этого пока не иметь дела с налоговым ведомством. При нынешнем полупустом долларе менее обременительно не спешить погасить долг. Наше время — время жизни в кредит. Как видите, стремимся соответствовать ему. Хотя бывают и неприятности. Хозяева, у которых был в давние времена куплен дом, в связи с девальвацией доллара пытались заставить нас оплатить фактический убыток, якобы понесенный ими в результате обесценения денег. Но суд отказал им в иске...

Аэропорт. Каждая компания имеет свой отсек. Подхожу к стойкам «Юнайтед Эрлайн».

— По моей просьбе полет в Чикаго был отложен на двое суток. Сегодня самолет компании «Ост-Лайн» не летит в О'Хейр. Я хотел бы извиниться за перенос срока и улететь на самолете вашей компании.

Пока, с трудом подбирая слова, я произносил эти фразы, мой билет был оформлен.

— Сэр, это наша забота. Мы благодарим вас за то, что сегодня вы предпочли самолет нашей компании.

- Дела идут трудно?
- Могли бы идти лучше.

В самолете занимаю место у окна в отсеке для некурящих. Рядом — два американца. Стюардесса разносит газеты и журналы. Один берет «Таймс», другой — «Вашингтон пост». Закрываю глаза. Сосед участливо спрашивает:

- Трудно идут дела?
- Утвердительно киваю.

Приносят обед. Не доедаю. Соседи, скользнув глазам по моему подносу с едой, переводят их на меня с пониманием.

Прощаясь, они молча жмут мне руку, не скрывая сочувствия.

Без задержки уезжаю из Чикаго в Эванстон, где расположен Нортвестернский университет. Останавливаюсь в том же отеле, что и в прошлый раз. Удивленно смотрю на вывеску: две буквы в слове «Orrington» погасли, кажется, даже упали. Спрашиваю у хозяина, узнавшего меня:

— Трудно идут дела?

— К сожалению, да. Переживаем трудности. Ресторан пришлось продать. Быть может, продадим и отель. Не могу выкрутиться. Ссуда? Не под силу шестнадцатипроцентовая учетная ставка. Президент все обещает снизить ее, но она растет, растет, а у меня... срываются с вывески буквы.

По чистой случайности мое пребывание в США совпало с подготовкой к широко отмечаемому там еврейскому Новому году. Если не ошибаюсь, по библейскому счету то был 5742 год. Праздник называется рош гашана и считается одним из самых крупных и почитаемых еврейми. Многие студенты, аспиранты, профессора славистических отделений университетов ездил перед праздником по сейлам (дешевая распродажа товаров и продуктов), а с 28 сентября проходили через девятидневное очищение посредством молитв. Ежедневно в 8 часов утра, в 12 пополудни и в 8 вечера они молились, после чего следовал кидыш со сладким утощением. Так продолжалось до 8 октября — судного дня (йом-кипура). Последний весь был посвящен посту и молитвам. Впрочем, и 29 сентября, в день рош гашана, и в последующую неделю работы запрещались за исключением приготовления пиццы, да и то лишь сладкой. 28 и 29 сентября евреи проводили у себя дома и в синагогах, ели яблоки с медом, что должно принести, по поверью, изобилие в наступающем году.

Мне не однажды присылались приглашения на моления и разговления. Я отклонял их, шутливо отвечая: «Вот уж вернусь в Москву, там у Покровских ворот и отмолю все свои грехи». И проводил значительную часть времени либо у телевизора, либо в индивидуальных беседах с учеными, аспирантами, профессорами, с владельцами отелей. Они и ввели меня в ту идеологическую атмосферу, что царит теперь в США.

На редкость слаженным строем президент Рональд Рейган и его команда безостановочно, напористо атакуют, атакуют американский народ, не считаясь ни с кем и ни с чем, пуская в ход тенденциозно истолковываемые факты, легенды... Как волны в шторм накатываются на берег, так члены президентской рати обрушиваются на зрителей и радиослушателей. За Рональдом Рейганом следует государственный секретарь Александр Хейг, за ним вице-президент Джордж Буш, за вице-президентом — ведущий эксперт Белого дома по вопросам безопасности Ричард Пайпс, а между ними, такой косой волной, вездесущий низкорослый министр обороны Каспар Уайнбергер... Слова «равенство военных потенциалов», «паритет» приводят их в негодование. Военное превосходство, лидерство в мире — на меньшее они не согласны. Даже умеренный адмирал Ларок с недоумением констатировал: «Слово «мир» стало для них ругательством». Слово же «рашен» (русские) они «берут — как бомбу, берут — как ежа, как бритву обоюдоострую», беззастенчиво соединяя его со словами «милитаристы», «экспансионисты», «агрессоры», а некий Джерри Фолуэлл даже и со словом «монстры». Не утруждая себя аргументацией, изо дня в день твердят они простодушнейшему в политическом отношении американцу, что «лишенные совести и чести» рашен все равно-де нападут на США. Ради своих агрессивных целей они пойдут на любое преступление, утверждает Рейган. Конфронтация неизбежна, уверяет Хейг. Разрядки нет и не будет, рубит сплеча Пайпс. А генерал Швейцер однажды на заседании Совета национальной безопасности закричал, что «русские уже на марше, они собираются нанести удар».

«США должны спланировать такую победу над СССР, чтобы она не помешала восстановлению США», — рекомендуют президенту Рейгану его консультанты. Вице-президент Буш, расшифровывая существо этих предложений непонятливым соотечественникам, ободряющим тоном сообщает: ядерная война не мешает восстановлению США, если выживет хотя бы пять процентов американцев после того, как борющиеся стороны применяют все, чем располагают. Он не оставил сомнения и на тот счет, кто должен войти в эти пять процентов, разъяснив корреспонденту газеты «Лос-Анджелес таймс»: «Надо обеспечить возможность выживания высшего командования, а также промышленного потенциала, необходимо обеспечить защиту определенного процента граждан и иметь запас оружия, которое нанесет противоположной стороне больший

ущерб, чем та сторона нам самим. Вот это как раз тот путь, став на который можно одержать победу в ядерной войне».

Необходимо оговориться, что значительная часть американцев, особенно средние слои их, снисходительно воспринимают подобные «идеи», поскольку подаются они в амортизирующих обертках с надписями «Ограниченная ядерная война», «Европеизированная контрсила» и т. д. и т. п.

5 октября 1981 года я был приглашен одним из прогрессивных студентов Нортвестернского (Северо-западного) университета на дискуссию. Она называлась «Будущая война будет войной без победителя». Организаторы ее для ясности нарисовали на афише ядерный гриб. Заплатив полдоллара, внимательно слушал я страстные споры, разгоревшиеся в Маккормик-аудитории, а после окончания их беседовал с человеком, который считает ограниченную войну неизбежной и даже... необходимой.

— По всей видимости, основным плацдармом станет Европа или Ближний Восток, — высказал он предположение совершенно ровным тоном.

— Вы имеете что-то против них? — спросил я, стараясь не выдать своего волнения.

— Надо полагать, их руины обессилят вашу агрессивность, а заодно унесут в небытие всех этих миттеранов, хомейни, кадаффи...

Мне и раньше приходилось поражаться до онемения простодушной откровенности, свойственной некоторым американцам, но чувств, вызываемых ею, я так и не научился скрывать. Прошла не одна минута, прежде чем я справился с собой и сказал собеседнику:

— Даже ваш вице-президент допускает возможность того, что, разразись ядерная война где-то далеко, атомные бомбы могут упасть и на вашу собственную землю.

— Могут, — с готовностью согласился он. — И пусть... Кого они уничтожат? Негров? Давно пора. От гибели их мы только выиграем. Чиканос? Почистить от них вашу страну тоже следует. Ваших эмигрантов? Туда им и дорога.

Можно было подумать: говорит сумасшедший. Но рядом со мной твердым шагом двигался стройный молодой человек с правильными чертами лица, русоволосый, голубоглазый, уверенный в себе, и, кроме его слов, ничто не свидетельствовало о его невменяемости. На дискуссию он не проронил ни слова. А когда мы выпли вместе, даже спросил, верно ли, что в России осень называют золотой. Я ответил утвердительно.

— А у нас — красной! — откликнулся он и пояснил: — Это потому, что у нас всюду растет вон тот краснолиственный бернинг бук (шляющий бук). Он и придает багрово-красный оттенок осени.

Вернувшись в отель, я не записал нашего разговора, как обычно делаю в других случаях. Быть может, мой собеседник разыгрывал роль «адвоката дьявола», спрашивал я себя. Через несколько дней его слова о Европе и Ближнем Востоке были почти забыты мною. Но они пронзили меня снова, когда телевидение излагало беседу президента Рональда Рейгана с редакторами провинциальных газет.

На секунду весь экран занял высокий подтянутый темноволосый человек. Одет в темный костюм. Белая сорочка с модным светло-бордовым галстуком. Держится уверенно и вместе с тем с внутренним напряжением. Постоянно переспрашивает не то потому, что плохо слышит, не то выигрывая время. Корреспонденты в свою очередь задают вопросы с предусмотрительной предосторожностью. Один сформулирован так, что президент соглашается: вполне возможна ситуация, которая приведет в Европе к обмену ударами с применением сторонами тактического оружия против воинских континентов на поле боя без того, чтобы какая-либо из больших держав нажала на кнопку. Усомнившись, верно ли понято мною заявление президента, позвонил профессору Морису Уилки. Он пояснил:

— Конечно, Европа в любом случае оказывается обреченной. Президенту хочется выиграть победу. Остаться в стороне, не избежав ядерной катастрофы в Европе, это альтернатива...¹

В день, когда я улетал из США, кто-то рассказывал мне, будто госдепартамент

¹ Вернувшись в Москву, я прочитал в одной из наших газет перепечатку из дублинского «Айриш таймс»: «Президент Рейган потряс всех своим заявлением, из которого вытекает, что военные стратеги его правительства хладнокровно допускают возможность проведения военной операции с применением ядерного оружия, ограниченной пределами Европы, что избавило бы от ядерной войны США. Что касается Советского Союза, он всегда отвергал подобную перспективу. Такая война, по его мнению, привела бы к гибели Европы».

направил в газеты «пояснение и уточнение: любой ядерный конфликт не ограничится Европой. Одновременно было сказано, что замечания президента «полностью соответствуют долгосрочной стратегии гибкого ответа, принятой НАТО». Впрочем, Каспар Уайнбергер, специально занимающийся проблемами ядерной войны, тоже черным по белому написал: «Мы не будем обязательно ограничивать наши действия...»

Тем удивительнее, что президент Рейган, министр Уайнбергер и другие члены американского правительства все эти доктрины экономического оздоровления, «контр-силы», «стратегии противоборства» выдают за «волю американского народа». Выступая с защитой своей экономической программы на съезде Национальной федерации женщин-республиканок в Денвере, президент утверждал, будто «простые люди» и понимают и поддерживают его. Он пришел на съезд в сопровождении своей жены Нэнси, дамы очень красивой, элегантной. Во время речи президент вынул из кармана письмо и начал читать его в подтверждение главной мысли. Полуграмотная женщина общала, что сын ее добровольно ушел служить в армию, в доме и в душе стало пусто, но она гордится сыном, решившим послужить своей стране. Президент закончил чтение дрожащим голосом. Нэнси расплакалась, а за ней стали утирать слезы и другие делегатки. Ободренный оратор тут же провозгласил, что осуществляемый им режим экономии не должен распространяться на военные ведомства, поскольку «перед лицом Советского Союза, строящего вместо общества арсенал, не существует альтернативы, кроме вооружения».

В машине ему сообщили о потрясающем размахе демонстрации в Вашингтоне, направленной против «рейганомии».

Официальная печать пользовалась цифрой четверть миллиона. И стыдливо уточняла: даже больше. На самом деле их было в два раза больше. Их — то есть американских рабочих, устремившихся начиная с пятницы, 18 сентября, в Вашингтон в ответ на объявленную президентом Рональдом Рейганом программу экономии и распоряжение подавить силой забастовку авиадиспетчеров. По призыву профсоюзов и прогрессивных партий они спешили в столицу, чтобы превратить субботу, 19 сентября, в день солидарности с теми, кто исполнен решимости помешать президенту широко раскрыть дверь, как выразился один конгрессмен, для обогащения богатых за счет ограбления бедняков. Всю ночь и наступающее утро тысячи специально зафрахтованных автобусов, поезда, самолеты доставляли рабочих в город, где находится правительство. Высаживаясь, они поднимали эмблемы, транспаранты, прилаживали на грудь доски с плакатами и группами направлялись к памятнику Вашингтону.

Отсюда в полдень началось давно не виданное здесь шествие трудовой Америки к Капитолию. На эмблемах, отделяющих одну колонну от другой, почти все штаты: Айова, Огайо, Иллинойс, Нью-Йорк, Джорджия... Одетые в разноцветные свитеры, куртки, пуловеры, ковбойки, в белых, красных, синих, зеленых, оранжевых шапочках, фуражках, демонстранты несли множество бело-зеленых транспарантов с надписями: «Работы, справедливости и сочувствия!», «Работы!», «Понимания!», «Новых рабочих мест!» Гул демонстрантов систематически увенчивался фразой, скандируемой сотнями тысяч: «Солидарны навеки». Слово «jobs» (рабочие места) особенно отчетливо выступало на транспарантах. «Нужна работа, а не война!» — гласила надпись на транспаранте автомобилестроителей. Рабочие машиностроительной и аэрокосмической промышленности соединили на своих плакатах требование новых рабочих мест с другим, не менее неотложным требованием «no bombs» (нет бомбам), о чем умолчали некоторые американские газеты, но что проскочило в телетрансляции. Лозунг этот затем был подхвачен в других городах США теми, кто начинает догадываться о подлинном существе гипермилитаристской политики президента Рональда Рейгана. В частности, он прозвучал по телевидению в Чикаго, когда повторылась запись демонстрации трудящихся Чикаго, предшествовавшей шествию в Вашингтоне.

Передача по одиннадцатому каналу была озаглавлена: «Как Рейган урезает бюджет?» Она предварялась серией вопросов: «Экономия ли это? Укрепляет ли она нас? Покончит ли она с безработицей? Откуда появятся новые рабочие места? Взаимосвязано ли то и другое? Каким будет результат, достигаемый за счет благополучия всех слоев? Приведет ли это к изменению общества?» По мнению организаторов передачи, демонстрация трудящихся в Чикаго дала на все эти вопросы недвусмысленно отрицательный ответ, поскольку в основе экономической политики президента Рональда Рейгана, или рейганомии, как ее иронически для краткости именует американская

пресса, лежит взрывающая ее ядерная бомба. Так выразился мой давний знакомый, профессор Чикагского университета, говоря о заявленной 2 октября 1981 года президентом доктрине сдерживания.

Не помню, в тот же или на следующий день президент и его военный министр появились на экране телевизоров. Президент сказал несколько слов о военном министре, а затем последний заговорил о предстоящей модернизации всех трех видов стратегических вооруженных сил: наземных ракет, бомбардировочной авиации и подводного флота. Конкретизируя план президента, он поведал городу и миру, что речь идет о строительстве ракет первого удара «МХ», 100 бомбардировщиков «В-1», разработке с последующим запуском в производство бомбардировщика-невидимки «Стелтс» (предназначен для совершения «змеиных атак» на СССР), выведении в космос серии спутников-шпионов, принятии на вооружение крейсирующих ракет... В текущем бюджетном году на это уйдет свыше 180 миллиардов долларов, а вся программа обойдется в полтора триллиона. Каспар Уайнбергер сокрушался, что на военные нужды ассигнуется денег меньше, чем требуется.

— Давайте напишем цифрой, сколько президент намерен израсходовать на военные приготовления с 1983 по 1987 год...— предложил мне профессор из Чикаго.

— А он думает оставаться в Белом доме до 1987 года? Помнится, сам же заявлял, будто не намерен баллотироваться на второй срок?

— Мы живем во времена величайшей, скажем осторожно, забывчивости политических деятелей. Уже сколачивается группа по подготовке выборов Рейгана на второй срок. Однако напишем цифрой астрономическую сумму, предназначенную на вооружение США: 1 500 000 000 000. Вот это да! Рейган утверждает, что принятие его экономической программы позволит создать в ближайшие годы 13 миллионов рабочих мест. В ближайшие годы... А сегодня, как сообщает министерство труда, у нас 7 966 тысяч безработных. По данным того же министерства, число потерявших работу в истекшем сентябре достигло 300 тысяч. Мои коллеги по университету, занимающиеся экономическими проблемами и консультирующие специальную комиссию в Ленсинге, утверждают: один миллиард, расходующийся в военной промышленности, позволяет создать лишь 8—9 тысяч новых рабочих мест, а в сфере обслуживания — больше 50 тысяч, в медицине 40—45 тысяч. Другими словами, на каждом миллиарде мы теряем примерно 40 тысяч рабочих мест. А всего? Перемножим. Ого! И столько теряем только потому, что президент Рейган пытается, как сказал один наш коллега из Бостона, «преодолеть угрозу, которой не существует». Идея упреждающего удара преследует окружающих его советников как кошмар... Безумие... Какое-то безумие...

Слово «безумие» почти непрерывно мелькало в беседах со студентами и профессорами, в речах конгрессменов, по радио и телевидению. О безумии плана перевооружения и довооружения говорили Том Дауни — член палаты представителей от штата Нью-Йорк и Рональд Делламс — член той же палаты от Калифорнии. Аспиранты Мэрилендского, Джорджтаунского университетов именовали «команду Рейгана» не иначе как «наши сумасшедшие из Белого дома». Дважды это определение прозвучало и на приеме в Кеннан-институте. Майк Лаури полагает, что осуществление программы Рейгана может увенчаться «концом нашей цивилизации», ядерной войной, после которой если и выживет кто-либо из людей, то только для того, чтобы «завидовать мертвым». Того же мнения сенатор Эдвард Кеннеди: «Мы идем по пути, который может привести лишь к последней войне в истории человечества».

В США нет недостатка в тех, кто готов служить официальной доктрине не за страх, а за совесть. Срочно подновляется все, что может усилить антисоветскую атмосферу. Мобилизуются даже мертвецы. Во второй половине сентября газеты подняли невероятный шум, поддержав версию английского «писателя» Майкла Эддоуза, утверждавшего, что настоящий Ля Харви Освальд, приехав в Советский Союз, был подменен таким похожим на него чекистом, который потом и убил президента Джона Ф. Кеннеди. Началась кампания за отмену решения окружного судьи Джеймса Райта, запрещавшего вскрытие могилы Освальда. Она завершилась тем, что апелляционный суд в Далласе разрешил Марине Освальд-Портер распорядиться могилой ее первого мужа по собственному усмотрению. Тотчас была произведена эксгумация трупа. К огорчению тех, кто пытался использовать труп в антисоветских целях, затея провалилась. В бумагах морского госпиталя, где лечился Освальд, когда служил в морской пехоте, сохранились рентгеновские снимки его зубов. Они-то и разрушили про-

Бойкий корреспондент берет интервью у одного, другого из 1500 человек разных национальностей, только что у подножия статуи Свободы произнесших хором клятву на верность своей новой родине. Одного из них он искусно подводит к рассказу о том, как тот страдал от антисемитизма в СССР. Наблюдая фокус, тихо посмеиваюсь. Вспомнилось: вот так же известный газетчик Роберт Дж. Кайзер, автор нашумевшей книги «Русские. Народ и власть», подводил группу эмигрантов к нужному ему ответу. Вдруг один из них, вздохнув, сказал: «Дорого жить здесь». Корреспондент, вдруг обидевшись за свою страну, возразил: «Разве вы не знали, что в США, чтобы хорошо жить, надо иметь большие деньги?» На что эмигрант, вдруг перейдя на чистейшее одесское наречие, бойко отреагировал: «Что вы морочите мне мозги: с большими деньгами и в Одессе можно жить распрекрасно».

Не знаю, что скажет сегодня интервьюируемый телекорреспондентом новоиспеченный гражданин США. Но что бы он ни сказал, его слова не перечеркнут того, что написали недавно от имени так называемой третьей волны эмигрантов из СССР П. Вайль и А. Генис. Большинство, подавляющее большинство «новой эмиграции», утверждают они, все еще ощущает на себе влияние воспитавшей их самой духовной в мире литературы и боится сказать правду: бежали мы из СССР не от нищеты, не потому, что подвергались дискриминации за свое национальное лицо или образ мыслей. Впрочем, процитирую дословно: «...Огромное большинство из нас уезжало не «от», а «за». Мы ехали за деньгами. Мы хотели зарабатывать много денег и тратить их так, как нам захочется. Такая возможность (но далеко не реальность) — основа основ свободного общества, мы охотно пользуемся ею, только все стесняемся признаться». Этот новейший свой манифест, вариант «Вех», П. Вайль и А. Генис озаглавили «На золотом тельце сидели...».

Бродвей движется, крутится, играет переливающимися огнями, как двадцать лет назад, словно никаких экономических, энергетических кризисов и в помине нет. Есть лишь мелкие замены. На месте знаменитого манекена, изображавшего завязатого курильщика, который день и ночь с наслаждением тянул сигарету «Кемел», неторопливо выпуская дым изо рта, стоит другой манекен: мужчина лет тридцати в черной паре, в белой сорочке с бабочкой прижал к себе девицу, обнаженную до пояса, в синих джинсах, срезанных на годичках. Рядом манекен такого же роста девицы в черных чулках «паутинка», приглашающей желающих в дансинг. Это, так сказать, зазываль-тени, зазываль-роботы. Но тут же почти у каждого заведения крутятся хлыщ и в джинсах и вельветовых куртках, сообщая, что самые «скусные» девицы вот здесь.

Другие изменения... Разоряющиеся владельцы ночных баров, казино, клубов, публичных домов перепродают их новым владельцам, бросающим в пасть ненасытного зверя свои многолетние сбережения с надеждой разбогатеть. Не знаю, многие ли разбогатели, мой же знакомый итальянец раскатывает тесто для пиццы², подбрасывая его над головой так же, как делал это пять лет назад.

Полюбовавшись его трудовым артистизмом, направляюсь в сторону Таймс-сквера. Что-то подсказывает мне: где-то тут должны быть и эмигранты из России. Не доходя одного квартала до 42-й стрит, заметил молодого человека, привлечшего мое внимание. Он играл на трубе, поставив у ног чашу для пожертвований. Проходящие изредка бросали четвертьдолларовые монеты. Какая-то девица вальсировала в одиночку и громко хохотала.

— Довольны?

— Ха, земляк? Почему же нет? Где ты увидишь столько жратвы и шумтков? А? И вот этого?

Он пошевелил, как усиками, указательным и большим пальцами правой руки и кивнул на витрины, где стояли манекены танцовщиц, певиц с обнаженной грудью.

— Я вот поиграю здесь часа два и могу взять билет на выступление гёрлс из Лас-Вегаса. Два-три дня игры, и самая лучшая не только выйдет ко мне в шубке, наброшенной на голое тело, но и сбросит ее...

— Ради этого...— начал я.

— Пока не знаю языка...— не дал мне закончить вопрос.— Играю в джазе. А тут подрабатываю на мелкие расходы...

² Открытый пирог с мясом, колбасой, сыром, распространенная в США итальянская еда.

И исчез. Так быстро исчез, что я не сразу понял, что случилось. Сообразил лишь тогда, когда рослый полисмен спросил у меня, знаю ли я музыканта.

— Нет, я не знаю его.

По утрам прихожу завтракать в столовую при Норрис-центре (здании, где расположен ректорат Нортвестернского университета). В лобби (фойе) все стены снизу доверху исписаны, заклеены разноцветными надписями, афишами, объявлениями. С интересом вчитываюсь в них. Что предлагается молодежи? Владельцы кафе и ресторанов приглашают отведать

пиццу — пиццу — пиццу,
чикен — чикен — чикен¹

с «хорошим вином». Хозяева центрального магазина в Чикаго — ровно тысячу разных сэндвичей.

Содержатели кондитерских — шоколад, какао, пирожные, торты; на большом экране телевизора, видимом и отсюда, загорается надпись: «To eat or not to eat»⁴. Недоумеваю, вспомнив трагический вопрос Гамлета. Но надпись тут же оборачивается громаднейшим... белым тортом.

Нет числа объявлениям, предлагающим студенчеству музыку, музыку, музыку, квартеты, симфонические оркестры, оперы, сольные выступления пианистов, скрипачей, арфистов, виолончелистов, открывающих «новый золотой период в оперном, музыкальном искусстве».

Не перечать приглашений: купите машину за 4 тысячи долларов (прошла всего 72 тысячи миль), купите тафту, купите стерео по дешевке, приходите на квартет эфиопов; слышали ли вы мое пение под гитару? не хотите ли совершить с нами путешествие в Калифорнию?

В дальнем углу целая коллекция объявлений-приглашений к гадалкам, ворожеям, шаманам. «Сестра Джейн. Лучшая советчица. Гадает на звездах и на картах. Прошлое, настоящее и будущее. Решит любую мучающую вас проблему, будь то бизнес, брак или любовь, счастье, здоровье. Она жаждет помочь вам, думает только об этом, заранее знает о вас все. Не упустите же редкую возможность поправить ваши дела».

Кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь. Взираю. Настоящая горилла настоящей обезьяньей лапой протягивает мне листовку. Переодетый студент? Возможно. Голубые глаза. Уходит, приседая не по-человечьи. Незнакомый джентльмен уверяет меня, будто горилла настоящая, но хорошо обученная. Разворачиваем листовку: приглашение прийти вечером в Норрис-центр на дискуссию «Внесем порядок в галактику». Не веря своим глазам, спрашиваю:

— О чем пойдет речь?

— Видимо, об устройстве мира, коль скоро не удалось его нам, людям, сделать удобным для жизни.

Это было первое отчетливое политическое утверждение, услышанное мною за пять дней пребывания в Эванстоне. Я уже был готов перед тем подумать, что американцы нисколько не озабочены сгущением атмосферы в их стране, воспринимают ее как чистое недоразумение, как какую-то игру, несерьезное и неопасное дело. Радовало, конечно, то, что ко мне относились равно, дружелюбно, разговаривали так, словно даже и не подозревали о страхах, терзающих президента и его министров при одном слове «русские». Но не проходило и чувство беспокойства: неужели они и мысли не допускают о том, какими страшными последствиями может обернуться игра в большую военную политику, да еще в стране, жители которой имеют склонность к насилию, в стране, где каждую минуту совершается 21 серьезнейшее преступление, как охарактеризована Америка в фундаментальном, заслуживающем полного доверия труде⁵? А президент все чаще появляется на экранах телевизоров. Вчера он защищал произведенное им сокращение бюджета на 30 миллиардов долларов посредством урезывания расходов на социальное страхование, образование, медицину. Говорил мягким баритоном с хрипотцой. Когда его упрекнули в том, что жертвы несут не бизнесмены, а трудящиеся, ответил:

— Бизнес есть бизнес.

¹ Цыпленок.

⁴ Есть или не есть (по аналогии со словами Гамлета: «Быть или не быть»).

⁵ «Values in Conflict», Washington, 1980, pp. 13, 22.

Он любит расхожие афоризмы, нравящиеся среднему американцу. Часто поражает и восхищает слушателей крылатыми словами. Доказывая необходимость наконец-то начать финансовое оздоровление страны, он как бы между прочим бросил фразу: «Спросите у себя: если не мы, то кто? Если не теперь, то — когда?» Он же о государственной задолженности, составляющей миллиард долларов, сказал: «Пусть этот факт останется монументом прошлому!» Эти фразы с тех пор повторяет половина Америки. И только досужие журналисты с помощью ученых докопались, что свои крылатые слова президент заимствует из монологов, которые произносил, исполняя в Голливуде различные роли в давно забытых кинофильмах.

За обедом с нами сидела худенькая шатенка, очень похожая на мою младшую дочь. Такая же тоненькая, чуть выше среднего роста, в коричневых вельветовых брюках, кремовом пиджаке, с сумкой через плечо. Потом я обратил внимание на ее стоптанные рыженькие туфли и проникся еще большей симпатией к ней. Она из Оклахомы, отец — продавец, мама — официантка, все три брата работают, а она получила стипендию для совершенствования знаний в русском языке и литературе. Изучает их шестой год. Живет в окрестностях Чикаго. «Там много дешевле, чем здесь. Тут очень богатые люди живут». Тут — значит в Эванстоне. Мечтает поехать в Москву, и надолго.

Неотрывно думал, чем она отличается от обычных американок. Догадался — своим естественно-правильным русским языком, естественностью во всем, о чем идет речь. И еще — отсутствием лихорадочности, какой-либо взвинченности. Обычно смотрим ли мы здесь телевизор или кино, слушаем ли лекцию или споры политических обозревателей, мы без труда замечаем, что всюду хоть чуть-чуть, но нарушается чувство меры, чувство естественности: директора говорят убыстреннее, комментаторы торопливее, чем миллионы обыкновенных людей; в детских фильмах чуть не каждое слово произносится с нажимом и часто надрывно; одна из регулярных телепередач открывается криком: «Эмерика! Эмерика!»; реклама подает самое пустячное как самое-самое лучшее, совершенно необходимое, самое дешевое или, наоборот, добротное-дорогое. И все чего-то опасаются: то ли того, что нельзя купить нужную вещь на пять центов дешевле, то ли того, как бы не продешевить, не то боятся не удивить, не успеть, не углядеть, опростоволоситься. Этого и многого другого, как мне показалось, американцы весьма опасаются. Их волк в детских фильмах выпаливает в минуту сто слов, заяц — размером с телят, а бандит немедленно пускает в ход даже не нож, а пистолет или пулемет, умный же мальчик, задержанный полисменом за нарушение правил движения, бьет задержавшего пинком по ногам с такой силой, что тот взвизгивает от боли, сам же вскакивает в автомобиль и благополучно исчезает, за что удостоивается похвалы дома.

Все это как бы исчезло или ушло куда-то далеко-далеко, пока я беседовал с Сильвией Денвер, вслушиваясь в ее неторопливую русскую речь, когда мы ходили по Эванстону, разыскивая книгу, заказанную моей младшей дочерью.

Пора, пожалуй, сказать несколько слов и о самом городе Эванстоне, куда я был приглашен на десять дней, чтобы оттуда полететь в Урбану, Нью-Йорк, а затем задержаться в Вашингтоне. Это пригород Чикаго с населением менее чем 100 тысяч человек и самостоятельным городским управлением. Здесь в дубовом парке на берегу озера Мичиган расположено несколько факультетов Нортвестернского университета. Город в значительной его части населен людьми среднего класса, чей годовой доход вращается около цифры 100 тысяч долларов, а также богатыми пенсионерами и совсем не богатыми студентами. Здесь давно не наблюдается столкновений между белыми и черными, хотя многие высказывали опасение, как бы своим нескрываемым недоброжелательством к черным Белый дом не вывел их из терпения. Он, кажется, специально задался целью перессорить белых и черных, все время задирает последних, и мы боимся, что если негры разъярятся, нам будет очень скверно, но пока, слава богу, мы не ощущаем их ненависти к себе, хотя живут они, конечно, хуже нас, не раз я слышал от встречавшихся со мною ученых.

Как раз во время моего пребывания в Эванстоне городской совет обсудил и поддержал подписанную 4500 местными гражданами петицию о сокращении вооружений. Из 13 членов городского совета 10 высказались за петицию, призывающую правительство США к переговорам с СССР о замораживании ядерных вооружений, а соседние

города — к активной поддержке требования о сокращении тех же вооружений. Мы не можем оставить проблему ядерного разоружения на усмотрение президента и конгресса, за решение ее ответствен каждый из нас, заявил советник муниципалитета Роберт Ромейн. И добавил: мы надеемся, что наше выступление явится примером для остальных.

Знаменательно, что проходивший в «Варсити-театре» того же города фестиваль лучших фильмов города открылся просмотром антивоенной, антифашистской киноленты Чарли Чаплина «Великий диктатор», вызывающей немало злободневных ассоциаций не у одних только американских студентов. Демонстрация фильма состоялась 30 августа 1981 года. Меня обрадовало также то, что организаторы фестиваля включили в программу фильм С. Бондарчука по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». Обращаю внимание: не одноименный американский, а советский фильм. Его показывали 20 октября. В захваченной мною рекламной карте напечатано: «Не хватает похвал, когда речь идет о шестичасовом советском фильме по эпическому роману Льва Толстого, посвященному испытаниям, выпавшим на долю России во время наполеоновских войн. Роли Пьера, Наташи и Андрея исполняют режиссер (он же автор сценария) Бондарчук, балерина Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов. Это на редкость гармоничный состав. Советское правительство не пожалело ни денег, ни людской силы для этой съемки: в одном кадре батальной сцены заняты буквально тысячи русских пехотинцев. «Война и мир» — один из лучших и наиболее волнующих фильмов, когда-либо созданных. Каждый кинозритель должен его посмотреть».

Дважды довелось мне выступать перед студентами в аудиториях Нортвестернского университета, рассказывая о современной советской литературе. Из полутора десятка вопросов, заданных ими мне на первой встрече, приведу пять:

1. Не привлекают ли ваши писатели излишнее внимание к войне тем, что много пишут о ней?

2. Какие альтернативы предлагают они читателю? Тот же Юрий Бондарев в романе «Выбор»? Чингиз Айтматов в романе «И дольше века длится день»?

3. Как относятся советские читатели к альтернативе, предложенной Чингизом Айтматовым?

4. Как встретили советские люди предостережение, сделанное Леонидом Леоновым в упомянутых вами фрагментах из его последнего романа?

5. Кто же должен искать спасительную для всего человечества альтернативу?

На второй встрече присутствовали студенты и преподаватели ряда общественных факультетов. К удивлению организаторов встречи, аудитория была забита до отказа, слушатели заняли проходы, некоторые уселись прямо на полу. Они проявили максимальное уважение и доброжелательность к лектору, задали много вопросов, относившихся не только к литературе. Шесть вопросов затрагивали непосредственно проблему укрепления мира и дружбы между нашими народами. Последний из них: «Что должен делать каждый из нас, чтобы не произошло военного столкновения?»

После беседы девять слушателей провожали меня в отель, а час спустя один из них провел на состоявшуюся в тот же день студенческую дискуссию. Она уже упоминалась выше по иному поводу («Будущая война будет войной без победителя»). Они же втянули меня в предварительное обсуждение тезисов другой дискуссии: «Существование или несуществование?» Она состоялась 10 октября 1981 года.

В дальнейшем последовали встречи со студентами, аспирантами и профессорами из университетов Урбаны, Нью-Йорка, Вашингтона. На одной из них мне задали 39 вопросов. Среди них и вот эти: «Чем объясняется то, что во фрагментах из нового романа Леонид Леонид нерадостно смотрит в будущее? Не вступает ли его предупреждающий реализм в противоречие с главным требованием социалистического реализма — оптимизмом?», «Исключая войну как альтернативу в решении сложнейших международных проблем сегодня, что предлагают советские писатели?», «В какой мере это их убеждение совпадает с мнением народа и особенно Советского правительства?»

Когда я решил, что самые трудные вопросы остались позади, последовал еще один (он потом возникал вновь и вновь):

— Скажите все-таки откровенно, вы действительно не собираетесь в будущем напасть на нашу страну или на наших союзников?

— А разве вы этого не знаете?

Задавший вопрос молодой человек виновато промолчал. И тогда я напомнил ему о вооруженных силах США, о стратегических ракетах «Минитмен» и «Трайидент», о подводных лодках-ракетоносцах «Огайо», о десятках авианосцев и крейсеров, о сотнях эсминцев и, кажется, почти сотне американских подводных атомных лодок, курсирующих вокруг Европы с ядерным оружием на борту, о полутора тысячах военных баз США за пределами их территории и полумиллионе военнослужащих, находящихся в боевой готовности на этих базах. Вы полагаете, что они заняты изучением памятников старины и подводной флоры?

— У вас несколько тысяч ядерных боеголовок,— возразил мне оппонент.

— А сколько у вас?

— Не знаю.

— Справьтесь. И если их окажется в полтора или два раза больше, давайте договоримся об уничтожении хотя бы половины, если нельзя уничтожить все.

— Ол райт! Но от нас с вами это не зависит.

Так же как три года назад, иду пешком по Вашингтону. Хочется собственными глазами увидеть, что изменилось за истекшее время. На здании, где светилась вывеска «Вашингтон стар», теперь ее нет. Газета не то умерла, не то проглочена каким-то более яростным существом. Изменились названия некоторых отелей, фирм да и слово бы стало их меньше. А вот здесь закладывают новое здание, там вон — еще одно... И еще... Заинтересовавшись, я потом прошел не один квартал и в Чикаго и в Нью-Йорке, обнаружив, например, что в центральной части Манхэттана заложено и возводится больше десятка высотных зданий.

— Много строите? — спросил я у профессора Юджина Дэвиса.

— Колоссально много,— ответил он.

— Странно! Почти всюду, где я бывал в этот раз, мне жаловались на экономическую депрессию, на то, что не дают денег на образование, здравоохранение, что люди строят меньше домов, покупают меньше автомобилей. В середине лета ваш президент, как мне кажется, не страдающий чувством пессимизма, повторил свое утверждение, что страна переживает наихудший экономический хаос со времени «великой депрессии», в другой раз, прося «жертв фактически от всех вас», поскольку «трудный и мучительный период» продолжается, цены возрастают по спирали, а безработица достигла нетерпимого уровня, сказал, что вы все еще не выбрались из этих дебрей. Более того, только вчера он снова повторил: «Происходит легкий спад». Как соединить то и другое?

— Очень просто. Строят-то не рядовые американцы. Сегодня они покупают меньше, строят реже, отдыхают меньше. Рейган сократил ассигнования на социальные нужды, на пособия по безработице. Под угрозой потери работы находятся пятьсот тысяч рабочих, так что к концу года в стране окажется без работы чуть ли не каждый десятый человек. И... все-таки идет строительство, виденное вами. Это строят тресты, монополии, банки, военно-промышленные организации, нефтяные магнаты. Они почти полностью освобождены от налогов, от жертв, диктуемых режимом экономики. Наш университет закончил прошлый год с дефицитом в семь миллионов долларов. Сегодня студент платит за учебу двенадцать тысяч долларов. Но мы не получили ни одного доллара государственной дотации. Мы — факультеты общественных наук. Деньги дают только технарям.

Посмеиваясь, я рассказал собеседнику, как расхваливали мне в Чикаго многоэтажную тюрьму-уют, только что отстроенную в лучшей части города.

— Этот трехгранный небоскреб приятного телесного цвета, говорили мне, построен из настоящего кирпича. Он строился именно как тюрьма предварительного заключения. При строительстве учитывались мнения всех ученых-специалистов, в частности психологов. Последние доказали, что решетки на окнах травмируют заключенных. Поэтому здесь, как видите, их нет. Вместо окон сделаны щели такие узкие, что заключенный пролезть через них не может. На крыше устроена прогулочная площадка и есть все необходимое для занятий спортом. Убежать оттуда тоже невозможно из-за высоты и обрывистости ограды-колодца.

— От тюрьмы да от сумы не отказывайся, гласит русская поговорка, — вздохнул профессор и вернулся к прерванному разговору: — Деньги дают только технарям.. И забирают их... у образования, у культуры. При мне палата представителей подавляющим большинством голосов приняла решение сократить на целую четверть ассигнования США в фонд ЮНЕСКО — международной организации, как раз и занимающейся вопросами науки, культуры, образования. Было сообщено также, что президент намерен ликвидировать Бюро по борьбе с нарушениями законов об огнестрельном оружии и регулировании его производства. Можно представить, к чему это приведет в стране, где одних пистолетов у населения сто десять миллионов штук.

Впрочем, моего собеседника последнее, кажется, не беспокоит или беспокоит меньше всего. Он говорит о другом: в последние годы возникло столько препятствий на пути настоящей науки, что новые теории (conceptual innovation) появляются все реже и реже, чаще всего варьируются и углубляются уже признанные концепции, научные же идеи, противоречащие им, почти не финансируются; научные работники перегружены текущей работой настолько, что у них не остается свободного времени, без чего не могут рождаться новые идеи. Не надо думать, будто тот факт, что очень многие научные работники ныне являются безработными или полубезработными, позволяет им оставаться наедине с большими идеями. Они — наедине с заботами о хлебе насущном. И еще замечено: неуверенность в своем положении приводит к тому, что ученые младшей генерации сегодня более традиционны в сфере научных исканий, нежели «старики».

В Чикаго, а затем в Урбане, Нью-Йорке и Вашингтоне столкнулся с не ожидавшимся мною в нынешней обстановке повышенным интересом к нашей стране, к внешней политике Советского правительства, в меньшей мере, в значительно меньшей, чем раньше, к нашей литературе. Правду сказать, последней ныне интересуются куда более узкие круги, чем десять лет назад. Сразу обнаружилось, однако, что на славянские отделения в знакомых мне университетах США в 1981 году записалось студентов на 10—15 процентов больше, нежели в прошлом. Между тем получить работу по специальности в этой области сегодня и в ближайшие 10—15 лет в США дело почти безнадежное. Ежедневно я отклоняю шесть-семь предложений, признался мне глава отделения славянских языков и литератур в одном из университетов Вашингтона. Бойкие дельцы, обучающие эмигрантов английскому языку, без которого устроиться в США на сносную работу невозможно, переделали известную поговорку: ученье — свет, а безработных — тьма. И, несмотря на это, люди поступают в университеты, чтобы специально изучать русский язык, советскую культуру, нашу страну. Встречавшиеся со мною студенты, аспиранты, профессора неизменно выражали также и желание поехать в СССР либо на стажировку, либо туристами. По мнению профессора Колумбийского университета Роберта Белкнапа, «в общем интерес к России не падает». В научной среде наибольшим успехом по-прежнему пользуется творчество Достоевского. Второе рождение, по словам профессора Джеймса Биллингтона, переживает в США творчество Гоголя. Только в самый последний период о нем появилось пять или шесть книг. Растет интерес к произведениям Леонида Леонова. В недавно защищенной в Брауновском университете диссертации Барбары Э. Тэдес выражается сожаление, что западное литературоведение все еще не нашло ни сил, ни мужества дать такую оценку его произведениям, которая соответствовала бы репутации их в Советском Союзе. Все это подняло мое настроение.

Но правдой остается и другое, что я тоже ощущал изо дня в день. Американцы, которых условно можно назвать либералами, испытывают замешательство, проявляют нерешительность, неуверенность, нервничают в связи с провоцирующим поведением правящего эшелона. Но вместе с тем они торопились высказать упрек, будто мы дали повод для развязывания беспримерной антисоветской кампании в США. Постоянно ощущались фаталистические нотки при оценке происходящего.

— Что же тут можно поделать? Тут ничего не поделаешь. Люди сошли с ума, — повторял не раз в беседах со мною стареющий профессор из Джорджтаунского университета.

Опасение за личное положение особенно сильно среди американских славистов еще и потому, что с некоторых пор многие из них подвергаются негласным анонимным нападкам со стороны эмигрантов последнего потока, доказывающих недостаточную компетентность ученых из коренных американцев во всем, что касается совре-

менной России. Впрочем, не одни они словно бы лишаются внутреннего стержня и поэтому могут склониться в любую сторону. Не исключаю, что мутная волна похитит даже лучших из них. Широко известный в США своими работами, посвященными нашей стране, профессор Б. сказал мне на приеме в Кеннан-институте: «Вряд ли президент Рейган остановится. Кажется, он так далеко зашел, что может довести и до войны. Разве что провал рейганомики, экономические нужды заставят умерить военные амбиции и спасут нас от катастрофы». «Планы Рейгана могут расстроить стягивающаяся экономическая петля и очень смелые мирные инициативы вашего правительства, которые выбили бы саму основу из-под военной программы Рейгана», — прибавил другой профессор на том же приеме. Это было самое смелое, что на этот раз я услышал от размышляющей Америки. Не раз во время поездки мне хотелось назвать ее растерянной Америкой. Постоянно вспоминалось и прозвучавшее несколько лет назад из уст Эдварда Олби признание: «Мне недавно исполнилось пятьдесят лет, но я еще только хочу стать взрослым». Пора стать взрослой и всей Америке.

Мой искренний друг, популярный в США режиссер и актер Майкл дель Медико, исполняющий роль М. Горького в одноименных спектаклях, охарактеризовал обстановку в своей стране двумя словами: «Безумная пора». Произнес он их так, словно выворотил два неподъемных камня.

— Не будем, не будем говорить о планах Белого дома... Поговорим лучше о чем-нибудь другом... — взмолился прославленный на весь мир адвокат М., добавив: — Я теперь отошел от всех дел.

— Я снова повторяю, что в Белый дом пришли люди, которые не хотят считаться ни с чем, жаждут одного: любой ценой вернуть Америке господствующее положение в мире. Они уверены, что ядерная война принесет им победу.

Это точный перевод слов профессора Мэрилендского университета. Ему сорок два года. Я спросил:

— Неужели всерьез думаете воевать с нами?

— Я — нет. Сожгу военную карточку и уеду в Канаду либо в Мексику. А вот они..

Он показал глазами за окно машины, но не произнес конца фразы.

На приеме в Кеннан-институте он, набравшись смелости, задал мне вопрос:

— А как ваш народ? Считает, что война может случиться?

— Встревожен безответственной игрой вашего правительства с испепеляющим огнем.

— Наш тоже начинает тревожиться. Будем все же надеяться, что до войны дело не дойдет.

Накануне отъезда из США, так же как два с половиной года назад и как четыре года назад, я оказался в домике на поросшем елями холме под Вашингтоном. На этот раз в беседе, кроме хозяина и меня, принимали участие два профессора и один дипломат. Тон по-прежнему задавал профессор международного права.

— Сегодня в конгрессе и в правительстве США подавляющее большинство считает США и СССР двумя медведями, для которых земля тесна. Мне нечего прибавить к сказанному раньше, кроме того, что человечество либо бессильно, либо безумно. Да, да, в США и Европе сегодня 17 миллионов безработных, столько же, сколько во времена «великой депрессии», а наш президент на глазах всего мира отнимает у людей 1500 миллиардов на перевооружение. И у Америки, у всей Америки не находится сил для серьезной оппозиции ему. Самые дерзкие из конгрессменов спрашивают у него: «А может, на один миллиард меньше?» И охорашиваются перед публикой: «Вот какие мы смельчаки». Про себя же, уверен, твердят как молитву:

Пройгрыш чей-то, понятно, — выигрыш чей-то...
Бог есть удача — удача есть бог...

— Полагаете, что Америка не найдет в себе сил, способных предотвратить то, на что ее толкают?

— Понимаете ли, в чем дело? — включается в спор дипломат. — Людей, определяющих ныне нашу политику, невозможно переубедить. На них не действуют никакие аргументы. Это типичные американские бэббиты высшего ряда. Они хуже англий-

ских твердолобых, ибо, как им кажется, обладают безошибочной точкой зрения и в докладах, беседах, советах, в книгах улавливают только то, что подтверждает ее. Какова их точка зрения? Америка должна снова стать единственной господствующей державой. Рейган, Буш, Уайнбергер задалась целью вернуть ей положение страны, диктующей собственную волю всему миру. Вернуть с помощью нового витка вооружений. Все, что мешает этому внутри страны — негров, профсоюзы, — смести. Все, что мешает за пределами страны, поставить на колени или уничтожить. Они не хуже нас с вами знают, что США и сегодня в военном отношении сильнее СССР. Но уже сама констатация примерного «равенства эквивалентов», «паритета» воспринимается ими как поражение США. Разве допустимо, чтобы кто-то оказался вровень с самими США? Вы говорите, что здесь немало людей, давно и пристально изучающих Россию, и они могли бы убедительно доказать правительству, что Россия не поддается ни шантажу, ни устрашениям. Вы — наивный человек. Изучая Россию, здесь стремятся не к тому, чтобы понять ее, а к тому, чтобы открыть всеразрешающую формулу ее сокрушения. Верят: вот-вот формула будет найдена и удается России, схватив за хвост, если не опрокинуть, то защемить надолго. И с не меньшим упорством ищут другую формулу, которая поможет вернуть США положение, какое они занимали в мире сразу же после окончания последней мировой войны. Отсюда доктрина ограниченного ядерного столкновения. Ради возвращения на позиции страны, повелевающей миром, готовы допустить атомную катастрофу. Погибнет Европа? Пусть! Европа, не мы же. Бомбы упадут на США, погибнет тридцать, пятьдесят, сто миллионов американцев? Согласны и на это. Погибнут-то прежде всего негры, рабочие, профсоюзы, зарвавшиеся в бесконечных требованиях повысить зарплату, улучшить условия труда.

— Чем больше оружия, тем вернее шанс, что оно может сработать автоматически, — напомнил я где-то слышанные мною слова.

— Остановить же производство ракет, подводных лодок, спутников-шпионов, по крайней мере здесь, нельзя, — продолжал профессор-дипломат. — Фабриканты оружия обладают чудовищными связями и в конгрессе и в правительстве. О чем они сами думают? Только о том, чтобы произвести оружия больше, чтобы сегодняшнее завтра было признано устаревшим и в следующем году последовали заказы на более совершенные системы. Они не остановятся уже по одному тому, что ничего другого делать не могут. Кастрюли или велосипеды штамповать, как у вас? Но они не выдержат конкуренции с более опытными фабрикантами тех же велосипедов, мотоциклов или автомобилей. Оружие опасно? Оно может выстрелить и в фабрикантов? Американец по-настоящему этого не понимает, ибо сердцем никогда не ощущал, что такое война. Генерал Максвелл, уходя на пенсию, сказал, что в будущей войне победителей не будет. В сегодняшнем номере «Нью-Йорк таймс» о том же снова напоминает Джордж Кеннан. Выходя на пенсию, они умнеют. Когда Альберта Эйнштейна спросили, какое оружие будет применено в третьей мировой войне, он ответил: «Не знаю. Но уверен, что в четвертой — камни и палки». Вот этого не хотят знать Уайнбергер и К°. Не хотят знать о том, что нельзя убить человека шесть раз. Бомб же в мире изготовлено столько, что уже не имеет значения, будет их в три или в десять раз больше. К тому же ныне атомную бомбу может изготовить любой авантюрист. Газета «Лос-Анджелес таймс» привлекла двоих аспирантов-физиков к проекту создания бомбы на основе сведений, содержащихся в открытой печати. И они за пять месяцев создали ее в чертеже. Вот что опасно! Уайнбергер и К° игнорируют очевидную истину: ядерная война, ограниченная или тотальная, будет означать не только убийство, но и самоубийство.

— Приход президента Рейгана в Белый дом, — вмешался в наш разговор хозяин, — это реакция на компромиссы и либеральные уступки предыдущих президентов. Чертовых негров учили, дали им все права, забыв, что ученый человек начинает протестовать против рабства. Рейган решил поставить раба на его место. Он же считает, что из-за уступок чертовых либералов мировому коммунизму Америка потеряла господствующее положение на планете. Вернуть ей это положение он и готов ценой Европы и даже ценой 95 процентов жизни американцев, если верно раскрыл его глобальный план вице-президент Джордж Буш.

— Юмор или кошмар?

— Если бы только юмор... — подключился к разговору весь вечер молчавший профессор из Джорджтаунского университета.

Но его перебил правовед:

— Юмор? С Америки достаточно того, что она еще раз насмешила мир... Теперь не пришлось бы плакать всем миром..

— А помните,— обращаясь ко мне, спросил профессор из Джорджтаунского университета,— как вы читали студентам стихотворение Михаила Исаковского?

— Помню...

Стоит солдат — и словно комья
Застрали в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол.
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил.
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Как четыре года назад, в доме на минуту установилась такая тишина, словно мир полностью опустел, словно в нем не осталось никого, кроме солдата, и на этот раз выигравшего победу, но не спасшего мир от опустошения, ибо даже он, русский солдат, не всемогущ. И так же, как четыре года назад, правовед сказал:

— Вот этого мы не хотим!

— Так говорите же об этом громко и везде, говорите, пока не поздно! — ответил я.

Сентябрь—октябрь 1981.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К. ДЕРЕВЯНКО



ВОЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Константин Илларионович Деревянко — контр-адмирал. В описываемое время — начальник штаба Одесской военно-морской базы, затем — Потийской. Командовал керченской переправой, Очаковской и Одесской военно-морскими базами. Возглавлял флотское соединение кораблей и морской пехоты, освобождавшее порты Румынии и Болгарии.

11 этого августа 1941 года Ставка Верховного Главнокомандующего приказала: Одессу не сдавать и оборонять ее до последней возможности. Вскоре директивной Ставки было образовано оперативное объединение — Одесский оборонительный район (ООР), его командующим назначен контр-адмирал Г. В. Жуков с подчинением командующему Черноморским флотом. В состав ООР вошли: Приморская армия под командованием генерал-лейтенанта Г. П. Софронова, Одесская военно-морская база с приданными ей кораблями, которой командовал контр-адмирал И. Д. Кулишов.

Был полдень 15 сентября, когда ко мне стремительно вошел начальник спецсвязи и доложил о проходящей через наш штаб радиограмме из Москвы, переданной Севастополем в Одессу: «Командующему Черноморским флотом. Передайте просьбу Ставки бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6—7 дней, в течение которых они получат помощь авиацией и вооруженным пополнением. Получение подтвердите. Сталин».

Вот это да! Ставка просит. Такого еще не бывало. Да это и не по уставу. Мы привыкли получать и отдавать только приказы. А тут вместо грозного «стоять на смерть» просьба продержаться.

Видно, Ставка посчитала, что в сложившейся обстановке необходим был только такой подход к защитникам Одессы. Ведь они уже реализовали успешно замысел Ставки и Генштаба: Одесса отвлекла с главного направления и приковала к себе 15 дивизий противника и число их росло. Пройдет немного времени — и на одесском направлении будет сковано свыше 18 вражеских дивизий — без малого вся румынская армия. Одесса на много месяцев выключила главные силы основного сателлита фашистской Германии — Румынии, и Гитлер в письме к Антонеску обещал для ускорения захвата города дополнительно прислать немецкие части. Все это явилось огромным облегчением для наших войск Южного фронта, отходивших под ударами на восток. И у немецкого командования не хватало сил, чтобы поддерживать первоначальные темпы наступления в сражении за Донбасс, а затем и для удержания Ростова. Гитлеровцам придется зазимовать у Таганрога...

Вслед за «радиограммой-просьбой» последовали указания Генштаба и Главморштаба о перевозке из Новороссийска в Одессу 157-й стрелковой дивизии. А на следующий день штаб флота сообщил, что к нам вышел морской конвой с первым эшелон дивизии. Какая оперативность и организованность в работе высших штабов! Есть кому подражать нашему брату, штабисту среднего звена...

Ждем дивизию, а противник прямо осатанел. Сменяя части, атакует днем и ночью во всех секторах нашей обороны. Решили образцово встретить первый эшелон дивизии: стремительно высадить и сразу же бегом вывести войска из порта, из-под ударов вражеской авиации и артиллерии.

20 сентября на пяти судах прибыли уже последние части дивизии.

Контрудар назначен на 22 сентября. Его будут наносить: с фронта 421-я и 157-я

стрелковые дивизии, которыми командовали полковники Г. М. Коченов и Д. И. Томилов, морская артиллерия; с тыла — морской и парашютный десанты, поддерживаемые кораблями эскадры и базы; с воздуха — флотская и армейская авиация.

В 3.00 флотская авиация нанесла удар по резервам противника.

К 5.00 с крейсеров и эсминцев, которыми командовал контр-адмирал С. Г. Горшков, был высажен морской десант у села Григорьевка.

Перед рассветом Кулишов приказал мне выехать на КП 421-й дивизии и Морского полка для уточнения взаимодействия. Когда с этим было покончено, я и начштаба дивизии полковник А. С. Захарченко поднялись на НП.

Светает. Мы взволнованы в ожидании первого в нашей жизни наступательного боя. Скоро он грянет.

Сквозь утреннюю туманную дымку слева вдали в стереотрубу проглядывались позиции новой дивизии: пехота в траншеях, а сзади три артполка — сильный ударный кулак. А здесь, на участке 421-й, справа видны траншеи Морского полка, они упираются в море. Позади траншей морские подвижные батареи, и мы поможем здесь еще огнем береговых батарей и кораблей. Прямо перед нами позиции Разинского полка...

Вдали в море бухают пушки — это эсминцы поддерживают десантный полк, продвигающийся в нашу сторону. А здесь удивительная тишина, как на заброшенном хуторе. Не слышно даже одиночного выстрела. Что это значит? Может, противник считает: он так зажал нас, что мы уже не способны на активные действия? Или притаился и изготавился, чтобы встретить шквальным огнем? Интересно, что у него там делается... Ничего не высмотреть: дымка да, куда ни глянешь, необрунные кукуруза и пшеница. И как ни потоптали их войска, но — мятые, изломанные — они стоят. И сейчас человек ищет в них защиту, укрытие...

Я перешел на КП Морского полка. Здесь собрались корректировщики базы. Сообщил им, что для поддержки Морского полка назначен эсминец «Беспощадный». Корректировщики отбывают в батальоны.

Начинает рассеиваться туманная дымка. И вдруг невероятное. Противник открыл ураганный огонь. Неужели разгадал наши намерения и решил упредить? Но через полчаса стрельба прекратилась. И наступления вражеской пехоты не последовало...

А тут наступил наш час: 7.00. В небе флотская авиация. «ДБ-3» и «СБ», снизившись, развернулись вдоль первых позиций противника и засыпали их бомбами. Привел пикировщики «ПЕ-2» майор И. И. Морковкин. Красивая и сильная машина.

В 7.30 грянула вся наша полевая, береговая и корабельная артиллерия. В 8.00 короткая пауза — артиллерия перенесла огонь вглубь. И поднялась наша пехота.

Позвонил командир базы:

— Доложите обстановку на участке 421-й.

— Морской полк встретил сильное сопротивление в Фонтанке, продвижение дивизии может осложниться. Предлагаю сюда перенацелить береговые батареи майора Денненбурга.

— Утверждаю. Возвращайтесь в штаб.

Пришли конвой под командованием капитан-лейтенантов П. И. Державина, Г. И. Гнатенко, Е. А. Козлова, они доставили маршевое пополнение, которое сразу на машинах — в 421-ю дивизию, в бой.

157-я дивизия, удивившая нас еще при высадке в порту строевой выправкой, дисциплинированностью и сноровкой, и в бою показала высокие качества. Она выбила 13-ю пехотную дивизию противника с первых позиций и начала теснить на север, в полдень уже заняла Гильдендорф и совхозный поселок Ильичевку. Левее, в Межлиманье, погранполк отбросил противника к селу Ильинка. А вот на участке 421-й дивизии произошла заминка — Фонтанка укреплена дотами и заминирована; пришлось повторить артиллерийский удар кораблями и батареями — и наступление возобновилось. Десантный полк захватил село Новая Дофиновка в прифронтовом тылу противника у устья Большого Аджалыкского лимана. Вражеское командование, опасаясь удара десанта в тыл, начало поспешно отводить части 15-й и 5-й дивизий на север. Наши устремились вслед, начали отсекаать и окружать вражеские арьергарды.

Обозначился полный успех нашего контрудара с фронта, тыла, моря и воздуха. И мы, моряки, настолько увлеклись сушей — действиями дивизий, морских полков и артподдержкой пехоты, были рады успешному ее продвижению, — что ослабили внимание к безопасности кораблей, которые поддержали это наступление.

Зону над кораблями патрулируют два истребителя «И-16» — устаревшие самолеты, у них только пулеметы, а четверка новых пушечных истребителей «ЯК-1» в дежурстве на аэродроме. А остальные... Истребительный авиаполк майора Л. Л. Шестакова только числился в ПВО: фактически он ежедневно атаковал войска, делая до 7 вылетов в день, это чудовищная перегрузка для человеческого организма. Сегодня полк штурмовал вражеские аэродромы, а вернулись — пошли штурмовать войска. И по-прежнему в небе над кораблями два истребителя. Этим воспользовался противник.

Рейдовый пост в 13.00 доложил: «Пикировщики бомбят эсминец «Безупречный», корабль остановился». Меня как током ударило. А вслед донесение командира: «Нуждаюсь в помощи». Ну уж если Петр Максимович Буряк запросил о помощи, значит, корабль беспомощен. Высылаю к нему спасательные суда, а в порт — санитарные машины. Но в море уже задействовало морское братство: эсминец «Бойкий» подскокил — снял тяжелораненых, доставил в порт. А «Беспощадный» взял на буксир подбитый корабль — и в гавань. На нем сразу захопатали инженеры базы.

Буряк доложил о бое с авиацией. Под прикрытием «мессершмиттов» налетели «Ю-87» и с различных направлений начали пикировать до высоты сто пятьдесят метров, были видны лица летчиков и как открываются бомболюки. «Безупречный» начал маневрировать, развил скорость до 35 узлов. Вел огонь из всех калибров, сбил один самолет и подбил другой.

Корабль маневром и огнем избежал прямого попадания. Две эскадрильи морских пикировщиков — асы, имевшие на своем счету десятки потопленных кораблей английского Средиземноморского флота, — надежно прикрытые, не смогли попасть в «Безупречный». Но из 40 бомб две разорвались недалеко, их осколками был изрешечен корпус корабля — более 300 пробоян. В машинные и котельные отделения хлынула вода. Остановились главные механизмы. Крен достиг 17 градусов.

Распространение воды по кораблю, из отсека в отсек, аварийные подразделения пресекли, а это главное в борьбе за непотопляемость корабля. Перекачав топливо и котельную воду с борта на борт, выровняли крен. Корабль был спасен. Пройдет немного времени — и «Безупречный» после ремонта примет участие в боях за Севастополь. В последние дни обороны, прорываясь в город через кольцо блокады, эсминец погибнет со всем личным составом, погибнет командир и сын его юнга Володя, которого он взял в этот опасный прорыв. Ближайшие помощники советовали командиру оставить сына в Новороссийске. Петр Максимович ответил: «А что подумают матросы, идущие на смертный бой?» Так же считал и сам юнга...

Во время налета пикировщиков на «Безупречный» адмиралы Жуков и Кулишов находились на НП 421-й дивизии — там решалась судьба города и оттуда хорошо просматривались поле битвы и море.

Я позвонил на НП и попал на Жукова, доложил о подбитом эсминце.

— Мы все видели. Командиру авиаполка указано на слабое противодействие пикировщикам. Я приказал усилить патрулирование над кораблями. Проследите за сменой истребителей в зоне патрулирования.

Этим подтверждалось: кораблям продолжать артподдержку пехоты.

Жуков выехал на КП 157-й дивизии, а затем в погранполк, Кулишов — в авиаполк, а оттуда на «Безупречный».

«Беспощадный» и «Бойкий», оказав помощь «Безупречному», продолжали наносить удары по вражеским войскам.

Но вот десантный полк, захватив Новую Дофиновку, соединился с 421-й дивизией. Обе наши дивизии, развивая наступление, приближались к назначенным рубежам, командиры полков стали редко давать кораблям заявки на артподдержку. Это обстоятельство подсказывало нам, морскому командованию, решение: убрать с моря корабли в гавань, так как угроза пикировщиков не снята.

Адмиралам в разъездах по частям трудно было охватить всю обстановку на суше, в море и воздухе в подробностях и во взаимосвязи. Процесс познания боя у командира и начштаба проходит по-разному — в зависимости от условий. Это и научно обосновано. Начальник штаба, находясь на КП, по непрерывно поступающим донесениям обязан постоянно все знать во всеобщей связи, анализировать, оценивать, делать выводы и докладывать предложения командиру для принятия решения. Получилось ли у меня так?

Подбитый эсминец, угроза повторного влета пикировщиков, слабый истребительный зонттик, редкие заявки пехоты на корабельный артогонь — все подталкивало

меня к мысли: стоит ли рисковать кораблями (которых сейчас не построишь, а вся война впереди) ради сотни выпущенных снарядов? Следовало доложить командиру свои соображения, но... Наступление еще не завершено, оба адмирала чувствительны к перерывам в артподдержке пехоты, выказывая свое недовольство. А если понадобится еще огонь по внезапно возникшим целям, а корабли отстаиваются в гавани — что тогда? Пехотные командиры опротестуют преждевременный выход кораблей из боя... И, может, наши истребители справятся теперь с пикировщиками, получив урок и указания? Начальство молчит. Вправе ли я выходить с предложением ввести корабли в гавань? Еще расценят как робость, а то и паникерство. Да и в порту неспокойно, его только что отбомбили. Правда, кораблям там не так опасно — бомбежка не прицельная... В этих «но», «может», «еще» и застал меня доклад оперативного дежурного базы: пикировщики снова атакуют эсминцы.

Это был массированный налет, удар, продуманный до тонкостей. «Мессеры» навзвизались на четверку «И-16», подоспели «ЯК-1», но все-таки наших было меньше. И хотя наши летчики не уступали немцам в мастерстве — сбили два пикировщика и истребитель, — техника брала свое: «МЕ-109-Е» — сильная пушечная машина. «Мессершмитты» расчистили воздух, и пикировщики устремились на эсминец «Беспощадный». 20 «Ю-87» сбросили 80 бомб.

В холодный пот меня бросило, когда сразу два наблюдательных поста доложили: в эсминец попала бомба, он окутан дымом и паром, погружается носом в воду, но задним ходом движется к порту. И как раз в это время очередной жестокий налет авиации противника на порт. Вот тебе и гавань, в которую я намеревался ввести корабли! Но порт бомбят горизонтальщики — «Ю-88», это не так страшно.

А вот и донесение командира «Беспощадного»: «Имею сильное повреждение». Понимаю: раз Григорий Пудович Негода сообщает «сильное», считай — опасное. Высылаю спасательные суда. И что вы думаете? Получаю от Негоды семафор: «В помощи буксиров не нуждаюсь».

Объятый пламенем, дымом и паром, почти с оторванным носом, принявший внутрь много воды, с большим дифферентом на нос, отбиваясь от самолетов, «Беспощадный» медленно движется задним ходом и на сложной циркуляции вдоль изогнутого Воронцовского мола одесского порта норовит войти в гавань с поднятым на мачте сигналом: «Благодарю за внимание, в помощи буксиров не нуждаюсь»... Негода рассказал, как подготовился к встрече с пикировщиками. На мостике были расставлены офицеры, докладывавшие о каждом самолете в момент его перехода в пикирование и момент отрыва бомб от самолета, и в зависимости от этого командир производил маневр на полном ходу. А в это время артиллеристы вели огонь по самолетам — один из них был сбит. Матрос Колесниченко стрелял из автоматической пушки, будучи тяжело раненным, и умер от потери крови.

«Беспощадный» уж было увернулся и отбил от всех самолетов, но вот последний попал двумя бомбами в форпик (самый первый носовой отсек). На большом ходу — 35 узлов — напором воды нос корабля был смят до сорок четвертого шангоута, и он держался на честном слове — килевой коробкой. Аварийные подразделения под руководством инженера Я. С. Козинца потушили пожары и пресекли поступление воды в корабль.

К исходу дня войска противника были отброшены на пять — восемь километров. Пусть мы вражеские дивизии не окружили, не пленили — нам не хватило на это сил, да и чуточку мастерства, — но они были крепко побиты и до конца обороны приводили себя в порядок. И, главное, уже в полдень 22 сентября разом смолкли вражеские батареи, обстреливавшие город и порт. Только из-за Сухого лимана противник продолжал обстреливать порт по площадям, не прицельно.

В Восточном секторе тишина и покой. Исчезли страхи за это направление. Появилась уверенность, что мы умеем и обороняться и наступать.

Вдруг получаю радиограмму: «Начальнику штаба базы. Прошу разрешения идти в Главную базу или дожидаться такого же положения. Командир эсминца «Бойкий» Годлевский». Вот это да! Я даже онемел от изумления: это же пощечина за невнимание к кораблю. Узнаю Жору Годлевского! Помню его по эсминцу «Петровский» в бытность мою на нем помощником командира. Годлевский был отменным командиром батареи. Весьма образован, умен. А вне службы... Обычно после обеда и ужина, в час отбыха, особенно при стоянках на отдаленных рейдах, мы все оставались в кают-компании, чтобы в товарищеских беседах с шутками снять дневное напряжение. Но

упаси вас неловко зацепить Годлевского — он молниеносно отвечал двойным ударом по всем правилам словесного искусства и повергал обидчика, но в пределах уважительности и доброжелательства. По службе он быстро продвигался — через пять лет уже командир нового эсминца. В августовских и сентябрьских боях под Одессой он был отличен во всех отношениях. А его радиogramма — справедливое напоминание о нашем, о моем лично недосмотре. Я понял, почему он послал такую язвительную радиogramму не Жукову, который возглавлял действия десанта и поддерживавших его кораблей, или хотя бы Кулишову, а мне. Ибо прежде всего штаб морского соединения должен заботиться о безопасности кораблей в море. И вообще: что остерегались прямо и резко высказать командиру, считалось традиционно приличествующим излить начальнику штаба, рассчитывая на доверительность, и ты должен все стерпеть и выправить. К тому же Годлевский, мой сослуживец, соплаватель, считал, что я его правильно пойму. Но его подвела неосведомленность — тайна переписки с начштаба быстро становилась известна командиру базы, он читал всю радиопереписку. Доверяясь мне, Годлевский не пощадил меня, но еще больше задел всех моих начальников, которым был подчинен в операции. Я сразу же позвонил командиру базы и доложил о необходимости немедленно ввести «Бойкий» в гавань. И с ведома Жукова он вошел.

Я уже забыл злосчастную радиogramму (мало ли за день приходится разрешать острых вопросов, а тут на очереди поважнее боевые дела — отправка конвоя с ранеными и населением), и вдруг звонок командира: «Зайдите».

— Вам надо немедленно доложить мне об этой недисциплинированной радиogramме Годлевского.

А присутствовавший здесь же комиссар базы С. И. Дитятковский ужесточил постановку вопроса:

— Похоже, что наш начальник штаба покрывает вызывающее поведение командира.

Я ответил, что с пониманием отношусь к Годлевскому. Представляю положение корабля и состояние командира. Радиogramма писалась на мостике, под ударами, в волнении за корабль и экипаж, и тут не до изящной словесности. Корабль вышел победителем из двенадцатичасового боя, и за это слава командиру. А вообще-то радиogramма адресована на мое имя, и мне ее интерпретировать — и стоит ли нам терять боевое время на поиски какого-то подвоха в ней? Кулишов молчал, и видно было, что он склонен закрыть этот вопрос. А комиссар оставил радиogramму у себя для доклада Военсовету ООР. Я отбыл в порт отправить конвой, командиром которого назначен Годлевский.

Инструктор политотдела эскадры Малышко, находившийся в бою на «Бойком», рассказал мне много интересного о поведении командира корабля. Огонь «Бойкого» в поддержку одного из батальонов десантного полка корректировал на берегу лейтенант Г. Е. Беленький, а огонь «Безупречного» — лейтенант В. С. Сысоев. Когда «Безупречный» был подбит и его корпост на берегу осиротел, Сысоев по радио попросил командира «Бойкого» вести огонь и по его целеуказанию в поддержку другого, соседнего батальона. Годлевский тут же откликнулся — разделил артиллерию и кормовой батареей повел огонь за «Безупречного».

Не думайте, что это так просто, что такая выручка обыкновенна. Нечасто я встречал столь рыцарские решения. Ведь командир усложнял свою задачу. Здесь проявилась высочайшая добродетель военного человека: сам погибай, а товарища выручай. Для Годлевского интересы общего дела превыше всего, и «Бойкий» с помощью двух корпостов своим огнем проложил путь десантному полку. Кстати, это явилось новшеством, обогатившим военно-морское искусство, — ведение артогня одним кораблем по двум целям одновременно и на ходу.

«Бойкий» в этот день больше других кораблей стрелял по вражеским войскам и успешно отразил 5 атак пикировщиков; весь день личный состав без обеда вел бой. И вот сейчас совместили обед с ужином, но без чарки: в море, в походах и боях моряки спиртное не употребляли — техникой во хмелю управлять нельзя. А «Бойкий» идет сейчас в поход поважнее любого боя — он в ответе за 5 тысяч жизней.

Годлевский доложил мне подробности дня и в заключение сказал:

— Когда кончился зенитный боезапас, я послал вам радиogramму.

У меня даже дух перехватило:

— Да как же вы смели не показать этого главного в вашей саркастической радиограмме?

— Не хотел этим прикрываться, я подвел корабль к порту под прикрытие зенитной артиллерии базы. Сейчас ваш тыл подал мне зенитный боезапас.

Так вот она, истинная причина «дерзости», так больно ущемившая наше самолюбие. Корабль остался безоружным, и только тогда командир подал голос. И если его упрекать, то только за то, что поздно послал радиограмму и не ужесточил ее. Я проникся еще большим уважением к Годлевскому и решил выложиться полностью — послал начальникам штабов флота и эскадры высокий отзыв о боевых действиях «Бойкого» и его командира.

Распровавшись с Годлевским, капитанами судов и командирами «охотников», ядущими в коявое, я прошел на аварийные эсминцы. Когда вернулся в штаб, комиссар базы вручил мне радиограмму Годлевского:

— На исполнение.

Глянул я в радиограмму и ахнул. На ней резолюция: «Пермскому. Наказать Годлевского и доложить Военсовету флота. Азаров». Вот это да! Даже вина не указана. Это и неправомерно. Коль скоро я, адресат, воспринял радиограмму как заслуженный упрек, а мой командир уклонился от принятия мер (а завтра Жуковотреагирует шуткой), то зачем кому-либо другому понадобилось вмешиваться в это дело? Может, посчитали, что Годлевский в их огород запускает эти бульжники? Тогда так честно, по-партийному и пиши, и, как положено по уставу, с разъяснением вины.

Я не согласен был с резолюцией и... тихо упрятал радиограмму в личный сейф. Пусть поулягутся страсти, подождем оценку действий кораблей Военсоветом флота. Такое умолчание не сулило мне, однако, ничего хорошего, если бы дело открылось. Но будь что будет. Одно я знал твердо: комфлота Ф. С. Октябрьский и член Военсовета флота Н. М. Кулаков бережно относятся к кадрам командиров кораблей.

Адмирал Жуков прибыл в наш штаб и в ожидании Кулишова заслушал мой доклад о подготовке аварийных эсминцев к переходу в Севастополь. А после я показал ему радиограмму Годлевского с резолюцией. Я никогда не видел его таким — он от души смеялся:

— Ловко он отделал всех нас, и поделом. А по резолюции я все беру на себя.

В этом весь Жуков — революционный матрос гражданской войны, справедливый адмирал.

И надо же такому случиться — спустя много лет, работая в архиве, я обнаружил политдонесение комиссара эскадры В. И. Семина в Главполитуправление ВМФ об участии кораблей эскадры в одесском контрударе: «Особо отмечается умелое управление маневрами корабля и артиллерией командира эсминца «Бойкий» капитан-лейтенанта Годлевского, его мужественным поведением и умелыми действиями, большой находчивостью и сноровкой восхищается буквально весь личный состав корабля». Георгий Федорович Годлевский за подвиги у Одессы был удостоен высокой награды. Вот так-то!

Но это я об ошибках других. А как по моей части? Вообще я так полагаю: воспоминания без вскрытия ошибок скучны и неправдивы. Вот и с этими эсминцами. Как бы ни были виновны Жуков и Кулишов в командирском недосмотре, вина начальника штаба базы особая. Ведь начштаба в военной иерархии занимает особое положение, оговоренное уставом. Он наравне с командиром, командующим несет всю полноту ответственности за оперативные вопросы. Его положение первого заместителя командира в бою, в операции обязывает ко многому. Он со штабом разрабатывает план боя и вносит свои предложения, даже если знает, что они расходятся с мнением командира. До принятия решения начальник штаба может вести творческие обсуждения с командиром и отстаивать свою точку зрения. И голос начальника штаба должен звучать в полную силу, если, конечно, его хотят подавать и если есть мысли и есть гражданственность. Не печься о карьере, подстраиваясь под настроения и концепции командира, а настойчиво, научно обоснованно, с расчетами в руках добиваться принятия решения, в правильность которого ты уверовал. Иначе ты сослужишь плохую службу своему командиру — погубишь его, себя, а главное, дело, которому вы оба служите.

Тогда, 22 сентября, после 15.00 мне становилось ясно: в связи с уменьшением потребности в корабельной артподдержке пехоты и наличием угрозы пикировщиков желательно убрать корабли в гавань. Мне надо было закончить с колебаниями и

опасениями, что меня не так поймут. Я продолжал ждать указаний свыше, но они так и не поступили. И хотя я не получил ни одного слова упрека, считаю себя больше повинным в происшедшем с эсминцем «Бойкий», нежели мои начальники.

Командующий ООР не докладывал в Севастополь об эсминцах. Это сделал я, а затем командир базы. Военсовет флота не высказал нам упреков в связи с повреждением эсминцев, как это было месяц назад, когда самолеты противника повредили лидер «Ташкент». Видимо, все списали за счет победы, за счет войны. А правильно ли это? Ведь этих потерь или части их можно было избежать. И тут всплывает вопрос о цене победы — вечный вопрос на войне.

Конечно, и при мощном прикрытии враг мог даже утопить корабли. Но когда командир базы и я прибыли к командующему ООР на подведение итогов контрудара, мы услышали упрек Жукова в адрес командира авиаполка Шестакова за слабое использование истребителей в бою с пикировщиками, особенно при повторных налетах. Действовали навалом, а требовалось создавать группы — ударную, прикрытия, отвлекающую. В заключение Жуков сказал:

— Это наше счастье, что мы отделались повреждениями кораблей.

«Счастье»,—сказал Жуков. И я верю в него. Но только оно не судьбой predetermined и не всегда от случайностей зависит, хотя есть тайны войны, трудно познаваемые. Военное счастье тем чаще будет нас посещать, чем лучше мы подготовим воинов и чем реже будем нарушать законы войны. «Бойкий» увернулся и отбил от самолетов и попаданий в результате грамотного маневра и меткого огня, и счастье его закономерно. «Беспощадный» почти от всех самолетов отбил благодаря высокой выучке экипажа, и только последний самолет добился попадания, но угодили бомбы в форпик, а не в машины, что было бы губительно,— это ведь тоже счастье, но оно случайное, а сама случайность причинная: действовал закон рассеивания бомб. При эвакуации из Одессы самолеты-торпедоносцы противника нагнали наше концевое судно, шедшее порожняком — войска разместились на других транспортах,— и все самолеты врага разрядились на нем и утопили его, а впереди шли суда с людьми. Это счастливая, но необъяснимая случайность.

Так что есть счастье на войне!

Настойчиво обучай воинов, умело применяй законы войны — тогда закономерности и причинности будут на твоей стороне, а счастливая беспричинная случайность явится как нежданное дополнительное вознаграждение за усердие в ратном труде.

Как складывается счастье, это понятно. А вот откуда на нас свалилось такое несчастье, как пикирующая авиация, мы дознались позже. Вышее немецкое командование перебросило с Сицилии в Причерноморье эскадрильи морских пикировщиков для нанесения ударов по кораблям Черноморского флота, оборонявшим Одессу. Но враг не достиг своей цели. Мы продолжали поддерживать пехоту с моря.

...Вслед за первым контрударом — в Восточном секторе — был нанесен второй сильный контрудар — в Южном секторе. Наши дивизии, пополненные морской пехотой, маршевыми ротами и вооружением, вторично доказали, что могут бить врага в наступлении. Приморская армия теперь состояла из 5 закаленных в тяжелых боях дивизий и, опираясь на мощный морской укрепленный район, надежно поддерживаемая всей мощью флота, представляла внушительную силу, способную вести борьбу с врагом в глубоком его тылу столько времени, сколько требуют интересы общей борьбы. Мы начали всерьез готовиться к длительной обороне Одессы в зимних условиях — войска запасали соленые овощи, топливо, готовили утепленные землянки.

Но внезапно обострилась обстановка в Крыму. Противник захватил Перекопский вал. А это прямая угроза не только Севастополю, Крыму, но и Одессе.

И Ставка решила укрепить крымские войска одесскими: «Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам Одесского оборонительного района на кратчайший срок эвакуироваться из Одесского района на Крымский полуостров...»

С 1 по 16 октября 1941 года флот эвакуировал из Одессы Приморскую армию в полном составе и доставил ее без потерь в Севастополь.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ТУРБИН



ТОГДА, ТЕПЕРЬ И ПОТОМ

Наг новыми страницами прозы

В писателя появляется новая вещь. Всегда ли это обязывает его и к новизне существенной, качественной? Разумеется, нет. Писатель волен и доказывать ранее начатое, варьировать себя, прояснять. Он проясняет себя, и вместе с тем проясняются его связи с литературой, его окружающей. Сквозь него начинаешь видеть тенденции современного ему движения общественной мысли. Те тенденции, которые он углубляет, форсирует. Те, с которыми спорит.

Закономерности эти доводилось наблюдать в творчестве многих писателей. Выразительный пример — наше восприятие книг армянского прозаика Гранта Матевосяна. Поводом к рассуждению стали новые его рассказы, появившиеся недавно в журнальной периодике.

Рассказы Гранта Матевосяна «Тогда, зимо» и «Под ясным небом старые горы» — произведения-прояснения. Здесь заведомо, преднамеренно повторяется прежнее, поведанное в повестях «Мы и наши горы», «Мать едет женить сына», в цикле «Август»: снова контраст горной деревни, дальних пастбищ и индустриального города, а порою контраст родного и залетающего из-за рубежа. Снова люди, поставленные перед выбором уклада жизни, стиля ее. Снова тревога: в какой степени мы понимаем друг друга? А мы-то самые разные: шведка-туристка и молодой армянин в Ереване; безымянный Главный специалист, специалист по радикальному обновлению древнейшего пастушеского труда, рационализатор этого труда, и патриархальные пастухи; профессор-медик и безнадежно больной.

Матевосян занимает почетное место в ряду тех, кто заговорил об исконном, изначальном. Горные армянские поселения

стали сопрягаться в нашем литературном сознании с русской деревней. Белов, Распутина, Матевосян — общность тут очевидна. В чем она? В любви к тому, что почитается архаичным. В иронии над горожанином, администратором или научным работником, с угрюмым вдохновением дельца-новатора внедряющим в не понятую им, непонятную для него природу свои начертания. В иронии над дачниками и туристами. Общность и в том, что к читателю обращаются как к союзнику и в то же время как к арбитру. И всегда, всегда — лирическая нежность к пенатам, к родному углу, взрастившему и вскормившему.

Впрочем, Матевосян, позволю себе догадаться, и особняком немногое стоит. Село Дсех Туманянского района — все-таки не Матёра Распутина хотя бы оттого, что аудитория у Матевосяна совсем не та, что у русского писателя, о русской деревне пекущегося. Мы-то — москвичи, предположим, — поневоле склонны считать, будто русский и армянин равно для нас пишут, равно к нам обращаются. А оно не совсем уж так. У армян своя драма, историческая, национальная: многовековая пограничность Армении, извечное отстаивание народом себя в исторические времена от иноверческих агрессивных сил и как результат — отрыв части нации от исконных земель, от родины. Говоря о себе, о том же горном селении, о поэзии его и о его больших и маленьких бедах, армянин, возможно, отнюдь не в первую очередь обязан иметь в виду москвича, который сопоставит его с Распутиным. Его слово — зов. Его слово — напоминание. Его слово — глас родины, вещающей о том, что она была, есть и будет в древности своей и в нови своей единая, неповторимая, ясная.

Поэтике того или иного писателя вовсе

не безразличен, конечно, его, писателя, адресат. Мы читаем Матевосяна по-русски, безоговорочно доверяясь переводам Анаит Баяндур. В Ереване и Париже, в Дилижане и Сан-Франциско, а то и в Австралии где-нибудь читают его по-армянски. По-армянски значит не только на армянском языке; понятие «язык» в данном случае требует расширенного толкования; жанр художественного высказывания, картины природы, зарисовки быта, своеобразие мелочей житейских — в данном случае все сие тоже язык, язык двуобращенного зова: и к тем, кто в Ереване и Дилижане, и к тем, кто в Париже, Сиднее. Отсюда и своеобразная «телевизионность» прозы Матевосяна.

Нетрудно заметить: телевидение — во всем мире, наверное, — устремилось нынче проникать во всякого рода медвежьи углы, в забытые, отдаленные местности больших и маленьких стран. То пастухи Тушетии перед нами, жизнь их показывают грузины, тбилисцы. Американцы, ударившись в лирику, ибо есть же и лирически мыслящие американцы, мчат на Аляску — показывать, как там, на Аляске, живут. Финны однажды так показали Лапландию, что за сердце взяло самых скептических зрителей; и у них, у финнов, существуют, оказывается, медвежьи углы, а в углах этих умная, пестрая, призывная жизнь: лапландцы (лопари), в финской среде сохраняющие русские фамилии, предания русские, в то же время сумели тактично ужиться с финнами и, не теряя себя, офинляндиться. Тушетия, Аляска, Лапландия. Далеко видящее око доброжелательной телекамеры открывает их заново, напоминает о них, уважительно их исследует.

Телевидение ввело в общественный обиход фигуру ведущего. Человека-путеводителя. Увлекающего нас за собой, направляющего наше внимание, одаряющего, одаривающего нас видами, положим, Лапландии. Это должен быть какой-то умный и чуточку грустный добряк, какой-то ученый-этнограф, не утративший детской способности удивляться и радоваться, желательно местный житель, уроженец диковинных мест, приглашающий в родное свое гнездовье. Он тем более обаятелен, чем реже появляется на экране. Лучше даже, если мы и вовсе не видим его, слышим лишь голос. И услышать закадровый голос много невидимки-ведущего становится, возможно, еще слабо осознанной общей потребностью.

О влиянии телевидения на прозу Матевосяна говорить поостережемся, но совпа-

дение творческих принципов здесь и так несомненно. Незримый, но подразумеваемый жест писателя, объединяющий его прозу, — жест приглашения, причем оговаривается единственное условие, на котором нас к себе приглашают: не быть туристами. Не говорить, подобно воспитанной девушке-шведке, что «армяне — очень гостеприимный народ»; шведка в одном из новых рассказов Матевосяна — фигура очень существенная, она как бы олицетворенная просьба отозваться на приглашение без вежливых фраз, но зато и без отчужденности интуриста. В прозе Матевосяна как бы развертывается традиционная формула приглашения: «Будьте как дома!» А формула эта, если вдуматься в нее, внутренне обременительна и презрительно сурова: вам все покажут, но на вас тотчас же свалится и новая радость вперемежку с новой печалью, заботами, необходимостью новых решений, новых суждений. Вам представляется равноправие с насельниками дома, в который вас вводят, но, значит, и ответственность на вас возлагается та же.

А что происходит в доме?

Ссоры внутри той или иной крестьянской семьи, чудачества местных оригиналов, нехватки военных и послевоенных лет, к которым все время и ранее и здесь, в новых произведениях, возвращается память Матевосяна. Потрясают село ЧП, чрезвычайные происшествия вроде встречи мальчика, потрусившего с отцом на отдаленное пастбище и увидевшего там следы смертной схватки прятчущегося в ущельях преступника с диким зверем, с медведем (неведомо, есть ли в армянском языке выражение «медвежьи углы», но по-русски выходит, что один из новых рассказов развертывает именно это определение, так же как развертывал его и рассказ «Медведь»). Наконец, вечное варьирование альтернативы город — село. Город — историческая необходимость. Ереван — надежда односельчан, их затаенная гордость, но он уже некое чуть-чуть отчужденное после-село, над-село, сверх-село. В Ереване ищет спасения смертельно занемогший пастух Каранц Вани. «Каранц Вани, немножко хромой, немножко рыжий, немножко рябой, весь полный и рыхлый, с булькающим, будто варево во рту перекатывает, смехом, немного сплетник, немного шут, с бельмом на глазу Вани...» Но бессилён горожанин-профессор, и слышит Вани, будто завывли в родной деревне по нем собаки, и умирать везут его в горы, домой.

Уезжают в город из горной деревни, и вот в городе появляется своего рода посла-

нец села, его представитель, человек, на коего уповают безмерно, хотя и не делает он для односельчан ничего или почти ничего не делает для их блага. Приезжают в горную деревню из города. И здесь, в рассказе «Под ясным небом...», приехал один. Очень важный Главный специалист, несущий в вековые традиции пастушества «опыт Англии». «Пастбища в Англии делают на участки и границы, обводят электрическим проводом, таким, знаете, слабое напряжение, сегодня отара пасется на этом участке, завтра на том, сегодня здесь, завтра там. Если отара вздумает перейти сегодня на завтрашний участок, электричество легонечко бьет по морде — не переходи, милоч, это завтрашний участок». Его спрашивают: «Но... А как же пастух, а пастушество?.. Да, но как же тогда жоак, как же собаки, как же волки... а сумерки, а костер, а голоса, ночные голоса, звезды...» А он: «Волк? Волк выйдет из лесу, чтобы сожрать овцу, а электричество его легонечко по морде — не ешь того, что тебе не предназначено, милоч...»

Может показаться, что Матевосян здесь шаржирует так же, как сделал некогда в повести «Мы и наши горы»: там на село нагрянули бюрократы, велели пастухам стричь овец вопреки их тысячелетнему опыту, погубили живое. Технократ у него действительно односторонен — бесплотная, ничем не заполненная арматура: пришел, увидел, заменил. Заменил пастухов и пастушество электричеством, силой, равно карающей извечную пару, живых, но в то же время и басенных ягненка и волка (наконец-то они помирятся!). Но технократ, наверное, и должен быть явлен именно так, как явлен он у писателя: не человек, а робот какой-то. Ходячая ЭВМ. Голый расчет. Убийца традиций и, если можно так выразиться, жанроубийца: приходит он и мановением холеной десницы стирает с лица земли... пастораль. Пастораль и как древний художественный жанр, совершенно несправедливо упоминаемый ныне лишь с едкой усмешкой, и как образ жизни, социального устройства и мышления: пастораль зиждется на благоговейном уважении к пастуху, пастырю, труженику, но одновременно же и к жрецу, соединяющему человека с живой природой, травую, цветами, деревьями, а прежде всего с животным, кормильцем и жертвой.

Мир Гранта Матевосяна радостно-пасторален, и об этом надо сказать, отрешившись от хрестоматийных представлений о жанре, основанных на программах школы десятилетки, на туманных воспоминаниях о

виденных где-то фарфоровых статуэтках XVIII столетия да на мелодии дуэта из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», — сказать как о редкой особенности писателя.

Бывало, бывало, что Матевосян и явно бравировал пасторалью именно в том виде, в котором над ней посмеиваются: «Да. Пионеры трубили в трубы и собирались в школу. Детский сад чистенькой толстушки, Майи, щечбча, направлялся играть под деревья. Девушки, распевая песни под лунным светом, спускались к колхозным полям» («Мать едет женить сына»). Теперь подобное вряд ли повторится: пастораль стала строже, сосредоточеннее, суровее. Она не разбрасывается на то, чтобы пародировать себя. Она строит и множит образ, заданный ей современностью и традицией: пастух, кто же он?

Пастух, переходящий у Матевосяна из рассказа в рассказ и из повести в повесть, — образ-реалия, но и образ-воспоминание. Легко заметить, что у Матевосяна смещаются времена. Из-за этого его порою даже и не сразу поймешь: не возьмешь в толк, когда же что происходит. Но имеются у Матевосяна понятия опорные, путеводные. Они разграничивают воспоминания и реальность, они же одно с другим и связуют. Сии понятия очень просты: «тогда», «теперь» и «потом». «Война тогда только кончилась или даже еще не кончилась... Не помню», «Но теперь я знаю...», «Я тогда еще маленький был...», «Трудно было представить, что неуклюжая нетерпливая работа этих женщин обратится потом теплым, живым очагом...», «Но подросток... которому сейчас уже сорок...», «Ованес Туманян, — продолжал отец, — ну это было и прошло, был он, да, но теперь-то его нет...», «Потом мне сказали, что его собаки начали выть...». Тремя понятиями, охватывающими жизнь человека и человечества, охватываются и «пастушеские» образы Матевосяна. Пастух был тогда, и понятие «тогда» уводит в глубины истории. Есть он теперь. А потом? Да, наверное, будет он и потом.

Распространяясь во времени, образ пастуха у Матевосяна ширится и в пространстве. В рассказе «Под ясным небом...» пастух — это и просто пастух, реальный пастух, член такого-то колхоза, проживающий в таком-то селе; но это и некий идеал понимания жизни: он понимает ребенка, понимает идущего мимо армянского селения со своей отарой азербайджанца, понимает тварь бессловесную. Пастух трактуется как идеал, как воплощенная в реаль-

ность мечта о некоем всепонимании. И даже в городской толпе взгляд писателя выискивает тех, кто чем-то походит на пастуха. Преподаватель медицинского института в городе — тоже пастух, пастырь, модификация пастуха: «Преподаватель двинулся, студентки последовали за ним... Одетые в белое студентки вместе с преподавателем подошли, обступили кровать». И профессор и преподаватель, за которым следит ереванец-рассказчик, — пастухи, оказавшиеся в городском суетливом мире. И встреча их, беспомощных перед недугом-чудовищем, словно встреча пастухов у овра умиряющего товарища: «Знаете, что за пастух был, что за шутки проделывал, какое у него было доброе сердце, — сказал я, — ликование не умещалось в нем, он раздавал его... Если бы капельку этого ликования сейчас...»

Вани — шут. Как и положено шуту, рыжий. Но извечно сопрягались в жизни народной, в народном сознании шут и жрец. Оба раздают ликование, по-русски сказать, не только веселье житейское, но и веселье высшее, мудрое, ясное... А оно оттого, что содержащий в себе шута и жреца пастух соединяет мир не только по горизонтали: человека, как уже говорилось, с животными, животных — с травой, землей. Он соединяет мир и по вертикали, он землю с небом соединяет, а в положении пастуха высокогорных, альпийских пастбищ эта идея, скрытая в профессии, в ремесле, проступает как-то особенно внятно: под ясным небом старые горы и там, в горах, в поднебесье, — пастух. Он выше всех. Он, земной груборукий труженик, рядовой крестьянин, по-русски выражаясь, мужик, поставлен над всеми.

Идея пастырства — благороднейшая идея. Пастух — доверенное лицо народности, племени или просто деревни. Он хранитель всего достоинства скотоводов, и от него, от него одного зависит сохранность их стад, отар, табунов. Лицом к лицу встречает он эпизоотии: сибирская язва, сап, ящур — они в его ведении, и в отличие от профессора-медика он не может подавленно взирать на недуг-чудовище, не зная, как же его одолеть. И животное и человек должны твердо знать: пастух их спасет. Пастух — ботаник, ибо не может же он ограничиться теми знаниями, коими располагал в «Учителе словесности» Чехова один из коллег героя, наставник юношества, резонно твердивший, что «лошади кушают овес и сено». Мир трав для пастуха — открытая книга; он может годами умно питать свою паству, но может и за какие-то

полчаса всю ее о-трав-ить. Но всего прежде пастух — зоолог, сиречь жизне-вед, жизне-знавец. Проза экономики в его ремесле как нигде сливается с высочайшей духовностью. Всем известно, что миф утверждает родство животного с богом; и в пределах своего ощущения мира животное действительно бог: оно не знает, что оно смертно. Оно «мыслит» себя бессмертным, а это решительно непредставимое для нас устройство себя в мире, видение в мире себя. С точки зрения капризной верности факту это иллюзия, глупость, неправда. Какое уж там бессмертие, когда приедет в село скучный дядечка, будто даже и не человек, а какая-то конструкция из стекла и дюралюминия, изречет: «И я люблю шашлык». И прирежут тварь, возомнившую себя богом. Но то, чего не дано понять великому инквизитору от скотоводства, кандидату наук, уж наверное понимает, ощущает простофила пастух. И он, только он имеет право вести свою паству к жертвенной смерти.

Нет, пастораль — не такой уж декоративный, слабенький жанр. Не дуэт из «Пиковой дамы»: «Мой миленький дружок, любезный пастушок... Ах, не пришел плясать!» (впрочем, и в этом дуэте что уж такого плохого?). Телевизионный грузинский фильм о пастухах Гушетии пасторален. И Матевосян пасторален, а последний из рассказов писателя («Тогда, зимою») — действительно новый поворот в его творчестве. Однако поворот этот в пределах его пасторальности: мальчик и папа, крестьяне встречаются со следами борьбы человека с медведем. Человек — скрывающийся в горах преступник. Дезертир. С карабином и со штыком. Но стрелять он не мог, не мог выстрелом выдать себя. Он колот зверя штыком, а медведь волочил за собою неожиданного охотника. И кончается тем, что преступника нашли, обнаружили. Поймала его не милиция, а самодеятельный детектив, некто Мурад. «Мурад сказал: «Столько лет подыхаешь от страха, разве ж это жизнь» — и выстрелил».

В рассказе «Под ясным небом...» смерть праведная: умирает пастух, и первыми оплакивают пастуха преданные собаки. тризну о нем правит мир четвероногих богов. В рассказе «Тогда, зимою» смерть неправедная, конец отщепенца, внутренний крах его. Память тотчас подсказывает: как в «Живи и помни» Распутина? Но опять же не будем торопиться с сопоставлениями. Отщепенец у Матевосяна прочно вписан в его специфическую концепцию жизни; отщепенец тот, о ком тысячи лет твердят

мифы, пословицы: заблудшая овца, овца порченная. «Умногo отца да бешена овца» — подсказывает вспомнящий словарь Владимира Даля. Отщепенец — человек, отторгнувший себя от поисков пастыря (а пастырем может быть не только какой-то человек, но даже просто идея, общенациональная, общенародная, разумеется). Он — без пастыря человек: местный демон, о котором в рассказе говорится набранным вразрядку местоимением он.

Он вне закона. Главный специалист — преуспевающий администратор, функционер, как теперь говорят, — защищен законами, будто стеклянная драгоценность, которую со всех сторон обложили ватой. Но между ними странная близость, начинающаяся с того, что оба безымянны.

Он столкнулся с медведем. В воображении рассказчика возникает картина их схватки; и схватка эта — какая-то бесовская пародия на классический поединок лермонтовского Мцыри с барсом: тут тоже беглец одинокий и одиночка борется с диким зверем. «...он, подыхая от страха, штыком царапал медведю морду, и ни разу за это время не прогрохотал его могучий карабин, потому что прогрохочет и что тогда?.. Мол, вот он, я здесь, идите берите меня, так, что ли? Зажаты между двумя страхами — перед людьми и перед медведем, — он не имел права пальнуть из своего карабина. Его огонь для шашлыка не мог уже заполыхать — медвежье мясо он должен был глотать сырым, да, сырым, а потом молча корчиться от колик. Он ел снег и приставил палец ко рту — тише, мол, меня здесь нет, вы меня не видели». Мцыри расправился с барсом при помощи отломанного от дерева сука. У него карабин, но карабин этот уже и не карабин, а как бы тоже всего лишь палка, дротик, копьё. Он одолевает зверя и корчится на снегу: есть надо, но не разведешь же «огонь для шашлыка». Для шашлыка? И тут снова слышится металлический голос. «И я тоже люблю шашлык», — отзывается технократ преступнику. Общее у них — сугубая ограниченность кругозора: шашлык, шашлыка, шашлыку... И в душах у них тоже общее: отвержение самой идеи пастушества, жажда прожить без нее. Только один отвергает ее, как нетрудно заметить, снизу, стихийно и просто из страха; другой же ее отвергает с оглядкой на Англию, планомерно, рационально. Который страшнее?

Вор, технократ — странная эта чета сталкивает нас с насыпленным смыслом, художественным приемом, без которого проза

Матевосяна просто невысказана: это инверсия, перестановка, взаимное перемещение разнородных явлений. Все то и дело местами меняется, и отсюда недоумения героев писателя, недоумения, смех и горе их жизни, сумятица дум их. Простейшее: небо меняется местами с землей, обретает свойства земли. «Наш бог Айк из овинов ассирийского бога Бела в громадной корзине приносит солону для своих волов». Бог идет «большими шагами, и след его, Млечный Путь», запечатлевается на небеси. Небо — земля. Инверсия? Впрочем же, миф — он мифом и остается, без инверсий миф состояться не может. Но в реальности?

А в реальности сюжета рассказов Матевосяна жизнь тоже инверсий полна. Меняются местами сны и действительность, и идет диалог отца с дочкой, маленькой девочкой: «Вай, а ты во сне приходил к нам...» — «Во сне приходил, говоришь?.. Во сне я взаправду приходил?» А девочка: «Сколько ни увижу тебя во сне, столько ты и придешь?» И отец: «Сколько ни увидишь... столько и приду».

Через весь рассказ «Тогда, зимою» проходит мотив — историйка про красное девчачье платье, в которое по бедности обрядили мальчика; и становится ясно, что немного даже и однообразный юмор Матевосяна — юмор инверсий. Отец Армена Мнацаканяна в первые послевоенные годы начальствует над группой военнопленных, и он «был сам вроде в плену у своих пленных». Сплошь инверсии, инверсии на всех уровнях.

В пронизанном инверсиями мире Матевосяна есть, впрочем, одна граница, незыблемая и важнейшая. Перед ней бессильны и всепроникающие инверсии; это граница мифа с эмпирически нам данной реальностью, рубеж мыслимого и сущего. И тут писатель оказывается особенно дальновиден: он смотрит не в «теперь» литературного процесса, а в какое-то предчувствуемое «потом».

Кто не мифичен нынче? Устремленность к мифу понятна — от рационализма всемогущей научно-технической революции; полемизируя с ним, естественно обращаться к мифу. Противопоставить миф тому же Главному специалисту, человеку-машине. Однако миф и модою может стать, признаком хорошего литературного тона, неписанным эталоном. А то, что доставалось предкам ценою тяжелых духовных трудов и борений, кровопролитий в религиозных войнах, ценою чьих-то сомнений, отречений и озарений, не должно возвращаться в культурный обиход современного челове-

ка ввиду уже ясно просматривающихся сюжетных клише, виртуозно адаптируемых к современному быту преданий, повестей. «Осторожно: миф!» — хочется возгласить в стиле нынешней публицистики.

Герои Матевосяна живут в глухомани, может быть даже утрированной. Здесь все как бы только лишь начинается. Все в первой фазе существования своего, будто наглядно показывают тебе, как возникла цивилизация. Орудия труда, например. Грабли, вилы: «Где граблями, а где и голыми руками мальчик собрал сено в одно место... Мальчик без вил, где руками, а где граблями почти все сено уже собрал...», «Дед нес легкие, деревянные, за шестьдесят лет отполированные в руках вилы о двух зубьях...». Тут вся история вещи: сперва просто руки, служившие предкам какими-то пра-граблями и пра-вилами, после рогатина. А уже тысячи лет спустя — продолжение, копия рук: грабли, вилы.

А слово! И оно в мире Матевосяна дано в истории, становлении. С чего оно началось? С междометия, со звукоподражания; и оно возвращается к истокам своим фоническим. Бабушка говорит: «Симону моему скажу...» «С-с-с, слышится мальчику». «Считаешь» для кого-то звучит как «шпигайшь... шпигайшь...». В горах: «А-у-у-у-у-у, сказал про себя мальчик и прислушался, знал потому что: сейчас откуда-нибудь донесется это — аууууу...» Или в характеристике человека: «Но... Ды-Завен не мог смеяться, вместо смеха у него теперь получалось „ды...ды...ды...ды“». Этот шепчущий, лепечущий мир будто еще дословен. И уж тут ли, казалось бы, не затеплиться мифу: здесь же есть благодатная почва для его появления. Но оказывается...

Вдруг оказывается, что полуграмотные пастухи из медвежьих углов — сплошь какие-то убежденные, умные позитивисты и скептики в высочайшем значении этого слова. Они просты, и с ними легко. И возвращенный в их среде горожанин в рассказе «Под ясным небом...», склоняясь у одра умирающего пастуха, говорит: «Это была конченная история. Хрупкое соединение азота, железа и извести, называемое «человеческая жизнь», разрушилось, разъединенное, осталась горстка азота, железа и из-

вести, и собаки выли над руинами». И в подобном «химизме», право, больше народности и патриархальности, чем в любом многозначительно модном поддакивании, потрафлении мифу.

«Мать, а мать, когда умирают, полностью умирают? Полностью, сказала она. И больше их не бывает? Не бывает, сказала она. Мать, а мать, а как же это бывает, что бывают, а потом уже не бывают? Не знаю, сказала она, поди у смерти спроси. А не жалко их, а мать? Жалко, сказала она, помучился-помучился и угас, бедный парень». Как же это целомудренно и умно! Тайна не терпит развязности, щегольства: живи, лукаво не мудрствуя. Исчерпай то, что перед глазами лежит: вникни в историю гениально изобретенных твоими предками орудий труда, познай мышление зверя, сопряженного с тобой связями, о коих ты позабыл. Радуйся рождению нового человека, горюй об умерших, трудись, постигая мудрость, духовную суть твоего ремесла, а остальное приложится! И живут герои Матевосяна здесь, на земле, в Армянской ССР. И в пасторали живут они.

Но пастораль — жанр, а всякий литературный жанр — это драма, которая разгрыбается между писателем и героем: между ними борьба, диалог, спор, стремление повлиять друг на друга. В чем драма, присутствующая именно пасторали? В том, что здесь непременно разлука: сохраняя духовную близость к своим героям, в реальности своей биографии художник отходит, уходит от них. Быть таким, как они, ему уже не дано: и профессор-медик и современный литератор могут ощущать себя пастухами лишь сугубо метафорически. Что же им остается?

Остается отречение или же благодарность.

Главный специалист — человек забвения, отречения; но потому-то пастораль и смеется над ним. И благодарность заполняет жанр пасторали; благодарность здесь непременно: писатель героя благо-да-рит, на том пастораль и держится.

Общественная потребность в воздаянии благодарности нас воспитавшим, вскормившим ныне огромна, и новые рассказы Гранта Матевосяна ее своевременно выразили.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

«Точка отсчета» — так называлась статья Б. Панкина о встречах с Константином Симоновым, о той видной роли, которую в литературном процессе наших дней играли не только творчество, но и сама жизнь замечательного писателя, его гражданский, нравственный облик. «Не искал ли и он в себе ту самую точку зрения, точку отсчета, с которой воедино слились бы для него драматические противоречия эпохи, судеб человеческих?» — говорилось в конце рассказа о Константине Симонове.

Статьи, публикуемые ниже, как бы продолжают мысль, высказанную в статье Б. Панкина, опубликованной на страницах «Нового мира» в прошлом году.

Есть в литературе имена художников, с которыми для нас связаны не только сюжеты и персонажи любимых книг, не только черты конкретной творческой биографии, но и сама линия творческого поведения, дела и поступки, получившие широкий общественный резонанс, связаны факты и подробности, неотъемлемые от поступательного движения всей нашей художественной культуры...

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ

Секундная стрелка истории

«**К**онечно, все, что перенесли эти люди в дни обороны Брестской крепости,— писал С. С. Смирнов,— было для них неизгладимым, священным и страшным воспоминанием».

Меня, стихотворца и археолога, поразило тогда, в конце 50-х годов, и то, что пишет Сергей Сергеевич, и то, как он пишет об этом. Слог его был классичен, то есть точен и благороден. И я, воспитанный историческим факультетом МГУ на Геродоте и Фукидиде, видел в стиле очерков С. С. Смирнова что-то от исторической хроники, какую-то античную силу. В каждой фразе ощущение исторического масштаба событий, происшедших, казалось бы, так недавно.

Неизгладимое, священное и страшное воспоминание... Но раз оно неизгладимо, значит, участники и очевидцы событий могут вспомнить о них все до мельчайших деталей. Раз оно священо, значит, в рассказе об этих событиях не должно быть ни одной неверной ноты, писателю нужно было обращаться к самым высоким чувствам и своим героям и своим читателям, полагая, что именно эти чувства и найдут отклик. И уж если это страшно, то нужен особый такт, чтобы пробужденные в людях воспоминания не ранили бы их самих, не причинили бы им новой боли,

чтобы произошло то, что в античных трагедиях называлось катарсисом — очищением, воздаянием, высоким и чистым переживанием, объединяющим всех.

И вот уже мы всем миром пережили то, что произошло за глухими стенами Брестской крепости. Более того. Люди помогали писателю искать безвестных героев, и он испытал великое счастье застать некоторых из них в живых и помочь им тем, что было в его силах.

Какова же была моя радость, когда этот человек прислал мне, начинающему литератору, свою книгу с надписью, из коей следовало, что он знает и читает меня. Думаю, ему было интересно и то, какое впечатление производит его книга на людей другого поколения, уже не воевавших. Что значила для них и что будет значить для их детей и внуков Брестская крепость? Я ответил Сергею Сергеевичу. И вскоре очутился в Марьиной Роще у него дома. Шкафы — в них, наверное, сложены тысячи писем, бесценных исторических и человеческих документов. Диванчик... Сколько замечательных людей ночевало на нем. В этой комнате сходились нити многих судеб. Здесь эти судьбы менялись. Но я предстать не мог, что здесь изменится и моя судьба.

Позвал меня С. С. Смирнов почему-то

рано. Прямо за завтраком я прочел все стихи, какие считал достойными внимания. Остановился — больше пока ничего нет. Сергей Сергеевич посмотрел на часы. И мы пошли в гости к его соседу. Так бывало со мной и в других домах, да вот только этим соседом оказалось не частное лицо, а целое предприятие — комбинат твердых сплавов. Пропуск был давно заказан. Нас ждали. Сергей Сергеевич председательствовал. Он представил меня рабочей аудитории и внимательно следил, как я здесь себя чувствую, как воспринимаются мои стихи. В конце выступления выяснилось, что я руководитель местного литературного объединения, которое тут же и было создано.

Мы пошли по цехам. На комбинате все знали С. С. Смирнова, глядели на него с обожанием. А тот радовался, видя меня в заводском цехе. Здесь, он был уверен, самое место поэту. Увидев резцы из керамических сплавов, это чудо порошковой металлургии, я ахнул: ножевидные пластинки неолитического человека! Вот, оказывается, когда были созданы еще первобытными людьми эти долговечные и целесообразные формы, оказавшиеся пригодными и для современного производства. Я обратил на это внимание С. С. Смирнова. А он, видимо, удивился: человек глядит на сегодняшнюю технику через неолит. И ему еще больше захотелось втиснуть меня в самую что ни на есть гущу современности.

И вот в одно прекрасное весеннее утро 1959 года, когда я, перебирая черновики, обдумывал, чем бы заняться на досуге весной и летом, а заодно решал, ехать ли на раскопки сейчас или отложить поездку на осень, в мою комнату на бывшем подворье Зачатьевского монастыря вошел Владимир Солоухин и сказал, нажимая на «о»:

— Редактор (Солоухин был тогда членом редколлегии «Литературной газеты») велел доставить тебя живого или мертвого.

Солоухин был уверен, что я соглашусь заведовать в газете отделом поэзии и тогда он, член редколлегии, отвечающий за стихи, может спокойно уехать. Теперь уже он у меня на глазах строил планы на весну и лето и, не доехав до редакции, высадился, весь сияя, у магазина «Охотник-спортсмен».

Вхожу в громадный кабинет. Сергей Сергеевич, редактор «Литературной газеты», поднимается над столом:

— Литература — наше общее дело. Мало писать самому. Вы будете заведовать у нас

отделом поэзии. Вы человек новый, на вас пойдут. Собственными стихами на время придется пожертвовать. Но когда вы накачаете резервуар, создадите запас приличных стихов, мы будем печатать их без вас. А вы по командировкам редакции можете съездить в любую точку земного шара. Вы будете писать о чем хотите. Но, разумеется, для газеты. Кстати, умеете водить машину? Нет? Обидно! Есть возможность создать корпункты в Лондоне и Париже. Куда вам больше хочется? Но учтите, там надо водить машину.

На мои робкие возражения против столь блестящей участи (я хотел тихо писать стихи и ездить на раскопки) Сергей Сергеевич ответил, что это чистоплутьство, и помянул Горького и Маяковского. Я сказал, что не приму предложения, пока не поговорю с Маршаком и Андрониковым. Уж они-то, надеялся я, отсоветуют...

— Только что был Сергей Сергеевич, — вздохнул Маршак. — Он убедил меня. А вместо напутствия прочту вам то же, что прочел ему самому, перед тем как он стал редактором:

Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!

Я к Ираклию Андроникову. Он лечился в Институте физиотерапии. Вхожу и вижу: в раздевалке снимает халат главный редактор «Литературной газеты», он уже навестил больного.

Лишь потом понял: у Сергея Сергеевича были те же колебания, что и у меня, и, прежде чем пойти в газету, он советовался с теми же людьми. Редакторство не могло не отразиться на его писательстве. Но после напряженных дней, а то и ночей в редакции он все же продолжал свои поиски. Зато я совсем перестал писать стихи.

Поэты и вправду «пошли на меня». Без конца звонили оба телефона, внутренний и внешний, а вечером их дело довершал домашний. На диване, на стульях сидели и курили поэты. Из других городов стихи шли не только почтой, но и телеграфом. Получив первую такую депешу («весна зажигает зори тчк лети зпт соловей зпт из-за моря восклик» и т. п.) и не разобравшись, в чем дело, я решил, что мой маститый корреспондент сошел с ума. А это он торопился через газету приветствовать весну!

От стихов я прятался в справочной библиотеке, в кабинетах у коллег. Не помога-

ло. Стихи подсовывали под дверь. От тех времен у меня осталась стопка тоненьких стихотворных сборников с пылкими надписями авторов: никогда мой скромный вклад в отечественную словесность не оценивался так высоко... Я распорядился вынести диван. Поэты пересели в мое кресло и на рабочий стол. Я подал в отставку.

— Мы вами довольны,— заявил редактор.— На вас идут. Резервуар вы почти накачали. А что самому не пишется, это понятно. По долгу службы вы прочли уйму слабых и средних стихов. С вами произойдет то, что мы, журналисты, называем пищевым отравлением. Лучшее лечение — это, например, прочесть Данте или Шекспира в подлиннике. Ах да! Читали? Один автор выругал переводчиков. Они, мол, не писатели, пусть объединяются в общий профсоюз с гидами Интуриста. Поэтому возьмите-ка у Маршака черновики перевода какого-нибудь шекспировского сонета, сравните с подлинником, со всеми предшествующими переводами. Дадим вам полосу с гравюрой Фаворского и факсимиле Маршака.

Полосы с гравюрой и факсимиле не было, но в газете появилась статья на два подвала «Судьба девяностого сонета», первая в моей жизни литературоведческая работа. С. С. Смирнов как бы открыл для меня эту дверь. И если бы не он, вряд ли бы я с моим английским прочел сонеты Шекспира в подлиннике и научился пользоваться «Шекспировским лексиконом» Шмида. Ну а уж если делаешь материал в номер, то тут и Гомера прочтешь в оригинале.

«Мы — журналисты...» Сергей Сергеевич произносил это с гордостью. Газета, как утверждает один философ,— секундная стрелка истории. Таким вот историком, хроникером и летописцем сразу, наверное, ощущал себя С. С. Смирнов. Думаю, он и сам отдыхал от текучки, раскрыв Тацита, Плутарха, «Слово о полку Игореве». Отсюда несуетность, благородство слога его «Рассказов о неизвестных героях», над которыми он тогда работал. Что же касается языков, то он даже хотел познакомить меня с методом занятий, какой он избрал, чтобы за считанные месяцы передграничной поездкой научиться живому языку другого народа. Мне он тоже нечаянно, а может, и нарочно устроил месячную практику в английском языке.

Отпуск я решил провести в Малеевке в доме творчества. Едва приехав туда, я получил записку от редактора с просьбой от имени газеты взять на себя заботу об

американском публицисте Джозефе Норте, отдыхающем в Малеевке. Пришлось заговорить по-английски. Даже переводчики английской и американской литературы, великолепно знавшие язык, беседовали с Джозефом Нортом через меня и не без ехидства наблюдали, как я барахтаюсь, пытаюсь найти мало-мальски подходящие слова для перевода.

Вообще Сергей Сергеевич был легкий, быстрый, все решал и делал как бы играючи. А из игр больше всего любил шахматы. И когда мы засиживались в редакции в ожидании подписной полосы, редактор брал доску, шахматные часы, с азартом разыгрывал пятиминутные партии и, как правило, побеждал.

У него было блистательное чувство стиля в жизни и в литературе, а следовательно, и чувство юмора. До сих пор не могу видеть зефир в шоколаде, чтобы не вспомнить длинный стол с этим самым зефиром, коньяком, блюдами с нарезанными лимонами (все покупалось за счет самого редактора), в торце стола С. С. Смирнов, а за столом Никита Разговоров, Леонид Лиходеев — юмористы, извлеченные, как и я, из недр редакции, или же приглашенные специально Никита Богословский, Зиновий Паперный, Наталия Ильина, Владимир Лифшиц и другие. Всем миром мы сочиняем шутки для юмористической рубрики «Литературный музей», ныне ископаемого предка «Клуба двенадцати стульев».

Веселились мы, наверное, куда больше, чем читатели, но и читателям кое-что перепало. Так, в День поэзии, когда по обычаю тех времен поэты выступали во всех книжных магазинах Москвы, Сергей Сергеевич предложил выпустить полосу, где те же поэты читают пародии на себя уже не в книжных магазинах, а в обиходных праздником поэзии булочных, в магазинах «Мебель», «Ткани», «Мужская обувь». А за выездной редакцией «Литературная газета» в Сибири» последовала «Литгазета» на Луне, куда писатели были запущены уже без их согласия. Пародию на Галину Николаеву сочинил сам редактор и, обыграв названия двух ее популярных романов «Жатва» и «Битва в пути», назвал ее «Жатва в пути»; «Прижавшись друг к другу, они летели на межпланетном корабле... Он пожал ее пальцы.

— Пальцы,— задумчиво сказал он.— Поршневые пальцы. Они мелкозернисты и малоизносоустойчивы...

Она прижалась щекой к его коленям.

— Коленчатый вал,— возразила она,— это важнее...

Обычно отдельные материалы авторами не подписывались. Иначе Сергею Сергеевичу тоже пришлось бы подписываться под своими пародиями и шутками. Наши имена стояли в алфавитном порядке в конце юмористического раздела. И можно было подумать, будто пародии С. С. Смирнова принадлежали кому-нибудь из нас.

Он постоянно думал о будущем. Помнил о будущем. И именно ему пришлось в голову на первой полосе новогоднего номера поздравить читателей с Новым, 1960 годом, а последнюю открыть шапкой «С Новым, 1980 годом, друзья!». Теперь шестидесятый год еще дальше от нас, чем тогда был восьмидесятый. Бюрократов еще не заменили роботами, как мы тогда мечтали. И академик в приступе самокритики пока не может написать стихи:

Что-то лирики в почете,
Что-то физики в загоне.
Дело не в прямом расчете,
Дело не в сухом законе...

Но и сами физики не обрели той сокрушительной популярности, какую мы, основываясь на тогдашних настроениях, предсказывали им в будущем. И Министерство здравоохранения «в связи с полной ликвидацией тяжелых недугов и легких недомоганий» еще не передало свои функции спортивным обществам. И авторы еще не пишут гневных писем в редакции, прочитав слишком хвалебные рецензии на свои произведения. И, увы, не забыто слово «бомбардировка». К счастью, правда, на вопрос ребенка: «Кто такой заяц?» — еще нельзя ответить: «Был такой зверек». Но Сергей Сергеевич уже предчувствовал, с какой остротой встанут в будущем проблемы экологии. Вот уж воистину, как сказал поэт, сердце в будущем живет!

Но даже для юмористического отдела я сочинял только по заданию. Точно так же, как и во всех остальных случаях. Нужно, скажем, дать первомайский репортаж — и я сажаю дочку на плечи, вхожу в праздничную толпу на улице Горького и пишу о наших с дочерью впечатлениях. Нужно дать стихотворный репортаж о встрече четверки Зиганшина, отважных солдат, которых на барже унесло штормом в Тихий океан, — и я пишу о них пятистопным ямбом, не забыв при этом о малыше, фотографировавшем героев, «корреспонденте из будущих времен», как я его назвал. Нужно ехать с выездной редакцией в Сибирь — и я еду, пишу для многотиражки стихи про то, что «дело — труба, когда для трубы нет бетона» (речь шла о трубе Назаров-

ской ГРЭС). Эта редакция была лкЗимейшим детищем Сергея Сергеевича. Тут его вдохновляла не только память о писательских бригадах первых пятилеток, но и «За далью — даль» Твардовского. Вот он и отправил по воспетой Твардовским дороге одну за другой три бригады. А больше всего, наверное, он сам хотел поехать туда. Но это ему удалось сделать уже после того, как он перестал быть редактором «Литературки». Я смотрел по телевидению его сибирские репортажи: С. С. Смирнов один сделал не меньше, чем две, а то и три писательские бригады, вместе взятые. Но тогда, в 1959 году, провожая нас, он, должно быть, повторял самому себе: «Литература — дело общее». Нужно было жертвовать своей работой для других, в том числе и для меня.

В то же лето я очутился еще и в Вене на Международном фестивале молодежи. В восемь утра по средневропейскому времени меня вызвала Москва, и я диктовал стенографистке репортаж об открытии фестиваля и репортажи, которые по моей просьбе писали для газеты Долматовский, Ошанин, Сергей Васильев. Всякий раз стенографистка передавала мне новости из дома и сообщала обо мне моим домашним — это ей поручил Сергей Сергеевич.

Не пойму, что мне мешало использовать те возможности, какие открывал передо мной редактор. Скорее всего сознание, что тут надо писать сразу и до конца, а не выбрасывать написанное или ждать, пока оно доспелет, может, даже через долгие годы. А ведь выбросить, не завершить, отложить, ни с того ни с сего перескочить совсем на другое — это, по-моему, одно из величайших наслаждений литератора.

От заведования безумным отделом поэзии Сергей Сергеевич давно освободил меня, но из газеты не отпустил, оставил спецкором. И снова:

— Хотите, мы дадим вам раз в неделю постоянную колонку на одном и том же, привычном для читателя месте и вы будете беседовать с ним на любые темы? Что вы хотите написать? Куда хотите поехать?

Увы, я хотел ездить только на раскопки в свою любимую Хорезмскую экспедицию и писать только то, что само напишется. И Сергей Сергеевич отпустил меня на месяц в Хорезм с условием непременно написать что-нибудь для газеты.

Я написал, как прошлое связано с будущим, как по найденным нами трассам древних каналов в пустыню снова идет вода и дело обстоит так, будто часть исследовательской работы за потомков сделали

предки. Поначалу я с трудом набросал какой-то отрывок.

— Что ж,— сказал Сергей Сергеевич,— отрывок он и есть отрывок, а не очерк. Так и напишем — «отрывок из новой повести». Как мы ее назовем?

Повесть мы назвали «Приключений не будет». И мне пришлось ее писать. Так Сергей Сергеевич открыл для меня еще одну дверь — в научно-художественную литературу. В эту-то дверь я и ушел из газеты.

И вот настал день, когда я принес редактору первый за эти полтора года материал, написанный не по заданию, а по собственной охоте, и получил от него последнее задание, но уже не связанное с газетой. Я написал для свой повести главу «В другом возрасте». Начал тем, что пустыня для меня и моих товарищей — это место, где мы можем как бы вернуться в собственную юность и, говоря словами поэта, бывалой жизнью пожить. Но «возраст есть возраст,— писал я.— И вот в заповедник нашей юности вошли дети». Сергей Сергеевич прочел все, что я с увлечением написал и о наших малышах, о которых тоскуем в экспедиции, и о маленьких чабанах, посещавших наши раскопки, и о детских игрушках, какие мы раскопали. Редактор не сказал ни слова и заслал

эту лирику в набор. А мне объявил, что едет отдыхать в Барвиху и что ему нужны от меня отзывы о самых интересных молодых поэтах, появившихся сейчас, и хорошо, если бы я при этом привел наиболее характерные для них строки и попытался бы даже предсказать каждому поэту его будущее. Я написал эти отзывы (теперь бы ни за что не взялся за такое!) и вместе со списком самых интересных сборников послал в Барвиху. Кроме этих книжек, Сергей Сергеевич перечитал и мой первый сборник «Отпльтие».

...На дорожке парка, где мы гуляли, беседуя о поэзии, С. С. Смирнов очень веско и немного грустно, ибо речь шла об очень далеких временах, предсказал мне мое собственное будущее. И потом, когда мне уже исполнилось сорок, это странное предсказание потихонечку начало сбываться.

Решив для себя, кто я и чего можно, а чего нельзя ожидать от меня, Сергей Сергеевич как бы отпустил меня. Я и вправду взял длительный отпуск за свой счет и не вернулся из него. Тем более что и сам Сергей Сергеевич тоже ушел из газеты и с головой погрузился в родную свою стихию — в океан человеческих судеб, связанных с минувшей войной.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

Виктор Шкловский учит мыслить

Сказать о Викторе Шкловском, что он парадоксален, значит, ничего не сказать. Парадоксальны и Шоу, и Уайльд, и Шекспир, и восточные притчи. По-своему парадоксальны Франс и Вольтер, Олеша и ранний Федин.

Проза Шкловского телеграфна. Но и это не отличие. Не говоря о целом направлении западного искусства, назову Илью Эренбурга. У нас так писали в 20-е годы многие.

Любимица Шкловского — ассоциация. Пародисты нашли тут легкий хлеб. Но вряд ли кто-нибудь, кроме Архангельского, ухватил суть авторской манеры и метода. Те, кто говорил об ассоциативном методе, имели в виду сопряженность сходных понятий, но не движение мысли. Видели причуду щедрого таланта, но не облажение самой прищипкой художественного творчества. За кажущейся произвольностью

скачков мысли не улавливали новизны образных решений. Именовали эксцентричностью остроту человеческого ума с его не выявленной до конца возможностью кибернетической быстроты реакции. Поэтам это разрешалось. О критиках думают иначе. Вероятно, с легкой руки Флобера, считавшего профессию исследователя искусства низшей — у такового, по его мнению, отсутствует стиль.

Но критики упорно опровергают ходячее о себе представление. Лессинг, Буало, Белинский более поэты, нежели Клопшток, Шаплен или Бенедиктов.

В чем же особенности стиля Шкловского? В его основе (верно было замечено, что стиль Шкловского безотносителен к жанру и роду его литературной деятельности) лежит представление о творчестве как о процессе. Исходное представление о том, что объект анализа и сам анализ непо-

движны, ложно. Движение мысли произведения и движение мысли исследователя как бы ищут совмещения в едином процессе анализа. Тут как у Альберта Эйнштейна — относительность покоя.

Субъективность манеры Шкловского надо понимать именно в том смысле, что он делится с читателем самим ходом познания, увлекает яркостью, неожиданностью догадок, неумолимостью выводов. Он как бы учит мыслить.

Парадоксальность его стиля — свойство подчиненное. Парадокс обычно рождается отрицанием. Это как раскорчевка пней, где будет взлетная площадка аэродрома. В «Гамлете» и «Короле Лире» выворачивается наизнанку сущность вещей, чтобы миру открылось, что все в нем не вечно. Это относилось к средневековью. В одной из шекспировских пьес шут сравнивает парадокс с вывернутой наизнанку перчаткой. Это точно. Чаще всего парадокс обновляет старое или намекает на зыбкость установленного. Ранний, то есть наиболее «парадоксальный» Шкловский острее видел заиженность старого, чем перспективы нового.

Парадоксальность стала элементом диалектики. Парадокс у Шкловского чаще замыкается афоризмом, нежели взрывает его, как это случалось раньше.

У любимицы Шкловского — ассоциации появилось выражение сосредоточенности на лице. Она не капризная бездельница, а служащая с полным рабочим днем.

Бабель говорил Шкловскому: «Вы — мастер строки». Короткая фраза Шкловского, размером в строку, конденсирует мысль до афоризма, до метафоры. Строки монтируются, как кадры в кино.

Мозаичность композиции у Шкловского часто мнима. Это сложный узор, а не разбросанность и хаос. В забытой теперь книжке Т. Грица («Творчество Виктора Шкловского. О „Третьей фабрике“»). Баку. 1927) правильно определено: «Разбросанность и мозаичность композиции своей повторностью говорит о сознательности и систематичности этого принципа».

И еще одна яркая особенность стиля Шкловского: умение «расшевелить» предмет анализа, выдвинуть объект так, чтобы он занял заметное место. Остранение не покрывает всех случаев такого нового прочтения общезвестного или просто привычного. У Шкловского читаем: «Нужно повернуть вещь, как полено в огне. У Чехова в его «Записной книжке» есть такой пример: кто-то ходил не то 15, не то 30 лет по переулку и каждый день читал вы-

веску: «Большой выбор сигов» — и каждый день думал: «Кому нужен большой выбор сигов?»; наконец как-то вывеску сняли и поставили у стены, боком, тогда он прочел: «Большой выбор сигар». Поэт снимает все вывески со своих мест... Вещи бунтуют у поэтов, сбрасывая с себя старые имена и принимая с новым именем — новый облик».

В ранних работах Шкловского вязь смыслов была одновременно вязью метафор, буйным цветением лейтмотивов. Например, в «Третьей фабрике»: «писатель — лен», «фонарь — прожектор» или «устрица». Т. Гриц правильно понял функцию таких лейтмотивов-метафор: «Сложность развития метафоры... зиждется на затягивании разъяснения ее основного смысла, на игре с «разгадкой» ее, при довольно подробном развитии иносказательного ряда».

В поздних работах Шкловского орнаментальность ослаблена. Метафоричность как бы прослоена логическим ходом доказательства, метафора часто реализуется, мысль проясняется более «демократическим» путем — вне сугубо субъективного поля фактов. Композиция, оставаясь сложной, тем не менее определяется более крупными массивами непрерывной мысли. Эти соображения высказывались мною по прочтении работ В. Шкловского «Художественная проза», «Лев Толстой», «За и против». Говорил я тогда больше об одной, о первой из названных, так как она открыла нам «нового Шкловского», нового и методологически и творчески.

«Художественная проза. Размышления и разборы» не просто новая книга. Это книга нового итога. Подвиг отказа от славы главы формалистической школы, которая провозглашала «вольность» искусства от жизни. Это полуотказ от работ ОПОЯЗа «Воскрешение слова», «Искусство как прием», «Ход коня», «О теории прозы» (1925).

Трудно сказать, как в России, стране с сильными традициями человечнейшей из литератур, могло сложиться течение технологического, обездушенного подхода к искусству. Трудно сказать, как совмещались несомненная одаренность и громадная эрудиция ученых этого направления с их общественной глухотой и эстетической насильственностью концепций. Ведь фактическое знание литературы, понимание отдельных сторон творческого процесса было у этих людей бесспорным. Но — дикое дело! — из литературы была вынута ее душа, а труп великолепно анатомирован.

Маяковский обошелся с ОПОЯЗом мягко: «Детей (молодые литературные школы

также) всегда интересуется, что внутри картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и слонов.

Но Пегас не бумажный. Он из мяса. И, извините, имеет душу. Душа — это олицетворенный идеал, вобравший в себя философию, политику, то есть то, чем живет человек как общественная личность.

Могут возразить, что жизнь уже давно разбила многие взгляды опозовцев и вряд ли подробнейший пересмотр эстетики формализма, даже принадлежащий перу бывшего основоположника, интересен и нужен обществу. Но здесь то, чем живет человек как общественная личность.

Так, В. Шкловский убедительно вскрывает генезис книги Джона Дьюи «Искусство как опыт» (1934), обнаруживая в ней собственные теории полувековой давности.

«Меня на Западе упрекают в измене самому себе и принимают мое наследство.

Я должен стоять прямо, но так стоит только кблос, из которого вытекло зерно, должен стоять на одном месте, как стоит кол, вбитый в землю. Не менять своей позиции, как скелет в могиле.

А я хочу изменяться, потому что не устал расти».

В шестьдесят шесть лет писатель-литературовед (скажем без преувеличения — с мировым именем) заявляет: «Наступила пора нового ученичества». Он, разумеется, не на голом месте начинал. Много накопленное ему пригодилось.

Все становится с головы на ноги. Когда-то молодой Шкловский запальчиво воскликнул: «На цвет его (искусства.— Вл. О.) никогда не отражался цвет флага над крепостью города». В 1959 году он говорит: «Цвет знамени в поэзии значит все. Цвет знамени — это цвет Души, а так называемая Душа имеет и второе свое воплощение — искусство». Так в эстетику Шкловского вошла жизнь с мировоззрением человека и времени. Так в теорию искусства вдохнул он душу живую.

О методе анализа.

Шкловский, словно переводчик, как бы пересоздает заново весь художественный строй явления искусства. На этом «новом языке» роль логики, рационального начала, может быть существенной. Но не более того.

Ассоциация для Шкловского — форма вхождения в мир художника средствами художника. Она как бы устраняет те ножницы, которые так часто смущают читателя: критик-то говорит свое, а писатель мне

внушает свое. Ведь язык логики и язык чувств не могут совпадать полностью.

Образ в критике охватывает явление искусства в целом, придает ему вещественность и цельность, что облегчает восприятие сложных понятий, делая их близкими. Так, образ дороги в Ясной Поляне, «идущей мимо школы на юг, через дубраву и поля», не раз понадобится Шкловскому для концентрации внимания на мысли о том, что, по Толстому, искусство должно быть близким и понятным так, как эта дорога понятна и близка яснополянским крестьянам.

Шкловский бывает разномаштабен. Анализ «Хаджи-Мурата» почти «молекулярен». Иные темы берутся как бы кинонаплывами, крупным кадром, смелым, неразвернутым образом. Такой «танковый» анализ оставляет тылы «пехоте». Литературоведение ведь тоже многообразно и индивидуально! Не все и не всегда требует скрупулезного подхода.

«За и против», книга о Достоевском, написана целеустремленно и монолитно. Ее пафос в доказательстве специфики реализма Достоевского, для которого жизнь была средоточием величайших противоречий во всех сферах, главным образом в сфере нравственной. Шкловский видит особость Достоевского в характере самого метода — в постоянном выслушивании до конца спора сторон. За и против — драматический нерв поэтики Достоевского.

Книга о Толстом, другом гении русской литературы XIX века, исполнена той же внимательности к проблеме драматического развития прошлого опыта, духовного развития и самоотрицания...

«Жизнь вокруг Ясной Поляны изменялась: деревня разорялась, все иллюзии, что можно через школу или через проповедь создать островок старой деревни, хотя бы вокруг Ясной Поляны, и отсюда распространить ее шире — все это исчезало.

Жизнь продолжалась по-старому, но это старое уже было иным».

Рассматривая противоречия Толстого, Шкловский прослеживает и характер его индивидуального стиля. Например: «Приводя «исторические изречения» Наполеона, Толстой прибавляет: «Из этого только следует, что слова ничего не значат и не служат выражением дела. Слова эти говорились так же неизбежно, произвольно, как они дышали или ели и спали. Вся кажущаяся странность состоит только в том, что мы хотим разумно объяснить то, что делается неразумно»...»

Формула «срывание всех и всяческих

масок» имеет те же корни. Толстой вскрывал противоречие между внешним покровом явлений и их сущностью.

Исторический процесс для Толстого не имел логики, он был «неразумен», но всю жизнь писатель искал сущность этого процесса. Так тоже проявлялась противоречивость познания мира Толстым, противоречивость личности гениального революционера духа. Отрицая что-то, Толстой строил новое.

Стиль Толстого отрицал стиль тургеневского описания, где психология более непосредственно связывалась с видимым, так сказать, осязуемым чувственно жестом персонажа. Толстой чаще прячет концы психологического анализа, заменяя развернутые описания деталями, которые кажутся частными. Тургенев в письме П. Анненкову (2 февраля 1866 года) писал: «...Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляет думать, что он все об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, а он и знает только эти мелочи». Тургенев был не прав. Шкловский говорит: «Толстой действовал методом метонимии, то есть он брал часть для того, чтобы читатель, поверив части, увидел целое как реальное. Своей манерой писания он повторял метод человеческого видения, которое видит сперва частное».

Новое в реализме Толстого — и сознание текучести мира, постоянной изменчивости человека, природы, общественных установлений, и «диалектика чувства» (Н. Чернышевский), когда мысли и чувства прослежены в момент зарождения, формирования процесса... Для Шкловского и жизнь Толстого — поле напряженной борьбы с самим собой, самопознания, развития.

Книги о Достоевском и Толстом в чем-то и автобиографичны: Шкловский пытается через биографии и книги русских писателей найти общую линию творческого поведения, понять законы художественного процесса, пути обновления художника...

Как я уже говорил, для критического метода Шкловского характерно соединение образных понятий и научных терминов.

Метод художественной прозы помогает Шкловскому строить мысль своей книги многопланово. В каждой главе завязано враз много узелков, которые могут быть развязаны здесь же либо в последующих главах. Это на первый взгляд снижает доходчивость изложения, но зато придает ему необходимую глубину. Ведь явление искусства сложно и многосторонне. Автор хочет показать естественное, развивающее-

ся обогащение жанров и форм прозы на основных этапах, то, как зарождение одного качества вызывало порою сложные возмущения всей системы, говоря языком астрономов.

Экскурсы автора в прошлое, воссоздаваемые им черты истории, быта, портреты лиц — все это обостряет наше восприятие теоретических построений Шкловского, готовит нашу мысль к восприятию новых поворотов исследовательского сюжета.

Трезвый расчет сохранить внимание читателя соседствует тут с естественной потребностью самой творческой личности в переключении скорости письма. Шкловский не только анализирует способы торможения типа тавтологического параллелизма в народном эпосе, он и сам блестяще владеет умением поставить интригующую точку в конце главы, равнозначную многоточию.

Мало кто из наших читателей знает, что у Шкловского есть книга о Боккаччо. В разговоре со мной он сказал, как всегда, экстравагантно:

— Я и сам не знаю.

Дело в том, что это не совсем книга, а запись его речей, произнесенных в Италии. Но издано это в издательстве «Мулино» отдельной книгой под названием «Боккаччо».

Говоря о Четвертом дне «Декамерона», Шкловский несчастную любовь у Боккаччо сравнивает... с «Анной Карениной».

— Ты помнишь, — говорит Шкловский мне, — женщина стоит спиной к окну. (Честно говоря, ничего не помню, но молчу.) Она так спиной и выбрасывается... Анна не может жить в обществе, ее отвергают... Заметь: мышь — Вронского — пропускают. Анну — кошку! — нет, не могут пропустить... Героиня Боккаччо говорит, что ничего уже не может есть, после того как «съедено благородное сердце» любимого... Муж заставил ее обманом съесть сердце любовника, незадолго до этого убитого им в засаде... Далее я говорю о том, что такое общество во времена Боккаччо и во времена Толстого. И как возникает противоречие любви и условностей времени...

Шкловский рассказывает, а я смотрю на стену: там висят красивая шапочка почетного доктора Сассекского университета (Великобритания), диплом почетного гражданина города Чертальядо (родина Боккаччо), которым удостоен Шкловский в 1976 году. И снова без перехода:

— А вот мой «Дон Кихот», готов...

На столе папка. В ней сценарий телеви-

зионного фильма о ламанчском идалго, созданном воображением и гением Сервантеса.

— Обрати внимание! Как изменяется способ описаний в «Дон Кихоте». Между написанием первой и второй книги как-нибудь десять—двенадцать лет, а между тем незаметно изменяется все... даже отношение к маврам... Дон Кихот приближается к Санчо Пансе (Шкловский говорит — «все более санчопансеет»), а Санчо все больше донкихотеет. Пародийный роман на глазах эволюционирует в проблемный... Мудрец не может быть безумным. Безумен мир...— И по свойственной ему склонности к ассоциациям без всякого, казалось, перехода говорит: — Отжившее осуждается в процессе спора равных противников... Достоевский в «Братьях Карамазовых» с равной силой пишет речи защитника и прокурора.

— Потому вы и назвали свою книгу о Достоевском «За и против»?

— Конечно.

— А как же выражается точка зрения художника?

— В споре,— иронически говорит Шкловский и смеется.— В споре с самим собою. И со временем. Большой художник чувствует отставание содержания своих романов или стихов от времени. Это конфликт формы, которая перестает подчиняться.

Говорю Шкловскому, что это обстоятельство как-то не останавливает многих авторов. Он вздыхает:

— Да, трудно писать, когда писать легко...

— Но пишущие трудно трудно и читаются,— возражаю я.— Ясное для художника легко читается... Толстой... Пушкин...

— Это другое. Что ясно читается? Начиная «Анну Каренину», Толстой знал, что она покончит жизнь самоубийством. Что изменит мужу и уйдет к любовнику. Что свет ей этого не простит. Выхода у нее не было. Но как это произойдет, кто виноват, какой смысл описываемых характеров — об этом он не знал, начиная писать. Он сразу не знал, что Нехлюдов предложит женщине, которую он когда-то соблазнил, женитьбу. Но что произойдет в результате конфликта, что раскроется людям, кто воскреснет — он знал... Сюжет не способен заинтересовать читателя, а способ анализа жизни, превращение внешнего во внутреннее, снятие привычного...

— Наверное,— говорю я,— сюжет раскрывает все новые варианты развития характеров?

— Разумеется... Могла ли Анна оста-

ваться верной мужу? Почему нет выхода? Почему Вронский, по собственному признанию, «такая же здоровая говядина», как и принц, которого он сопровождает? Почему в родильной горячке Анна Каренина замечает, что оба — и муж — и любовник — Алексей? Наверное, Алексей Каренин, большой чиновник, мог быть хорошим человеком, но он включен в нечеловеческие отношения. Поэтому свои нечеловеческие отношения к Анне он оформляет законом религии...— И, задумавшись, продолжает: — Раньше я писал о том, как сделана гоголевская «Шинель». Я шел от сюжета к жизни. Теперь понимаю: сюжет меняется потому, что меняется характер взаимоотношения людей в мире. Греческая трагедия основывалась на мифах, мифы были созданы давно, но изменился анализ взаимоотношений, изменились характеры, обособления событий, а значит, изменился сюжет. Тысячи раз рассказывалось о том, как изменила женщина. Пьеро тысячу раз терял Коломбину. Об этом Чаплин поставил фильм «Огни рампы», об этом писал трагические стихи Блок, писал Маяковский. Мотивировки несчастья всегда разные, хотя кажется, что те же. Меняется образ влюбленного. Меняется сюжет.

Разговор переходит на фильм «Баллада о солдате». Шкловский говорит, что герой, почти мальчик, на войне должен был ощущать «тень страха», лежащую на нем. Солдат, видевший смерть, жаден к жизни. Мимолетная любовь в фильме дана романтично, без этой тени жадности к жизни. Я пожимаю плечами. Не очень согласен. А Шкловский неожиданно говорит:

— Если бы Адам был солдатом, то он съел бы яблоки в саду еще зелеными...

Такой и сам Шкловский. Мне жаль, что многое, рассказанное им, пропадет. Я хочу и дальше приводить его высказывания последних лет, которые не публиковались. Это и отрывки из стенограммы его выступления на заседании литературной студии «Зеленая лампа», куда я пригласил его 1 декабря 1976 года, записи, сделанные мною в разное время после разговоров, отрывки из стенограммы незавершенной нашей беседы, которую я задумал для журнала...

Спросил как-то, можно ли считать позднего Шкловского человеком, отрекающимся от Шкловского раннего. Он ответил:

— Маркс говорил, что отрицание — это дело революционера, а отречение — дело христианина, религии. Он кается: прости меня, папа, прости меня, мама,— кланяется в ноги прислуге, а делает то же, что делал до сих пор. Это отречение. Отречься

от формализма не нужно, а отрицать формализм нужно, так как он бесполезен. Он не понимал, что форма существенна.

Я нахваливал одного критика. Говорил, что его читать интересно, о чем бы он ни писал. Что писатель — только повод.

— Он прежде всего должен писать о писателе и не должен преподавать... Нельзя заслонять разговорами художественное произведение. Надо приблизить его, не стоять между художественным произведением и читателем. Читатель — его цель. Писатель пишет для читателя.

Говорили о спорах критики с художником.

— Пример правильной критики. Гоголь объяснял какой-то аристократической даме в Риме, что такое огромность собора святого Петра. Он сказал: «Обернитесь». Она обернулась. «Видите огромную статую? Это большой ангел, а вот маленький — это такой же ангел. Эта деталь дает представление о величине. Она не украшение, а форма обнаружения пропорции». Произведение надо объяснять. Не опровергать, не спорить, а помочь прочесть его, что не так просто.

Зашел разговор о Данте.

— Он осуждает грехи по законам Библии и законам Рима, но он населяет ад таким количеством флорентийцев, с которыми спорит, что англичане, французы, русские не могут туда попасть. И он создает политический памфлет, и эта вещь остается и для нас...

— А мы населяем его ад своими современниками, — шучу я.

— Правильно. Там места хватит.

Рассказывая о двух Веселовских — Александре и Алексее — и знаменитой путанице с их именами, Шкловский сказал:

— Тот Веселовский был пошляк, а великий Веселовский думал правильно — литература постепенна, она не существует без отрицания, в результате постепенной гимнастики на деревьях обезьяна стала человеком...

— Когда сдала экзамен, стала человеком...

— Даже стала профессором, — подхватывает Шкловский, — а это неверно потому, что искусство показывает, как развивается человечество, но развивается через ряд отрицаний — через религию, через национальные споры, и каждый следующий шаг — отрицание отрицания...

Продолжая мысль о диалектике развития:

— Чернышевский, великий ум, говорит, что ходьба — это ряд задержанных паде-

ний. Человек ставит ногу — это поглощение падений одной и другой ноги, таким образом он передвигается. Существовало античное искусство, затем средневековое искусство, предлагавшее другие решения. Например, готика — это не то, что люди разучились ставить колонны, а они научились делать свод. Они ушли вперед, но для этого потребовалось отрицать колонны. Ряд отрицаний, которые отрицаются, но не исчезают.

Любит говорить о будущем. Часто цитирует Маяковского о воскресении.

— Шекспир понимает будущее. Шекспир идет впереди человечества. Что должен делать критик? Он не должен судить Отелло. Его уже нельзя привести в милицию. А он должен понять, знать прошлое и предвидеть будущее. Он добросовестный секундант боя прошлого с будущим. При чем будущее всегда трагически отрицает прошлое и через прошлое не переступает. Это подвиг — отойти от прошлого. — Задумавшись, улыбается. — Странно, когда видят вперед. Например, у Свифта на летучем острове в «Гулливере» герой видит спутники Марса, которые не были еще открыты. Зачем ему понадобилось так точно догадаться?

Горячо отрицает многие сегодняшние романы у нас и на Западе, если они тепловаты, сероваты, а герои их устроены в жизни:

— Дон Кихот для меня предпочтительнее, предпочтительнее Гамлет, предпочтительнее король Лир — лично для меня предпочтительнее эта вся масса неустроенных людей!..

В лекции перед студийцами «Зеленой лампы»:

— Художник видит не то, что хочет видеть, а то, что в этой вещи истина. Наша рукопись, если она хорошая, она нас умнее, потому что, когда мы пишем, мы приближаемся к кибернетической машине со знанием ее опыта... Когда Маяковский писал о добыче руды, в первую очередь он сжигал черновики. Осматривал каждую неделю карманы — все ли выбросил. Я видел страшную вещь! Я видел Горького и Маяковского плачущими от «неудачи». Не дай бог катить этот камень! Всеволод Иванов рассказывает, как в древнем Риме центурион получил отставку, идет грозный, гневный и видит голого человека, который вкатывает камень на гору, а тот снова скатывается. Человек говорит: «Я — Сизиф, осужденный в подземном царстве на бесплодную работу, но не думай, что навсегда, это всего на десять тысяч лет».

Камень — вещь, придуманная с далеким предвидением...

Последняя моя выписка из стенограммы самая пространная. Но в ней, мне кажется, весь Шкловский — писатель, прошедший огромный, поучительный для многих путь, не сдавшийся компромиссам, учившийся оставаться собой и расти.

— Вопрос в том, как писать и что же это такое — начало работы. И как делается работа, которая начинается с неудачи. Когда не выйдет, не пугайтесь. Академик Капица говорил, что когда занимаетесь физикой и все выходит, значит, вы ошиблись, значит, попали на старую работу, а если не выходит, а должно выйти, значит, есть невыясненные законы. Каждое литературное произведение создается по неопределенным законам, которые выучить нельзя, а нужно верить своей голове, иначе надо было бы собрать все кибернетические машины и все их сломать... Начнем с Чехова. Когда делалась «Скрипка Ротшильда», то первоначально Бронза был только гробовщик, который, видя, что жене его Марфе плохо и, наверное, на днях умрет, а завтра и послезавтра праздники, а там воскресенье, а понедельник — день тяжелый, значит, четыре дня нельзя будет работать, он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку для гроба. Но когда Чехов начал писать, он сделал из героя человека, который думал только об убытках. Жена говорит ему: помнишь, Яков, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы тогда с тобой все на речке сидели и песни пели... под вербой? И добавила: умерла девочка. Он говорит: тебе мерещится. Потом, когда умерла жена, он шел по берегу реки и увидел вербу, о которой говорила Марфа. И Бронза говорит: зачем мы живем в убыток? зачем человечество живет в убыток? И Бронза играет на скрипке и плачет... Вот есть старинное письмо Толстого Страхову: я пишу, мол, но у меня еще нет энергии заблуждения, чтобы писать, то есть энергии поиска...

Недавно Шкловский ездил в Испанию. Он хочет скорее увидеть своего «Дон Кихота» на экране ТВ. Снова и снова возвращается к испанским впечатлениям. Смеется лукаво:

— Один профессор спросил меня в Мадриде: «Откуда вы, сеньор, узнали, что Сервантес читал энциклопедию своего времени?! Ведь вы не знаете испанского языка! Я занимаюсь этой темой тридцать лет и не мог найти источников...» Я от-

ветил коротко: «На третьей странице романа...» — И заразительно смеется.

В Испании издали «Художественную прозу. Размышления и разборы» весьма оригинально: на обложке Дон Кихот и Санчо Панса на фоне... собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Издана и следующая книга Шкловского: «Тетива. О несходстве сходного». Издано предисловие к избранному Лоренса Стерна.

В Италии он был несколько раз. И каждый раз приезжал оттуда с новыми впечатлениями. И помолодевший.

Его книгу «Марко Поло» издали в «Мондадори». Во Флоренции работа о Боккаччо вошла в том, посвященный великому флорентийцу.

В Чертальдо он пил кьянти и пел «Катюшу» с участниками итальянского Сопротивления. В верхнем, старом городе всего сто пятьдесят жителей.

— «Теперь сто пятьдесят два», — сказал нам с женой мэр города...

В Англии он был в 1973 году. Как знак уважения к его заслугам и в связи с восьмидесятилетием ему вручался диплом доктора литературы «гонорис кауза» Сассекского университета. Председательствовал на церемонии вручения лорд Шоукросс — фигура историческая (главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от Великобритании в 1945 году). Шкловский посетил тогда Лондон, Оксфорд, колледж Брасс-ноух и Куин-колледж. Читал лекции. Отвечал на вопросы корреспондентов.

В Британском музее Шкловскому показали его книги. Со вздохом добавили, что одной уже нет на месте. Ее кто-то украл во время бомбежки. Это тронуло Шкловского. Он был растроган этим больше, чем возможным переводом его новой книги на английский.

Он рассказывает об Англии:

— В старых колледжах еще сохранились покрытые шифером древние пивоварни, где зелень газонов принадлежит к древнейшей династии трав мира, где полы не старые, но древни. Это Англия, которая все знает, все помнит, все понимает по-своему, где таксомоторы так высоки, что в их кабинках можно сидеть в цилиндрах, а цилиндры не носят. Но если бы Робинзон, или Пиквик, или герон Киплинга, или призраки Джойса пришли в Лондон или в Брайтон, они бы не потерялись, только **их** изумило бы многолюдство. Англия все знает, все помнит, все понимает по-своему. И не могу передать, как я благодарен этой стране за дружелюбие ко мне, за то, что про-

фессура и студенты хорошо знают нашу литературу, и за то, что они так спокойно изменяются...

Прослушав запись на пленку своих впечатлений об Англии и хитро улыбаясь, отчего по всему лицу побежали морщинки, Шкловский потирает свой огромный сократовский лоб. Говорит:

— Я люблю бессонницу... Потому что хорошо сплю.

И этот парадокс я понимаю. Он любит работать. Он верит в свои силы. Как-то он сказал мне, что Андрей Тарковский — наша гордость в кино, но получив «Золотого льва святого Марка» в Венеции, он должен поступить, как юноша Самсон по пути к филистимлянке — тот схватил льва за нижнюю и верхнюю челюсти и разорвал его... На мой вопрос: «Зачем?» — ответил:

— Потому что молодость — это возможность стать таким, каким еще никто не был...

Шкловский такой, каким еще никто не был.

Три года назад, то есть в восемьдесят шесть лет, Шкловский начал, а в прошлом году, то есть в восемьдесят восемь лет, завершил книгу «Энергия заблуждения». В ней около 18 листов. Она вышла в издательстве «Советский писатель». Новая работа с подзаголовком «Книга о сюжете» полна прежней молодой дерзости — автор отказывается идти протоптанными путями, даже им самим проложенными тропами. Он снова и снова переосмысливает книги Толстого, Достоевского, Чехова, Сервантеса и Боккаччо...

Шкловский продолжает.

Шкловский учит себя и нас мыслить...

В. КАВЕРИН

Старый друг

Публикуя воспоминания В. Каверина, коллектив редакции «Нового мира», пользуясь случаем, поздравляет старейшего автора «Нового мира», замечательного советского писателя Вениамина Александровича Каверина с юбилеем — восьмидесятилетием со дня рождения.

Мои довоенные письма Павлу Григорьевичу погибли, лишь немногие из его писем ко мне сохранились. Война унесла те вещественные доказательства наших на редкость близких отношений, с которых мне хотелось бы начать мой рассказ. В особенности грустно, что погибли письма 20-х годов, когда я пытался с мальчишеской дерзостью нащупать свой путь в литературе, свою позицию в жизни и Антокольский с присущей ему добротой и энергией отзывался на эти попытки.

Нас познакомил агент уголовного розыска и талантливый поэт Евгений Кумминг. Я упоминал о нем в «Освещенных окнах». У Кумминга была черта, внушавшая надежду, что он найдет свое место в нашей литературе. Он умел восхищаться. И Антокольским он был восхищен настолько, что вопреки усилиям обрести в поэзии полную самостоятельность он с не меньшей полнотой подражал ему.

Увидев Антокольского и услышав его стихи, я впервые смутно догадался, что никогда не буду поэтом. Он читал стихи с молитвенной истовостью, с неопровержимой уверенностью, что в мире нет ничего важнее поэзии. Истина заключалась уже в том, что она выражена в стихах. Казалось,

что до так называемого здравого смысла ему не было никакого дела. Впоследствии мне стало ясно, что это совсем не так. Но тогда, слушая его стихи, я понял: передо мной был поэт, который мысленно слышит слово, прежде чем занести его на бумагу. Нетрудно было догадаться, что я со своей смешной задачей сочинять стихи каждый день (хотелось мне этого или не хотелось) не имел ничего общего с поэзией, которую можно изучить, но которой нельзя научиться. Казалось бы, что в результате этого открытия я должен был потерять всякую надежду стать поэтом. Ничуть не бывало! Антокольский поддержал мои беспомощные, взятые с потолка стихи, как будто они были продиктованы не мальчишеским честолюбием, а прожитой жизнью. Я продолжал трудиться, как невольник, пока Осип Манделштам не произнес суровый приговор, положивший конец моим детским попыткам, — впрочем, я уже где-то упоминал и об этом. Отмечу, что лишь через много лет я понял ту драгоценную черту Павла Григорьевича, исключая которую вообразить его невозможно. С распростертыми руками он шел навстречу любой поэзии, даже если она была еще далека от искусства. Искренность —

вот что обнадёживало его прежде всего. Вот почему, заметив лишь искорку дарования, едва мерцающую в чужом, далеком от него душевном мире, он делал все, что было в его силах, чтобы заставить искорку разгореться и сделать неизвестный для него мир начинающего поэта просторнее и богаче. И никогда не смущался он тем, что это заставляло его отдавать молодым поэтам добрую половину своего творческого внимания. Но мне, конечно, и в голову не пришло, что наша короткая первая встреча превратится в многолетнюю дружбу.

О литературной Москве 20—30-х годов многие писали, и своим потрясающим своеобразием она действительно не могла не запомниться многим. В своих воспоминаниях писал о ней и я, но до сих пор мне не случалось даже приблизительно, на глаз прикинуть, какое же расстояние было в ту пору между Антокольским и мною. Теперь, с высоты своих лет, я могу назвать его; бесконечность. Он был поэтом, актером, режиссером. Он учился в драматической студии, руководимой Вахтанговым. Стихи его лились, писались легко, с вдохновением, а я бился над своими, с трудом подбирая оригинальную рифму. В «Кафе поэтов», в издательствах, на литературных вечерах — везде его имя производилось с уважением, а я был одним из бесчисленных маленьких поэтиков, которые шептались на ухо свои стихи друг другу, сидя на подоконниках Дома искусств. И если бы не Евгений Кумминг, я бы увидел Антокольского не в старомодной квартире его отца, а на эстраде, подле знаменитых имажинистов, с которыми он держался на равных. Да, Е. Кумминг был мостом между нами, и для тех, кто намерен серьезно заняться творчеством Антокольского, это имя должно получить еще далеко не оцененное место. Он хладнокровно, на первый взгляд убедительно отрицал, что подражает Антокольскому, хотя теперь совершенно ясно, что эти доказательства никого не могли убедить.

Никто еще, кажется, по дарственным надписям на авторских книгах не пытался воспроизвести истории отношений. Это не очень скромно, но, кажется, ново. Первую книгу «Запад» (1923) он надписал: «Дорогому Вениамину Каверину...» Вторую не прислал. На третьей, называя меня милым, крепко обнимает и поздравляет с Новым годом (1927). На четвертой: «Веньямину Каверину, дорогому и близкому, с верой в то, что будущее — наше» (1929). На пятой: «Вениамину Александровичу Каверину с

приветом вообще и в театре Вахтангова в частности» (1930). На шестой, называя меня по имени и на «ты», он пишет, что ждет моего приезда в Москву (1932). Седьмая еще яснее говорит о нашем сближении: «Дорогому родному другу с нежностью, с уважением, желанием всегда быть вместе и рядом» (1938). В 1945-м — девятая со стихотворной надписью, говорящей о том, что он переходит на прозу. Не буду приводить других, все более сердечных. Он присылал мне каждую новую книгу, и я неизменно отвечал ему строгим, как и полагается между друзьями, разбором. Однако приведу две последние надписи: «Милому навсегда, до конца, горячо любимому писателю, другу — нет! — брату во Аполлоне, если не во Христе — с новым «Великим Неизвестным» 1964 годом». И на собрании сочинений: «Милый мой, славный и добрый друг! На этой странице не хватит места, чтобы внятно выразить слишком многое, связавшее две наших разных, а все-таки в главном похожих дороги... да и жизни тоже. Как же определить это главное? Почти невысказано. Ведь мы встречались совсем не часто, но именно эти встречи и определяли наше единство на белом свете, на красном столе литературы, на черном поле, усеянном костями ушедших навсегда... Твой навсегда».

Пылкость была его характерной чертой. Недаром он, по моему мнению, лучше всех переводил Гюго. Пылкость и любовь к ни на кого не похожим людям, к острым, впервые совершившимся событиям. Событиям как сиюминутным, так и историческим — они были для него почти равны.

В доме Николая Тихонова был «уголок Антокольского». Поэты в молодости были очень близки, хотя спутать их произведения невозможно. И Тихонов и я в особенности любили превосходный цикл Антокольского «Обручение во сне». Однако высоко оценивая его поэзию, Тихонов, так же как и я, сетовал на ее многословность, на однообразие высоких интонаций, на недостаточную строгость отбора. Пословица говорит: на частую дружбу — часом раздружье. Редкие случаи раздружья в наших отношениях объяснялись именно этой нестрогостью отбора, которая охватывала не только круг поэзии, но и круг профессионального существования.

Каждый день его жизни был зримо или незримо связан с понятием «зрелище», с

влюбленностью в театр. Гимназист 8-го класса, он поступает в Мансуровскую студию, где занимается под руководством Евгения Вахтангова. Он пишет пьесу в стихах «Кукла инфанты», которая репетируется в студии. Вскоре он пишет новую пьесу «Кот в сапогах, или Обручение во сне». Вместе с Ю. Завадским он несколько лет ведет кочевую жизнь, выезжая с актерами молодой труппы на фронты гражданской войны. Он пишет песенку для «Принцессы Турандот», а после смерти Вахтангова продолжает работать в его театре. Он инсценирует роман Уэллса «Когда спящий проснется», работает вместе с Р. Симоновым над «Марион Делорм» Гюго и «На крови» Мстиславского. Впоследствии он участвует в постановке знаменитого «Булычова». Он ставит «Коварство и любовь» Шиллера, задумав закончить этот спектакль внезапной смертью отца Луизы во время исполнения оркестром финала 9-й симфонии Бетховена. Его дерзкие режиссерские замыслы, в которых фантастика остро смешивалась с реальностью, к сожалению, почти не осуществились, но зато с какой остротой они были разыграны в его воображении. Не сомневаюсь, что эта знакомая лишь самым близким друзьям работа оплодотворила его лучшие стихи. В 1932—1933 годах он ставит в Витебске «Женитьбу Фигаро», а потом с азартом, увлечением посвящает себя работе в колхозном театре Горьковской области. В этом театре он ставит Рахманова, Катаева, Симонова, Светлова. Благодаря его поддержке театр получает постоянную площадку на Горьковском автозаводе. С началом Великой Отечественной войны театр, которому присвоено имя В. Чкалова, становится фронтовым.

«Но театр, театр! — пишет он Л. Левину¹. — Всю жизнь я буду считать, что часы, ночи, дни, проведенные за режиссерским столиком, в любых, самых трудных условиях, — это самые наполненные (творчески) времена моей жизни».

Вот что он писал мне в июне 1940 года:

«Дорогой мой друг!

Надеюсь, ты уже в Ленинграде, сидишь мирно на Грибоедовском канале и перевез все свое семейство на дачу... Какой же ты в этом году? Конечно — здоровый. Конечно — молодой. Конечно — в хорошей рабочей форме. Я пишу тебе из Дзержинска Горьковской области. Моя страсть к театру приняла какие-то чуть ли не урод-

ливо-конкретные формы, но я за нее полностью отвечаю... И вот — опять здесь, с этим прелестным коллективом, со своими учениками. Сейчас поздняя ночь. Сажу в холодном гостиничном номере. Где-то в вестибюле радиоприемник принимает на волне Коминтерна бой часов Спасской башни. Я ни стар, ни молод, ни болтлив, ни сосредоточен, ни влюблен, ни зол — и всего этого есть в изрядной дозе. Отрыв от Москвы мне до крайности нужен, и с каждым годом все больше и больше. Мне до смерти нужно быть одиноким, несчастным, драться за чужую молодость, мало спать, ждать какого-то узкоколейного трамвая, чтобы не дай боже не опоздать на репетицию, и т. д. Это единственный путь, чтобы по всей совести чувствовать себя художником до конца своих дней: художником, а не «деятелем» или «величиной» (чуть было не написал: «ветчиной»). И пускай к черту при этом летят на неопределенное время стихи! Я очень точно знаю, что тут-то как раз они не полетят...

Лето у меня было занятое. Сначала по дороге из Москвы в Сочи у меня украли чемодан с рукописями. Среди них одна совершенно не восстанавливаемая: черновик перевода «Лейли и Меджнуна». Я был так ошарашен этим, что решил вознаградить себя с другого конца и начал писать стихи. Кроме стихов, написал поэму о крепостном художнике, Павле Первом и т. д. Эту поэму посвятил Юрию Николаевичу² (на что есть очень ясное основание в теме). Но хочу послать ему ее, когда вещь будет уже напечатана. Эта жаркая пора в Сочи продолжалась всего три недели, и я о ней вспоминаю с яростной нежностью, как о потерянном рае. Затем примчался сюда, в Горьковскую область, но не в Дзержинск, где сижу сейчас, а в самую глушь и сердце края, на Оку, в Муромские леса. Это два городка — Вукса и Кулебаки. В обоих старинные заводы еще петровских времен, но в первом сверх того — широкое и глубокое озеро, запущенный парк, а во втором — песок, песок, песок и за несколько километров — быстрая речка Тёша. О природе можно бы и подробнее и живописней, но суть не в ней, поскольку мне пришлось пользоваться ею больше вприглядку: опять на плечах был юный коллектив и вот мы ставили занятную пьесу Кости Симонова, которого ты знаешь. Потом опять была на короткое время Москва со всем, что в ней есть дурного и хороше-

¹ Л. Левин. Четыре жизни. Хроника трудов и дней Павла Антокольского.

² Тынянову.

го (хорошее — это только Зоя³), — и опять здесь. Вот тебе холодный преискурант этих нескольких месяцев. Ну, надо сказать, что «Лейли и Меджнуна» я перевел все-таки заново...

Вот — очень много о себе, и без большого толка. Я слышал, что у тебя есть или наклеивается новая пьеса. Поскольку у меня теперь свой театр, со спокойной совестью прошу дать эту пьесу мне... Ведь я даже подумывал о твоих «Актерах» — но как быть с немецкой оккупацией? ⁴ Во всяком случае, твоя пьеса в моем театре — пойдет! Это как бог свят. Пожалуйста, если она готова, если одобрена, если есть лишний экземпляр, пришли мне ее по возможности незамедлительно.

Когда выйдут отдельной книгой «Два капитана»? Что ты делаешь сейчас? Мы, как это часто бывало раньше, очень давно не виделись и, может быть, когда встретимся, принуждены будем что-то «начинать сначала». Впрочем, нет! Мы начнем с середины, то есть с самой сердечной сути.

Крепко тебя целую и шлю горячий привет Лидии Николаевне, Юрию Николаевичу, всему твоему и его семейству. Пожалуйста, напиши мне побольше о себе.

Твой Павел.

PS. Посылаю тебе, по очень старой традиции, два новых стихотворения. Это не все, что у меня имеется, но этими почему-то особенно захотелось поделиться».

Это были «Фламанская школа» и «Полет светляков» — превосходные стихотворения, которые впоследствии печатались неоднократно.

Другое письмо, в марте 1942 года, он украшает неопубликованными строками, в которых рассказывает о своей работе в Театре имени Чкалова.

Я шлю привет тебе, Каверин,
Из недр автозавода, где
Своей старинной страсти верен,
Как рыба смолоду воде;

Где, позабыв уют неценный,
Я обучаю молодежь
Владеть собой, искусством, сценой —
На меньшем их не проведешь.
Уж месяц как сюда приехав,
Я ставлю «Свадьбу Фигаро».
Письмо в стихах — как бы прореха
В лохмотьях, крашенных пестро.
Ты сквозь нее увидишь лица,
Глаза, походки, доброту,
Вот этот малый веселится
С окурком тужущим во рту.

³ Зоя Константиновна Важанова, артистка Вахтанговского театра, вторая жена Антокольского.

⁴ В пьесе «Актеры» действие происходит в 1918 году на Украине, в городке, захваченном немецкими войсками.

Другой, направив лобзик честный,
Макет на диво мастерит.
И вот на сцене пыльной, тесной
Священный торжествует ритм.

Пусть их недосыта кормили,
Пусть их недочерна сожгли:
Они живут впервые в мире
На грозном празднике земли.
Для них Шекспир — крылатый ветер,
Что их на части растерзал.
Он беспощадно чист и светел,
Как воздух межпланетных зал.

Но суть не в том! Мне бы хотелось
О многом поболтать с тобой,
Проверить нашей дружбы целость.
Ведь мы обласканы судьбой,—
Ты помнишь осень в Ереване?
О, как там сладок виноград!
Но мы верблюды в караване:
Бредем под кладью, рад не рад!
«Два капитана!» Где вы, что вы?
Не сверстан ли последний лист?
Не вышел ли роман готовый?
Не создан вновь ли «Скандалист»?
В каких гуляешь ты широтах?
Какою дышишь новизной?
Все так же молод, чист и кроток
Перед идущей весной?
Сейчас я счастлив непомерно,
Не сам не знаю почему.
Пусть это счастье эфемерно,
Пусть непостижное уму,
Пусть о чужую греюсь юность,
Но существует все ж оно —
В пыли, где некуда и сплунуть,—
Нарядно и напряжено!

Меньше всего мне хотелось бы превращать эти беглые воспоминания в историко-литературную статью. Но трудно пройти мимо поэмы «Франсуа Вийон», который был не только любимым поэтом Антокольского, но одной из самых значительных фигур в истории мировой поэзии. В предисловии к поэме он называет поэта ранней ласточкой Возрождения.

У Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Вийон уже на склоне лет, удалившись в монастырь, остается шутником, всегда готовым на рискованные проделки. В рассказе Р. Л. Стивенсона «Ночлег Франсуа Вийона» он бродяга и вор, который ищет и находит случайные монеты в чулке замерзшей проститутки. Свидетель убийства, он прячется от ночной стражи, обходящей оцепеневший от лютного мороза Париж. Он просится хоть переночевать у каноника, который его воспитал, и получает отказ. Замерзший и голодный, он стучится в первый попавшийся дом и ведет длинный разговор с сановником католической церкви, разговор бесстыдный и циничный, который кончается тем, что его выгоняют. Он вор до мозга костей, а что касается поэзии, то

ей Стивенсон уделяет только несколько строк — Вийон сочиняет стихотворение и ему не дается рифма. Но оставив за границами рассказа многое, что известно о Вийоне — легенды и факты о том, что он грабил церкви, убил в драке священника, бежал из Парижа, участвовал в ограблениях, не раз сидел в тюрьме, был приговорен к повешению и участвовал в состязаниях поэтов при дворе Карла Орлеанского, — Стивенсон все же создал портрет истинного поэта, который не боится смерти и смеется над ней. Я люблю перечитывать этот рассказ, потому что он для меня — образец выразительности, неразрывно связанной с лаконизмом.

Без сомнения, Антокольский, глубокий знаток западноевропейской культуры, широко использовал все многочисленные материалы, относящиеся к загадочной жизни Вийона. Мне кажется, что в своей поэме (предназначавшейся для «Театра поэтов», о котором он мечтал всю жизнь) Антокольский не мог пройти мимо гениального рассказа Стивенсона. Но он поставил перед собой более сложную задачу. Драматическая поэма, да еще в трех действиях, нуждалась в сюжете. И он придумал этот сюжет, смело развивающийся вначале, но заблудившийся, к сожалению, между нищими, калеками, тюремщиками и бесноватыми в конце. Многие стихотворные диалоги блестящи. Неожиданное превращение беспечного школяра Корбо в строгого проповедника и безжалостного судью придумано и воплощено превосходно. Вийон нарисован с первых лет жизни до виселицы. С тонким сарказмом изображены странности в биографии Вийона, которые много лет сбивали с толку исследователей творчества бессмертного поэта. Нельзя сказать, что в поэме чувствуется итог. О Вийоне еще будут писать. Но Антокольский собрал и факты и легенды, соединив их в попытке не только рассказать жизнь Вийона, но и предсказать его воображаемое будущее. В одной из последних сцен Франсуа мчится сквозь века, как бы предсказывая, что его никогда не забудут. Он — в XVII веке;

Слышишь гул железных бивней,
Пенье ткацких веретен?
Видишь пятна желтых зарев,
Непонятных ламп шары?

Он — в наших днях:

Что за город, разбазарив
Столько яркой мишуры,
Рвется вверх в огне и дыме,
От кровавых ссадин рыж?
.....
Там мы были молодыми,
Этот город — твой Париж.

Всю жизнь он был окружен толпой друзей, которые души в нем не чаяли. Так было в Мансуровской студии, в театре Горьковского автозавода, который он создал, в театре Вахтангова, в бесчисленных поездках по стране с писательскими бригадами,

«В годы войны квартира Антокольского, — пишет его биограф Л. Левин, — на улице Щукина превратилась в нечто среднее между литературным штабом и гостиницей для фронтовиков. Здесь кое-как подерживалось тепло. Гостей угощали кружкой черного кофе без сахара и куском черного хлеба с солью. Сюда приезжали прямо с фронта, чтобы немного обогреться, повидать друзей, прочитать свои новые стихи.

Здесь бывали Е. Долматовский, К. Симонов, М. Матусовский, В. Гольцев, здесь останавливались М. Бажан, С. Головановский, Л. Первомайский, здесь рассказывали о буднях блокадного Ленинграда Н. Тихонов и Н. Браун, здесь находили приют и оказавшиеся бездомными москвичи — например, А. Фадеев».

Приехав с Северного флота, я прежде всего позвонил Павлу Григорьевичу: узнать, что у него нового, что нового у наших общих друзей — Л. Первомайского, Софьи Григорьевны Долматовской, у которой давно не было известий с фронта от мужа. Зоя подошла к телефону, и по тому, с какой безнадежностью прозвучал ее голос, я понял, что случилась беда.

— Как, вы ничего не знаете? Вова убит. Где вы? Когда можете к нам приехать? Я не знаю, что делать с Павликом. Он никого не хочет видеть. Но вы приезжайте, именно вы.

Она встретила меня в квартире на улице Щукина бледная, с измученным лицом, как будто приказавшая себе не плакать. Павла я нашел неузнаваемо постаревшим, с почти равнодушным окаменевшим лицом — именно это меня напугало. Он был занят — рисовал сына, и уже не в первый, а, может быть, в двадцатый раз. Рисунки красивого юноши в офицерской форме лежали на окне, на столе, на бюро, виднелись за стеклами книжного шкафа. И мой приход не оторвал его от этого занятия. Мы обнялись, а потом он снова сел за стол и взял карандаш в руки. Что я мог сказать ему? Молчание длилось долго, не меньше получаса. Он рисовал, а я смотрел на него. Зоя приоткрыла и тотчас захлопнула дверь. Потом, после бессвязного разговора, который он начал почти бесстраст-

ным голосом: откуда я приехал, как дела на флоте, как мне живется в новом, тогда еще непривычном кругу,— я вдруг сказал:

— Павлик, ты не должен рисовать Володю. Ты должен написать его. Расскажи, каким он был в школе, что его интересовало, с кем он был дружен, как провел ночь после окончания школы, в кого был влюблен.

Он спросил:

— Ты думаешь?

Так он всегда спрашивал, советуясь со мной о новом замысле, и наша беседа, в которой бились, не находя выхода, обморочные, невысказанные слова, вдруг ожила, очнулась. Это была минута, когда он отложил в сторону картон с незаконченным портретом сына. Кстати отмечу, что Павел Григорьевич был прекрасным рисовальщиком и портреты Володи были не только похожи, но оттушеваны и выписаны с тщательностью, в которой было что-то испугавшее меня, близкое к безумию.

Больше мы не говорили о его будущей поэме «Сын», отозвавшейся в сердцах тысяч и тысяч людей и принесшей ему, и без того уже известному поэту, всеобщую славу. Это была заслуженная слава. Поэма написана с еще небывалой для Антокольского силой. Конечно, не я, а сама поэзия, которая была неумолимым двигателем его жизни, вложила в его руки перо.

Теперь, вспоминая о том, как мы впервые заговорили о поэме, окруженные портретами Володи, я вспоминаю некоторые поразившие меня пронзительной поэтической ясностью строки⁵:

Настанет час, когда ты будешь
С чужою женщиной вдвоем.
Ты, может быть, не позабудешь
Меня на празднике своем.

Забуды! Я ничего не значил,
Я — перечеркнутый чертеж,
Который ты переиначил,
Письмо, что ты не прочитаешь.

В 20-х годах Антокольский написал известное стихотворение «Санкюлот», и талантливый пародист А. Архангельский отозвался на него меткой пародией:

Мать моя меня рожала туго.
Дождь скулил, и град полосовал.
Гром гремел. Справляла шаша вьюга.
Жуть была что надо. Завывал
Хор мегер, горгон, эриний, фурий,
Всех стихий полночный персимфанс,
Лысых ведьм контрданс на партитуре
И, водой со всех сторон подмочен,
Был я зол и очень озабочен
И с проклятьем прекратил сеанс.

⁵ Они вошли в стихотворение «Мой сын»

В этой пародии талантливо схвачен «интерьер» поэзии Антокольского. Мегеры, горгоны, эринии, фурии, химеры — «всех стихий полночный персимфанс». Эта черта, в молодости сблизившая нас, была связана с истоками поэзии Антокольского — ведь, в сущности, мы оба пришли из литературы. Не раз я писал о нелегкой плодотворности подобного начала. Нелегкой, потому что она неизменно сопровождает тех, кто с трудом выбирается из необозримого книжного мира, не теряя при этом его неоценимых преимуществ. В моей работе эта разлука происходила то медленно, то неожиданно, удивлявшими моих друзей и учителей рывками. В жизни Антокольского она сопровождалась событием, перевернувшим всю его жизнь. Перечитайте поэму «Сын» — и вы будете поражены классической стройностью, которой она проникнута от первого до последнего слова. Она проста, глубока и радует той полнотой подробностей, в которой нет ничего лишнего, идущего от воображения. Сквозь историю трагической гибели восемнадцатилетнего юноши с необыкновенной отчетливостью проступает вся его несложная, но трогательная биография.

Антокольскому всегда был близок жанр портрета — можно смело сказать, что это его любимый жанр. Он написал портреты друзей: Тициана Табидзе, Николая Тихонова, Марины Цветаевой, Ольги Берггольд. У него десятки исторических портретов, среди них Иероним Босх, Бальзак, Шекспир, Эдмонд Кин, Робеспьер, Эсхил, Нико Пирсманншвили. И мы проходим эту блестящую галерею при свете сверкающих люстр, под звон старинных колоколов, вдоль искусно раскрашенных декораций.

Ни этих декораций, ни яркого света люстр нет в поэме «Сын». О ней можно сказать, что она написана при свете скромной свечи, в щемящем одиночестве ночи. Вы не найдете в ней затейливых метафор, неожиданных поворотов, шумной бестолочи исторических картин. Весь этот «стихотворный театр» заменяют простые подробности, от которых вздрагивает сердце. «Макеты сцен, не иггранных в театре, модели шхун, не плывших никуда», детские и юношеские письма, готовальня, неоконченные рисунки, плоский ящик с палитрой, велосипед со стертymi шинами, на котором Вова с друзьями гонял по Москве,— мелочи обыденной жизни поднимаются со дна памяти и являются в новом, глубоком значении. «Что он любил еще?»

«Пестрота беспечности» не только рассказана — она вырезана со всей ясностью

прозы, не упускающей ни одной подробности, властно уводящей читателя в глубину непрожитой жизни. Л. Левин в книге «Четыре жизни» рассказывает о том, что все эти рисунки, тюбики с краской, готовальня были сложены в кованный ларец, и долго, в течение пяти лет, ларец оставался закрытым. Отец не хотел растравлять душевную рану, возвращаясь к трагедии, переломившей жизнь, но его поэзия то и дело невольно возвращалась к ней. Я говорю не о том, что стихи Антокольского, написанные после смерти сына, поставили его в ряд самых значительных наших поэтов, а о том, что поэтические открытия, как бы сами по себе сказавшиеся в этой поэме, не только не были забыты, но здесь и там сверкают в стихах, созданных в течение более тридцати лет его послевоенной жизни. Его театральность не исчезла, но высшие понятия История, Судьба, Время потеряли свои заглавные буквы, отступив в глубину. Подобно добротной ткани, они получили вещественную основу, и этой основой оказалось то, что воочию видели глаза, не торпившиеся обогнать воображение. Некоторые строки поэмы нашли свое место на новых страницах, и я убежден, что ни стихи о леди Гамильтон (о которой бойцы смотрят фильм в Брянском лесу), ни «Невольничий рынок» не были бы написаны с такой меткостью простоты, если б Антокольский не пришел к этой меткости, работая над «Сыном». Там у него не было места для прописных букв. Там время и пространство были воплощены в тюбики с краской, готовальню, в детский театр — в подлинную биографию, в дни и минуты вечной разлуки. И недаром осиротевшие матери Австралии возложили венок в память Володы в Сиднее в июле 1942 года, а Тихонов назвал поэму «песней скальда над могилой сына, павшего за родину». С мишурой театра, с колдовством зрелища, быть может унаследованным еще от «Балаганчика» Блока, Антокольский растался. Или если не растался навсегда, но начал писать, «отвергая торжественность», как он приказал себе в книге «Конец века»:

Пиши, отвергая торжественность,
Ты знаешь про что и о чем...

После этой поэмы, всматриваясь в черты своей музыки, он ищет и находит все более простые слова, подсказывающие рискованную мысль о сложном маршруте, который был проделан Антокольским, — от Блока к Твардовскому. В его послевоенных произведениях она приводит его к композиции, которую можно назвать классической: ее основа угадывается в творчестве таких да-

লেখকৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে, যিটোৱে পঢ়োৱাৰ বাবে গভীৰ অজানতাৰ জীৱনলৈ পঢ়োৱাৰ বাবে ল. লেভিনে 'চাৰু জীৱন'ত কয় যে এই চিত্ৰবোৰ, ট্যুবি আৰু লেংগাৰত সজা হৈছিল, আৰু পাঁচ বছৰলৈ এই লেংগাৰটো বন্ধ হৈছিল। পিতৃয়ে আত্মহত্যাৰ বিষয়ে ক'বলৈ চাহিছিল, কিন্তু তেওঁৰ কবিতাই তেওঁক অজানতাই ফিৰাইছিল। মই ক'বলৈ চাহিছোঁ যে এই কবিতাবোৰ, যিবোৰে পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত লিখা হৈছিল, তেওঁক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কবিৰ সৈতে একেলগ কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ কবিতাৰ আৱিষ্কাৰ, যিবোৰে নিজকে কবিতাৰ ভিতৰত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কেৱলমই ভুল হৈছিল। তেওঁৰ কবিতাৰ আৱিষ্কাৰ, যিবোৰে নিজকে কবিতাৰ ভিতৰত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কেৱলমই ভুল হৈছিল। তেওঁৰ কবিতাৰ আৱিষ্কাৰ, যিবোৰে নিজকে কবিতাৰ ভিতৰত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কেৱলমই ভুল হৈছিল।

Поэзия с Театром навсегда
Обвенчаны — не в церкви, в чистом
поле,—

пишет он поэту и актеру Владимиру Репетеру. Но поставьте любую из послевоенных книг рядом с «театральными поэмами» Антокольского — и вы убедитесь в том, что точно и зримо рассказанная биография сына вещественно отразилась на всей его дальнейшей работе.

Внук Антокольского Андрей Тоом разрешил мне ознакомиться с дневником, который Павел Григорьевич вел в 60—70-х годах, и обо многом подумал я, читая и перечитывая эти страницы. О том, что хотя после войны мы оба жили в Москве и могли встречаться хоть каждый день — встречались два-три раза в год. О том, что со мною он мог поделиться раздумьями, которые доверял лишь своему дневнику. О том, что, прекрасно зная его, я все же не представлял себе требовательности, с которой он к себе относился. Как корил себя! Как терзался мыслью о том, что все труднее становится служить нашей поэзии неистово и страстно, как он служил ей в молодые годы. Я понял, как строго судил себя, размышляя о своей нравственной позиции в литературе. Как был не уверен в себе! Как нуждался в поддержке!

Но многое и подтвердилось. Не только то, что я знал, но и то, что чувствовал, читая его поэзию и прозу. Подтвердилось, например, догадка, что между писанием и существованием он еще с юности поставил знак равенства — и это было не решением, даже не привычкой, а железным условием существования. Я сам пишу почти каждый день, но в это «почти» входит обдумывание замысла, когда я по месяцам не беру пера в руки. У Антокольского не было этого «почти». Он писал всегда. И в дневнике откровенно признается в этом. Но признается с оговоркой. «Ясная концепция самой вещи, связанность кусков всегда приходит ко мне в последнюю очередь, — пишет он в марте 1965 года. — Я вижу прежде, чем оцениваю». Поэма «Коммуна 1871 года» так и осталась в отрывках, потому что они были написаны прежде, чем определилось их композиционное назначение. Причина та же: невозможность удержать руку, ко-

торая стремится воплотить еще туманную, лишь промелькнувшую мысль, и надежда, что стройность сама придет, когда работа будет уже в разгаре. А вот еще одно характерное признание: «Если разгон и разбег этого года взят, выдержать ритм и темп — и шагать куда глаза глядят. Только в этом мое спасение, только в труде, будь он трижды проклят и семижды благословен».

И действительно, внутренняя связь, естественность перехода от строки к строке, от главы к главе подчас приходит в разгар работы. Чудо совершается. «Книга начинает сама писать себя», — как некогда сказал Виктор Шкловский. Но в подавляющем большинстве случаев этого не происходит, и, как это ни странно, именно потому, что книга мешает «непрерывность работы». Это парадоксально, но я убежден, что если б Антокольский неторопливо и долго обдумывал свои произведения, он не пришел бы к горькому признанию в предлонных годах:

Я не мыслитель. Стих мой не глубок.

Он поднялся бы на более высокую ступень в нашей поэзии. Но что же делать, если ежедневно, ежечасно «руки тянутся к перу, перо к бумаге»? «Болезнь вдохновения» подчас подтачивала силы гениальных писателей. Золя привязывал себя к креслу, Бальзак давал клятву мадонне, что не будет писать хоть год, полгода, месяц, и пользовался любыми предложениями, чтобы изменить этой клятве.

И о другом подумал я, читая дневники Антокольского. Распространено мнение, что в мемуарах нет и не может быть героя или героини в том смысле, в котором пользуются этим понятием, говоря о повести или романе. Трудно возразить! И у Антокольского основная черта — хроника, течение событий. Но в эту хронику сама жизнь врезала историю героини. Павел Григорьевич посвятил много стихотворений своей жене Зое Константиновне Бажановой. Лучшие из них когда-то читались и почитались в тихоновском «уголке Антокольского», о котором я упоминал. После кончины Зои Константиновны он завершил этот цикл поэмой «Зоя Бажанова», в которой рассказал ее биографию. Рассказал искренне, правдиво, подробно, с трогательным восхищением. Но рядом с дневником, который пропозан присутствием Зои Константиновны, ее беспрепятственным, настоящим участием в его поэзии и жизни, эта поэма кажется мне слишком изящной, похожей на прозрачную тень. «Лучшему из существ белокурых», как назвал ее в молодости

Антокольский, приходилось трудно, как подсказывает мне мой долголетний жизненный опыт. Антокольский остро нуждался в поддержке. Жизнь и работа его складывались, только когда в их сочетании участвовала Зоя. Вот что пишет он о чтении своей только законченной сказки о Шекспире: «Сказать правду, Зои как слушательницы я боялся больше всех. Она, моя голубка, тоже наговорила много невеселых вещей, но на этот раз с меньшей остротой и пронизательностью, чем всегда. Главное у нее в том, что во всей вещи нет моей сверхзадачи, неизвестно, зачем и ради чего закручена вся эта канитель».

Зое Константиновне было нелегко не только потому, что она была женой поэта, но и потому, что он был человеком бешеного темперамента, бесконечно вспыльчивый, непостоянный, трудолюбивый и одновременно беспечный. Человек, в котором крайности скрещивались, который легко поддавался чужому влиянию, внушавшему ему подчас ложные, никуда не идущие соображения. Я однажды слышал его речь, направленную против книг вообще, упрекающую всех в мире авторов за то, что они их написали. Он утверждал это не наедине с собой, но в кругу писателей, и естественно, что некоторые из них не поняли, как этот страстный книжник, всю жизнь собиравший книги и отдававший свою жизнь, чтобы написать новые книги, мог отречься и от тех и от других. Причем он искренне удивлялся, когда я весьма сурово отнесся к его выступлению. Это не помешало ему вскоре признаться, что он был «просто глуп, безумно, непоправимо глуп». Эта эскапада повторялась, причем в гораздо более серьезных случаях, когда он был вынужден отрезаться от своих соображений в печати. В сущности, мир, в котором он жил, был поэзией и только поэзией, а то, что происходило вне ее, казалось ему не стоящим серьезного внимания. Он жил поступками. Равномерное течение жизни, ее последовательность для него существовали только в прошлом, а в настоящем не имели особого значения. Подчас он производил впечатление человека, выходящего за естественные нормы человеческого существования. «Сумасшедшее сердце» — называл его с любовью Юрий Тянынов. И в мемуарах его, охватывающих лишь очень короткую часть его жизни, видна эта беспорядочность, это бросание от своих книг к другим, эта бешеная борьба с давно покойными мыслителями, эти споры, которые он затеял ни много ни мало с целым столетием. Вот рядом с таким-то

человеком жила стройная, белокурая маленькая женщина с большим сердцем и железной волей. Она была не просто нужна ему — без нее мгновенно рассыпалось бы все его бытовое и поэтическое существование. Вот пример один из многих: «Оказывается, Зоя скрыла от меня — тщательно и напрочь, как только она умеет скрывать, — одну тревогу: письмо от Красногладовой (редактор моего двухтомника) с сообщением, что Комитет по делам печати сократил это издание на 9 или 10 листов. Зоя не показала мне этого письма. Она сама пошла в Гослит к Косолапову, к Симонову, еще куда-то звонила и в результате добилась отмены того сокращения... Зоя — это чудо. И это тоже важно. Это самое важное».

Для человека, который и сам не знал, в какой мере, когда и где он может настаивать на своей нравственной позиции, было более чем существенно важно, что «Зоя непрестанно заботилась о том, чтобы я во всем деле, решительно во всем не терял, так сказать, головы... Сказать, что с ее стороны это мудро, еще ничего не сказать. Прежде всего это честно».

Мало сказать, что она была радушна и гостеприимна, она была одновременно безмерно гостеприимна. 24 февраля 1966 года Антокольских посетили молодые поэты. «Конечно, моя Зоя накормила чем бог послал всех тридцать этих запыхавшихся юношей».

И Антокольский глубоко понимал талантливую в своей мудрости и умении безотказно делать добро жену. Можно смело сказать, что никого он никогда так не понимал и так не любил, как своего верного, на всю жизнь преданного друга. Только ей одной он позволял держать себя в ежовых рукавицах. «Зоя держит меня в ежовых рукавицах по-прежнему. И я безропотно выношу это главным образом из любви, уважения, благодарности к ней, а не потому, что убежден в необходимости такого режима». Но в этих отношениях мало было любить и жалеть. Надо было еще понимать, и глубоко понимать. «Между Зоей и мной разница та, что я все что угодно переношу легко, а она все что угодно, даже хорошее, — трудно».

Особо нужно отметить, что З. К. Бажанова была талантливым скульптором по дереву. Выставка ее фигур (Макбета, Дон Кихота и других героев мировой литературы) имела в Доме литераторов огромный успех. Я уж не говорю о том, что на ней, «на ее слабых плечах», лежала вся

тяжесть домашних дел, хозяйственные хлопоты (уборка дома, закупки) — словом, весь круг условий так называемого человеческого существования. Вот почему в мемуарах — Антокольский вернулся к ним через два года после смерти Зои Константиновны — каждая страница украшена ее именем, подчас повторенным по десять раз («Зоя, Зоя... Зоя! Зоя!»). «Тонкие березки стоят голые и в них — душа Зои. Ее душа во всей этой черной земле, в последних островках снега, в кристальном воздухе, в комнате, которая единственная осталась ее прибежищем, где тесно собраны ее скульптуры». Что бы ни случилось (а в его жизни случилось очень многое после того, как ему исполнилось семьдесят лет), ничего не проходило без пронизывающего вопроса, как отнеслась бы к этому Зоя.

Я не сказал и десятой доли того, что мог бы сказать об Антокольском. Я даже не попытался нарисовать его поэтическую личность. Я рассказал лишь о том, почему мне больше всего нравилось то, за что Антокольского больше всего упрекали. Ведь он показал, что любовь к театру может быть могучим орудием поэзии, за театральной маской он сумел разглядеть подлинных действующих лиц. Определение, которое привычно звучит в устах многих поэтов, оценивающих его дарование: «театральный поэт», — ничего не значит. Потому что в его лучших произведениях поэтический голос звучал полномерно и гордо, как звучали со сцены голоса Остужева и Ермоловой, Чехова и Коонен. А это больше чем театр. Это властное вмешательство в жизнь.

Можно было больше сказать о необычном отсутствии замкнутости в характере этого большого поэта. Его готовность поделиться самым заветным, готовность, которая недаром привлекала к нему молодые сердца. Отдавать другим жар души без остатка со всей энергией зрелости — это не только доброта, хотя и доброта — немало. Это непрерывная, час за часом, год за годом забота о нашей литературе. Антокольский понимал, что нужно заботиться о поэзии, чтобы она не потускнела, не обеднела, не лишилась любви читателя, не стала плоским пересказом пересказов, не оборвалась, когда начинает казаться, что она никому не нужна. Что нужно думать о ней, как думал о законе всемирного тяготения Ньютон, прежде чем открыть его. Ничто не приходит само собой ни в науке, ни в искусстве. Все решает труд, «трижды проклятый и семижды благословенный».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Иосиф Герасимов. Поиск своего пути.— И. Грекова. Счастливый дар сказочника.— Б. Рунин. Снимается кино.— Леонид Бежин. Осмысление традиций.— Уран Гуральник. Грани критического анализа.— О. Новинова, В. Новиков. Чистый звук.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Евг. Воеводин. Повесть о труде.— В. Буров. Что в действительности говорил Мао Цзэдун.— Дм. Биленкин. Социальный ключ экологии.— В. Морднович. Как делается физика.— А. Белик. Философия «партии середины».

Литература и искусство

ПОИСК СВОЕГО ПУТИ

Франц Таурин. У времени в плену. Роман. Книга первая. М. «Советский писатель». 1980. 382 стр.

Давний читатель книг Франца Таурина, я отметил для себя две их особенности: повествование течет в твердо очерченном русле истории, факт — постоянная его основа; в книгах этих отчетливо обозначена фигура автора. О чем бы ни шел рассказ — о давней истории «каторжного завода», о многосложной жизни Серно-Соловьевича, о гидростроителях, — всегда ощущаешь сопричастность автора к событиям, он будто бы становится действующим лицом. Волнения, тревога за героев, любопытство к неожиданным поворотам их судьбы — все это присуще включенному в ткань повествования авторскому «я», даже если оно не выражено напрямую.

Таковыми же особенностями отличается новый роман Франца Таурина «У времени в плену» — жизнеописание интереснейшего человека по имени Петр Калнин (первая книга охватывает события 1914—1933 годов). В предисловии писатель сообщает, что «цель свою видел не только и даже не столько в описании движения событий, сколько в изображении движения мыслей своего героя».

Автор ведет повествование с детских лет героя до его зрелости, и в этой строгости хронологического приема легко угадывается задача проследить, как сама история формирует человеческий характер, обтачивает и заостряет его. Первые уроки жестокости — нападение банд «вилошников»; первые уроки добра и отзывчивости — помощь

односельчанам в сборе урожая с крестьянского надела, которому грозит гибель. Это все яркие страницы романа. В то же время Тауриным подчеркивается будничность событий — то был сам быт бурной революционной эпохи.

Петр Калнин рано понимает, что главным компасом в его жизненном пути может быть только труд. Потому-то он так стремится к знаниям, вместе с другими крестьянскими детьми устремляется в город, чтобы получить образование. Это были годы формирования принципиально новой технической интеллигенции, которой предстояло возглавить индустриализацию. Но крестьянские дети не порывали со своей средой, что давало им ощущение крепкой взаимосвязи города и деревни, ни о каком противопоставлении одного другому и речи не могло быть. Франц Таурин, не отступая от жизненной правды, точно и увлеченно показывает, как нравственно возвышалась и формировалась личность эта взаимосвязь. Город и деревня будто объединились в человеческой душе, проросли в ней новой культурой и явили нам тип технического интеллигента, который долгом и обязанностью своей посчитал прежде всего облегчить труд человека, дать ему как можно больше прочной и дешевой продукции. Именно к этой цели и придет в романе Петр Калнин. Однако путь его к ней не гладок.

Писатель не щадит своего героя. Он акцентирует внимание не только на его уда-

чах, но и на срывах. Так, попав уполномоченным в деревню Чистые Ключи, Петр идет на поводу председателя райисполкома Мятлева, шкурника и карьериста, который при помощи угроз добивается вывоза семенного фонда в счет хлебозаготовок. Петр понимает, какой катастрофой весной обернется для деревни подобная акция, но оказывается слабым перед мятлевской демагогией. Это поражение тяжелым грузом на многие годы ложится ему на душу.

Названный эпизод для нас важен еще и вот почему. До него Петр и в самом деле находится «у времени в плену», его несет в общем потоке, и многое из того, что время предлагает ему как неопровержимую истину, принимается им на веру, потому он порой слепо подчиняется обстоятельствам. Так часто бывает в период накопления опыта, особенно когда на человека обрушивается поток не познанных обществом событий. Но однажды оглянувшись, он осознает: не все, что утверждается как требование дня, — благо. Вспыхивает сигнал: внимание! остановись, подумай! Герой зорче глядится в окружающее — начинается поиск самостоятельного пути, и он может быть успешным лишь в том случае, если удастся разорвать пути повседневности и четко увидеть будущее, во имя которого вкладывается труд.

«Во имя чего?» — этот вопрос все чаще начинает беспокоить героя. Петр не сразу осознает смысл новаторских идей по реконструкции производства Иосифа Лемана. Колебания его естественны, потому что идея хоть и хороша, но выстрадана Леманом, а не им, Петром, он лишь примыкает к ней. Иначе начинает себя вести Калнин на последних страницах романа, когда становится начальником цеха и у него возникает внутренняя потребность вывести из прорыва это заводское подразделение. Он понимает: прежний опыт не годен, отжил, необходимо привнести свое. Петр находит решение. Однако многие сомневаются в целесообразности нововведения. Вот здесь и происходит испытание характера героя: выстоит или нет?

Петр Калнин побеждает в первом серьезном поединке, побеждает его мысль, его уверенность: найденный им путь — единственный. На этом обрывается книга, и мы с нетерпением ждем продолжения, потому что нам представили личность, уже сформировавшуюся для того, чтобы не быть слепой пленницей времени, а нести нечто такое, что неизбежно проложит новый путь из сегодняшнего в будущее.

Иосиф ГЕРАСИМОВ.



СЧАСТЛИВЫЙ ДАР СКАЗОЧНИКА

Корней Чуковский. Стихи и сказки. От двух до пяти. («Библиотека мировой литературы для детей») М. «Детская литература». 1981. 607 стр.

В нынешнем году в веселый день 1 апреля исполняется 100 лет со дня рождения нашего замечательного писателя — поэта, сказочника, критика, прозаика, ученого — Корнея Ивановича Чуковского. Это имя известно у нас всем от мала до велика. Стихи Корнея Чуковского «Крокодил», «Муха-Цокотуха», «Айболит», «Тараканище» и многие другие, затверженные и полюбившиеся чуть ли не в младенчестве, представляются мне живой нитью, соединяющей времена. Эти стихи формируют из поколения в поколение сознание наших детей и остаются в сознании взрослых неиссякаемым источником радости.

В статье «Признания старого сказочника», опубликованной посмертно (в рецензируемом издании она дана приложением к книге «От двух до пяти»), Корней Иванович пишет: «Когда-то в своей книге «От двух до пяти»

я опубликовал заповеди для детских поэтов, но только теперь догадался, что ко всем этим заповедям следует прибавить еще одну, может быть самую главную: писатель для малых детей непременно должен быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит».

И тут же рассказывает о приливе «сумасшедшего счастья», посетившем его, когда он создавал «Муху-Цокотуху», когда в приливе этого счастья он «не взбежал, а взлетел как на крыльях» в свою пустую квартиру (семья еще была на даче) и, схватив клочок бумаги и карандаш, «стал набрасывать строка за строкой (неожиданно для себя самого) веселую поэму о мухиной свадьбе, причем чувствовал себя на этой свадьбе женихом». Бумаги не хватило, увлеченный поэт сорвал со стены большую полосу отставших

обоев и писал уже на ней. «Когда же в моей сказке дело дошло до изображения танца, я, стыдно сказать, вскочил с места и стал носиться по коридору из комнаты в кухню, чувствуя большое неудобство, так как трудно танцевать и писать одновременно. Очень удивился бы тот, кто, войдя в мою квартиру, увидел бы меня, отца семейства, 42-летнего, седоватого, обремененного многолетним поденным трудом, как я ношусь по квартире в дикой шаманской пляске и выкрикиваю звонкие слова и записываю их на корявую и пыльную полоске содранных со стенки обоев». Жаль обрывать цитату, уж больно хороши эти подробности. Во всей литературе я не знаю более яркого описания пляшущего, поющего, творящего счастья.

Откуда оно, это беспричинное счастье, в душе «безмерно усталого и очень голодного дачного мужа, приехавшего в город для мелких и тягостных дел»? Корней Иванович объясняет его возвращением в детство. «Горе тому детскому писателю,— говорит он,— кто не умеет хоть на время расстаться со своей взрослостью, выплеснуться из нее, из ее забот и досад, и превратиться в сверстника тех малышей, к кому он адресуется со своими стихами».

Этим умением «выплеснуться из взрослости», перевоплотиться в ребенка Корней Иванович владел как никто другой. А между тем жизнь не так уж его баловала. Знал он и трагические потери, и повседневные «заботы и досады», и нападки узколобых критиков, преследовавших его «чуковщину». Но от всего этого умел отрешиться, окунаясь в детство. Дети были его излюбленным обществом, товарищами игр, предметом наблюдения и подражания, неиссякаемым источником радости.

Перечитывая его детские стихи, пускай знакомые до последней строчки, многократно читанные, петье, плясанные, каждый раз заново заражаешься счастьем. А читать вслух эти стихи малому ребенку — особое счастье, отраженное и удвоенное детским восприятием. Мир — прекрасный, подвижный, пестрый, вихревой — кружится, ослепляет, захватывает.

О том, какими приемами достигается этот магический эффект, вольно и щедро рассказал сам Корней Иванович в книге «От двух до пяти». Впервые изданная в 1928 году, она многократно переиздавалась и каждый раз заново перерабатывалась, дополняясь новыми подробностями и идеями (в рецензируемом томе дано двадцать первое, самое подробное, издание, подготовленное автором

незадолго до смерти). Детской поэзии, утверждает Чуковский, противопоказаны эпитеты, ей нужны быстрые темпы с преобладанием глаголов, вихри движений и действий. Именно такие почти гипнотически завораживающие вихри царят в его стихах: гибкие, непринужденные, прихотливо изменчивые ритмы, звонкие рифмы, восклицания, звукоподражания. Каждое стихотворение словно приглашает к задорной, озорной пляске. Пляшут и кружатся у Корнея Ивановича люди, звери, вещи. В «Мойдодыре» — фантастический хоровод: «Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком — все вертится, и кружится, и несется кувырком». А как полна движений и звуков маленькая поэма «Федорино горе», мастерски проанализированная самим автором! Вспоминая, как он ее создавал, Корней Иванович пишет:

«Передо мной внезапно возник каскад взбунтовавшихся, ошалелых вещей, вырвавшихся на волю из долгого плена,— великое множество вилок, стаканов, чайников, ведер, корыт, утюгов и ножей, в панике бегущих друг за дружкой. Причем во время этого отчаянно быстрого бегства каждая тарелка зазвучала совершенно иначе, чем, скажем, сковорода или чашка. Бойкая и легковесная кастрюля пронеслась лихим четырехстопным хореом мимо отставшего от нее утюга».

Это надо же придумать — «пронеслась хореом!»! Какому критику, утонувшему в море привычных «отобразил» и «показал», пришло бы такое в голову?

Любопытно отметить одно обстоятельство. За то время — более полувека! — что стихи Корнея Чуковского верно служат нашим детям, многие реалии быта, в них отраженные, стали уже архаикой. В том же «Мойдодыре» кружащиеся и действующие вещи — свечка, печка, самовар, умывальник, кочерга, вакса, клякса, медный таз — детям (по крайней мере городским), быть может, уже малознакомы. Мешает ли это восприятию стихов? Ничуть! По-моему, вовсе не нужно, чтобы каждое слово в стихотворении было понятно ребенку. Полюбопытствует — спросит, а нет, так и не надо: сам наделит незнакомое слово своим фантастическим пониманием, и никакой беды в этом нет! Буквализм, рабская привязанность к жизненным реалиям не заслуга, а беда поэзии. Какую великолепную раскованность позволяет себе сам Корней Чуковский, например, «переводя» с английского детские народные песенки! Каждая из них для него не объект точного воспроизведения, а скорее повод для того, чтобы вольно повеселиться. Вот, например, подстрочный пере-

включили в новоизданный том — она прекрасно там ужилась бы рядом со стихами, сказками и «лепыми нелепицами»...

В ту чуть ли не первую мою встречу с Корнеем Ивановичем я сказала ему, что из всех его произведений больше всего я люблю «Солнечную». Он отнесся к этому с любопытством (видно, ему нечасто говорили такое) и спросил:

— Чем же она вам понравилась?

Смущаясь, путаясь и запинаясь (все-таки с классиком разговариваю!), я ответила:

— Ощущением сложного счастья.

Корней Иванович чуть-чуть задумался, слегка улыбнулся и сказал:

— Надо уметь привести себя в состояние сложного счастья.

Тогда я еще не знала, что «Солнечная» была написана под свежим впечатлением смерти его младшей, одиннадцатилетней дочери Муры, героини многих его стихов. Она болела костным туберкулезом, а «Солнечная» — тот санаторий, где она лежала в последнее лето своей коротенькой жизни...

Корней Иванович по-особому относился к тяжелым переживаниям: он лечился от них, погружаясь в светлый мир детства, общаясь с детьми, играя с ними, сочиняя для них стихи, повести, загадки, прибаутки, наблюдая и изучая детей, творя с их помощью свое «сложное счастье».

Блеск и задор Чуковского — поэта и сказочника, непреходящая популярность его детских стихов и повестей порой заслоняют от многих другого Чуковского — ученого, исследователя. Научные работы Корнея Ивановича написаны так живо, непринужденно и художественно, что зачастую не воспринимаются как научные. С наукой почему-то принято ассоциировать торжественную важность мудреных речений, основную тяжеловесность, заушный язык. Ниче-

го такого нет в книге «От двух до пяти». Тем не менее — наука. Здесь выявлены и проанализированы закономерности формирования детской речи, ее прохождение через ряд этапов; обосновано и оправдано тяготение ребенка к нелепицам и перевертышам, изучено и описано стиховое творчество самих детей, из которых каждый в известном возрасте — поэт... Впрочем, не буду пытаться конспектировать содержание книги: того и гляди сорвешься в тот казенный, псевдонаучный жаргон, который так ненавидел Корней Иванович и на котором кощунственно говорить о его произведениях. Лучше предоставим слово самому Корнею Ивановичу для блистательной авторецензии, которой он заканчивает книгу «От двух до пяти». С горечью отмечая, что многие читатели воспринимают ее как сборник забавных анекдотов, Чуковский пишет:

«Поэтому я вынужден обратиться к читателям с дружеской просьбой: ради бога, не считайте мою книжку комической и постарайтесь изучить ее идеи, которые, хочется думать, достойны вашего внимания и даже сочувствия. Ибо цель ее не развлекать и смешить, а серьезнейшим образом исследовать те области умственной и психической жизни малолетних детей, которые до сих пор не подвергались исследованию».

Путь Корнея Чуковского не был гладким. Бывало, то один, то другой ревнитель «правдоподобия» в стихах для детей возмущался в печати сказками Чуковского, подчеркивая нереальность их сюжетов... А чудесные, многоцветные, озорные сказки Корнея Чуковского, в очередной раз переизданные в «Библиотеке мировой литературы для детей», продолжают радовать не только детей, но и взрослых и заражать тех и других счастьем!

И. ГРЕКОВА.



СНИМАЕТСЯ КИНО

Энн Ветемаа. Сребропяхи. Роман. Авторизованный перевод с эстонского А. Томберга. «Дружба народов», 1981, № 8.

«Пожалуйста, папа, поставь пестрый парус...»

Роман давно прочитан, а этот печальный в своей абсурдности рефрен продолжает преследовать меня, обретая в памяти настойчивость заклинания. Кажется, что оно необъяснимо вобрало в себя преобладающее настроение полифоничного романа Энна

Ветемаа, его полунасмешку-полутоску, его снисходительную жалость к действующим лицам, к их одиночеству и душевной неприкаянности, его иронию по отношению к их жажде успеха и борьбе интересов. Никакого пестрого паруса, и уж тем более никакого папы вы в фабуле романа не обнаружите, ибо Мати — сирота военного времени,

он вырос в детдоме и в свои тридцать шесть лет ничего не знает о родителях. Бессмысленная мольба о пестром парусе, слетающая время от времени с его уст, не что иное, как фонетическая гимнастика, упражнение на артикуляционную гибкость. Ведь Мати — заика. Красивый малый, любимец женщин, эсперантист, не чужд научной любознательности, но вот — дефект речи...

Отсюда настойчивое совершенствование дикции с помощью трудных звуковых кульбитов, ежедневная тренировка, упорное преодоление коварных аллитераций: «Резиновую Зину купили в магазине, резиновую Зину в корзине принесли». И т. д. Из того же ряда уже знакомое: «Пожалуйста, папа, поставь пестрый парус. Поедем прокатимся в Пирита...» И как-то так получается, что через наивную беззаботность скороговорки, через однообразное канючанье насчет паруса в содержание романа вступает тема детской незащищенности его персонажей от превратностей судьбы, их грустной затерянности в круговороте жизни, тщетности их притязаний на счастье.

Притязания не так уж велики. Пиротехник республиканской киностудии Мати собирается жениться на костюмерше из своей же съемочной группы Марет, девушке уже немолодой, но скромной и почти такой же безликой, как упомянутая резиновая Зина. Однако matrimониальные планы не мешают Мати проводить ночи с настырной Вероникой. Она директор группы, и в ее возможностях создать любовнику условия. Но все же истинное душевное влечение Мати испытывает не к женскому полу, а к проблеме... энтропии. Да-да, представьте, именно так. Об энтропии он может в любой момент произнести самозабвенную речь даже перед большой аудиторией, разумеется воображаемой, которую, впрочем, ему с успехом заменяет собственный магнитофон.

Естественно, тут сразу возникает куча вопросов. Прежде всего как подобная действительно сложная научно-философская проблема ухитрилась залететь в это забавное повествование о жизни съемочной киногруппы, выехавшей на летнюю натуру и занятой постановкой весьма убогой картины. О чем картина? О, это самый шаблонный «вестерн стопроцентной проходимости», посвященный приключениям удачливого разбойника и народного заступника, этакого эстонского Робин Гуда конца прошлого столетия.

Однако, шутки в сторону, каким боком феномен энтропии соприкасается с сюжетом и общей проблематикой если не снимаемой картины, то самого романа? Поче-

му интерес к энтропии придан (навязан?) именно недоучке Мати, а не кому-либо из его более просвещенных коллег, например весьма рафинированному знатоку французского кинематографа худруку студии Карлу-Ээро Райе или вполне современному моллодому ферту — второму режиссеру Пийдерпуу? Наконец, почему автор, вкладывая в уста Мати пусть весьма общие и популярно изложенные, но достаточно верные сведения об энтропии, относится к ним без должного пиетета, я бы даже сказал — легкомысленно?

Может быть, монологи об энтропии вставлены в текст романа просто так, случайно, в качестве ничего не значащего свидетельства чудаковатых увлечений Мати, который, как об этом лаконично сказано, интересуется также периодической системой, наследственностью и эволюцией? В том-то и дело, что нет! У Энна Ветемаа и в прежних его романах, где, кстати сказать, повествование неизменно велось от лица главного героя, ничто не случалось просто так, само по себе. Без умысла и дальнего прицела, помимо авторской воли, поверх намерений у Ветемаа и раньше листочек не смел упасть с дерева. В «Сребропряхах» же, где все рассказывается от автора, он и вовсе не скрывает своих привилегий демиурга. Здесь Ветемаа охотно манипулирует и речью, и поступками, и даже самосознанием своих героев. И не только не стесняется бесцеремонного вмешательства в ход событий, но иной раз прямо демонстрирует свое присутствие в повествовании, находя в таком обнажении приема какую-то изысканную усладу. Например, Ветемаа позволяет себе предложить вам пространственный внутренний монолог режиссера Пийдерпуу, с тем чтобы тут же не без ехидства заметить: «Однако господь бог и автор этого романа знают, что бедный Рейн Пийдерпуу находится в глубоком заблуждении». Собственно, не будь в романе этой чуть кокетливой интонации «светского» превосходства писателя над своими персонажами, его авторский прои́звол показался бы вам, наверно, нестерпимым. К счастью, перед вами тот случай, когда насмешливая интонация, ирония по отношению к собственным героям в чем-то становится самоиронией. А уж она-то может стать спасительной во всех отношениях.

Ветемаа охотно вводит вас в эту занятую игру, где философская серьезность неутомимо состязается с ее же скептическим осмыслением. Конечно, если уж и дальше цепляться к новациям писательской манеры «Сребропрях», то легко заметить, что есть

в этой игре что-то от излишней настороженности против дидактических прописей и стилизованных банальностей. Но ведь есть что-то и от молодого задора, от эпатажирования много глубокомысля и унылого начетничества.

Разоблачительное познание бытия вообще ближе характеру и темпераменту Ветемаа-художника, нежели благословляющее или просто констатирующее. К тому же он давно убедился, что хмурую, бронированную ортодоксальность в лоб никак не одолеть и что парадокс — лучшее средство от ортодокса. Ему интересна даже не столько сама истина, сколько мысль на пути к ней, но мысль искрящаяся, переливающаяся, а главное — неожиданная, несущая в себе удивление, новизну взгляда на вещи, необычность сопряжений, внезапность следствий. Кстати, все эти нюансы текста хорошо переданы в переводе.

Нет ничего удивительного, что и удачи и издержки подобного подхода к материалу современности сразу бросаются в глаза. Мне кажется, боязнь тривиальности привела автора «Сребропях» к некоторым досадным натяжкам, к нарушению внутренней логики его же системы мотивировок и сюжетных связей. Что из-за этого затуманился смысл философских метафор, а главные герои романа утратили соизмеримость, ибо оказались в разных художественных плоскостях, в несообщающихся эмоциональных средах. Впрочем, может быть, таким и было авторское намерение? Может быть, все дело в том, что Ветемаа умышленно ведет себя в этом романе — пользуясь его же репликой — «до того непринужденно, что может изображать, будто не чувствует себя совершенно непринужденно»?

Однако вернемся к заведомо условному образу Мати с его каким-то «запинающимся» поведением и терминологической пиротехникой, расцвеченной именами Кьеркегора, Канта и даже Христа. С Христом связан главный метафорический ребус, который предлагается вам расшифровать. Дело в том, что, потерпев неудачу в личной жизни, Мати решает покончить с собой, но не «просто так», а принести себя в жертву во искупление людских грехов, то есть по известному образцу. И не для красного словца, а многозначительно поминает Сына плотника, рекомендуется «ловцом человеческих душ». И вы понимаете, что тут-то и таится самый «серьез» предложенной вам иронической философии.

Мати и впрямь считает, что, нанеся себе с помощью капсульных взрывателей симметричные раны на ступнях и кистях рук,

он тем самым как бы распнет себя и повторит... «негэнтропический подвиг» Христа. Ход его рассуждений таков: «...энтропия враждебна гармонии. Она ведет к разложению, к распаду... необходима добровольная бескорыстная жертва, подобная мощной вспышке негэнтропической молнии». Мол, она выжжет бельма, закрывающие людям глаза. «Прозрев, они познают разницу между добром и злом и воспрянут к новой жизни. Смычок гармонии наладит порядок и превратит какофонию в стройный, божественно чистый аккорд...» И Мати уже предвкушает эффект своего публичного самоубийства в разгар съемки: «Ха-ха! Вот это будет интересное кино! Вот это будет номер...»

Для чего понадобилась автору вся эта довольно-таки надуманная фантазмагория символов, этакая причудливая мешанина из обрывков традиционной веры, новомодных научных представлений и обиходных жаргонных словечек? Чтобы ответить на сей вопрос, необходимо на время расстаться с заведомо иррациональной фигурой Мати и взглянуть во вполне земной, эмпирически осязаемый, я бы даже сказал, чем-то физиологичный образ его соперника и антипода, каким предстает перед читателем режиссер-постановщик Мадис Картуль. Соперником я его называю потому, что Мадис, равно как и Мати (в отличие от прежних монотропических романов Ветемаа), тоже имеет все основания претендовать на главную роль в романе. А кроме того, еще и потому, что этот неэстетичный шестидесятилетний толстяк в нелепых при его огромном брюхе тренировочных штанах ухитрился как-то незаметно обольстить кроткую Марет и отнять ее у Мати.

Однако эта коллизия так и не становится сюжетным конфликтом, ибо тому противится сама поэтика романа: главных героев два, но живут-то они в разных измерениях — подчеркнуто гротесковом и заурядно бытовом. А потому каждый их фабульный контакт причиняет автору множество неудобств. Словом, писатель старается свести их встречи к минимуму, хотя они, судя по всему, должны как раз дополнять друг друга. По крайней мере в плане философском.

Судите сами. Оба самоучки, только Мати в науке, а Мадис в искусстве. Первый — олицетворение отвлеченности, умозрения, системности, порядка. Второй весь во власти своих вожделений и внезапных наитий: деловых, плотских, житейских, режиссерских. Первый дисциплинирован, педантичен, сдержан, учтив. Второй напорист, фамильяр

рен, смел, грубоват. В противоположность суховатому пиротехнику с его эрудицией и претензией на духовную элитарность Мадис неряшлив по отношению к себе, но добр и человечен с людьми, особенно с простыми. Мадис не всегда сознает свою невоспитанность, свой беспокойный, требовательный характер — для этого он слишком решителен и порывист. Но при всем том он умеет вникать в чужие частности, прислушиваться к дружеским голосам. Недостаток образования ему возмещают не книги, а стихийная самобытность и одержимость кинематографом. Неожиданные ходы, внезапные идеи, счастливые случайности — вот стиль его жизни и работы. Человек «безо всякого эспри», он презирает высокие материи и абстрактные рассуждения, даже когда дело идет о его профессии: «Кинотеорию или кинонауку я не знаю, и на хрен они мне сдались!» Зато он любитель всяческих съёмочных экспромтов и горячий поборник участия в постановке непрофессиональных актеров.

С Мадисом Картулем в роман Энна Ветемаа входит вся та специфическая атмосфера тотальной неопределенности, безалаберности, неорганизованности, пустой толчеи, всевозможных интриг и интрижек, бесконечных пререканий и мелочных дразг, без которой невозможно представить себе реальный быт любой киноэкспедиции. Но, конечно же, за этим образом угадывается более содержательный пласт размышлений писателя — тема душевной траты творческой личности, тема человеческой декомпенсации, которую якобы несет с собой вымысел и его материальное воплощение в образе.

Применительно к кинематографу такая жертвенная обреченность художника особенно очевидна, считает Ветемаа. Если Мати однажды попытался принести себя в жертву во славу гармонии, то Мадис приносит эту жертву изо дня в день, растрачивая свою душу на киновымыслы.

«Химики осуществили соединение вонючего ядовитого хлора с серебром. Хлорид серебра, хлористое серебро — волшебное зелье, которым покрывается пленка, поглощающая, вбирающая в себя картины вымышленного мира и сохраняющая их. Но одновременно поглощающая и творцов этого мира. Словно заколдованные серебром пряжи из эстонского эпоса, обречены создатели фильмов вечно пребывать в бессмысленной суете, не зная душевного покоя. Иллюзорные серебряные миры чаруют и манят вас, а хлор разъедает ваши души!»

От чьего имени говорится это в романе?

Абзац написан так, что он принадлежит в равной степени как Мадису, так и Мати. Но и автору тоже. Нет сомнения, что здесь то и заложена глубинная мысль романа. Однако справедлива ли она и не противоречит ли автор самому себе? Ведь творчество по своей природе антиэнтропийно. А это, в частности, значит, что художник не только не растрчивает себя, создавая некий образный мир, но, напротив, обогащает собственную личность, возвышается через этот вымысел даже над самим собой. Да, Мадис, стремясь сделать свой фильм произведением искусства, лишил себя душевного покоя, но, надо думать, не в ущерб, а во благо себе. Ибо истинное творчество не может не сопровождаться духовным ростом художника. Другое дело, что о преображении его «вестерна» в психологическую драму рассказано в романе хоть и подробно, но крайне неубедительно.

Что же означает в таком случае странное соперничество двух главных героев? Сколь это ни покажется удивительным, мне оно представляется выражением лирической темы романа. Я воспринял его как признание автором противоречивости собственного опыта. Как свидетельство взаимной дополнительности двух познавательных склонностей самого Ветемаа. Видимо, научное начало, точный расчет, скрупулезная аналитика мельчайших элементов жизни так же близки, так же вняты его сердцу дипломированного инженера-химика, как чувство гармонии и контрапункта, как интерес к импровизации и сочинительству органичны для его интеллекта дипломированного консерватора по классу композиции.

Откровенно гротескный, даже «астральный» Мати — это условное обозначение теоретической опосредованности — своими ужимками способен низвести любую философскую категорию до фарсового уровня, превратить «драму идей» в анекдот, в абсурд. Что касается бытового Мадиса, этого олицетворения чувственной непосредственности и импровизации, то ему предназначен в романе встречный маршрут. Мадис силится вдохнуть в предложенный ему низкопробный сценарий общественные идеи, превратить пустой фарс в социальную драму, никчемный водевиль — в философское произведение.

Коллизия не только оригинальная, но, судя по всему, для автора неотвратимо насущная. Да, в этом смысле «Серебропряжи» — лирическая проза Ветемаа. Ни его роман о скульпторе («Монумент»), ни его роман о поэте («Усталость»), ни тем более два последующих, тоже лабораторных, по меткому

определению критика Л. Аннинского, романа («Реквием для губной гармоники» и «Яйца по-китайски») не вобрали в себя столько творческой рефлексии, такого активного стремления автора проанализировать свои писательские и стиливые тяготения. (Умышленно не касаюсь здесь веселого парафраза на тему эстонского национального эпоса «Воспоминания Калевипозга» и драматургии Ветемаа, потому что этот ряд его произведений, кстати сказать с сильным фарсовым уклоном, требует особого разговора.)

Вопреки прогнозам критиков, посчитавших, что «лабораторность» писателем уже исчерпана, «Сребропяхи» во многом являются собой прежнюю структуру. И здесь действие происходит в необычных, опытных условиях, когда герои выключены из повседневного потока жизни и обыденных связей. И здесь сюжет специально вынесен на замкнутую, ограниченную во времени и пространстве площадку, в данном случае — съемочную. И здесь он представляет собой некий тщательно поставленный эксперимент, правда уже не столько из области социальной психологии, сколько из области психологии творчества.

А если так, то удалось ли автору выразить это извечное состояние двух творческих начал — рассудка и вдохновения — поистине художественно? Представляет ли собой его новый роман целостное и органичное единство? Обладает ли он пластичностью, самородностью, свободой и естественностью внутреннего развития? Иначе говоря, в какой мере новое сочинение Энна Ветемаа являет собой противостоящую энтропии гармонию? Что ж, от такого вопроса никуда не уйти, тем бо-

лее что ответ в данном случае выходит за пределы узкоэстетической оценки прочитанного и влияет на вывод из предложенной философской проблемы.

У Ветемаа проблема взаимодействия обоих творческих начал решается так, что Мадис добивается своего, а Мати обнаруживает викчемность своих претензий. Однако вопреки сюжету эмоциональный итог романа складывается из обратных впечатлений: рассудочность возоблдала над нутром. Тезис оказался сильнее образа. Раствор получился слишком насыщенным, и непосредственность, что называется, выпала в осадок.

В любом истинно творческом процессе нечто непредсказуемое заявляет о себе и утверждает себя в качестве необходимого и неизбежного. Так понимаю я ситуацию творческого поиска, его суть, его диалектику, его психологию. В романе «Сребропяхи», как всегда у Ветемаа, есть эта драгоценная непредсказуемость, но она не всегда обретает убеждающую обязательность в предлагаемых образных обстоятельствах.

Что же в таком случае остается? Остается интересная постановка вопроса. Остается занимательная бытовая подоснова размышлений автора о творчестве. Остается всегда парадоксальная проблема возникновения искусства из неискусства. Рождение фильма из «сора» самых различных, и притом весьма прозаических, обстоятельств, из множества отнюдь не всегда возвышенных человеческих притязаний — об этом Энн Ветемаа рассказал остроумно и пронизательно.

Снимается кино...

Б. РУНИН.



ОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

А. Лебедев. Грибоедов (Факты и гипотезы). М. «Искусство». 1980. 304 стр.
С.т. Рассадин. Фонезин. («Жизнь в искусстве») М. «Искусство». 1980. 288 стр.
15 л. илл.

С некоторых пор в литературоведении утвердился полемический прием — продолжение цитаты. Выглядит это так. Цитата, приведенная оппонентом и подтверждающая его мысль (так сказать, работающая на концепцию), продолжается с того места, где была оборвана, и при этом вдруг обнаруживается, что оппонент-то процитировал не главное, скрыл от доверчивого читателя самую изюминку, сердцевину и дальнейший текст начисто опровергает его шаткие доводы. Бедный оппонент оказывается посрамленным в глазах читателя,

готового заподозрить его в научной недобросовестности. Подобный прием эффектен, выигрышен, его действие, как правило, неотразимо. Однако дело не только в этом. Столь притягательный для нынешнего читателя аромат документальности, пронизывающий литературу и ощутимо меняющий эстетику чисто художественных жанров (взять хотя бы фактографическую точность военной прозы В. Богомолова или архивные разыскания Ю. Трифонова из истории 20—30-х годов), словно бы требует полного цитирования. Сам статус доку-

мента настолько вырос и автономизировался, что усеченная цитата в глазах уважающего себя гуманитария выглядит по крайней мере неэтично. Да и уважающий себя читатель ждет от авторов книг (в том числе и биографических) не подбора отрывочных цитат, не фрагментарных отсылок к источникам, а материала для самостоятельного размышления. Правда, эта жажда самостоятельности оборачивается порою своей изнанкой, и редакции академических журналов с трудом выдерживают натиск любителей-пушкинистов и дилетантов-лермонтоведов. Но это уже, что называется, издержки моды, лишней раз доказывающие: спрос на документальность возник не случайно и авторы, чуткие к читательским требованиям, давно уловили их суть. Автор книги о Грибоедове прямо признается в предисловии, что его задача (по крайней мере первоначальная) была чисто прикладной: познакомить читателя с критическими отзывами о бессмертной комедии «Горе от ума». Тем же стремлением к опосредованному высказыванию через документ и чужой оригинальный текст, стремлением к полному цитированию отличается и книга о Фонвизине. Обе рассчитаны на читателя думающего и в основном подготовленного.

Фонвизин и Грибоедов... Два характера, два темперамента, два различных типа культурного деятеля и человека эпохи: испытанный и озорной насмешник, умеренный вольтерьянец, образованный помощник попечителя российских театров, немного наивный фронт, добропорядочный семьянин, хлебосольный хозяин, любитель застолья, верный многим прихотям екатерининского века, — и странный человек (это определение подчеркнуто в книге) николаевской эпохи, замкнутый, подчас злобный и неприступный, язвительный и желчный, обладающий счастливым даром притягивать к себе людей, но вряд ли счастливый в дружбе. Оба сочинители. Оба драматические писатели, создавшие по одному бессмертному шедевру, и если Ст. Рассадин, не будь он скован издательскими требованиями, озаглавил бы книгу «Сочинитель «Недоросля» (есть его собственное признание на этот счет), то вторым заглавием книги о Грибоедове могло бы стать «Создатель «Горя от ума». За каждой из двух фигур — свой пласт русской культуры, свой неповторимый характер времени, свое веяние, как сказал бы Аполлон Григорьев (на него неоднократно ссылается А. Лебедев), и это веяние безусловно ощутил читатель обеих книг. Разговор с ним ведется дружески-доверительно и как бы запросто (что особен-

но удается Ст. Рассадину), но приглушенная и затушеванная интонацией повествования, достаточно жесткая концептуальность той и другой книги, конечно же, дает себя знать. Прежде всего назовем концепцию классичности, разрабатываемую обоими авторами.

Назовем и остановимся в минутной озадаченности. Классичность... концепция... А не лукавство ли это? Может быть, все гораздо проще? Ведь классика по своему духу есть нечто устойчивое, неизблемое, уравновешенное. Но, оказывается, все и просто и непросто. Автор книги о Грибоедове пишет: «Понятие классического — в современном словоупотреблении — нередко близко понятию образцового. В этом понятии есть нечто и от представления о вечном, бессмертном. Оно включает в себе идею некоего эталона. Классике далеко не все поэтому дозволено. Классик не может позволить себе себя компрометировать — все его компрометирующее от него должно быть строго отчуждено. Классик легендарен по самой своей природе. Ибо понятие классического — легендарно. Классик не может не быть канонизирован. Затем он и классик. Классик — гипотеза непрекращаемая». Полемическая направленность этих рассуждений ясна, и сами рассуждения вполне резонны: никогда не лишне напомнить, что подлинная классика не нуждается ни в каком хрестоматийном глянце. Здесь все понятно, но в то же время возможен и обратный ход размышлений. Благодаря исследованиям современных медиевистов понятия эталонности и образцовости приобретают в нашем сознании все более отчетливую эстетическую значимость, насыщаются глубоким общекультурным смыслом. Мы часто забываем, что XIX век имеет свою предысторию и в XVIII, и в XVII, и в XV, вплоть до самой античности; целые эпохи культурного развития Европы жили реминисценциями античной классики. Если говорить шире, культура классична по своей сути, в классичности же — и А. Лебедев в этом прав — всегда присутствует образцовость и, не побоимся добавить, даже некоторая холодноватость (горацианское начало у Ломоносова, Державина, Баратынского). На пробном камне эталонности и образцовости и оттачивалась классическая форма, и дело здесь вовсе не в боязни скомпрометировать классика, которую А. Лебедев готов приписать своим оппонентам, а в том, чтобы не разрушить сам феномен классичности, не соскоблить его, как патину с древнего сосуда. Классичность хрупка, и порою одинаково важно

приблизить классику к нашим дням и оставить ее именно классикой, отдаленной от нас во времени.

Но А. Лебедев именно приближает. Он менее всего склонен эстетизировать своего героя и искать новые краски, чтобы еще раз обрисовать загадочность его облика, печальную грибоедовскую усмешку — словом, все то, что уже превратилось в своеобразный штамп. Обширный свод материалов (отрывки из воспоминаний современников, критические отзывы о бессмертной комедии, письма Грибоедова) А. Лебедев включает в книгу с целью их пристального анализа. Одна из привлекательных черт его книги — ее этическая прямота. Автор решительно избегает всякой ретуши, раскрывая характер Грибоедова, и создатель «Горя от ума» предстает перед нами фигурой далеко не однозначной. В поле зрения исследователя и дружба с Булгариным, и честолюбивые амбиции дипломата и государственного чиновника, и, наконец, двойственное отношение к декабристам. На страницах книги А. Лебедев постоянно полемизирует с теми, кто безоговорочно считает Грибоедова декабристом, и делает принципиальную оговорку: причастность создателя бессмертной комедии к восстанию на Сенатской площади была сугубо косвенной, он как бы издавна сочувствовал декабристам, но никогда полностью не разделял их взгляды. И до конца не высказывался о своем отношении к ним. В изображении А. Лебедева фигура Грибоедова словно бы отбрасывает тень Молчалина — именно Молчалина, а не Чацкого, параллель с которым была бы более привычной и традиционной. Что ж, метаморфоза довольно неожиданная, если учесть, что начало XIX века вряд ли допускало тот тип взаимосвязей между автором и его персонажем, который позднее выразился в знаменитой флюберовской формуле «госпожа Бовари — это я». Эстетическое мышление еще не могло вместить столь сложный комплекс и жизвания автора в герое, и, возможно, по этой причине А. Лебедев оставляет параллель Грибоедов — Молчалин на уровне метафоры.

Последовательно проводится через всю книгу мотив компромисса: «Должен признать, что, говоря о компромиссе, особенно в связи с таким человеком, как Грибоедов, я испытываю определенное внутреннее затруднение. Мне явно приходится преодолевать некий нравственный барьер. Но я знаю, что и барьер этот и затруднение это — ложны». Автор обнаруживает в мировоззрении Грибоедова элементы консерватизма, улавливает в нем некий скепсис по

отношению к идеям дворянской революции и прогресса, и это действительно требует от А. Лебедева определенной смелости, хотя и вполне уместна его оговорка: «Конечно, никакие общие суждения и формулы не в состоянии вполне объяснить и исчерпать индивидуальный случай, судьбу данного человека». Это признание сделано вовремя, и все-таки излишнее пристрастие автора к общим суждениям и формулам порою дает себя знать. Еще Лев Толстой говорил, что усиление этического начала в искусстве ведет к ослаблению эстетического. Разумеется, в толковании этой мысли возможны многие оттенки, но, думается, она применима и к данной книге. Отнести ли это к характеру самой манеры автора или к особенностям его мирозерцания, но в книге подчас проступает излишний рационализм. Недаром автор так любит словечко «модель», укоренившееся в филологическом обиходе последних лет. Выстроенные в книге модели подчас жестковаты, как жестковато и само письмо автора. Говорю это не в упрек — в конце концов, каждый имеет право на свою манеру. И все-таки ориентированность на модель не должна ущемлять прямого человеческого понимания, а порою и интуитивной догадки, открывающей то, что ускользает от логически выверенного анализа. Этой произвольной, счастливо мелькнувшей догадки в книге о Грибоедове как раз меньше всего. Поэтому и в раскрытии отношений Грибоедова с Булгариным, и в трактовке его связей с декабристами присутствует некая заданность. Все поступки создателя «Горя от ума» возводятся в ранг идеологически значимых и совершенных в сознательном расчете на суд потомков, а между тем тут многое решал именно индивидуальный случай. Разумеется, фигура Булгарина сохраняет для нас всю свою мрачную характерность, и никто не ждет от современного автора, чтобы тот представил Грибоедова и Булгарина двумя беспечными приятелями, которые лишь вместе проводили время и не отдавали себе отчета в общественно-политических симпатиях друг друга. Однако нельзя не согласиться со Ст. Рассадным: «...то, что для нас отстоялось в каноническую историю литературы, для них был быт; люди ссорились и мирились, кололи друг друга эпиграммами и разили сатирами порою из частных симпатий и антипатий, даже из пустяков». Тайная двойственность Грибоедова, о которой со всей этической прямотой пишет А. Лебедев, требует скорее психологической разгадки. В целом книга о Гри-

боедове интересна целым рядом выдвинутых в ней гипотез и постановкой многих проблем, хотя разрабатываемая в ней концепция классичности не свободна от схематизма.

Вопрос об отношении к классике, о понимании сущности классического, приобретающий сейчас все более жгучую остроту (достаточно вспомнить недавнюю дискуссию на страницах журнала «Вопросы литературы»), затрагивается и в книге о Фонвизине. Ст. Рассадину безусловно претит «хрестоматийно-надутый лик классика», но классичность сохранит для него значение эстетического феномена. Отсюда пластический рисунок книги. Автор бывает ироничен по отношению к герою, бывает слегка снисходителен («...обнадеженный первыми начальственными ласками пухлячок-удачник бодро ступает на торную стезю...»), но эти ирония и снисходительность подключены к классическому образу Фонвизина. Отсюда психологическая и житейская достоверность повествования. Автор идет в нем по пути прямого понимания, а не моделирования. Он пишет: «Моя книга — попытка написать портрет сочинителя Дениса Фонвизина. Определить характер. Высмотреть в истории живое человеческое лицо, вернее, ряд изменений лица — не волшебных, увь...» Именно — высмотреть живое лицо. В истории. В культуре. При этом чувство историзма проявляется у Ст. Рассадина как чувство меры. Фонвизин остается в книге сатириком, вольнодумцем и вольтерьянцем, но это именно русское вольтерьянство XVIII века, которое «всегда было неглубоким — во всяком случае, как явление повальное». И далее: «Скепсис, ирония, трезво расчлняющий анализ — к добру ли, к худу — не рождали у нас богатых плодов, в отличие от Запада, историческая судьба которого привела к обособлению и культивированию понятия «личность», лучшим проявлением чего явился расцвет духовной и интеллектуальной независимости человека, худшим — индивидуализм, обративший эту прекрасную независимость в разрыв связей с людьми и человечеством».

Особого душевного такта, чуткости, деликатной осторожности и глубины психологического проникновения требует от исследователей творчества Фонвизина вопрос о его так называемом покаянии. Насмешливый сатирик и острослов на склоне лет своих вдруг изменил прежним взглядам, отрекся от своего вольнодумия и вольтерьянства и обратился к христианскому смирению. Что это было? Компромисс и признание своей слабости? Ужас перед кончиной? Ду-

ховный переворот? Думается, не стоит спешить с выводами, и надо отдать должное Ст. Рассадину в том, что ему и здесь не изменяет мера. «...отречение могло быть и не вовсе искренним...» — решается предположить он. Не больше. И с этим невольно соглашаешься там, где перед нами опять-таки индивидуальный фонвизинский случай. Но в покаянии Фонвизина есть и нечто надиндивидуальное, выражающее собой некий тип культурно-этического поведения, близкое по значению к ритуальному жесту. От фонвизинского отречения тянется нить к отречению Гоголя, к духовному перевороту Толстого, к исканиям Достоевского (к его примеру часто обращается и Ст. Рассадин): всех этих писателей объединяет жажда духовного поиска, вынуждавшая их на трагический разрыв с прежними идеалами.

С завидной пластикой культурно-философского анализа исследуются автором и знаменитые письма Фонвизина. Насмешливый комедиограф, воспитанный на вольтеровском скепсисе (пусть и неглубоком), выступает в них как придирчивый и ворчливый критик всего иностранного и французского. Что это — парадокс и курьез, обусловленный прихотью времени, или нечто посущественнее? После ряда рассуждений о патриотизме, волна которого охватила тогдашнее общество, о двух традициях русской мысли Ст. Рассадин пишет: «Может быть, эта легко проходимая грань между еще не осознавшим себя славянофильством и еще не оформившимся западничеством (не осознавшим, не оформившимся, но уже живущим, как живет в семечке яблона), — может быть, эта грань впервые стала столь заметна именно в Денисе Ивановиче Фонвизине».

Вышуклость и пластическая осязаемость характеристик, их чисто художественная прописанность все чаще встречаются в тех работах об отечественной классике, которые принято называть научно-популярными. Думается, это определение слегка устарело: понятие популярности, массовости скрыто предполагает некоторую облегченность, а между тем мы имеем дело с чем-то совсем иным. Стихия художественности психологически крепко цементирует и строго научное мышление, усиливает его живую спонтанность и ассоциативность. Не случайно именно в книгах смешанного жанра (назовем их пока так) появляется столько новых и интересных гипотез, которые становятся предметом напряженных споров. Даже такие жанровые подзаголовки, как роман-исследование, роман-эссе, распротранившиеся за последнее время, говорят

о своеобразном синкретизме филологического мышления. В этом смысле книги А. Лебедева и Ст. Рассадина стоят в одном ряду с работами Б. Бурсова о Достоевском, И. Андроникова о Лермонтове, Ст. Лесневского о Блоке, расширяющими и обогащающими наше представление о классике (книгу Ст. Рассадина, к примеру, можно было бы определить как портрет-исследование). Осязаемость и пластичность повествования — их общая черта. Ст. Рассадин чуток к нюансам, характерным для чудачеств екатерининских времен: «Словом, эта-то внутренняя пестрота личностей, их неотлаженность и неуловимость, с одной стороны, и, с другой, возможность все это не сдерживать, не загонять внутрь, не стыдиться обнародовать свои странности, то есть род внутренней свободы, и образовали явление,

именуемое «русский чудак второй половины восемнадцатого века», а уж как это чудачество самовыражалось — в петушином ли суворовском крике или в тиранстве уездного самодура троюкуровского типа — это зависело от того, что перевешивало в душе, добро или зло». Позднее русский чудак времен Екатерины превратится в странного человека николаевской поры, и это тоже будет странность своя, особая. Об этом рассуждает в своей книге А. Лебедев, выделяя черты странного человека в самом создателе «Горя от ума». Таким образом, повествование о Грибоедове служит как бы продолжением книги о Фонвизине, которая не случайно кончается фразой: «Через два года родится Грибоедов».

Людмила БЕЖИНА.



ГРАНИ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Михаил Синельников. *Право отвечать за все. Рабочий человек в прозе 70-х годов.* М. «Советский писатель». 1980. 327 стр.

Александр Панков. *Вечно и злободневное. Современная проза: конфликты, темы, характеры.* М. «Советский писатель». 1981. 368 стр.

Одно дело — критическая статья или обзор в журнале, совсем другое — та же статья или тот же обзор в книге автора. Вступая во взаимодействие с другими материалами книги, и рядовая рецензия подчас прибавляет в весе: по-новому раскрывается ее замысел, насыщается подтекст. Но нередко бывает наоборот: благополучная, казалась бы, журнально-газетная публикация, включенная критиком спустя годы в книгу, обнаруживает ранее скрытые или мало заметные изъяны.

С иными работами, вошедшими в рецензируемые книги, в их первоначальной редакции мы были знакомы по предыдущим публикациям. В отдельном издании они, думается, в чем-то заметно выигрывают, в чем-то проигрывают. В этом стоит разобраться.

Михаил Синельников в литературе не новичок. Ему есть что сказать читателю, он умеет это делать на достаточно высоком профессиональном уровне. В лучших статьях критика, воссоздающих в своей совокупности широкую панораму современного литературного развития, четко обозначены приметы нашего времени. Он оперативно откликается на то новое, чем жизнь обогащает искусство «живописания словом».

Александр Панков заявил о себе сравнительно недавно, но был замечен чуть ли не с первых печатных выступлений. При-

влекают его увлеченность, напористость, определенность заявленной позиции. У молодого критика, можно сказать, есть своя тема. Его влечет к исследованию нравственного облика, духовного мира нашего современника. Обращаясь к творчеству Айтматова и Астафьева, Белова и Бондарева, Быкова и Симонова, Гранина и Думбадзе, Залыгина и Е. Носова, Проханова и Распутина, Г. Семенова и Вегемаа, Тендрякова и Чаковского, Трифонова и Шукшина, писателей несхожих, он пытается проследить истоки, вскрыть существо героического поведения советских людей в дни суровых военных испытаний и в мирные будни.

Перед нами своего рода монографии с вступлениями, заключениями, проблемными главами, подчиненными замыслу и структуре издания в целом. Переплавив написанные ранее статьи, критики последовательно развивают свои концепции, свое понимание ведущих тенденций современной действительности и их отражения в литературе. Каждая из рецензируемых книг отличается собственной логикой аргументации. М. Синельников, осмысливая объективные закономерности социального развития и, соответственно, литературного процесса, идет, как правило, от частного к общему; А. Панков предпочитает злободневное рассматривать в свете вечно, его увлекают масштабы глобальные.

Обе книги остроактуальны. В центре внимания авторов вопросы большого социально-политического значения. Чем живы люди труда сегодня? Какие идейно-нравственные сдвиги происходят в сознании человека эпохи НТР? Каковы пути нравственной самореализации личности в обществе развитого социализма? М. Синельников ищет ответы на эти капитальные вопросы, обратившись к производственному роману 70-х годов — к сочинениям Гончара и Кожевникова, Липатова и Куваева, Колесникова и Попова, Кривоносова, Антропова, Черноусова, Скопа... Эта проблематика сложна и многоаспектна. Естественно, что критики, пытающиеся серьезно в ней разобраться, не вправе да и не могут замыкаться в кругу собственно литературно-эстетических интересов. М. Синельников обращается к материалам партийных съездов и постановлениям ЦК КПСС, в частности постановлению «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы». Это делает более предметными его размышления об «индивидуальном и всеобщем», о «новых возможностях» и «новой ступени ответственности», о нерасторжимой связи судьбы рабочего класса и личных судеб героев литературы и их жизненных прототипов.

А. Панков в главах «Пределы быта и горизонты бытия», «Современник на рандеву», «Человек приходит в мир», показавшихся нам наиболее интересными в книге, апеллирует к ученым авторитетам в философии, социологии, педагогике и этике.

Все это, конечно же, придает оценкам явлений литературы особую убедительность, делает заключения и выводы критиков более основательными. Так, нам показали достаточно весомыми суждения М. Синельникова о направленности, «особом ракурсе» исследования действительности в новейших произведениях о рабочем человеке. Действительно они озаменовали собой определенный качественный сдвиг в самом подходе к рабочей теме. Смысл этого сдвига наглядно раскрыт в главах «Индустрия наших дней: человек в мире техники, человек в мире страстей» и «...Решают не тумблеры — люди! Полемические размышления об НТР в нашей жизни и о некоторых литературных преувеличениях».

О рецензируемых книгах можно было бы сказать немало добрых слов: их авторы поднимают такие пласты литературы, которые заслуживают тщательного рассмотрения. К этому обязывает интересы самой

литературы. Вспомним о том вдохновляющем признании общественно-воспитательного значения произведений на производственную тему, которое прозвучало с высокой партийной трибуны.

В одном из печатных откликов на книгу «Право отвечать за все» было сказано, что критик не только занят рассмотрением актуальных для современной литературы социальных и нравственных проблем — он в то же время вводит нас в творческую лабораторию писателей, обратившихся к рабочей теме: предлагает поразмышлять о «разведке материала», его художественном воплощении, о характерных просчетах иных прозаиков, которых специфический жизненный материал, быстротекущие будни современного производства торопят, подгоняют... Безоговорочно согласиться с этим мы, к сожалению, не можем. При всех несомненных достоинствах работа М. Синельникова, как и А. Панкова, страдает одним, на наш взгляд существенным, недостатком. Анализ явлений искусства ведется преимущественно на проблемно-тематическом уровне, при ослабленном внимании к поэтике, образному строю, художественному своеобразию произведений. Правда, М. Синельников, радуя за «жизненную полноту и художественную цельность» произведений о современном рабочем классе, говорит о различных формах проявления этих взаимосвязанных качеств. Ставится также вопрос, отнюдь немаловажный, о мере и границах допустимости в художественном произведении технических реалий, так как нарушение этой меры и этих границ превращает иной роман, повесть, пьесу в подобие служебной инструкции: за техникой исчезает человек, изображение производственного цикла становится как бы самоцелью.

В свою очередь, А. Панков, вполне сознавая, что не темой единой ценно произведение искусства и что в конечном счете вся соль в качестве идейно-эстетического освоения, образного воплощения реальных жизненных конфликтов, этой стороне дела также уделяет маловато внимания. Отдельные точные наблюдения его не приведены в систему.

Социологический аспект — необходимейшее условие изучения литературы, это азбучная истина. Но такой подход к искусству плодотворен при условии его обогащения исследованием и художественной ткани произведений.

Наши критики подробно рассуждают о сюжетных коллизиях и их реальных аналогах. И это чаще всего интересно. Но ка-

саясь художественного уровня разбираемых сочинений, они обычно ограничиваются редкими и крайне беглыми, не подкрепленными анализом замечаниями. Между тем не содержание само по себе, а художественное качество его воплощения определяет степень жизнедеятельности произведений. Чтобы не быть голословным, приведу несколько разбросанных по разным главам книги М. Синельникова замечаний, касающихся эстетического качества анализируемых им произведений: «Выразительно описаны в повести эти драматические минуты в жизни сборщиков...»; «Свободно и в то же время очень плотно написаны эти главы. Есть в них пластичность изображения, есть точные емкие детали»; «В романе... эти волнующие писателя мысли получают свое продолжение и развитие» и т. д. Читатель должен верить критику на слово, так как в подтверждение выдвинутого тезиса, как правило, следует изложение тех или иных эпизодов

Пафос книги М. Синельникова — в утверждении значимости и ответственности «художественного изображения человека труда». Подчеркнем это — художественного. Не всегда, однако, читая книгу компетентного критика, ясно, в каких случаях речь идет о явлении искусства слова, а в каких, пусть и продвиганных самыми благими намерениями, — о беллетризованных иллюстрациях определенных тезисов.

Особая значимость рабочей темы, о которой говорится в главе «За рабочую правду, за народное счастье», диктует критику необходимость быть предельно требовательным и взыскательным к творчеству писателей, выступающих первопроходцами в ее воплощении. Они, думается, не нуждаются в скидках на тематическую специфику и на сложность сочетания, взаимодействия производственного и человеческого.

А. Панков в начале своей книги пишет: «Для всякого дела нужна точка опоры. Нужна она и критику, когда он пытается следить за ходом современной литературы. Разумеется, в первую очередь здесь надо говорить о художественном мировоззрении». Под этим утверждением мы готовы подписаться, равно как и под другим: «Чтобы исследовать литературный процесс, его особенности и тенденции, приходится учитывать неповторимое и типичное, сходства и различия. Справедливые слова. Но декларации остаются декларациями, коли они не подтверждаются вдумчивым анализом, повторим это еще раз, текста произ-

ведений. В ряде случаев критик этот конкретный анализ подменяет рассуждениями по поводу. Во вступительных общетеоретических главах («Ядро конфликта: легенда о Сократе», «Судьба конфликта», «О пользе системности»), живо написанных, наш автор охотно цитирует Гегеля и Белинского, Е. Соловьева и А. Швейцера, Ю. Карягина и В. Толстых, А. Гульгу и А. Бочарова... Во всем этом нет греха, но жаль, что ключевое для понимания концепции А. Панкова понятие «художественный конфликт» остается, как это нам показалось, не до конца проясненным.

В начальных главах критик в самом общем виде пишет о «возросшей внимательности современной прозы к нравственно-психологическому развитию личности» и обнаружившемся в этой связи «оживлении и обновлении эстетики реализма», о «скрытом драматизме художественной истины», о выходе прозы «за грань сугубо экономической боли и злобы дня» и о многом другом. Но «расколдовать мановением руки или умного тезиса», если воспользоваться несколько выпяренным слогом критика, многосложные и многозначные явления искусства только «на мировоззренческом уровне» невозможно.

Автор «Вечного и злободневного» отмечает, что критику иногда выпадает необходимость «выхватить из литературы конкретную тему, но было бы ошибкой... мерить одним аршином содержание иных разнохарактерных книг». Речь, таким образом, идет о принципах отбора литературного материала и о масштабном соответствии его оценок. Увы, мы нередко их нарушаем, судя о литературном процессе не по наиболее характерным, типологическим, как принято говорить, явлениям. В самом деле: все ли сочинения, о которых текущей критике по долгу службы приходится толковать, и все ли темы, которые она «выхватывает из литературы», заслуживают внимания даже ко времени выхода в свет сборников наших статей или монографий? Вопрос, думается, не праздный.

Иные литературно-критические сборники уподобляются перенасыщенным растворам. От перечней имен и названий рябит в глазах. Между тем полнота охвата материала определяется не количеством упоминаний, а их качеством — значимостью не просто упоминаемых, а анализируемых произведений.

Время производит строжайший отбор. Когда оцениваешь произведение по свежим следам, не всегда удается предвидеть перспективы его бытования, предсказать

его судьбу. Бывает, критика ошибается. Иные повести и романы при рождении производят порядочный шум. Другие, промелькнув этаким метеором на литературном небосклоне, исчезают навечно. И по делом. А мы продолжаем рассуждать о них, выстраиваем в одном ряду с произведениями, которые явились вехами в истории литературы, оставили глубокий след в общественном сознании, продолжают жить живой жизнью.

К этой важной методологической проблеме вплотную подходят авторы академического трехтомника «Русская литература в историко-функциональном освещении» (1979), «Литературные произведения в движении эпох» (1979), «Время и судьбы русских писателей» (1981). Опыт веков, осмысленный в этих исследованиях, заслуживает внимания современной критики.

«Когда пишешь книгу о современной прозе, труднее всего поставить точку. Критик, желающий успеть за поисками литературы, подобен человеку, который преследует линию горизонта. Действительно, пока идет работа, на письменном столе появляются новые книги, новые журналы. И, читая самое интересное, невольно ло-

вишь себя на мысли, что в организме словесности непрерывно происходят глубинные процессы. Под напором свежих читательских впечатлений начинает казаться, что выводы и рассуждения, еще накануне выглядевшие дельными и конструктивными, утрачивают универсальное значение». Этой цитатой из книги «Вечное и злободневное» можно, пожалуй, и закончить нашу рецензию. Сознание незавершенности сделанного, понимание непрерывности процесса обновления, происходящего в жизни и в литературе, и необходимости постоянного совершенствования инструментария критического анализа, без чего невозможно проникнуть в глубины этого процесса,— залог профессионального роста, совершенствования мастерства критики.

Обе книги написаны людьми творческими. Из их опыта можно и следует извлечь урок. Потому-то мы более подробно говорили о недостатках, не лежащих на поверхности, и менее развернуто — о достоинствах, которыми отмечены рецензируемые издания «Право отвечать за все» и «Вечное и злободневное».

Уран ГУРАЛЬНИК,
доктор филологических наук



ЧИСТЫЙ ЗВУК

Анатолий Жигулин. Избранное. Стихи. М. «Художественная литература». 1981. 351 стр.

В жизни поэзии есть такой парадокс. Казалось бы, стихи пишут для того, чтобы передать мысли, выразить чувства. Но и мысль и чувство здесь переходят в совершенно новое качество. В итоге читается либо меньше, либо больше того, что хотел сказать автор. И только то, где сказало больше, становится подлинной поэзией.

Таинственно-пронзительное смещение между буквальным значением фразы и ее настороженной, слегка вопросительной интонацией — таков поэтический почерк Жигулина.

Ветер свистит в сухом камыше
Близким повсистою зимних выюг.
Больше того, что есть в душе,
Мы — увьи — не напишем, мой друг.

Ошибется тот, кто, исходя из принципа «один к одному», прочтет здесь проповедь «задушевности» как гарантии истинной поэзии. Ведь то, что есть в душе,— тайна и для самого поэта. И талант тоже ведь часть души, отнюдь не одинаковая у всех. У иных есть в душе целый мир, своя бесконечность,

больше которой, естественно, быть ничего не может. Ну а стремиться к полноте самовыявления — право и долг каждого.

Какая-то свободная недоговоренность скрыта в этом прерывистом дольнике, в этом чуть-чуть ироничном «увьи». Не улыбка, не усмешка даже, а едва заметное движение в уголках губ. Жест Жигулина.

Биографический опыт поэта сразу задал строгие требования его поэтической работе: очень рано «жизнь открылась до самых глубин», прояснились неуязвимые и неоспоримые ценности. Высокие слова и понятия не стали риторикой в силу особых причин, особой связи их с реальностью. То, что для многих остается сильным словом, патетическим иносказанием, для Жигулина в юные годы повернулось буквальной, вещественной стороной. Одно дело — рассуждать о трудностях, которые «легли на плечи», и совсем другое — перенести на своих плечах многотонную магистраль в самом что ни на есть прямом смысле (стихотворение «Рельсы», 1959). Одно дело — декларативное отречение от материальных благ, другое дело,

когда слова «что нам золото?» произнесены человеком, который в сибирской тайге «самородки большие, желтые отдавал за табак и хлеб» («Золото», 1963).

В стихах Жигулина установилось бережное отношение к главной и заветной теме, ощущение ее границ, умение не размыть их. Вот «в сквозном лесу, растоптанном войной», двое мальчишек ищут землянику, но ярко-красные пятна оказываются каплями крови на листьях («Земляника», 1958). Вот красные флажки — «частицы сердца», которыми шоферы на Севере отмечают путь для идущих за ними прувозиков («Флажки», 1961). Сами простые названия этих стихов показывают, как тема находила свое слово — или слово перерастало в тему.

Не сразу стих научился попевать за темой. Искренность — сложное и нелегкое искусство. Эмоциональность, задушевность еще не гарантируют глубины. Недаром слово «искренний» означает: идущий из корня, из сути. А чтобы дойти до корня, нужно прозрение разума, необходимо открытие.

Вновь и вновь возвращаясь памятью к временам своей суровой юности, Жигулин пришел к нравственно-философскому и художественному открытию, освоив болезненно-острый материал с совершенно новой стороны. Он сумел почувствовать себя ни в чем не обделенным, пережить радость своей трудной судьбы и уверенную гордость ею: «Пусть нам завидуют счастливы, кто жил легко, писал легко...»

Твердость устоев жизни — залог ее вечности. Это надо не просто понять, но и пережить. И свидетельство индивидуального опыта порой оказывается полезнее абстрактных разговоров. Тяжело было жить, когда и труд и хлеб отмерялись жесткой мерой. Кто станет с этим спорить? Но вот вспоминает Жигулин те времена, когда особенно резко проступала «прямая связь: работа — хлеб», и видится ему здесь принцип не только суровый, но и высокий:

Та связь, наверное, издревле
Была началом всех начал...

Это не смиренная покорность, не умиротворенный квиетизм. Это честный взгляд на вещи. Взгляд человека, всегда предпочитающего правду реальности отвлеченной норме. Поэтому-то и веришь автору, его спокойному, непоказному бесстрашию:

И нечего просто бояться.
Какая там боль впереди?
Пусть даже опять повторятся
Мои роковые пути.

Рядом со словом «судьба» у Жигулина стоит «Родина». Немало поэтов стремились

поставить лирический знак равенства между этими двумя символами. Для русской патриотической лирики эталонной формулой стала лермонтовская «странная любовь», то есть чувство живое, неподотчетное рассудку, лично-интимное. В этой книге диалог с Родиной ведется спокойно, без малейшей патетики:

В годы печали и зла
Ты обо мне не забыла,
Поле мое сохранила,
Душу мою сберегла.

С дерзостной наивностью, эмоционально мотивированной и в данном контексте необходимой, поэт готов обсуждать с Родиной весь объем своих жизненных впечатлений:

Все, чем живу и дышу,
Знаю, а может, не знаю,—
Только тебе доверяю,
Только тебе расскажу.

Жигулин хорошо знает счет своим главным ценностям. Что берет он с собой и в жизнь и в поэзию? Воспоминания, точные маршруты странствий, тесный семейный круг, старых и надежных друзей. И каждый человек, каждый предмет, оказавшийся в этом поэтическом мире, одарен самым пристальным и светлым вниманием. Вспомним стихотворение «Бурундук» с его символически-выразительным сюжетом, в котором слышится эхо пушкинской «Птички». Классическое «когда хоть одному творенью я мог свободу даровать» нашло своеобразное продолжение в современных разговорных словах:

А весной, повздыхав о доле,
На делянке под птичий щелк
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк.

В то же время бурундук у Жигулина не просто материал для аллегорического построения, но существо дорогое и близкое само по себе. Если представить поэтическую систему ценностей Жигулина как некую эмблему, герб, то сибирский зверек непременно оказался бы здесь рядом с заветной лирой, с дорогими реликвиями времени, с тонкими узорами русской природы.

Жигулинская лирика живет движением от точных, конкретно-интимных реалий к широким обобщениям. А это дается лишь тому, кому ведомо острое чувство границ. Когда мир поэта действительно отвечает его человечески-определенному «образу и подобию», тогда он становится необходимым отражением большого и общего мира. Сосредоточенность, сфокусированность поэтического взгляда вдруг может дать ощущение

пространства и простора. Когда мы вслед за поэтом видим

И эти намокшие колья,
И стадо на том берегу,
И зелень свекольного поля
На сизом остывшем лугу...

И эти кусты, и осинки,
И берег с холодной травой,
И женщину в красной косынке
Над свежей зеленой ботвой...

Это не элементарно-правдоподобное описание, а результат смелого и свободного выбора деталей и цветов. Такой пейзаж сродни не передвижникам, а скорее Камилло Коро и ранним импрессионистам.

В критике очень распространена тенденция сводить сущность поэтики Жигулина к безыскусности, к покорной верности традиционным и надежным канонам. Но слишком многое объективно отличает поэта от тех, кто исповедует «прозрачные размеры, обычные слова». Для Жигулина характерно переживание слова как чего-то необычного. Так, он подает, например, точные названия растений, не очень привычные для читателя, а потому значимые скорее в звуковом, музыкальном смысле. Колымский сланик, болиголов, лох, кукушкин лен, дрок, чабрец — эти слова в лирической системе Жигулина равноценны метафорам и символам. Они и в стихе стоят на заметном месте как слова заветные. Так же необычно звучат тяжеловесные, грозные, определяющие тон стиха и важные для автора географические названия: Усть-Омчуг, Бутутычаг, — да и технико-производственные термины, даваемые без комментария.

А все стихотворные размеры сами по себе прозрачны. Но если они остаются таковыми в стихах, не приобретая индивидуального рисунка и колорита, то это не что иное, как поражение поэзии. Немногого стоят метр без ритма, канва без узора, традиция без новизны.

Жигулин не подыскивает к смыслу готовый ритм, а доверяется музыкальной стихии: «И с первых минут пробуждается смутно упругой струною звенящая мысль...» Жигулин не боится отдать мысль во власть музыки. Логика замысла, как струна, прогибается, подчиняясь ритмическому напору, — и рождаются новые, рискованно так выразиться, музыкальные смыслы, которые порой далеко уходят от логического подстрочника. Вникая в «тонкое и странное, что не изучено людьми», поэт стремится продлить в стиховой мелодии такие мимолетные и хрупкие ощущения, которые просто не фиксируются на шкале логического смысла,

да и в традиционно-поэтическом «реестре» эмоций еще не имеют определений:

Неощутимое, невятное,
Неразличимое почти,
Как та звезда голубоватая,
Едва мелькнувшая в ночи.

Ее как будто бы и не было,
Но, догоревшая дотла,
В холодном мраке, в черной небыли
Она ведь все-таки была.

Этот промежуток между былью и небылью доступен разуму и чувству лишь тогда, когда их ведет свободная стихия стиха. «Все, чем живу и дышу, знаю, а может, не знаю...» Признавая ценность и значительность того, что входит в понятие «не знаю», Жигулин достигает чистоты звука, которая сулит читателям возможность открытия новых эмоциональных и смысловых оттенков. При чисто смысловом, равнодушном к движению стиха взгляде такая черта может показаться наивностью. Но лирическая смелость — еще и неизбежно быть наивным, это объединяет всех настоящих поэтов независимо от школ и направлений.

Оттенок наивности всегда лежит на новизне и на искренности. Куда надежнее отработанные, многократно проверенные смысловые и эмоциональные ходы, овеванные декоративной традиционностью. Жигулин же никогда не поддается соблазну применить к новой, конкретной ситуации прежние, заранее готовые мысли и чувства. Вот ушел из жизни старый друг: «Вольны мы спускаться любою тропою. Но я не пойму до конца своих дней, как смог унести ты в могилу с собою так много святого из жизни моей». Вроде бы не так принято думать и говорить в подобных случаях и не совсем кстати тут слова «щемящая странность». Но именно эти слова нужны, чтобы рассказать о подлинном и о своем. А убеждаясь в подлинности, мы понимаем, что мотив странности связан здесь у Жигулина с одной из сквозных тем его лирики — темой жизни, смерти и бессмертия.

И в этой теме поэт нашел свой поворот, придав собственное значение словам «бессмертие» и «душа». Детская уверенность в бесконечности жизни и умудренное сознание неизбежного прощания с ней в лирике Жигулина не противоречат друг другу, а согласуются, сопрягаются, создавая единое ощущение радостной тайны бытия.

Доверие к жизни, умение ценить ее и в самом суровом облике, видеть реальные события в их смысловой полноте — эти качества рельефно проявляются в сюжетных стихотворениях Жигулина, таких, как «Кострожоги», «Воспоминание», «Я был

назначен бригадиром...». Повествовательная форма дает возможность показать добро как житейскую необходимость и как реальную влиятельную силу. Каждый такой эпизод звучит гораздо убедительнее множества нравственных проповедей. Жигулин-рассказчик со своей непредубежденностью и свободным взглядом на вещи принадлежит к той просторной, недогматической традиции, которая основана Некрасовым и продолжена Твардовским в «Василии Теркине».

«Страницы автобиографии», открывающие том «Избранного», многократно перекликаются с мотивами сюжетной лирики Жигулина, являя собой не инородный текст, а

прозаическую главу в стихотворной книге. Кстати, и жигулинская проза проста только с виду. Она не будет понята верно без внимания к речевым и смысловым оборотам.

Лирика Жигулина — открытая книга. Ее мелодические ходы не исчерпаны, они ищут своего продолжения, новых, быть может, поворотов и оттенков.

Больше того, что скажет судьба,
Разве мы сумеем сказать?..

Но судьба ведь не только прошлое. Это и настоящее и будущее.

**О. НОВИКОВА,
В. НОВИКОВ.**



Политика и наука

ПОВЕСТЬ О ТРУДЕ

Юрий Помпеев. Движение. Документальная повесть. М. Политиздат. 1980. 224 стр.
Юрий Помпеев. Имя подлинное — рабочий. Л. «Советский писатель». 1981. 222 стр.

Работа ленинградского писателя Ю. Помпеева давно уже обратила на себя внимание читателей и критиков. С первых же своих шагов в литературе он отдал предпочтение одному из самых нелегких жанров — публицистике, тому каждодневному общению с современностью и современниками, в котором нет места домыслу, где «ни убавить, ни прибавить», зато можно точнее и ярче увидеть движение жизни.

В своем творчестве Ю. Помпеев далек от литературной фотографии. Вспоминается, как несколько лет назад, после того как в журнале «Звезда» была опубликована его работа «С такими людьми» (о тружениках объединения «Невский завод» имени Ленина), в писательской среде зашел спор: что же это — очерки? документальные зарисовки? а может быть, даже повесть без главного героя? или то, что нынче принято называть не совсем понятным, но зато модным словом «эссе»? В том, что написал тогда Ю. Помпеев, была и славная история завода (бывшего Семяниновского), и воспоминания о своем детстве, об отце-рабочем, и раздумья о нелегком труде человеческом, и рассказ о сегодняшнем дне предприятия. Все это легко и свободно сочеталось, работало на создание образа — предприятия, рабочего, партийного руководителя. Думалось: да в том ли дело, каким литературным термином охарактеризовать прозу Ю. Помпеева? Главное, что он пишет интересно, пристально глядя в людей и события, а раз так, то и талантливо!

И вот сразу две новые книги Ю. Помпеева, вышедшие почти одновременно: «Движение» и «Имя подлинное — рабочий». Одна — документальная повесть о людях Хибин, другая — портреты знатных ленинградских рабочих. Впрочем, это лишь самое краткое определение сути книг Ю. Помпеева. Он и в них остался верен себе: вновь история и современность, вновь раздумья над нелегкими человеческими судьбами и воспоминания, будто писатель осмысливает свою жизнь через другие жизни, а чужие судьбы — через свою. И вместе с людьми — героями его книг раскрывается еще один не названный по имени герой — эпоха.

В основе каждой работы Ю. Помпеева лежит прежде всего доскональное знание материала, строгая документальность, точность факта, портрета, характера — без урассательства и недомолвки. Это авторская позиция. В предисловии к «Движению» Д. Гранин точно определил: «Герои Помпеева — люди, мыслящие широко, граждански смело, это люди действия и духовной красоты. Именно через них, через непрерывную связь времен книга раскрывает Время и героев, которые существуют в этой повести не по воле автора, а по воле Истории». Бесспорно, эти слова в полной мере относятся и ко второй книге Ю. Помпеева.

В повести «Движение» наиболее яркие, наиболее запоминающиеся фигуры — С. М. Киров, стоявший у начала освоения хибинских богатств, и В. И. Кондриков, один из первопроходцев Хибин, управля-

ющий трестом «Апатит». Воссоздать образы тех, кто уже принадлежит истории, всегда непросто. Здесь, кроме упорства исследователя, требуется особый талант сердечности, что дает писателю возможность и право увидеть этих людей внутренним зрением, а не просто на старых фотографиях, оживить их образы в себе самом, в своей душе. Ю. Помпееву это удается. И тут вступает в силу обратная связь: читательская благодарность писателю за то, что к известным и любимым портретам он добавил новые черты, обогатив наше видение истории.

С первых же страниц повести перед нами встает город, «вышедший из недр, из скал вопреки неприветливой, исподлобья глядящей природе», — образ яркий и поэтический. Помпеев пишет, как в 1930 году один из авторитетных советников международного фосфатного картеля, Крюгель, сказал о Хибинах: «Климат местности, где встречаются залежи, неблагоприятен, и люди едва ли могут там жить». Что ж, в своих оценках сил и возможностей нашего народа на Западе ошибались не раз (ошибаются и по нынешний день). Вот всего лишь один факт, приведенный Ю. Помпеевым: «Итак, вначале было сто тысяч тонн руды за год... сейчас комбинат «Апатит» добывает эту сотню тысяч тонн руды не за год, естественно, и даже не за месяц или декаду — это суточная норма добычи, суточная». Таков результат непрекращающейся битвы за богатство далекого и холодного края, битвы, которой посвящена документальная повесть Помпеева. Может быть, поэтому она и названа «Движение»?

Остается добавить, что на книгу о Кировске и его жителях писатель имел особое право. В молодости Ю. Помпеев был там, в Хибинах, на комсомольской работе, и многие страницы написаны им по личным воспоминаниям. Навсегда полюбив этот край мужественных людей, он не мог не вернуться туда годы и годы спустя уже в ином качестве — вернуться писателем с обостренным чувством своей ответственности перед теми, кто сотворил это северное чудо. «У каждого литератора, видимо, есть особенно родное, тревожаще-близкое место, где он пустил корни, рос вместе со всеми, и потом он долго сверяет пульс своих сочинений с биением жизни на избранной точке земли. Поэтому не могу я... отделить себя от Хибин», — пишет автор.

Иначе написана книга «Имя подлинное — рабочий». В нее вошли лучшие очерки Ю. Помпеева, которые в разное время пуб-

ликовались в журналах и уже были замечены и по достоинству оценены критикой. Среди героев очерков известные ленинградские рабочие И. Прокофьев, И. Шевцов, Г. Богомолов, А. Чуев, В. Становой и другие. Рассказывая о них, писатель стремится понять главное в каждом своем герое, как бы открыть его для себя и поделиться радостью открытия с читателем. Именно радостью: каждый очерк Ю. Помпеева несет в себе следы той праздничности (другого слова не подберешь), которую оставили в душе автора встречи с этими удивительными людьми.

И вот что характерно: люди разных судеб и рабочих профессий, они объединены одной целью, одними нравственными качествами, одними движениями души. Откуда это единство? Размышляя о нем, Ю. Помпеев замечает: «Труд... обеспечивает и духовный рост каждого человека. И в этом смысле коллективный социалистический труд — категория неопределимая, потому что в труде повседневно происходит жизненно важное влияние людей друг на друга. А что воздействует на нас, на нашу судьбу сильнее?»

Вряд ли имеет смысл пересказывать, как, какими путями, подчас нелегкими, шли герои Ю. Помпеева к вершинам своего мастерства и трудовой славы, — чтобы понять это, надо прочитать книгу.

Может быть, не все в ней удачно в равной мере. Порой писателю как бы не хватает красок и он пользуется для разных портретов одними и теми же. Порой чувствуется перегрузка техницизмами, не всегда легкими для восприятия даже искушенным читателем, что вряд ли должно быть таким уж непременно свойством художественной документалистики. Но вот о чем думаешь прежде всего, прочитав новые книги Ю. Помпеева: верность жанру — привлекательная черта в творчестве любого писателя, тем более документалиста, однако не происходит ли сейчас в творчестве Ю. Помпеева сложный и не всегда поддающийся объяснению процесс обязательного для каждого писателя количественного накопления (материала, философского осмысления факта, даже мастерства), который со временем неизбежно приводит к иному качеству, к работе над художественным произведением большего масштаба и общественного звучания? Ю. Помпееву под силу более крупные полотна, и кто знает, с какими новыми его работами и в каком жанре мы встретимся завтра...

Евг. ВОЕВОДИН.



ЧТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГОВОРИЛ МАО ЦЗЭДУН

Маоизм без прикрас. Некоторые уже известные, а также ранее не опубликованные в китайской печати высказывания Мао Цзэдуна. Сборник. Под общей редакцией О. Е. Владимирова. Составление и вступительная статья М. Л. Алтайского. М. «Прогресс». 1980. 283 стр.

Было время, когда слово «Китай» ассоциировалось у нас в стране с образом надежного друга и союзника. За этим стояли годы искреннего сочувствия и помощи соседнему и близкому нам народу, горячей поддержки его революции. Я до сих пор помню свои впечатления о первых днях пребывания в Китае. То был 1954 год. Все мы, тогда выпускники московского Института востоковедения, были полны ожидания встречи с чем-то радостным и дорогим. Неповторимый колорит узеньких пекинских улиц, живописные одежды жителей города, великолепная архитектура средневековых дворцов и храмов — все это оставляло неизгладимое впечатление. Но самую большую радость и признательность вызывала, конечно, глубокая симпатия, светившаяся в глазах почти всех встречавшихся с нами людей. «Сулянь» (советский) звучало как пароль вечной, нерушимой дружбы.

Прошло немногим более двадцати лет, однако теперь упоминание о Китае рождает у советских людей чувство тревоги, озабоченности. Нет, мы не стали китаефобами, мы по-прежнему уважаем и любим китайский народ, нам дороги идеалы дружбы с нашим великим соседом. То, что они попораны, не наша вина.

Переход китайского руководства от политики союза с Советским Союзом к курсу на конфронтацию имеет серьезные исторические, социальные и идеологические причины. Выяснению их посвящены многие научные исследования и публицистические эссе, воспоминания и очерковые записи. Книга «Маоизм без прикрас» несколько выделяется в этом ряду: составлена она из высказываний Мао Цзэдуна по различным вопросам внутренней и внешней политики, теоретическим проблемам. Большинство из них до недавнего времени не было известно в Советском Союзе, до сих пор они неизвестны и широким кругам китайской общественности.

Рецензируемая книга дает адекватное представление о мироощущении Мао, его идейных и политических симпатиях и антипатиях. Если хотите, в ней он предстает таким, каким был на самом деле, воистину без прикрас. Что греха таить, многие из нас в 40—50-е годы имели превратное представление о руководителе КПК. Казалось, что

Мао олицетворяет лучшие революционные традиции китайского народа. Мы не знали тогда подлинной истории китайской компартии, запечатленной в книгах Ван Мина, Отто Брауна, П. П. Владимирова и других непосредственных участников и очевидцев событий китайской революции.

Высказывания Мао Цзэдуна рисуют образ самовлюбленного, тщеславного человека, властолюбца, одинаково беспощадного и к врагам и к друзьям. И в то же время перед нами предстает политический лидер, теоретически мало образованный, даже кичащийся этим.

В 1964 году Мао бросил по адресу своих противников примечательную фразу: «Они хотят поучать даже таких людей, как я!» В ней весь он, нетерпимый к любым мнениям, расходящимся с его собственными. Таким Мао был и во времена «большого скачка» и позднее — в годы «культурной революции». Причем когда предлагаемые им мероприятия приводили к негативным для китайского общества последствиям, Мао, как правило, ссылался на то, что он-де не силен в вопросах промышленности, сельского хозяйства, да и вообще в теории. Часто кокетничал он и тем, что не знает марксизма.

Марксизм Мао действительно не знал, что, впрочем, не мешало ему спекулировать на его положениях. Тем не менее всякий раз, когда речь заходила о персональной ответственности Мао за совершенные им социально-политические ошибки, он добивался осуждения своих критиков. Можно вспомнить в этой связи хотя бы устранение с поста министра обороны маршала Пэн Дэхуая, выступившего с резкой критикой политики «большого скачка» на Лушаньском пленуме ЦК КПК в августе 1959 года. Как говорил сам Мао: «Я научился слушать, стиснув зубы, слушаю говорящего одну — две недели, а затем отвечаю ударом на удар». И он действительно был большим мастером по части организации политических чисток и расправ. В годы его руководства КПК в стране были подвергнуты репрессиям десятки миллионов людей. В этом деле Мао удавалось многое, если не все. Возможно, потому, что он в полной мере обладал одним ценным для диктаторов качеством — умением манипулировать людьми, использовать одних для ниспроверже-

ния других, превращать их в мариэнеток, бездумно исполнявших его решения.

Будучи, по собственному признанию, профаном в вопросах теории, Мао тем не менее любил рассуждать на философские сюжеты, особенно по проблемам диалектики. Однако анализ реальных противоречий, существующих в жизни, и выработку научного подхода к их решению Мао подменял софистической игрой в противоположности; жонглируя противоположными понятиями, он конструировал мнимые противоречия. Главный порок его псевдодиалектических рассуждений состоял в том, что в соответствии с ними можно было объявить противоположными понятиями любую пару явлений общественной жизни. Именно так и поступал «великий кормчий» в своей политической практике. В одном случае он противопоставлял рабоче-крестьянские массы партийным и государственным работникам в социалистических странах, в другом — принцип материальной заинтересованности в труде моральным стимулам, в третьем — изображал антагонистами КНР и СССР, объявлял последнего врагом номер один. —

Зачастую, и об этом ярко свидетельствуют приводимые в книге высказывания, Мао низводил сложные диалектические проблемы до уровня их обывательского понимания. Чего стоит, например, следующее его утверждение о характере взаимосвязей, существующих в природе: «Сын превращается в отца, отец превращается в сына, женщина превращается в мужчину, мужчина превращается в женщину. Непосредственное превращение невозможно. Однако разведение мальчиков и девочек в результате брака — не превращение такого рода?» Если бы у Мао речь шла лишь о противопоставлении таких понятий, как «мужчина» и «женщина», и их «взаимопереходе», то можно было бы не обращать внимания на подобные «диалектические» упражнения. Однако столь же вульгарно он рассматривал и проблему сущности социальных противоположностей. Мао, скажем, часто любил повторять, что «война переходит в мир, мир переходит в войну». Исходя из обывательско-упрощенного понимания данных явлений как внешне взаимоположных, он объявил их социальными противоположностями, из чего следовало, что развитие общества неизбежно приводит к смене мира войной, а войны миром. То, что война и мир представляют собой не две стороны одного явления, а две различные формы политических взаимоотношений между госу-

дарствами и возникновение войны обусловлено внутренне противоречивой природой самого антагонистического общества, было за пределами понимания «великого кормчего».

Китайская пропаганда до сих пор ставит Мао Цзэдуну в заслугу создание так называемой теории двойственности, согласно которой любое явление представляет собой сумму «хорошей» и «плохой» сторон, находящихся между собой в состоянии постоянного взаимоперехода путем перемены мест. Подобная «теория» неизбежно вела к оправданию социальных конфликтов в социалистическом обществе, внутрипартийной борьбы в коммунистических партиях, подрывных действий контрреволюционных элементов, агрессивных войн, ибо, как утверждал Мао, «в определенных условиях плохое может привести к хорошему результату, а хорошее, в свою очередь, может привести к плохим результатам». В соответствии с такой «диалектикой» под категорию «хороших дел» попадали и израильская агрессия против арабских стран, и новая мировая война с ее неисчислимыми бедствиями для народов. «Если действительно разразится атомная война, не так уж это плохо, в итоге погибнет капитализм и на земле воцарится вечный мир», — провозглашал Мао.

Давно замечено, что милитаризм, апология войны соседствуют с нигилистическим отношением к интеллигенции, к культуре, образованию, знаниям вообще. Пример Мао не является исключением. Стремясь дискредитировать своих политических противников, прежде всего опытных, заслуженных деятелей партии, которые выступали против мелкобуржуазной схемы построения социалистического общества, он выдвинул тезис «простолюдины — самые умные, аристократы — самые глупые». Простолюдинами в терминологии Мао являлись те, кто не получил образования, а аристократами — квалифицированные партийные и государственные кадры. Противопоставляя «простолюдинов» «аристократам», Мао уверял китайский народ, что истинной мудростью обладают необразованные, неграмотные молодые люди, что именно они представляют собой подлинную революционную силу, выступают творцами научных теорий, великих открытий и изобретений. Одновременно он недвусмысленно намекал, что работники партийно-государственного аппарата, интеллигенты становятся консерваторами в силу полученного ими образования и возраста. «С нашей точки зрения, — заявлял Мао, —

интеллигенция — наиболее невежественная часть общества». Она является носителем «книжных знаний», которые, с его точки зрения, бесполезны, даже приносят вред. И раздавались призывы, обращенные к молодежи: «Не надо читать много книг», «Самые цивилизованные люди — это малограмотные люди». Рассчитанные на завоевание популярности среди отсталых масс населения, эти и подобные утверждения привели к тому, что в Китае, где с давних времен существовал пиетет перед учеными-книжниками, стал процветать культ невежественности. Яркий пример тому — «дело» Чжан Тэшэна. После окончания средней школы этот молодой человек был направлен на работу в деревню, где утратил приобретенные ранее знания. В 1973 году Чжан Тэшэн решил поступить в один из сельскохозяйственных вузов. Во время экзамена он подал чистый лист, тем не менее его приняли в институт, более того — он стал даже депутатом китайского парламента. Главным критерием для поступления в вуз, подчеркивала в этой связи китайская печать, является преданность маоистским идеалам, а не знания. Небезынтересно, что Чжан Тэшэн действовал в полном соответствии с установкой Мао: «На некоторых экзаменах я подавал чистый лист; на экзамене по геометрии я нарисовал куриное яйцо».

Правда, бывали кратковременные периоды, когда Мао пытался играть роль мцената науки, покровителя ученых. Так было, в частности, во время осуществления пресловутого курса «пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые». В беседе со мной один видный китайский ученый рассказал следующую историю, происшедшую с ним в те дни. Как-то ночью, когда он уже спал, ему позвонили по телефону. Профессор №? Да, ответил он. Подготовьтесь, сейчас за вами придет машина. «Я не знал, что и подумать», — продолжал свой рассказ профессор. — Ведь было уже около двух часов ночи. Когда мы ехали по пустым улицам Пекина, я продолжал волноваться, ибо мои спутники ничего не говорили о цели моей поездки. Наконец мы приехали. Меня ввели в комнату, где я увидел... Мао Цзэдуна! Радости моей не было предела. (Профессор сразу же забыл, что его подняли с постели, ведь его пригласил сам Мао! — В. Б.) Он угостил меня рисовой водкой, и потекла мирная беседа о необходимости изучения китайской философии». Однако подобное повышенное внимание к

скромным занятиям китайских ученых случалось у Мао редко. Гораздо чаще они выступали объектом его уничтожающей критики и репрессий.

Следует также учитывать еще одно обстоятельство. Будучи реакционным мелкобуржуазным идеологом, Мао питал отвращение к науке, с подозрительностью относился к ученым. В то же время как политический лидер, зараженный комплексом великоханьского шовинизма и гегемонизма, он не мог не понимать, что без определенного развития целого ряда областей естествознания ему не удастся добиться реализации своих стратегических целей. Однако обусловленное чисто прагматическими соображениями — необходимостью усиления военной мощи Китая, в первую очередь создания ракетно-ядерного потенциала, — использование научно-технической интеллигенции не означало изменения представлений Мао о ее роли в обществе.

В настоящее время в Китае пытаются навести глянец на изрядно подмоченный житейскими бурями лик «великого кормчего». Признание его ошибок сопровождается попытками списать их по разряду новизны и оригинальности китайского опыта строительства нового общества. Однако, как справедливо отмечается во вступительной статье книги, взгляды Мао Цзэдуна на социализм — «отнюдь не отражение творческого поиска путей применения интернационального опыта социализма и теории научного коммунизма к специфическим условиям Китая, а выражение мелкобуржуазных и националистических позиций маоизма». Великоханьский шовинизм и гегемонизм определяли не только существо внешнеполитической доктрины маоистов, но и весь комплекс проводимых им внутривластных мероприятий. Заветная мечта Мао состояла в достижении лидерства Китая в мировом революционном движении, международных отношениях вообще. «Мы должны покорить земной шар», — говорил он. — Нашим объектом является весь земной шар. О том, как работать на Солнце, мы пока говорить не будем». Главным препятствием на пути достижения своей китаецентристской цели Мао считал Советский Союз, поэтому он злобно клеветал на него, заявляя о якобы имеющем в нем место буржуазном перерождении.

Вероломство и лицемерие всегда были второй натурой «великого кормчего». Об этом красноречиво свидетельствуют его высказы-

вания, помещенные в разделе, озаглавленном «Мао против Мао». В те годы, когда решалась судьба народной революции в Китае, Мао всячески подчеркивал важность интернациональной помощи советского народа: «...Советский Союз с его беспрецедентной мощью — всегда с Китаем: и в радости, и в горе... Отказаться от помощи Советского Союза — значит обресть революцию на поражение». На словах подчеркивал, а на деле готовил условия для разрыва отношений с Советским Союзом, социалистическим содружеством и блокирования с империализмом. Так, недавно в Вашингтоне были опубликованы документы о китайско-американских отношениях, из которых явствует, что 31 мая 1949 года Чжоу Эньлай передал помощнику американского военного атташе в Китае Барроту секретное послание «высшим американским властям». Судя по его содержанию, маоистское крыло руководства КПК было готово пойти на разрыв отношений с Советским Союзом в обмен на экономическую помощь США.

Сегодня кое-кто в кругах революционного движения на Западе, увидев, что нынешнее китайское руководство отбросило целый ряд теоретических установок и практических мероприятий Мао Цзэдуна, поспешил заявить, что в Китае якобы происходит демаоизация. Однако подобного рода утверждения, на наш взгляд, не имеют серьезных оснований. Во-первых, неправильно отождествлять маоизм только с именем Мао Цзэдуна. Безусловно, Мао сыграл главную роль в его формировании, но нельзя забывать о «вкладе» и других деятелей, в частности Дэн Сяопина. Маоизм — это мелкобуржуазное идейно-политическое течение, возникшее на китайской почве и паразитирующее на чрезвычайной отсталости массовых слоев населения, зараженных ненавистью ко всему неазиатскому, проникнутых мессианской идеей о великой роли Китая в мире. Во-вторых, маоизм как идейно-политическое течение всегда был эклектичным, что объясняется самой его природой — он базируется на разнородных теоретических источниках. Точно так же он не был

единым и как социальный феномен. В маоистском лагере всегда имелись различные фракции, между которыми постоянно существовали определенные противоречия. На авансцене политической жизни они зачастую вели к острым столкновениям. Достаточно сказать, что разногласия между Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином дважды приводили к опале последнего. Подобного рода разногласия в действительности были связаны лишь с различным пониманием тактических установок. И если борьба между «бандой четырех» и нынешним китайским руководством приняла столь драматический характер, то в значительной мере потому, что в данной системе политического лидерства большую роль играют честолюбивые устремления, личные амбиции, жажда власти. (Кстати сказать, история дает нам немало примеров острой борьбы между недавними соратниками. Можно указать хотя бы на устранение Рема Гитлером.)

Ныне в Пекине пытаются представить маоизм более респектабельным. Отсюда большая, чем раньше, спекуляция на марксистских положениях. Мы присутствуем при рождении своего рода модернизированного маоизма, чего-то вроде неомаоистской модели видения мира и социального развития вообще. Неомаоистской, поскольку в ней есть определенное отличие от представлений Мао. Однако в главном, в существенном обнаруживается ясная преемственная связь между тем, что говорил и делал он, и тем, что говорят и делают его преемники. Все сподвижники «великого кормчего» придерживались китаецентристских, шовинистических убеждений независимо от расхождений по другим вопросам. Поэтому его смерть не могла в этом смысле ничего изменить и действительно ничего не изменила.

Таковы вкратце те размышления, которые рождаются при знакомстве с книгой «Маоизм без прикрас». Сборник этот позволяет не только понять современную историю Китая, но и оценить возможные тенденции его развития в ближайшем будущем.

В. БУРОВ,



СОЦИАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ЭКОЛОГИИ

П. Г. Олдак. Современное производство и окружающая среда. Новосибирск. «Наука». 1979. 191 стр.

П. Г. Олдак. Сохранение окружающей среды и развитие экономических исследований. Новосибирск. «Наука». 1980. 160 стр.

Набат экологической тревоги грянул в середине 60-х годов. Что с тех пор произошло, как выглядит ситуация в наши дни?

По некоторым данным, нефтяной пленкой подернута уже пятая часть Мирового океана. Реки Земли загрязнены более чем на треть, и таким отношением не засушливым странам, как ФРГ, Голландия, Дания, приходится ввозить пресную питьевую воду. Вырубка влажных тропических лесов (5,6 гектара в минуту) уже оборачивается катастрофическими наводнениями в зоне от западного побережья Африки до Индокитая. Почвенный слой планеты сокращается, как шагреньевая кожа: за последние семьдесят лет половина обрабатываемых земель либо оскудела, либо пришла в негодность.

Для уяснения остроты ситуации, очевидно, достаточно и этих приведенных в книгах П. Олдака фактов. Два слова лишь о том, чем все это может обернуться, если человечество не предпримет неотложных мер и производство будет развиваться как прежде. В таком случае, указывает автор, следует ожидать, что через пятьдесят лет вокруг нас станет вдесятеро больше рассеянного и, как известно, вредного для здоровья свинца, в 100 раз больше ядовитой ртути и в 250 раз больше мышьяка. Кислорода, наоборот, может поубавиться: лишь за последние двадцать лет интенсивность жизни во всех морях земного шара, по данным Жака Кусто, ослабла не менее чем на треть, а если погибнет Мировой океан и будут сведены основные массивы лесов, что тоже возможно через полвека, то после отказа этих «легких планет» все прочие грозные явления кризиса среды обитания могут, чего доброго, показаться второстепенными.

Посмотрим же, что было предпринято в защиту природы за минувшие десять—пятнадцать лет. Резко возрос объем научных исследований проблемы — это раз. В общественном сознании произошел перелом, принято немало национальных законов охраны среды, подписан ряд важных международных соглашений — это два. Все большая часть дохода стала тратиться на сохранение природы (в группе зарубежных промышленных стран, отмечает П. Олдак, такие отчисления составили к концу 70-х годов от 0,6 процента валового национального продукта в Голландии до 4 процентов

в Японии). Усилия не оказались бесплодными. В СССР, Японии, ФРГ и в некоторых других странах улучшилось состояние воздушного бассейна. У нас стали чище некоторые большие и малые реки, в США — Великие озера, в Англии рыба вернулась в Темзу. И так далее.

Тем не менее, предупреждает П. Олдак, да и не только он, радоваться преждевременно, потому что в масштабах планеты ситуация продолжает ухудшаться. «Впервые современная цивилизация столкнулась с положением, поставившим под вопрос восходящую линию развития», — пишет автор.

Наше время, безусловно, рубежное, хозяйствование человека должно стать иным, это теперь не подлежит сомнению. Но каким? Главная ценность книг П. Олдака именно в том, что автор предпринял серьезную попытку разработки этой новой концепции хозяйствования. Она лежит в русле предшествующих и сопутствующих работ советских ученых (здесь автора, пожалуй, стоит упрекнуть, что он не всегда выявляет эту преемственность и связь). Точно так же П. Олдак берет лучшее, что уже накоплено зарубежной наукой. Короче говоря, его концепция «контролируемого развития» возникла отнюдь не на пустом месте. Тем большего внимания она заслуживает.

Необходимость контролируемого развития сейчас все более признают и сторонники капиталистической экономики. Вот что пишут авторы серьезного модельного исследования перспектив будущего М. Месарович и Э. Пестель: «Предотвратить катастрофу мировой системы можно лишь глобальными действиями глобального масштаба. Если не будет создана структура, обеспечивающая такого рода совместные действия, то ни один из регионов не избежит катастрофы... Экономика должна управляться директивным образом, а не с помощью рыночных механизмов».

Что же конкретно надо сделать для предотвращения кризиса среды? П. Олдак приводит такие данные. Подсчитано, что промышленные страны могут остановить рост загрязнения при условии выделения на эту цель в среднем примерно 6 процентов валового национального продукта. А для быстрого и полного восстановления утраченных благ природы надо отчислить уже 8—10

процентов. Таким сейчас представляется финансовый расклад. За счет чего взять эти средства? Прежде всего за счет отказа от милитаризации экономики. Так проблема кризиса среды смыкается с проблемой разоружения и мира.

Обратимся теперь к чисто технической, казалось бы, стороне дела. Мы привыкли гордиться достижениями техники, поэтому для многих может оказаться неожиданной та критическая оценка, которую ей дает П. Олдак. Но с фактами трудно спорить: современная технология весьма расточительна, а значит, несовершенна, ибо в ее конечных изделиях и продуктах реализуется около процента взятых в оборот природных ресурсов. Погоня за сотой долей вещества природы! Все остальное перелопачивается, рассеивается, гибнет и губит. Действующая система производства и природопользования (ее следует назвать открытой) далее уже нетерпима.

Нет чисто экологического решения проблемы кризиса природной среды. Как нет и чисто технического или социального. Все взаимосвязано.

Тут мы подходим к самой сердцевине концепции Олдака. Прошу прощения за громоздкую цитату, но пусть лучше автор все скажет своими словами: «До сих пор этот процесс (общественного развития.— Д. Б.) анализировался в двухмерной системе координат, включающей в себя социальные и экономические измерения... Природа рассматривалась как лежащая за границами управляемой системы. Ее параметры фигурировали как заданные ограничения по полю труда, предметам труда и условиям жизни. Сегодня мы убеждаемся в невозможности дать целостное описание процесса общественного развития в границах двухмерной системы координат. В результате формируется идея построения трехмерной системы координат, включающей в себя социальные, экономические и экологические измерения. Теперь в качестве исходной теоретической конструкции принимается модель биосоциальной системы (общество — производство — окружающая среда)... Речь идет о переходе к решению принципиально нового класса задач — задач управления биосоциальными системами». Далее П. Олдак представляет свою работу как «опыт исследования политэкономических аспектов проблемы управления биосоциальными системами».

Отметим, что сходные идеи развивают и другие ученые, так что сейчас можно говорить о целом направлении биосоциальных исследований в мировой науке. Но эти работы не дублируют друг друга. Там, где Олдак

анализирует глобальные проблемы и их связь с приоритетом национальных целей, есть немало нового и интересного (так, автор доказывает, что теперешний экономический кризис на Западе во многом обусловлен тем, что «капиталистические страны уже начали платить по счетам за разрушение природы»). Все же, думается, наиболее значительна та часть исследований автора, где он рассматривает проблемы политэкономии в их связи с необходимостью биосоциального подхода, интегральной оценки ресурсов производства и его результатов. С другой стороны, этот раздел работы скорее всего вызовет и наибольшие споры.

Дело вот в чем. Придя к выводу, что именно социализм обладает наилучшими возможностями для урегулирования экологического конфликта, многие исследователи на этом ставят точку. П. Олдак, наоборот, основное свое внимание, особенно во второй книге, сосредоточивает на анализе стратегических проблем социалистической экономики перед лицом угрозы экологического кризиса, причем исследованием охвачены как узловые проблемы политэкономии, так и практические задачи народнохозяйственной политики. Здесь автора менее всего можно упрекнуть в робости мыслей, хотя кое в чем они весьма спорны (без этого, понятно, невозможно никакое развитие теории). Например, П. Олдак резко противопоставляет свою позицию концепции оптимального планирования (академик Н. П. Федоренко и другие) на том основании, что выработка оптимальных решений с помощью ЭВМ и проведение их в жизнь будто бы исключают творческую инициативу личности и ведут к торжеству научно-директивного подхода. Однако теория оптимального планирования, на мой взгляд, не исключает творческого начала на всех уровнях. Кроме того, заформализовать можно все что угодно, и концепция П. Олдака от этого тоже не застрахована. Допустим даже, его критика верна; снимает ли это проблему оптимизации и в том случае, когда в жизнь будут проводиться рекомендации самого П. Олдака?

Еще один пример, но уже совершенно иного рода.

Что должно быть базой цен при социализме? «Базой цен при социализме,— отвечает П. Олдак,— по нашему мнению, должна выступать цена производства, учитывающая как дефицитность ресурсов, так и социальную компоненту. Эта категория по своей природе принципиально отлична от категории капиталистической цены производства». Казалось бы, все дос-

точно ясно, логически убедительно. Однако посмотрим, к каким непривычным выводам приходит автор, конкретизируя свою мысль. Такая, скажем, небольшая деталь. В рамках традиционного исчисления стиральные порошки предстают отличным и экономически выгодным продуктом. То, что они сильнее всего загрязняют и портят природу, оказывается за пределами этого анализа. Интегральная же оценка сразу переводит их в разряд крайне дорогостоящих изделий. С точки зрения долгосрочных биосоциальных интересов лучше вернуться к мылу... Безусловно, лучше. Но легко представить, что возразят по этому поводу миллионы хозяек...

Конечно, П. Олдак, как и другие исследователи, не закрывает глаза на то, что при переходе к новой системе ценообразования немало организационных, психологических и иных препятствий. Да, биосоциальная оценка результатов деятельности требует немало переосмысления как теории, так и практики хозяйствования, причем порой явные на первый взгляд убытки предстают доходами. И наоборот. Меры по охране природы до сих пор часто обременительны для бюджета и вызывают стойкое сопротивление тех, кто должен «давать план». Действительно, оздоровление среды, как уже отмечалось, невозможно без крупных бюджетных отчислений. Но это не что иное,

как капиталовложения в непривычную сферу. С последующей отдачей, которая согласно прикидкам Центрального экономико-математического института АН СССР (этих данных в книгах Олдака нет) создает общий экономический прирост порядка 35—40 миллиардов рублей. Прежде всего за счет улучшения нашего здоровья и, следовательно, подъема производительности труда, а также за счет увеличения сельхозпродукции. Социальные же блага вообще неисчислимы в рублях, как и рост престижа нашей страны.

Несомненно одно: труднее всего и дороже всего излечивать запущенную болезнь, не важно — болезнь человека или природы, поэтому там, где сегодня нужны миллионы рублей, завтра потребуются миллиарды. Экологический кризис предотвратим, но просто так это сделать не удастся. Огромную, даже решающую роль приобретают инициатива, изобретательность как в науке и технике, так и в управлении, на повестке дня — резкое повышение культуры, в частности экологической. И точная, быстрая биосоциальная настройка всего экономического механизма.

Решению этих общих для всех нас задач помогают и исследования П. Олдака.

ДМ. БИЛЕНКИН.



КАК ДЕЛАЕТСЯ ФИЗИКА

Элевтер Андроникашвили. Воспоминания о жидком гелии. Тбилиси. «Ганатлеба». 1980. 327 стр.

Популярные книги о науке не простаивают на библиотечных полках: человечество впервые живет в эпоху научно-технической революции и это необычайно повысило интерес к рассказам и о самой науке и о ее творцах. А в данном случае читательский интерес многократно усилен тем, что об истории зарождения и развития новой области физики речь ведет известный советский ученый, стоявший, по сути дела, у ее истоков и по сей день продолжающий интенсивные исследования. Читатель узнает о том, как изучались свойства жидкого гелия — этого удивительного создания природы, о радости открытий и горечи неудач, о дружбе и соперничестве, об изнуряющей работе и мгновенных озарениях мысли — словом, обо всем том, что и составляет жизнь в науке.

Физика, как и любая наука, это прежде всего труд. Труд плюс терпение. Труд плюс воля. Иссушающее напряжение ума и точная работа рук. Вот что пишет автор об одном из проведенных экспериментов: «Задуманный мною опыт был предельно трудным и, во всяком случае, выходил за рамки моих тогдашних экспериментальных возможностей. Он требовал мобилизации всех умственных и физических сил, вдохновения, терпения. Иногда нельзя было перевести дыхание в течение минуты, а иногда нельзя было отвести взгляд в течение получаса. Иногда нельзя было пошевелиться. С утра до вечера нельзя было сделать ни одного неосторожного или неправильного движения». И так по 12—13 часов в сутки день за днем.

Э. Андроникашвили ставил в то время

эксперимент, который впервые продемонстрировал одно из парадоксальных свойств жидкого гелия. Оказалось, что при определенных условиях эта жидкость одновременно как бы могла и двигаться и находиться в покое. Эксперимент очень тонкий — автору пришлось изготовить устройство, представляющее стопку из ста абсолютно параллельных друг другу алюминиевых дисков, толщина каждого составляла десять микрон, а расстояние между ними — две сотых сантиметра. Эксперимент успешный — сведения о нем обошли все научные центры мира, где занимались физикой низких температур. Он неоднократно повторялся другими учеными и признан классическим.

Казалось бы, это была работа исследователя-одиночки, но автор подчеркивает, что развитие науки сегодня — процесс коллективный, и даже если эксперимент задуман и проводится индивидуально, его успех невозможен без поддержки и помощи многих и многих людей. Однако как из суммы индивидуальностей получить дееспособный, дружный коллектив, без чего немыслим научно-технический прогресс? Ответить на этот вопрос помогают не только воспоминания автора о его научной деятельности, но и рассказы о физиках, которых он хорошо знал лично, с которыми работал.

Жизнь сталкивала Э. Андроникашвили со многими выдающимися учеными. Советскими — это, например, А. П. Александров, В. Л. Гинзбург, П. Л. Капица, И. К. Кикоин, Л. Д. Ландау, Я. И. Френкель. Зарубежными — такими, как Дж. Бардин, Н. Мотт, Р. Пайерлс, Р. Фейнман. Наиболее важными кажутся мне страницы о встречах с академиком П. Л. Капицей. И вот почему.

Раньше молодой ученый, как правило, трудился бок о бок с корифеем науки. Например, в лаборатории Резерфорда, когда в ней начал работать Капица, было всего около 30 научных сотрудников и шеф вполне мог пристально следить за исследованиями каждого из них. Еще проще в свое время было самому Капице: перед Отечественной войной, когда Э. Андроникашвили приступил к своим экспериментам с жидким гелием, в «капичнике» (как повсеместно называют руководимый Капицей Институт физических проблем АН СССР) научных сотрудников было втрое меньше. А сейчас, с юмором замечает автор книги, лишь в возглавляемом им Институте физики грузинской Академии наук «с захватывающим воодушевлением мусорит триста физиков, а еще шестьсот человек им помогают...».

Но если далеко не каждый молодой ученый может ныне лично контактировать с ученым выдающимся, тем большую роль в становлении научной молодежи способен сыграть правдивый и убедительный рассказ о настоящем творце науки. Именно эту задачу и решают воспоминания Э. Андроникашвили о встречах с П. Л. Капицей, крупнейшим физиком, создателем научной школы, воспитателем, формирующим нравственный облик своих учеников.

Для П. Л. Капицы характерно прежде всего чрезвычайно ответственное отношение к научной работе. Требовательный к себе, он постоянно впускал своим сотрудникам: работа должна быть выполнена тщательно и обнародована лишь тогда, когда она полностью закончена и позволяет делать однозначные выводы. Эта мысль Капицы, которую Андроникашвили впервые услышал лет сорок назад, в наши дни, пожалуй, не менее актуальна. Ведь каждая публикация в соответствии со сложившейся сегодня системой аттестации научных кадров идет в актив ее автору. Вот и происходит порой печально очевидный набор очков, выражаемая языком спортивных комментаторов... Между тем необходимое свойство ученого — уметь объективно и непредвзято оценить проблему. «Когда у вас что-нибудь не будет получаться, — советовал П. Л. Капица автору книги, — имейте смелость отказаться от этого. Успех достигается не только стремлением вперед, но и умением ретироваться».

Автор книги пришел в Институт физических проблем не со студенческой скамьи. Он был уже кандидатом наук, заведовал кафедрой Тбилисского университета. Проработал он под руководством П. Л. Капицы всего несколько лет, да и то с перерывом, вызванным войной. Тем не менее профессиональное и нравственное влияние «капичника» было так велико, что Э. Андроникашвили с гордостью называет себя учеником Капицы.

Андроникашвили — ученик Капицы. То, что Капица — ученик Резерфорда, общеизвестно. И здесь, мне кажется, уместно воспроизвести шуточный, казалось бы, разговор автора книги с внуком Резерфорда английским физиком Фаулером. Э. Андроникашвили сказал при встрече Фаулеру, что они с ним родственники, троюродные братья, ибо П. Л. Капица был учеником Резерфорда, стало быть, Андроникашвили — как бы внук великого английского физика. Фаулер ответил: «...у вас, несо-

менно, гораздо больше общего с моим знаменитым дедом, чем у меня. Я наследую гены, а вы, вероятно, наследуете метод его работы».

Преимственность в науке — важнейшая вещь. Большое достоинство книги Э. Андроникашвили именно в том, что она воспитывает читателя (и прежде всего молодого ученого) в нравственных принципах настоящей научной школы. О некоторых из них говорилось выше. Подчеркну еще один, так ярко выраженный автором в следующих его словах: «...я люблю, когда мои ученики одерживают надо мной верх. Это значит, что я их правильно учил».

Нельзя не сказать и о литературных достоинствах книги. Непринужденный разговор с читателем ведет эрудированный, к тому же веселый собеседник. Разговор живой и увлекательный. Несомненное литературное дарование позволяет автору даже несколькими фразами создавать запоминающиеся картины и образы. Так, совсем немного строк — да и то в разных главах — посвящено К. А. Туманову, физику и альпинисту, погибшему в горах совсем молодым. Но сразу вспомнился обаятельный скромный человек, пленивший нас, первокурсников физфака МГУ, глубокими знаниями физики, умением своеобразно учить. Однажды он принес на занятие фотографии камней на горном леднике и предложил: «Разберитесь-ка, почему неко-

торые камни, нагреваясь солнцем, погружаются в лед, другие же неподвижны, а лед вокруг них тает. Со временем — смотрите — они напоминают шляпку гриба на ледяной ножке». Да, это было совсем не то, что решать обычные задачки, пользуясь формулами из учебника. Прочтя книгу Э. Андроникашвили, я подумал, что метод Туманова тоже вышел из «капичника», где всегдашним правилом было за любым фактом (пусть обыденным) разглядеть физический процесс.

Как принято говорить, книга не свободна от недостатков. В ней есть некоторые неточности, опечатки, есть главы, которые можно было бы опустить без ущерба для содержания и с выгодой для общего впечатления. Но основной дефект книги, ни в коей мере от автора не зависящий, — это ее малый тираж. А интерес к ней велик. Это не голословное утверждение. Несколько лет назад главы из книги печатались в журнале «Химия и жизнь» (тираж его тогда был 300 тысяч экземпляров). И читатели назвали эту публикацию в числе лучших материалов, увидевших свет на страницах журнала в прошлой пятилетке.

«Воспоминания о жидком гелии» Э. Андроникашвили с увлечением прочтут все, кто интересуется наукой, особенно молодежь.

В. МОРДКОВИЧ,

доктор физико-математических наук.



ФИЛОСОФИЯ «ПАРТИИ СЕРЕДИНЫ»

П. С. Шкуринов. Позитивизм в России XIX вена. М. Издательство Московского университета. 1980. 416 стр.

Позитивизм как международное философско-идеологическое течение представляется мне и порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда, по выражению В. И. Ленина, «революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела». Поэтому оценить должным образом все существенные интернациональные и региональные (национальные) особенности позитивизма и его прозелитов различных поколений можно лишь с учетом того места, которое он занимал в глобальном противоборстве буржуазной и социалистической идеологий, тех социальных функций, которые осуществлял в этой борьбе в качестве

своеобразной «третьей силы», то есть «партии середины».

И место позитивизма в идеологической борьбе современной эпохи, и его социальные функции обусловлены его классовой сущностью: это своеобразный трансформатор своекорыстных интересов буржуазии, захватившей власть либо стремящейся к сделке с дворянско-феодальными режимами во имя захвата или удержания власти. При этом всегда декларировалась защита интересов «всего общества», «народа» и даже «всего человечества».

В философском плане позитивизм кратко можно определить как глубоко противоречивое, преимущественно попятное, эклектическое направление философской мысли,

сторонники которого своими попытками подменить философию (ее проблематику, основной вопрос и категориальный аппарат) общими выводами эмпирической науки («наука сама себе философия») по существу стремились ликвидировать философию как особый универсально-синтетический способ теоретического освоения действительности. Во всяком случае, опыт столетидесятилетних поисков позитивистами третьего, нейтрального, «возвышающегося» над идеализмом и материализмом направления в философии показал их полную несостоятельность.

Тот позитивизм, который получил прописку в России XIX века, первоначально являл собой одну из философских школ. Постепенно начиная с 30-х годов он все более и более превращается в органический элемент буржуазной культуры, ее широко популярный атрибут в условиях капиталистического развития страны, порождающего «онаучивание производства» (К. Маркс), влияет на ее науку, философию, социологию, право, этику, исторические знания, эстетику, литературу, языкознание. Перед читателем книги П. Шкуринова постепенно вырисовывается динамичная картина развертывания этого процесса. Конкретность, с которой он показан, количество и представительность источников (русских и иностранных), использованных автором, представляются вполне оптимальными на сегодняшний день.

Становление и развитие русского позитивизма автор исследует на фоне сходных процессов в западноевропейских странах, а также постоянно учитывает исторический контекст всех идейных процессов развития русской общественной мысли, напряженной политической и теоретической борьбы XIX века начиная со второй его трети и до конца. Напомним, что речь идет о том времени, когда Россия, по определению В. И. Ленина, марксизм «поистине выстрагала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий». Такой подход к предмету позволил автору не только дать мощный поток строго упорядоченной информации, но и обстоятельно рассмотреть специфику, национальное своеобразие русского крыла позитивизма. В этом и состоит главное достоинство монографии П. Шкуринова.

Автор избегает трафаретно-негативистских приемов анализа исследуемого материала. Позитивизм, особенно русское его крыло, им представлен как глубоко проти-

воречивое, социально неоднозначное течение общественной мысли.

Русский позитивизм хотя и получил сравнительно широкое распространение среди некоторых слоев интеллигенции, но никогда не смог приобрести статуса господствующего идейного направления, властителя дум прогрессивной общественности; по преимуществу он довольствовался, как уже говорилось, положением «партии середины» — как в политике (либерализм), так и в философии, социологии (вначале эклектика, потом стыдливый субъективный идеализм, сдобренный научной терминологией). Не случайно поэтому русские позитивисты не выдвинули из своих рядов ни одной фигуры, сравнимой по силе общественного значения с Белинским, Чернышевским, Герценом или, скажем, В. С. Соловьевым. Постоянная борьба с позитивизмом справа и слева — характерная особенность его бытия на русской почве. Это, однако, не исключило своеобразного явления, на которое обратил внимание автор: родоначальниками материалистического истолкования позитивизма в России были революционные демократы (а позднее Ф. Ф. Павленков, В. И. Танеев и М. М. Филиппов).

С учетом «серединного» положения позитивизма в общественной жизни России автор рассматривает и резко отрицательное отношение к позитивизму — к его антигуманистическому сциентизму — выдающихся русских писателей Льва Толстого, Достоевского. Отсюда и резкость оценки, которую автор дает концепции мировоззрения Достоевского в работах М. Бахтина, — «плюралистически-примитивизированный „полифонизм“». П. Шкуринов утверждает, что философско-методологической базой для Достоевского «не могла быть формализованная структура, близкая позитивизму». Автор безусловно логичен в суждениях, но спор здесь, по всей видимости, не закончен. Впрочем, полифонизм и на сегодняшний день не единственный метод интерпретации творений Достоевского...

Внимательно проанализированы в книге критические выступления в адрес позитивистов и первопроходцев русской науки — Менделеева, Сеченова и других.

То же самое своеобразие позитивизма на русской почве привело и, надо признать, к некоторому смягчению антигуманистического сциентизма западноевропейских позитивистов, что происходило под влиянием антропологической традиции русской философии. В книге подчеркивается эта тенденция на материале и психологических, и

социологических (в том числе и либерально-народнических), и исторических, и даже юриспруденческих концепций русских позитивистов.

Конкретно-исторический анализ трудов ряда представителей русской прогрессивной мысли дал автору достаточные основания вывести их за пределы позитивизма; речь идет прежде всего о Майкове, Милютине, Грановском, Лаврове, Корелине и других (в перспективе стоило бы проанализировать в этом направлении и труды Ключевского).

Книга «Позитивизм в России XIX века» свидетельствует о плодотворности много-

летних усилий автора в исследовании столь сложной проблемы. Думается, дальнейшая ее разработка предполагает систематический анализ проявлений позитивизма в эстетике, литературоведении и языкознании. Представляет большой интерес специальное рассмотрение критики позитивизма в творчестве Тургенева, Чехова, Горького, Короленко. Имеющиеся в книге удачные наблюдения о национальных особенностях русского позитивизма достойны получить более полное выражение.

А. БЕЛИК,

доктор философских наук.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ. От первого лица. Стихотворения. М. «Современник». 1981. 125 стр.

Стихи Вячеслава Куприянова разнообразны и по форме и по содержанию. Особенность их заключается в том, что нельзя их с полным основанием отнести либо к новаторским стихам, либо к каноническим. В поэтических опытах Куприянова видна большая культурно-переводческая школа, обретенная поэтом, которому приходится в работе часто обращаться к иноязычным текстам, причем к самым различным — от немецких романтиков до Райнера Марии Рильке и далее до современных авторов. Этим, разумеется, не ограничивается особенность манеры Куприянова. Там, где он обращается к привычной нам форме, в глаза бросается новизна содержания. Свободные ритмы Куприянова воспроизводят вполне устойчивый в своей гармоничности мир — внутренний мир автора, даже если воображение поэта подсказывает ему «наоборотные» картины, как в цикле «Заморская тетрадь», где через гротеск утверждаются вечные этические ценности, утрачивать которые губельно.

Не скрою, что я ждал встречи с книгой Куприянова с чувством некоторой тревоги. Я отлично знаю Куприянова по журнальным и газетным публикациям. В душе жило ощущение опасности: сложатся ли отдельные вещи в целостную композицию? Теперь, когда книга вышла, я с удовольствием отмечаю, что она состоялась.

В стихах Вячеслава Куприянова действительно есть то, что оставляет след.

Внезапно
нас пронизывает
счастье,
и кажется,
что нет предела телу,
отдавшемуся полностью душе.

Вот так же
птиц пронизывает счастье,
им кажется такой прозрачной синь,
что зелень тоже видится прозрачной,
и кажется —
предела нет полету
и проницаема
земная
твердь.

При чтении этих и иных других стихов постепенно складывается образ лирического героя, его души, чуткой к окружающему миру. Мы замечаем стремление к воплощению в стихах противоречивой полноты жизни. Рядом с прозрачным состоянием

счастья мы находим и другие его стороны: «Как больно счастье задевает нас! Миг — слеп. Забывчив век. Неровен час». Или — от лица «вечного нищего», который топчетя, «где зарыт клад»:

Счастье всегда рядом,
но долго ли до беды...
Хочешь стать тише воды,
упадешь водопадом.

Желание высветить все предметы с разных сторон диктует автору целые циклы, объединенные некоторым общим углом зрения: «Свойства Эрота», «Свойства любви», «Свойства слова», «Свойства речи», «Свойства игры», «Свойства полета». Образы здесь могут быть предметно зримыми: «Когда сквозь линзу солнечного дня ты видишь увеличенным меня, не жди, когда вечерний небосвод подзорную трубу перевернет!» Могут быть и более отвлеченными, окрашенными склонностью к афоризму: «Сводят людей — колодцы. А разводят — моря». Из национального эпоса взяты темы ряда стихотворений и циклов: «Микула Селянинович», «Святогор», «О Русская земля, ты уже среди звезд!». Но содержание четко развернуто в наше время, в нашу действительность.

В книге «От первого лица» Куприянов собрал стихи, написанные за двадцать лет. В этой «разновозрастности» стихов причина их некоторого стилистического разнообразия. Но несомненно, что перед нами ищущий современник, глядящий на действительность глазами человека, живущего в последней четверти XX столетия.

Евгений Осетров.



МАЙЯ ЛУГОВСКАЯ. Кольцо. Стихи. М. «Советский писатель». 1980. 118 стр.

От стихов к прозе приходят часто, от прозы к стихам — реже, почти никогда. Но здесь все было иначе.

— Куда идешь, пришла откуда?
Откуда поджидаешь чудо?
— Я не иду, я не пришла.
Я просто здесь всегда жила,
В себе вынашивая чудо,
Живу — и не уйду отсюда.

Опытный гидрогеолог, с тяжелым рюкзаком за плечами годы и годы кочевала Майя Луговская по стране. «Копет-Дага сухие отроги — шрамы памяти на пути...» В этих нелегких странствиях уже рождался

ся поэт, и восторженность взгляда на мир, прорывавшаяся в строках, не исключала аналитичности, трезвости: «Но не до фантазий капризных, мы думаем о своем: в силу каких катаклизмов в породе такой проем?» Эта подчеркнута неромантическая интонация не может, однако, отменить скупыми штрихами данную сказочную картину: «Ущелье Куйляр — точь-в-точь остывающий кратер вулкана. В знойную эту ночь мы как в пиале великана». И есть своя закономерность в том, что бесчисленные пробы и керны в конце концов обернулись стихами.

Рождение поэта Майи Луговской первым предсказал Александр Яшин, которому понравились ее стихи о Севере (посвященные А. Яшину, они вошли в книгу). Понравилась, в частности, небольшая, в семь строк, зарисовка «Солнце. Пронзительной свежести запах». Точность, зоркость, одухотворенность при видимой прозаичности. Это характерные черты лирики Майи Луговской, угаданные в самом начале большим нашим поэтом. Им и суждено было стать в ее творчестве определяющими.

Внешний рисунок стихов Майи Луговской строг до аскетизма. Не исключено, что кому-то он может показаться даже бедным: ведь сегодняшний стих — возьмите многие и многие сборники самых разных поэтов — тяготеет к повышенной метафоричности. Здесь эпитеты, метафоры буквально наперечет, кажется, если бы Майя Луговская могла, она отказала бы себе не только в «излишнем», но даже в необходимом. В частности, о многом говорит ее отношение к вещности. На этом стоит остановиться чуть подробнее.

Каждый поэт, даже самый «безбытный», все-таки где-то живет, его окружают какие-то вещи, любимые или нелюбимые. У Ксении Некрасовой, например, был один стул, «а на столе — цветы, как млечные созвездья». Я не бывала у нее в гостях, но знаю об этом из ее стихотворения «Моя комната».

В стихотворении «Ночь» Владимир Луговской так рисует обстановку своего кабинета:

Постой! Темно. Выключатель бежал.
На ощупь... Шкафы, портрет, этажерка.
Вот он — диван, ковер, кинжал,
Старый кинжал. Дождидается жертвы.

А теперь попробуем, полистав «Кольцо», определить, среди каких вещей живет Майя Луговская. Что в ее городской квартире (и, в частности, в том самом кабинете с диваном, ковром, кинжалом, где бережно хранится все так, как было при Луговском) ее и только ее? Вот, пожалуй: «Красный тюльпан на столе, скатерть — не самобранка». Еще лампа на столе, которая «надеждой светится», бумага, глядящая «белым взглядом гения». Карандаш... Кольцо на пальце... И это — все.

Майя Луговская словно отказывается идти испытанным путем: через вещь — к миру. Все любуются мозаиками Равенны, привезенными в Москву, — она не отрывает взгляд от пожилой усталой посетительницы («Серые пряди под серой беретик, пальцы неловко сжимают билетик, мозаикой синие вены»). И здесь вещи — даже

самой прекрасной — предпочтен обычный, прекрасный человек. И это не поза, а свой способ миропостижения. Не оригинальничанье, а подлинная оригинальность.

...Да и что вещи, если
Звезда озябшая дрожит
В застывшем небе на рассвете.
Кому она принадлежит?
Да никому —
на целом свете.

Светлана Соложенкина.



АРСЕНИЙ ГУЛЫГА. Искусство истории. М. «Современник». 1980. 288 стр.

«Искусство истории» Арсения Гулыги — панорама событий, имен, книг, художественных образов и отдельных суждений, высказываний. Русские историографы, такие, как Карамзин, Сергей Соловьев и Ключевский, встречаются в «Искусстве истории» с русскими и западноевропейскими литераторами, с Пушкиным, Достоевским, Л. Н. и А. К. Толстыми. Почти на равных с реально жившими мыслителями и поэтами — герои романов и повестей: Татьяна из «Евгения Онегина», Наташа Ростова. Рассматриваются романы Данилевского, Мельникова-Печерского и нашего современника Д. Балашова.

Литературная панорама — особенный, редкий жанр; жанр трудный и легко уязвимый. В основе этого жанра лежит тенденция к неизменно влекущей нас полноте. Но, так сказать, полная полнота заведомо не достижима ни в чем: сколько ни говори об истории и о тех, кто ее изучает, сколько ни анализируй случаев отрядных находок, эвристических обнаружений, гениальных концепций и удачных догадок, всего не охватишь. А почему не упомянут замечательный современный историк С. Б. Веселовский, одним только трудом своим «Исследования по истории причинности» явивший нам пример и академического подвижничества и гражданского мужества? А почему не говорится о Маше Мироновой из пушкинской «Капитанской дочки»? А почему?.. Да, панорама — жанр просто-таки беззащитный, более того, провоцирующий на укору в неполноте: тот, перед кем она разворачивается, критически оглядев ее, тотчас же рвется ее дополнить, дорисовать; и жанр разрешает корить себя за то, что он чего-то не осветил, не затронул.

Однако же прежде всего надо вникнуть в то, что в «Искусстве истории» затронуто и освещено. А затронуто здесь важнейший вопрос: как соотносится научная историография и художественное творчество? Как они взаимодействуют? Как друг на друга влияют?

«Грань между историей и искусством стирается, но она все же остается... История и искусство — союзники... Искусство дает истории необходимую ей художественную культуру... История подводит под искусство необходимый ему фундамент» — этот вывод автора книги опирается на множество фактов, анализов, характеристик:

панорама требует, чтобы явленные в ней фигуры жили, чтобы они вели диалог друг с другом; и историки, о которых говорится в работе Гульги, немолчно спорят, дополняя своих предшественников и современников. Сам предмет спора порождает в них почти несомненных художников. А соседствующие с учеными писатели — драматурги ли, романисты ли, — обращаясь к прошлому, вот-вот станут «доподлинными историками»...

Но грань все-таки остается. Об ее исчезновении мы могли бы говорить лишь в том случае, если бы была достигнута хоть какая-то взаимообратимость, взаимозаменяемость исторического труда и художественного произведения. Но ясно, что такая взаимозаменяемость недостижима. Тогда в чем же именно грань? Где она пролегает? «Искусство истории» вплотную подводит нас к явлению, о котором пока говорится как о чем-то второстепенном: к двум типам знания, к знанию совершенному и незавершенному.

Наивно было бы пытаться внести в эту типологию какие бы то ни было оценочные оттенки: незавершенное плохо, а завершенное, напротив того, хорошо. Здесь просто специфика. Художественное произведение неизменно за-вер-ше-но. Никому не придет в голову, скажем, переименовать «Капитанскую дочку» Пушкина, перемалывать ее, дополняя ее другими героями, или переписать драму «Борис Годунов» амфибрахием, хореем (разного рода попытки дописать чужое художественное произведение как раз и показывают его своеобразную неприкосновенность, идейно-художественную завершенность). А научная истина закономерно предполагает ее последующую «дотройку»: от едва ли не полной отмены ее, этой истины, до частичных, пусть даже и вовсе крохотных к ней дополнений. Эта истина не завершена, и в ее сфере возможна лишь более или менее дерзновенная имитация завершенности. Грань лежит где-то здесь.

Мысль книги движется, развивается, пролагая пути к последующим решениям проблемы взаимодействия искусства с наукой.

В. Стрелецкий.



О. СМОЛА. Лирика Асеева. М. «Художественная литература». 1980. 156 стр.

Молодой критик и исследователь литературы Олег Смол — человек 70-х годов; многое из того, что волновало поэта Николая Асеева и его современников не только в 20-е, но и в 50-е годы, для него история. И в этом, пожалуй, сильные стороны книги — автор ее безусловно сумел ощутить, что лирика Н. Асеева подвижна во времени и прочитывается в каждом следующем десятилетии заново, порой совсем не так, как тогда, когда создавалось то или иное стихотворение.

Время проявило многое в толковании поэзии Асеева, однако вопросы, поставленные критикой на полях его книг, еще остались. С этой точки зрения особенно интересны мысли автора исследования о поэме

«Лирическое отступление». Как известно, об этой поэме высказывались весьма различные мнения, а некоторые справочные издания «для простоты» порой и вовсе не упоминают о ней. А между тем это замечательное произведение, о котором О. Смол пишет ясно и определено: «Нет, не сама по себе любовь есть «лирическое отступление», но определенная тенденция в ней, ведущая человека при некоторых благоприятных для этого обстоятельствах к самоизоляции и отчуждению от общественных интересов. Столкновение социального и антисоциального в герое отчетливо отразилось в композиции поэмы, в резко диссоциирующем, контрастном звучании двух лирических мотивов из третьей и четвертой глав. Сами главы эти воспринимаются как теза и антитеза».

Для О. Смолы нехарактерна полемическая запальчивость, которая ощущалась в иных наших книгах о Маяковском, Асееве, Сельвинском и других поэтах-новаторах. Но волнение искателя, радость при ощущении, что поиск удался, ему присущи. Особенно удачны страницы, посвященные последнему периоду работы Н. Асеева, его философской настроенности, где беспокойство за судьбы людей и общества внушает ему стойкость, необходимую, как пишет критик, в жизненной борьбе за извечное право оставаться самим собой.

Очень корректны и точны слова об отношениях Маяковского и Асеева. Здесь можно просто процитировать: «Асеев боготворил Маяковского. Не переставал благодарить судьбу за то, что та подарила ему дружбу с человеком, похожим на «океан среди морей». Гордился этой дружбой и вместе с тем оставался самим собой, потому что в гордости Асеева не было ни тени самодовольства и похвалы. Сопоставление Маяковского с океаном для Асеева — меньше всего красочная метафора. Дыхание океана, присутствие чего-то необозримого огромного внушало ему не самоуспокоенность, а тревогу, столь необходимую для подлинного творчества». Справедливо!

О Н. Асееве в критике сказано немало: исследование О. Смолы — третья книжка об этом поэте; было опубликовано еще несколько больших статей, написанных и при жизни поэта и уже в последние годы. Все это, безусловно, автору известно. Жалко только, что мимо его внимания прошли интересные, хотя и далеко не бесспорная статья Б. Джикабаева «Стилистическая функция слова», опубликованная в Алма-Ате в «Филологическом сборнике» еще в 1963 году, и некоторые воспоминания о поэте, раскidyанные по журналам. Впрочем, скромный объем книги диктует свои законы. И законы эти суровы: главное! И это главное в книге О. Смолы раскрыто интересно.

Дм. Молдавский.

Ленинград.



А. Г. ТАРТАКОВСКИЙ. 1812 год и русская мемуаристика (Опыт историко-литературного изучения). М. «Наука». 1980. 312 стр.

Актриса Элен Терри иронизировала: люди принимаются за мемуары в таком возра-

сте, когда они не способны что-либо вспомнить. Профессор Максим Ковалевский усмехался: я-де сомневаюсь в значении мемуаров как исторического источника. Тем не менее и актриса и профессор... написали мемуары. Скепсис оказался бессильным перед потребностью души.

Частное, необщее, индивидуальное обладает магнетическим притяжением. Читательский интерес к старинной мемуаристике известен. Его питает не только любознательность. Есть еще и чувство некой уютной отрешенности от суеты у домашней лампы, зажженной поздним вечером. А сам мемуарист порой кажется нам сидящим при свечах в вольтеровском кресле. «Эти закаты жизни, эти мерцания, имели и свою теплоту и свои отблески,— отмечал некогда П. А. Вяземский.— Жизнь, в остатке годов своих, после трудного, часто тревожного, часто блистательного поприща, удаляясь, ретировалась в свои внутренние покои». Наблюдение верное и трогательное. Однако по мере чтения монографии А. Тартаковского открываются иные глубины и горизонты. Взглянув на обложку, на титул книги — «1812 год и русская мемуаристика», — видишь, что союз «и» как бы подчеркнут, как бы выделен. Прием оформителя-шрифтовика? Да, так. Но подсказанный содержанием монографии. Союз «и» несет существенный груз: не мемуары о двенадцатом годе, а двенадцатый год и мемуаристика, влияние двенадцатого года на русскую мемуаристику. В этом ракурсе автор вел свое исследование. Или то, что он определил с несколько старомодной и симпатичной скромностью — о пы т.

Мемуаристика уже бывала, так сказать, подопытной. Вспомним очерки П. Пекарского, более века тому назад опубликованные «Современником», известную работу Л. Гинзбург «О психологической прозе», заметки о документальной литературе XVIII века Ольги Чайковской и сравнительно недавнюю дискуссию критиков, посвященную мемуарной литературе, на страницах журнала «Вопросы литературы». Можно указать и диссертации. Суть не в длине перечня. Суть в том, что перечисленные исследования — литературоведческие. А Тартаковский занят иным — источниковедением. Автор формулирует: «...мемуаристика как феномен культуры, как неотъемлемый компонент духовной жизни русского общества...» И это генеральное направление монографии.

«Внутренние покои», о которых говорил Вяземский, недоступны тому, кто рабски-покорно, а вместе, случалось, и горделиво принимал зачисление своего «я» в категорию «винтиков». Они открываются лишь тем, кто осознает себя в истории и историю в себе. Именно это сознание, как показывает и доказывает автор, и пробудило громовые раскаты двенадцатого года и заграничных походов.

Мемуаристика, рожденная грандиозными событиями, создавалась шесть-семь десятилетий. Создавалась не по прихоти или кумовству чиновников, ведавших печатью, а в соответствии с чувством долга участников и очевидцев войны 1812 года перед потомками и запросами духовной жизни общества. И всегда несла в себе отзвуки времени. Ведь и во «внутренних покоях», в сущности, нет

покоя, нет состояния невесомости. Все это и подвергнуто А. Тартаковским мастерскому анализу.

Его монография — пример уверенного и свободного владения материалом. Материалом почти безбрежным, но отнюдь не бегущим навстречу исследователю, как зверь на ловца. Точность изложения родственна тематической, логичность — завидная, убедительная. И главное: феномен культуры представлен в движении, в эволюции.

Серьезную книгу написал А. Тартаковский, строго научную, снабженную таблицами и оснащенную сносками, и никаких, конечно, беллетристических погуд, а вот поди ж ты, возникают перед мысленным взором читателя, знакомого с эпохой, живые черты, характеры мемуаристов — людей не одного чекана, не дремлющих в вольтеровских креслах, а кипящих страстями.

Юрий Давыдов.



С. ВАЙМАН. Бальзаковский парадокс. М. «Советский писатель». 1981. 366 стр.

Любознательных людей может сразу же привлечь название этой книги — нестандартное и даже с некоторым оттенком вызова, — и уже при самом беглом просмотре читателя наверняка заинтересует разнообразие конкретного материала, входящего в круг анализа: не один Бальзак, но и Боккаччо, Фонвизин, Тютчев, Горький. Да, конечно, перед нами труд не только о Бальзаке — и, собственно, даже совсем не о Бальзаке. Тут поставлена теоретическая проблема: особые познавательные — эвристические, как говорит автор, — возможности искусства, отличие путей художественного постижения действительности от тех путей, которые доступны ученому или публицисту. Именно на этом отличии и основана «победа реализма», о которой писал Энгельс в применении к Бальзаку. Энгельс первым отметил существование особых — нелинейных и зеркальных — отношений между взглядами художника и практической его деятельностью. Суть парадокса С. Вайман определяет так: «Идя наперекор собственным убеждениям, писатель-реалист подчиняется объективной логике им самим создаваемой художественной реальности и именно в этот момент обретает полноту духовной свободы. Творческий процесс оказывается инстанцией неизмеримо более авторитетной и истинной, нежели взгляды, сложившиеся в преддверии его». Идейное содержание художественных произведений — в этом убежден автор книги — во многих случаях несравненно богаче, глубже, ближе к жизненной правде, нежели прямые декларации писателя или его героев.

Читатель вправе полюбопытствовать: при каких исторических условиях возникает «бальзаковский парадокс», все ли крупные мастера ему подвержены и в одинаковой ли мере подвержены? И не находит ли опору истина образов хотя бы в некоторых элементах их мировоззрения? Книга С. Ваймана заставляет заново задуматься над всем этим, что само по себе полезно. Однако в книге говорится не столько о природе противоречий во взглядах и творчестве писате-

лей, сколько о самой природе художественного творчества. О Бальзаке идет речь лишь вначале — так сказать, для затравки. А потом мысль автора движется по трем основным линиям: «Диалектика части и целого», «Диалектика внешнего и внутреннего», «Диалектика метода и приема». И тут мы находим остро поставленные вопросы, много самостоятельных и тонких наблюдений. С. Вайман опубликовал пятнадцать лет назад книгу о Боккаччо — литература итальянского Ренессанса тщательно и давно им изучена, — и экскурс в эту область несколько нарушает соразмерность целого, приобретая самостоятельное значение, но и этот экскурс подчинен общему теоретическому замыслу автора.

Не упуская из виду эстетическую природу литературы, С. Вайман предостерегает против злоупотребления количественными, статистическими приемами, как и против погружения литературоведов в шелуху биографических фактов, имеющих отдаленное отношение к сути творчества.

Книга С. Ваймана полемична, и полемизирует автор, как правило, аргументированно, но местами чересчур размахисто (на мой взгляд, нельзя с таким большим ученым, как Г. Лукач, расправляться в одном абзаце). Однако суть труда С. Ваймана, конечно, не в полемике, а в конкретных разборах, освещенных пытливым теоретической мыслью.

По ходу исследования автор высказывает-ся о своеобразии социалистического искусства, о господствующей в рамках нашей эстетики концепции человека. Герой социалистической поры не «самодостаточная» личность (какими являются Гобсек или Горюх), он, как человек, реализует себя в другом, духовно присутствует в других. «Картина внутреннего развития Пелагеи Ниловны — это динамическое, реальное «бытование» характера Павла... Точно так Джамили «функционалирует» в песнях Данияра, Данияр — в новой, сдержанной страсти и глубине чувства Джамили, а рассказчик Сеит — в мелодии любви Джамили и Данияра». По убеждению автора, революционное искусство с первых своих шагов вступило в новые отношения с аудиторией, оно по сути своей искусство диалогов, активно обращенное к читателю, взаимодействующее с ним.

Даже и на ранних своих этапах, напоминает С. Вайман, социалистическая литература искала неизбежные пути воплощения личности. Так, Фурманов развертывает перед читателем сам процесс создания образа своего героя. «Не один, а целых четыре образа Чапаева движутся в композиционном пространстве и сюжетном времени его знаменитого романа: Чапаев, сотканный молвой («удаль и молодечество»); Чапаев, сочиненный Чапаевым (биография: мать — губернаторская дочка, отец — цыган и т. д.); Чапаев, создаваемый Клычковым; и, наконец, Чапаев собственно фурмановский — синтетический».

Подобных свежих наблюдений в книге много. Автор не претендует на полную бесспорность. Но его труд интересно читать.

Т. Мотылева.



Л. С. ПУСТИЛЬНИК. Жизнь и творчество А. Н. Плещеева. М. «Наука». 1981. 192 стр.

Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Молодые социалисты России восприняли эти строки Алексея Николаевича Плещеева как поэтический манифест, содержащий открытый призыв к революционному действию. Начинаящий критик, петрашевец Валерий Майков писал тогда, что стихи Плещеева — «вопли души, раздираемой сомнением... глухая и упорная битва с действительностью, безобразия которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как в смрадной темнице».

Книга Л. Пустильник о жизни и творчестве Плещеева вводит нас в богатый духовный мир поэта-гражданина, чьим главным идейным и нравственным стержнем было неизменное противостояние с «гнусной российской действительностью» (В. Белинский). На долю Плещеева выпало тяжелейшее испытание, когда он вместе с другими петрашевцами выслушал смертный приговор и пережил на Семеновском плацу «десять ужасных, безмерно страшных минут» в ожидании казни.

Как показывает автор, цельный, устремленный характер писателя дал знать себя уже в молодые годы, когда он сделал свой решающий выбор на стороне противников самодержавия. Твердость духа, гражданское мужество повели его «по радищевскому тракту». В солдатине и ссылке он сложился как критик и публицист. Его мало известные широкому читателю «Географические очерки и картины», ярко живописующие степь, напоминают записки русских первопроходцев и путешественников.

В работе Л. Пустильник обстоятельно освещено переломное время первой революционной ситуации в России, когда, вернувшись к литературной деятельности, Плещеев входил в круг «Современника». Л. Пустильник собрала немало новых фактов, раскрывающих взаимоотношения Плещеева с Добролюбовым и Чернышевским, уточняет она и дату первого знакомства Плещеева с Добролюбовым, которую относит к 1858 году.

Интересны страницы книги, где автор раскрывает творческий мир Плещеева-прозаика, близкого по своим идейным и эстетическим позициям демократическим писателям-шестидесятиникам. Исследователь подчеркивает острый социальный характер прозы Плещеева, характеризуя представления Плещеева о народе, указывает на его решительное несогласие со славянофильскими тезисами о всепокорности и всепримиряемости как изначальных, исконных чертах русского национального характера. Останавливаясь в этой связи на дружеских связях Плещеева с Иваном Аксаковым, автор пишет, что признание привлекательных черт в личности и характере старшего друга не мешало Плещееву убежденно отвергать его панславистские настроения.

В книге прослежены связи Плещеева с кругом «Отечественных записок» как при жизни Некрасова, так и после его смерти, когда писатель, освобожденный из-под глас-

ного жандармского надзора, возглавил поэтический отдел журнала. Читательское внимание акцентируется на просветительской традиции в творческой и общественной деятельности Плещеева. Важнейшим звеном жизненных и творческих связей Плещеева представлены в книге Г. Успенский, А. Островский, драматургии и театру которого посвящено несколько плещеевских статей, С. Надсон, признававший, что своим становлением поэта он «бесконечно обязан... теплоте, вкусу и образованию» старшего современника. Под прямым воздействием «Вперед! Без страха и сомненья...» создавались его стихотворения «Вперед» и «Призыв».

В последние годы жизни Плещеев сотрудничал в «Северном вестнике». В ближайшем его окружении находились в это время Гаршин, Короленко, Чехов. Высоко ценя творчество Чехова, Плещеев называл его рассказы истинно прелестными и особо выделял «Стеть». Он верно почувствовал, что эта повесть и философской глубиной и поэтической выразительностью наиболее близка его собственному восприятию человека и природы. Плещеев содействовал публикации повести, привлек к ней внимание Салтыкова-Щедрина. Вниманию и поддержке Плещеева были благодарны также А. Серафимович, В. Гиляровский, В. Немирович-Данченко в пору их прихода в литературу. Убедительны приведенные Л. Пустильник факты о связи Плещеева с русской «студенческой коммуной» в Цюрихе (1891 год).

Книга Л. Пустильник рассчитана не только на специалистов — историков и литературоведов. Она несомненно достойна того, чтобы привлечь внимание многих читателей, интересующихся историей русской культуры, ее передовыми, демократическими и революционными традициями.

Н. Миваева,
кандидат исторических наук.



В. КРАСОВСКАЯ. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века. Л. «Искусство». 1979. 295 стр.

В. КРАСОВСКАЯ. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л. «Искусство». 1981. 286 стр.

Танец Улановой, Васильева, Алисии Алонсо, театр Якобсона и Григоровича, Баланчина и Бежара притягивает к себе внимание людей даже далеких от балета именно потому, что яркие художественные образы, созданные мастерами балета, несут в себе по-настоящему глубокие художественные идеи.

Прежние книги В. М. Красовской убеждали нас в том, что серьезность, проблемность вообще свойственны хореографии. Две новые книги — начальные тома в масштабно задуманной серии «Западноевропейский балетный театр. Очерки истории» — говорят нам о том, что балетный театр уже с момента своего возникновения стремился пластически выразить дух времени.

В. М. Красовскую интересуют прежде всего процесс рождения и корни того или

иного явления искусства, взаимосвязь событий и фактов на взгляд «далековатых». Умение ткать единое целостное полотно из разнородных нитей вызывает интерес даже читателя-неспециалиста с первых же страниц. Убеждают веские демонстрации этого умения: вот, например, выстраивается облик раннеитальянской интермедии на основе детального анализа картины Боттичелли «Весна»; вот в переключке эффектно монтируются куски из книг английского хореографа эпохи Просвещения Уивера и философских трактатов лорда Шефтсбери. Многомерность, объемность видения — основная черта автора: постоянно перебрасываются мосты от живописи к театру, от музыки к изобразительным искусствам, является неоднозначное, постоянно меняющееся взаимное влияние техники танца и художественной идеи балетного спектакля. При этом Красовская никогда не обрабатывает факты в угоду собственной концепции — мысль исследователя проступает ненавязчиво, серьезный вывод и обобщение, важные и, может быть, даже наиболее интересные для автора во всей работе, не нарушают исторической объективности.

Книги строго научны — и одновременно занимательны и, если воспользоваться словами из цитируемой в первом томе старинной брошюры, «отмечены тем брио... перед которым не может устоять публика». Труднейшую задачу — описание балета по чужим записям и зарисовкам — Красовская решает мастерски. Здесь дельность, немногословие, отточность детали сочетаются с осязательностью, яркостью зрительного ряда. Примеры многочисленны: «балет польских послов» при дворе Екатерины Медичи, конные балеты на флорентийской площади Санта Кроче или во дворе Луврского замка. А «Смерть Геракла» и «Медея и Ясон» — шедевры Жан-Жоржа Новерра, называемого отцом современного балета, — благодаря пластичности, проработанности, зримой фактурности описаний запоминаются едва ли не четче и рельефней, чем балеты, виденные воочию на вполне реальных подмостках. Во многом тут помогают точные отсылы автора к изобразительным и музыкальным опорам, а также великолепный иллюстративный материал, благодаря которому текст цветет и трепещет «всей дрожью жилок».

Не менее увлекательны страницы, посвященные теории балета. Многие высказывания о природе хореографии и споры о художественных средствах представляются для нас отнюдь не исторический интерес. Позволю себе процитировать отрывок из эстетического трактата XVII века, в котором выставлено образцом для балета «одухотворенное и чувствительное представление, самый смысл которого должен быть искусен, ткань художественно упорядочена, а исполнение насыщено силой и отчетливостью». Поистине каждое слово этого определения не худо бы почаще повторять нынешним хореографам и танцовщикам.

Благодаря этим книгам становятся для нас более отчетливыми далекие эпохи. Имена Мольера и Люлли теснятся и принимают рядом с собой имя хореографа Бошана. Бок о бок с фигурами английских писателей Просвещения Стиля и Аддисона уверенно вста-

ют выдающиеся люди своего времени, определившие художественное лицо эпохи,—балетмейстер Джон Уивер и танцовщица Эстер Сантлоу. Художественные воззрения одного из творцов «действенного балета», Новерра, вырастают на почве идей энциклопедистов, черпа я жизненные соки в творчестве Вольтера и Глюка.

Внимательно вчитываясь в исследование В. М. Красовской, мы как бы закрашиваем белые пятна в общей картине западноевропейской культуры XVI—XVIII веков. Одновременно глубокие и элегантные, емкие и красивые, книги эти — материал для серьезного чтения и духовного развлечения.

Алексей Парин.



ЖИВОЕ СЛОВО НАУКИ. Очерки об ученых-лекторах. М. «Знание». 1981. 224 стр.

В этой книге (составитель Н. Н. Митрофанов) 21 очерк. Достаточно бросить взгляд на их заголовки, чтобы понять ведущую идею книги: «О физике — языком оратора и поэта», «Гармония мысли и слова», «Слово, зажигающее сердца» и т. д. Издательство «Знание» выпустило вторую книгу очерков такого рода. Первая, вышедшая в 1974 году и называвшаяся «Этюды о лекторах», была хорошо встречена читателями. И как было не заинтересоваться! Ведь речь шла об именах, известных каждому,—Ломоносов и Грановский, Ключевский и Менделеев, Мечников и Кони, братья Вавиловы, Богомолец, Шмидт. Эти известные деятели отечественной науки были представлены прежде всего как лекторы. И вот продолжение.

О разных людях рассказано в новом сборнике «Живое слово науки». Различен масштаб их деятельности, различны специальности, степень известности. Различны эпохи, в которых они жили и действовали: конец прошлого и начало нынешнего века — В. И. Вернадский, К. А. Тимирязев, А. Г. Столетов, А. П. Шапов, П. Ф. Лесгафт, Ф. О. Шехтель; 20—30-е годы — А. В. Луначарский, А. М. Горький, Н. А. Семашко; наконец, годы военные и послевоенные — Е. В. Тарле, В. В. Парин, И. И. Артоболовский. До конца жизни возглавлявший всесоюзное общество «Знание».

Однако достаточно очевиден стержень, скрепляющий все разнообразные материалы сборника,—размышления о живом слове, которое звучало, звучит и будет звучать в студенческих аудиториях, заводских дворцах культуры, сельских клубах, жэковских красных уголках.

Ученый должен пропагандировать науку. Вряд ли кого-нибудь нужно убеждать в этом. Тысячу раз прав И. И. Артоболовский, утверждавший: «Чтение лекций — профессиональный долг каждого ученого, специалиста». Но нужно не просто хотеть пропагандировать знания. Нужно уметь это делать. Делать профессионально, делать так, чтобы слово доходило до ума и сердца, вызывало интерес, волновало, зажигало, будило мысль. Между тем, и это также не нуждается в доказательствах, дар лекто-

ра — особый дар, сродни писательскому и актерскому. Лектор одновременно является и автором и исполнителем. Известно немало примеров, когда знаменитый ученый, выступая публично, говорил так темно и мудрено, что средние и даже хорошо подготовленный слушатель понимал едва половину. Или популярно и ясно написанный текст читался тихо, глухо, невнятно, невыразительно и потому, естественно, не воспринимался аудиторией. В пропаганде знаний особенно важно единство формы и содержания. Лектор обязан помнить, что для него равно значимы и форма составления текста и форма непосредственного изложения.

Да, ораторами и лекторами рождаются, но главным образом становятся. Подлинное мастерство может вырасти из природного дара, отшлифованного неустанным трудом. И может быть в основном благоприобретенным, опирающимся на определенные приемы и навыки. Книга рассказывает о том, как природные ораторы, лекторы «милостью божьей» достигали совершенства и как люди, не имевшие этого дара от рождения, упорно и настойчиво овладевали живым словом, «ставили» голос, совершенствовали дикцию, отработывали жестикуляцию...

Некоторые из героев книги хорошо известны как ораторы и лекторы. Кто не слышал, например, о блестящих публичных выступлениях Луначарского или о лекциях Тарле? Но для многих рассказ о лекторской деятельности Коллонтай и Семашко, архитектора Шехтеля откроет новые грани этих людей. А Горький как лектор и оратор — не правда ли, интересно узнать и об этой черте великого писателя?

Книга «разностильна». Есть очерки краткие, сжатые (3—4 страницы), есть довольно пространные (выше печатного листа). Есть воспоминания, есть мини-исследования. Есть статьи, дающие полную биографию, есть рассказы об отдельных жизненных периодах, об отдельных эпизодах. Это разнообразие в данном случае допустимо, ибо о разных людях и писать надо по-разному, а не стремиться к шаблону и стандарту.

Итак, на книжной полке уже две книги о лекторах, 39 этюдов-очерков. Нет сомнения, что эту интересную, рождающуюся на наших глазах серию надо продолжить. Материал — яркий, полезный, благодарный — имеется в изобилии. Благородный труд лекторов заслуживает того, чтобы знать о нем как можно больше.

Ю. Поляков,
член-корреспондент АН СССР.



И. ДОНКОВ, С. МОРОЗОВ. Из когорты нестягаемых. Очерк жизни и деятельности С. Я. Аллилуева. М. Политиздат. 1981. 158 стр.

Владимир Ильич Ленин писал: «...среди рабочих выделяются настоящие герои, которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике,— находят в себе столько характера и силы воли, чтобы

учиться, учиться и учиться и выработать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию...» Эта характеристика и высокая оценка в полной мере может быть отнесена и к Сергею Яковлевичу Аллилуеву (1866—1945).

Жизнь Сергея Аллилуева была трудной. Рано осиротев, в двенадцать лет крестьянский подросток пошел в люди, познал горькую нужду, скитания, одиночество. После вступления в социал-демократическое движение его семь раз арестовывали, дважды высылали в административном порядке. Судьба его, по справедливому утверждению авторов книги «Из когорты нестигаемых», «была полна неожиданностей и перемен, способных украсить даже биографию легендарного героя». Всю свою жизнь Аллилуев посвятил делу революции, его роль в истории рабочего движения в России достаточно заметна.

Однако сложилось так, что написано об Аллилуеве чрезвычайно мало. Двумя изданиями — в 1946 и 1956 годах — выходили его мемуары «Пройденный путь», но с тех пор миновало не одно десятилетие, и книги эти вряд ли сыщутся в массовых библиотеках. Давно стали редкостью и воспоминания его старшей дочери Анны. Беглый опрос молодых людей показал, что большинство из них попросту не слышали имени Сергея Аллилуева, те же, кто слышал, имеют о нем самое смутное представление. Вот почему книга кандидатов исторических наук И. Донкова и С. Морозова представляется своевременной и полезной. И хочется посветовать лишь на то, что авторы обрывают повествование, по сути, на событиях в ночь с 9 на 10 июля 1917 года, когда Сергей Яковлевич вместе с подпольщиком-большевиком В. И. Зофом и И. В. Сталиным провожал В. И. Ленина на вокзал для отъезда в Разлив, где, как известно, по указанию ЦК Владимир Ильич вынужден был укрываться от грозившей опасности — ареста Временным правительством. Спору нет, три дня (7—9 июля), которые вождь революции провел в квартире Аллилуевых на 10-й Рождественской улице, стали одними из самых ярких в жизни Сергея Яковлевича. Однако и последующие годы были для Аллилуева весьма насыщенными и интересными: в октябрьские дни он являлся комиссаром Петроградского Военно-революционного комитета на крупной электростанции, затем принимал активное участие в налаживании работы ряда промышленных предприятий, в строительстве Шатурской ГРЭС, восстановлении Криворожского железнодорожного бассейна, вел подпольную работу на Украине и в Крыму, находился на руководящей козьятвенной работе в Москве и Ленинграде. Все это, к сожалению, осталось за пределами книги. Сожалению тем большому, что воспоминания самого Сергея Аллилуева завершаются 1907 годом (смерть помешала ему закончить вторую часть мемуаров, опубликованных лишь незначительными отрывками в давних периодических изданиях).

Основное место в документальном повествовании И. Донкова и С. Морозова отведено рассказу о деятельности Аллилуева в Закавказье, и это придает книге особую ценность. Известно, что в исторической литературе 30—40-х годов события и факты

рабочего движения в этом регионе освещались достаточно тенденциозно и лишь после XX съезда КПСС получили правильную, исторически достоверную оценку в специальных трудах и справочных изданиях. Опираясь на них, а также на архивные источники, авторы книги «Из когорты нестигаемых» не ограничиваются изложением биографии своего героя, но и рисуют достоверную обстоятельную общую картину событий в Тифлисе и Бaku в 1890—1907 годах. В книге рассказывается о деятельности первых марксистских социал-демократических кружков и революционной группы «Месаме-даси», о создании комитетов РСДРП и первых маевках, о знаменитых Бакинских стачках и работе подпольных большевистских типографий — словом, о том, в чем С. Я. Аллилуев принимал самое активное участие.

Очерк И. Донкова и С. Морозова как бы продолжает мемуары С. Я. Аллилуева (эти мемуары, кстати сказать, получили одобрительный отзыв А. М. Горького). И не просто продолжает. Любые воспоминания почти неизбежно субъективны. Документально-художественное исследование «Из когорты нестигаемых» позволяет выйти за рамки личного восприятия, показывает жизнь героя на достаточно широком социально-историческом фоне, с привлечением тех материалов и документов, которые самому Аллилуеву, естественно, не могли быть доступны.

В итоге получилась и познавательная и интересная книга, рассчитанная на массового читателя.

Валентия Брашов.



И. Н. АРЦИБАСОВ. За пределами законности (О преступлениях империализма против мира и человечества). М. «Юридическая литература». 1981. 310 стр.

На нынешнем этапе развития международной обстановки, когда правящие круги США и милитаристы НАТО прилагают интенсивные усилия, чтобы похоронить разрядку, с особой актуальностью встает вопрос об ответственности империализма за развязывание военных конфликтов, геноцид, расовое и национальное угнетение. Обвинительный акт, представляемый историей империализму, постоянно растет. О преступлениях, совершенных империалистическими державами с конца XIX века по настоящее время, рассказывает книга И. Арцибасова.

Автор подчеркивает, что империалистическая экспансия с самого начала осуществлялась посредством войн, направленных на захват чужих территорий и подавление национально-освободительного движения. Менялись главные направления этой экспансии и державы, выступавшие в роли ее застрельщиков, но всегда оставались неизменными захватническая сущность империализма, а также такие формы ее проявления, как диктат и вооруженное насилие. Когда в конце прошлого века филиппинский народ поднялся на защиту своей независимости от американских войск, президент США Мак-Кинли приказал своим ге-

нералам «усмирить филиппинских инсургентов, даже если бы пришлось истребить их всех до единого». Колонизаторская «мораль» германского кайзера Вильгельма II была аналогичной. «Пощады не давать, пленных не брать» — так наставлял он своих солдат-карателей во время боксерского восстания в Китае несколько лет спустя.

Сейчас, разумеется, не те времена, когда канонерки могли ставить на колени народы. Бурное развитие национально-освободительного движения после второй мировой войны разрушило старую колониальную систему. Генеральная Ассамблея ООН приняла в декабре 1966 года резолюцию, в которой колониализм был объявлен преступлением против человечества, угрозой миру и безопасности во всем мире. Но незаконные акции империалистических держав против освободившихся и ведущих борьбу за свое освобождение народов не прекращаются. И. Арцибасов убедительно показывает это на примере Африки, где империализм начиная с 1950-х годов осуществлял или спровоцировал более 40 переворотов и войн, унесших 1,7 миллиона человеческих жизней.

Наиболее кровавые страницы в истории империализма вписаны германским фашизмом, на совести которого гибель десятков миллионов людей во второй мировой войне. Геноцид, осуществлявшийся гитлеровцами против мирного населения, был беспрецедентным по масштабам. Казалось бы, опыт этого крупнейшего общемирового военного катаклизма исключает повторение чего-либо подобного в будущем. Однако, как свидетельствует обширный материал, собранный в книге, империализм имеет свой опыт и свою особую логику поведения. Эта логика накрепко связывает сожженную гитлеровцами белорусскую деревню Хатынь и уничтоженную американской солдатней во Вьетнаме деревню Сонгми. «Лидице и Орадурсюр-Глан, Хатынь и Сонгми, Герника и Ковентри, тысячи и тысячи других сел, деревень, городов стали символами бесчеловечной жестокости империализма, живым напоминанием о его преступности,— подчеркивает автор.— В развязанных им войнах империализм попирает не только нор-

мы права, но и нормы человеческой морали».

Действительно, на протяжении почти столетия империалистическая агрессия сопровождается применением все более варварских разрушительных средств, объектом которых становится главным образом мирное население. Известно, например, что авиация США сбросила в Индокитае втрое больше бомб, чем она сбросила на всех фронтах за все годы второй мировой войны. Для Пентагона грязная война во Вьетнаме послужила своеобразным полигоном испытания новых средств массового уничтожения типа пирогазовых и шариковых бомб, «напалма В» в соединении с фосфором, автоматических винтовок А-15, стреляющих не пулями, а металлическими стрелами длиной в два с половиной сантиметра. Даже стихийные силы природы военщина США пыталась поставить себе на службу: для ведения «метеорологической войны» против населения Вьетнама и Лаоса использовались искусственно вызываемые ливни, размывающие дороги и дамбы, затопляющие целые селения.

Молох современной войны и геноцида имеет вполне определенный социально-классовый облик: это военно-промышленный комплекс, реакционные политики и крупнейшие монополии, связанные с производством оружия всех видов. За три десятилетия своего существования страны НАТО, указывается в книге, потратили на милитаристские цели 2 триллиона 600 миллиардов долларов. И военная машина не бездействует: уже после второй мировой войны империалисты развязали более 100 агрессивных войн и вооруженных конфликтов, в которых принимали участие свыше 12 миллионов солдат и офицеров империалистических армий.

Раскрывать преступные замыслы империализма, разоблачать лицемерие политиков и идеологов, оправдывающих эти замыслы,— одна из наиболее насущных задач в борьбе за мир и безопасность народов. Книга И. Арцибасова вносит свой вклад в ее решение.

Ю. Игрицкий.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин, КПСС о рабочем классе. Сборник. 383 стр. Цена 70 к.

В. Дрозд. Добрая весть. Повесть о Ювеналии Мельникове. («Пламенные революционеры») 333 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Кунарнин. По ту сторону расцвета. Буржуазное общество: культура и идеология. Изд. 3-е, доработанное. 479 стр. Цена 3 р.

Б. Ракитский. Образ жизни: рубежи 1985 года. 94 стр. Цена 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Васильев. Были и небыли. Роман. 704 стр. Цена 3 р. 40 к.

А. Злобин. Встреча, которая не кончается. Очерки. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ю. Левитанский. Письма Катерине, или Проголоса с Фаустом. Стихи. 127 стр. Цена 55 к.

Б. Харчук. Хлеб насущный. Роман, повесть, рассказы. Перевод с украинского. 367 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Шкловский. Энергия заблуждения. Книга о сюжете. 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Андерш. Рассказы. Перевод с немецкого. 262 стр. Цена 1 р. 70 к.

Ф. Петрарка. Сонеты. Перевод с итальянского. 190 стр. Цена 3 р.

Современные болгарские повести. Сборник переводов. 399 стр. Цена 2 р. 50 к.

Э. Хемингуэй. Собрание сочинений. В 4-х тт. Перевод с английского. Т. 1. Рассказы. Очерки. Фiesta (И восходит солнце). Роман. 671 стр. Цена 3 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Абу-Бакар. Два месяца до звонка. Повесть. 224 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Быков. Альпийская баллада. Повести. 288 стр. Цена 70 к.

В. Личутин. Крылатая Серафима. Из хроники поморской деревни. 414 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Малакович. Портрет матери. Повесть. 191 стр. Цена 30 к.

Н. Паннев. На грани жизни и смерти. Повесть-хроника. 208 стр. Цена 85 к.

«СОВРЕМЕННОСТЬ»

И. Анненский. Стихотворения и переводы. («Классическая библиотека «Современника») 239 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Высоцкий. Нерв. Стихи. Предисловие Р. Рождественского. 138 стр. Цена 1 р. 40 к.

Г. Горбовский. Явь. Стихи разных лет. 174 стр. Цена 85 к.

«ИСКУССТВО»

С. Гьорова. Режиссеры о своей профессии. Перевод с болгарского. 280 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Мачерет. О поэтике киноискусства. 304 стр. Цена 1 р. 70 к.

Л. Парфенов. Николай Мордвинов. («Мастера советского театра и кино») 199 стр. Цена 80 к.

Философия искусства в прошлом и настоящем. Сборник. Ответственный редактор М. Лифшиц. 423 стр. Цена 2 р.

«ПРОГРЕСС»

П. Вайс. «Дознание» и другие пьесы. Перевод с немецкого. 432 стр. Цена 2 р. 20 к.

У. Голдинг. «Шпиль» и другие повести. Перевод с английского. 447 стр. Цена 3 р. 50 к.

М. Грюн. Жар под золой. Роман. Перевод с немецкого. 272 стр. Цена 1 р. 80 к.

У. Купер. Сцены провинциальной жизни. Не один ты. Романы. Перевод с английского. 383 стр. Цена 2 р. 50 к.

«НАУКА»

А. Белый. Петербург. Роман в 8-ми главах, с прологом и эпилогом. Издание подготовил Л. К. Долгополов. Ответственный редактор Д. С. Лихачев. («Литературные памятники») 696 стр. Цена 7 р.

Мифы и предания папуасов маринданим. Перевод с немецкого Г. Л. Пермякова, М. С. Харитонова. Предисловие Б. Н. Путилова. («Сказки и мифы народов Востока») 350 стр. Цена 1 р. 60 к.

Творческие взгляды советских писателей. Сборник статей. Ответственный редактор В. А. Ковалев. 286 стр. Цена 1 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Б. Ефимов. Рассказы старого москвича. «Московский рабочий». 269 стр. Цена 95 к.

Мунис. Избранное. Стихи. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 127 стр. Цена 30 к.

П. Ребрин. Родион и Степанида. Роман. Омск. Омское книжное издательство. 383 стр. Цена 1 р. 20 к.

Т. Сумманен. Две ноши. Стихи из последних книг. Перевод с финского. Петрозаводск. «Карелия». 111 стр. Цена 35 к.

И. Шагинян. Этюды о Низами. Баку. «Язычы». 104 стр. Цена 85 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов,
М. Д. Львов (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко,**
Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь),
А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 21/ХП 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 4/П 1982 г.
Формат бумаги 70×108_{1/8}. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 08904. Тираж 350.000 экз. Зак. 4146.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна».
Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 0377.

Цена 1 руб. 20 коп.

70636